



САМОДЕРЖЕЦ ПУСТЫНИ

Леонид ЮЗЕФОВИЧ

Анонс

Увлекательный документальный роман впервые в нашей стране повествует об удивительной жизни барона Унгерна - человека, ставшего в 1920-е годы «исчадием ада» для одних и знаменем борьбы с большевизмом для других. В книге на богатейшем фактическом материале, подвергнувшись историко-философскому осмыслению, рассматриваются судьбы России и Востока той эпохи.

ОТ АВТОРА

Летом 1971 года, ровно через полвека после того, как Роман Федорович Унгерн-Штернберг - немецкий барон, русский генерал, монгольский князь и муж китайской принцессы, был взят в плен и расстрелян, я услышал о том, что он, оказывается, до сих пор жив. Мне рассказал об этом пастух Больжи из бурятского улуса Эрхирик неподалеку от Улан-Удэ. Там наша мотострелковая рота с приданным ей взводом «пятьдесятчетверок» проводила выездные тактические занятия. Мы отрабатывали приемы танкового десанта. Двумя годами раньше, во время боев на Даманском, китайцы из ручных гранатометов ловко поджигали двигавшиеся на них танки и теперь в порядке эксперимента на нас обкатывали новую тактику, не отраженную в полевом уставе. Мы должны были идти в атаку не вслед за танками, как обычно, не под защитой их брони, а впереди, беззащитные, чтобы расчищать им путь, автоматным огнем уничтожая китайских гранатометчиков. Я в ту пору носил

лейтенантские погоны, так что о разумности самой идеи судить не мне. К счастью, ни нам, ни кому-либо другому не пришлось на деле проверить ее эффективность. Восточному театру военных действий не суждено было открыться, но мы тогда этого еще не знали.

В улусе была небольшая откормочная ферма. Больжи состоял при ней пастухом и каждое утро выгонял телят к речке, вблизи которой мы занимались. Маленький, как и его монгольская лошадка, он издали напоминал ребенка верхом на пони, хотя ему было, я думаю, никак не меньше пятидесяти: из-под черной шляпы с узкими полями виднелся по-азиатски жесткий бобрик совершенно седых волос, казавшихся ослепительно белыми на коричневой морщинистой шее. Эту свою шляпу и брезентовый плащ Больжи не снимал даже днем, в самую жару. Иногда, пока телята паслись у реки, он оставлял их, чтобы понаблюдать за нашими маневрами. Однажды я принес ему котелок с супом, и мы познакомились. В котелке над перловой жижей возвышалась, как утес, баранья кость в красноватых разводах казенного жира. Мясо на ней тоже было. Первым делом Больжи обглодал кость и лишь потом взялся за ложку. Попутно он объяснил мне, почему военный человек должен есть суп именно в такой последовательности: «Вдруг бой? Бах-бах! Все бросай, вперед! А ты самое главное не съел...»

Несколько раз во время обеденного перерыва я сам ходил к стаду и неизменно заставал Больжи сидящим на берегу, но не лицом к реке, как сел бы любой европеец, а спиной. При этом в глазах его заметно было то выражение, с каким мы обычно смотрим на текучую воду или языки огня в костре, словно степь с дрожащими над ней струями раскаленного воздуха казалась ему наполненной тем же таинственным вечным движением, одновременно волнующим и убаюкивающим.

Я не помню, о чем мы разговаривали, когда Больжи внезапно сказал, что хочет подарить мне сберегающий от пули амулет-гау, который в настоящем бою нужно будет повесить на шею и которого я, впрочем, так и не получил. Впоследствии я понял, что это его обещание не стоило принимать всерьез. Оно было всего лишь способом выразить мне дружеские чувства, что, как, видимо, считал Больжи, не накладывало на него никаких обязательств. Но и назвать его слова заведомой ложью я бы не рискнул. Для Больжи намерение было важно уже само по себе, задуманное доброе дело не обращалось от неисполнения в свою противоположность и не падало грехом на душу. Просто ему захотелось в тот момент сказать мне что-нибудь приятное, а он не придумал ничего другого, кроме как посулить этот амулет. Такой же, добавил он, подчеркивая не столько ценность подарка, сколько значение минуты, носил на себе барон Унгерн, поэтому его не могли убить. Я удивился: как же не могли, если расстреляли? Ответено было как о чем-то само собой разумеющемся и всем давно известном: нет, он жив, живет в Америке. Затем, с несколько меньшей степенью уверенности, Больжи сообщил мне, что Унгерн приходится родным братом самому Мао Цзедуну - вот почему Америка решила теперь дружить с Китаем.

Действительно, в газетах писали о налаживающихся контактах между Вашингтоном и Пекином: речь шла об установлении дипломатических отношений между ними. Писали, что американцы собираются поставлять в Китай военную технику. Популярный анекдот о том, как в китайском Генеральном штабе обсуждают план наступления на северного соседа («Сначала пустим миллион, потом еще миллион, потом танки». - «Как? Все сразу?» «Нет, сперва один, после другой»), грозил утратить свою актуальность. Но и без того все опасались фанатизма китайских солдат. Ходили слухи, что ни на Даманском, ни под Семипалатинском они не сдавались в плен. Об этом говорили со смесью уважения и собственного превосходства - как о чем-то таком, чем мы тоже могли бы обладать и обладали когда-то, но отбросили во имя новых, высших ценностей. Очень похоже Больжи рассуждал о шамане из соседнего улуса. За ним безусловно признавались определенные способности, и в то же время сам факт их существования не возвышал этого человека, напротив - отодвигал его далеко вниз по социальной лестнице.

Рассказывали, что китайцы из автомата стреляют с точностью снайперской винтовки, что они необычайно выносливы, трудолюбивы, дисциплинированы; что на дневном рационе, состоящем из горсточка риса, их пехотинцы покрывают в сутки чуть ли не по сотне километров. Говорили, будто к северу от Пекина все сплошь изрезано бесчисленными линиями траншей, причем подземные бункеры так велики, что вмещают целые батальоны, и так тщательно замаскированы, что мы будем оставлять их у себя за спиной и постоянно драться в окружении. Были, разумеется, слухи о нашем секретном оружии для борьбы с миллионными фанатичными толпами, о сопках, превращенных в неприступные крепости, где под слоем дерна и зарослями багульника скрыты в бетонных отсеках смертоносные установки с ласкающими слух именами, но толком никто ничего не знал.

Из китайских торговцев, содержателей номеров, искателей женьшеня и огородников, которые наводнили Сибирь в начале столетия, из сотен тысяч голодных землекопов послевоенных лет нигде не осталось ни души. Они исчезли как-то вдруг, все разом, уехали, побросав своих русских жен, повинувшись не доступному нашим ушам, как ультразвук, далекому и властному зову. Казалось бы, шпионить было некому, тем не менее мы почему-то были убеждены, что в Пекине знают о нас все. Некоторые считали шпионами бурят и монголов или подозревали в них переодетых китайцев. Когда я впервые прибыл в часть по направлению из штаба округа, дежурный офицер с гордостью сказал мне: «Ну, брат, повезло тебе. У нас такой полк, такой полк! Сам Мао Цзедун всех наших офицеров знает поименно... «Самое смешное, что я этому поверил.

Поверить, что Унгерн и Мао Цзедун - родные братья, при всей моей тогдашней наивности я, конечно же, не мог, но мысль о такой возможности была приятна, позволяла чувствовать себя включенным в вечный круговорот истории. Тогда я находился внутри круга, а позднее, выйдя за его пределы, начал думать, что Больжи вспомнил об Унгерне вовсе не случайно. В то время должны были ожить старые легенды о нем и явиться новые. В монгольских и забайкальских степях никогда не забывали его имя, и что бы ни говорилось тогда и потом о причинах нашего конфликта с Китаем, в иррациональной атмосфере этого противостояния безумный барон, буддист и проповедник панмонголизма, просто не мог не воскреснуть.

К тому же для него это было не впервые. В Монголии он стал героем не казенного, а настоящего мифа, существом почти сверхъестественным, способным совершать невозможное, умирать и возрождаться. Да и к северу от эфемерной государственной границы невероятные истории о его чудесном спасении рассказывали задолго до моей встречи с Больжи. Наступал подходящий момент, и барон поднимался из своей безымянной могилы под Новосибирском.

Унгерн - фигура локальная, если судить по арене и результатам его деятельности, порождение конкретного времени и места. Но если оценивать его по идеям, имевшим мало общего с идеологией Белого движения, если учитывать, что его планы простирались до переустройства всего существующего миропорядка, а средства вполне соответствовали глобальным целям, этот человек видится как явление совсем иного масштаба, как действующее лицо не только российской или монгольской, но и всемирной истории.

Он был одним из многих, предрекавших гибель западной цивилизации, но единственным, кто, будучи ее творением, решил сразиться с ней не за письменным столом и не на университетской кафедре, а в седле и на поле боя. Многие одиночки в Европе и до, и после Унгерна искали точку духовной опоры на Востоке, но никому, кроме него, никогда не приходила мысль о том, чтобы превратить эту точку в военно-стратегический плацдарм для борьбы с революцией. Учение Будды волновало тысячи русских и европейских интеллигентов, но только Унгерн собирался нести его в Россию на кончике монгольской сабли, чтобы восточной мистикой исцелить язвы Запада.

При этом вечным и незыблемым образцом для него оставалась рухнувшая Поднебесная

Империя, которую он мечтал возродить во имя спасения всего человечества. Кажется, Унгерн явился в мир как олицетворенный ответ на вопросы, заданные еще Константином Леонтьевым: «Заразится ли мы столь несокрушимой в духе своем китайской государственностью и могучим мистическим настроением Индии? Соединим ли мы китайскую государственность с индийской религиозностью и, подчинив им европейский социализм...»

Унгерн воспринял эту мысль буквально и попытался осуществить ее практически. Неважно, читал он Леонтьева или нет, - сама идея носилась в воздухе, и в конце концов кто-нибудь должен был перенести акцент с внутреннего на внешнее, метафору истолковать как реальность, надежду - как призыв к действию. Правда, соединяя «китайскую государственность с индийской религиозностью», Унгерн пользовался подручным материалом. Ему пришлось довольствоваться суррогатами: вместо империи Циней - теократия монгольского Богдо-хана, вместо индуизма - ламаизм, смешанный с ницшеанством и теософией. В итоге возникла столь же зловещая, сколь и нежизнеспособная химера унгерновского режима. Эксперимент, поставленный в Монголии, в очередной раз продемонстрировал, во что могут превратиться романтические идеалы, когда они воплощаются в жизнь.

Одним из первых в нашем столетии Унгерн прошел тот древний путь, на котором странствующий рыцарь неизбежно становится бродячим убийцей, мечтатель - палачом, мистик - доктринером. На этом пути человек, стремящийся вернуть на землю золотой век, возвращает даже не медный, а каменный. Но и в такую схему Унгерн тоже целиком не укладывается. В нем при желании можно увидеть кого угодно: героя борьбы с большевизмом, разбойничьего атамана, евразийца в седле, предтечу фашизма, реликт средневековья, вестника грядущих глобальных столкновений между Востоком и Западом, создателя одной из кровавых утопий XX века и тип тирана, вырастающего на развалинах великих империй, или маньяка, опьяненного грубыми вытяжками великих идей. Но как бы ни смотреть, во всех вариантах феномен судьбы этого эстляндского барона, ставшего владыкой Монголии, в самой своей жуткой ирреальности таит ответ на роковые вопросы эпохи и видится одним из ее символов. В нем чувствуется напор тьмы, грозная близость подземных сил, в любой момент готовых прорвать тонкий слой современной цивилизации. Возможно, именно потому многие испытывают к этому человеку болезненный и опасливый интерес, причину которого сами подчас не в состоянии себе объяснить.

После моей встречи с Больши в улусе Эрхирик прошло двадцать лет. Мао Цзедун давно мертв, мир изменился, но до сих пор окруженная мифами фигура Унгерна за эти годы не стала ни менее актуальной, ни более понятной. Я попытался реконструировать его жизнь со всей старательностью, на какую был способен. Подробности могут, наверное, утомить, но мне кажется, что тщательная прорисовка деталей убивает и миф, и схему. Это, пожалуй, единственный доступный мне способ вернуть легендарного барона к его изначальному житейскому облику.

ЖЕЛТЫЙ ПОТОП

В 1893 году Петр Александрович Бадмаев, крещеный бурят и знаток тибетской медицины, представил своему крестному отцу, Александру III, докладную записку под выразительным названием: «О присоединении к России Монголии, Тибета и Китая». В ней он доказывал, что маньчжурская династия скоро будет свергнута, дни ее сочтены, и советовал уже сейчас начать планомерную работу по утверждению в Срединной Империи русского влияния, иначе неизбежной после падения Циней анархией воспользуются западные державы. Бадмаев предлагал тайно вооружить монголов, подкупить и привлечь на свою

сторону ламство, затем занять несколько стратегических пунктов типа Ланьчжоу и наконец организовать депутацию из Пекина, которая попросит Белого царя - Цаган-хана, принять Китай заодно с Тибетом и Монголией в российское подданство.

«Очевидно, - писал Бадмаев, - европейцам пока еще не известно, что для китайцев безразлично, кто бы ими ни управлял, и что они совершенно равнодушны, к какой бы национальности ни принадлежала династия, которой они покоряются без особенного сопротивления».

На сопроводительном докладе Витте, представившего проект Александру III, тот написал: «Все это так ново, необыкновенно и фантастично, что с трудом верится в возможность успеха». Тем не менее Бадмаев получил два миллиона рублей золотом, выехал в Читу, откуда совершил несколько поездок в Монголию и Пекин, и в Петербург вернулся лишь через три года, когда вступивший на престол Николай II отказал ему в новых субсидиях. Однако Россия вскоре утвердилась в Маньчжурии, была построена Китайско-Восточная железная дорога, возник Харбин. О том, чтобы поднять флаг с двуглавым орлом над башнями Запретного императорского дворца в Пекине, речи, правда, не шло, но в Тибет, который Бадмаев называл «ключом Азии», с какими-то миссиями отправлялись казачьи офицеры из бурят, и англичане, в 1904 году войдя в Лхассу, искали там секретные склады с русскими трехлинейками.

А за пять лет до того, как бадмаевская записка легла на стол Александра III, философ Владимир Соловьев, будучи в Париже, попал на заседание Географического общества, где среди однообразной толпы в серых костюмах его внимание привлек человек в ярком шелковом халате. Он оказался китайским военным агентом, как называли тогда военных атташе. Вместе со всеми Соловьев «смеялся островам желтого генерала и дивился чистоте и бойкости его французской речи». Не сразу он понял, что перед ним находится представитель не только чужого, но и враждебного мира. Смысл его слов, обращенных к европейцам, Соловьев передает следующим образом: «Вы истощаетесь в непрерывных опытах, а мы воспользуемся плодами этих опытов для своего усиления. Мы радуемся вашему прогрессу, но принимать в нем участие у нас нет ни надобности, ни охоты: вы сами готовите средства, которые мы употребим для того, чтобы покорить вас».

Мысль об угрозе с Востока преследовала Соловьева на протяжении всех последних лет жизни, и она же, низведенная до уровня дежурной темы русской журналистики, обедненная и упрощенная образом «желтой опасности», впоследствии будет питать идеи Унгерна. Изменится лишь знак. То, что раньше было для России злом, сулило ей гибель, в перевернутом мире станет единственным спасением. Не случайно в его планах радикального переустройства мира важное место займет буддизм - религия, как считал Соловьев, крайне опасная для христианской цивилизации, ибо, в отличие от исламской, «идея буддизма еще не пережита человечеством».

Из книги французских миссионеров Гюка и Габе, в 40-х годах XIX века побывавших в Тибете, Соловьев почерпнул сведения о «братстве или ордене келанов», которые вынашивали грандиозные религиозно-политические замыслы: они якобы стремились «завладеть верховной властью в Тибете, потом в Китае, а затем посредством китайских и монгольских вооруженных сил покорить великое царство Оросов (Россию. - Л. Ю.) и весь мир и воцарить повсюду истинную веру перед пришествием Будды Майтрейи» буддийского мессии. Соловьев готов был в это поверить. Ссылки на пассивный, созерцательный характер буддизма для него не состоятельны: религия, возникающая на берегах Ганга, без прозелитизма не могла бы распространиться до Японии и Сибири. Подставив на место мифических «келанов» реальных японцев - «вождей восточных островов», в своей «Повести об Антихристе» Соловьев за четыре года до русско-японской войны с устрашающей детальностью описал будущее нашествие азиатских полчищ на Запад.

«Узнав из газет, - пишет он, - и из исторических учебников о существовании на Западе панэллинизма, пангерманизма, панславизма, панисламизма, они (японцы. - Л. Ю.) провозгласили великую идею панмонголизма, т. е. собрания воедино, под своим главенством, всех народов Восточной Азии с целью решительной борьбы против чужеземцев, т. е. европейцев». Но эта сугубо книжная, подражательная идеология в итоге, по Соловьеву, становится роковой для Европы, откуда она и пришла в Японию. Слова пекинского военного атташе в Париже оказались пророческими, хотя и в несколько ином смысле: Запад выковал себе на погибель оружие не материальное, а идейное. Отныне события развиваются стремительно, в течение жизни одного-двух поколений. После занятия Кореи, следом - Пекина, где на престоле свергнутых Циней утверждается один из наследников микадо, Япония приступает к завоеванию Азии, а затем и всего мира. Китай сдается без боя. Его одряхлевшие государственные структуры уничтожены, армия реформирована японскими инструкторами. Пополненная тибетцами и монголами, она первый удар наносит на юго-восток - англичане вытесняются из Бирмы, французы - из Тонкина и Сиамы. Чуть позднее, заверив русское правительство, будто собранная в Китайском Туркестане четырехмиллионная армия предназначена для похода на Индию, богдыхан вторгается в Среднюю Азию, занимает Сибирь, движется через Урал и вступает в Центральную Россию. Навстречу ему наскоро мобилизованные дивизии спешат из Польши, из Петербурга и Финляндии, но при отсутствии предварительного плана войны и огромном численном превосходстве неприятеля «боевые достоинства русских войск позволяют им только гибнуть с честью». Корпуса истребляются один за другим в ожесточенных и безнадежных боях. После победы богдыхан оставляет часть своих сил в России «для преследования размножившихся партизанских отрядов», а сам тремя армиями переходит границы Германии. Здесь одна из них терпит поражение, но одновременно «во Франции берет верх партия запоздалого реванша, и скоро в тылу у немцев оказывается миллион вражеских штыков». Германия разгромлена, «ликующие французы братаются с желтолицыми», теряя всякое представление о дисциплине. Следует приказ перерезать ненужных теперь легкомысленных союзников, что однажды ночью «исполняется с китайской аккуратностью». В Париже начинается восстание рабочих, «столица западной культуры радостно отворяет ворота владыке Востока». В результате вся континентальная Европа, следом Великобритания, сумевшая откупиться от ужасов нашествия миллиардом фунтов, за ней Америка и Австралия, куда снаряжаются военно-морские экспедиции, признают вассальную зависимость от богды-хана. Что же касается мусульманского мира, он во всех этих катаклизмах попросту отсутствует. Судьбы ислама Соловьева не интересовали; ему казалось, что эта религия целиком принадлежит прошлому, как и народы, ее исповедующие.

Накануне и в годы русско-японской войны пророчества «Повести об Антихристе» стали широко известны. Позднее о них начали забывать, но еще позднее, когда никакая фантастика не могла соперничать с реальностью Гражданской войны в Сибири и японские дивизии дошли до Байкала, находились люди, которые уже под углом современных событий смотрели на предсказания Соловьева, опасаясь, что вот-вот, кажется, ход истории войдет в начертанное им русло.

В 1918 - годах в забайкальских газетах регулярно появляются корреспонденции из Урги некоего М. Воллосовича. Корректируя Соловьева реалиями последних лет, напоминая, что в Сибири теперь «японофильская ориентация господствует от Байкала до океана и возглавляется бурятом» (намек на происхождение атамана Семенова), он дает свой прогноз ближайшего будущего: «Восприняв германскую идею мирового владычества и сверхчеловечества, Япония при благодушном попустительстве белой расы организует Китай, Монголию, бурят, русский Дальний Восток, Маньчжурию, Корею и т. д., а затем двинет их на Сибирь и Европу. Японофильствующий Восток упадет к ногам Токио, как

спелый плод. На запад будут двинуты народы, роль коих - сложить свои головы „пур л'оппарар де Жапань" и своими трупами вымостить дорогу для триумфального шествия японцев. В авангарде пойдут буряты, затем монголы, за ними главная масса пушечного мяса - китайцы. Русские с Дальнего Востока будут убивать русских из Сибири, русские из Европы будут брошены на западных славян. Следом для романских и англо-саксонских народов наступит очередь испытать все ужасы желтого нашествия. Начнутся смуты „сознательных рабочих", европейцы будут выметены из Европы или обращены в рабов желтолицых».

После Мировой войны и в разгар Гражданской трудно поверить, что после покорения азиатами Европы в ней может наступить период процветания и религиозного синкретизма, как в свои кажущиеся теперь идиллическими времена думал Соловьев. Если столь кошмарной оказалась война между народами одной расы, а ныне - внутри одного народа, то столкновение «двух враждебных рас» не вызывает у Воллосовича уже никаких иллюзий.

Но сознание, способное отыскать единственную причину глобальной опасности, с той же легкостью находит и средство спасения, тоже единственное. Воллосович уверен, что Запад может быть спасен только Монголией, которая «сильна своей религией и готова объединиться духовно под главенством ургинского первосвященника». Монголы - «антагонисты японцев и китайцев», «страна их пространством великая, дух воинственный и независимый». Но необходимо сделать так, чтобы им выгоднее было заключить союз не с японцами, а с белой расой. В этом случае при покушении Японии на мировое владычество произойдет следующее: когда неисчислимая масса китайских войск двинется на север, монгольская летучая конница ворвется в Китай и «учинит такую диверсию, что китайцам станет не до наступления». Затем, «пользуясь диверсией», англичане ударят из Индии и Тибета, русские - из Туркестана; Пекин вынужден будет прекратить войну, Япония останется в одиночестве и откажется от своих претензий.

Соловьевские всадники Апокалипсиса у Воллосовича превратились в картонных солдатиков, которых он вдохновенно передвигает по карте из гимназического учебника. Свою главную, спасительную для России и Запада идею он формулирует с маниакальной простотой и краткостью: «Кто будет иметь преимущественное влияние в Монголии, будет иметь таковое же и в Центрально-Восточной Азии, а затем и на всем земном шаре».

Но если разобраться, это лишь вывернутый наизнанку основной тезис появившегося примерно тогда же знаменитого «Меморандума» Танаки, военного министра Японии: «Чтобы завоевать Китай, мы должны сначала завоевать Маньчжурию и Монголию. Чтобы завоевать весь мир, мы должны сначала завоевать Китай...»

Эти слова могли бы принадлежать Унгерну.

Для него мировое зло воплощалось не в японцах, как для Воллосовича, но и конечный смысл «желтого потопа» он представлял себе иначе, нежели Танака. В одном сходились все трое - в том, что путь к владычеству над миром проходит через Монголию. Но если Воллосович и Танака видели в ней не более чем перышко, способное склонить замершие в равновесии чаши весов на ту или иную сторону, то Унгерн думал по-другому. Почти не затронутая европейским влиянием, Монголия казалась ему последней надеждой человечества, островом в море всезатопляющей и губительной культуры Запада, которая захлестнула уже и Китай, и даже саму Японию.

Как генерал Унгерн возник на гребне Гражданской войны в Забайкалье. Как политик, исповедующий определенную идеологию, он явился в той точке географического и духовного пространства, где намеченная Бадмаевым, продолженная Витте линия российской экспансии на Дальнем Востоке, совершив немислимый изгиб, влилась в обратнаправленный вектор японского паназиатизма и была пересечена третьей прямой - чисто интеллектуальной, порожденной сознанием кризиса западной цивилизации и связанной с именами Владимира Соловьева, Константина Леонтьева, Шпенглера и Ницше. Чтобы

первые две линии наложились и пересеклись третьей, понадобилась такая фантастическая фигура, как Унгерн, восставшая на обломках всей прежней системы координат.

Через много лет после смерти Унгерна один из его собеседников вспоминал, что барон предвидел «будущую роль того общественного течения, которое теперь получило название фашизма». Эта линия в духовном поле Европы для Унгерна была едва ли не важнейшей. Она шла параллельно линии его судьбы и вполне могла слиться с ней, если бы в 1920 году он уехал из Забайкалья в Австрию, как собирался это сделать, а не повел бы своих всадников на юг, в Монголию.

В том же году в баварском городе Байрете, где жил и умер Рихард Вагнер, состоялась первая встреча никому еще не известного Адольфа Гитлера с членами «Общества Туле» <Туле - мифическая блаженная страна древнегерманских мифов. Иногда ее отождествляли с Атлантидой.>. Оно представляло собой зародыш тайного ордена, чья цель - возродить немецкий рейх на принципах расы и романтизированного оккультизма, который считался древнегерманским. Одним из основателей этого общества был профессор Карл Гаусгоффер, спустя полтора десятилетия ставший президентом Германской Академии. Он был дружен с известным шведским путешественником по Центральной Азии, этнографом и лингвистом Свенем Гедином и, вероятно, от него услышал тибетскую легенду о таинственном подземном царстве Агарты. Это страна могущественных магов, носителей древней эзотерической культуры народа, обитавшего некогда на месте нынешней Гоби; после каких-то геологических катаклизмов, изменивших климат в этой части земного шара, они ушли с поверхности земли, поселились в пещерах под Гималаями и оттуда контролируют весь ход мировой истории через избранных ими народоводителей верхнего, наземного мира. В ином варианте о тех же всемогущих гималайских старцах-«махатмах» писала еще Блаватская, и сомнительно, что Гаусгоффер всерьез верил в эту легенду. Но она подтверждала его собственную теорию о существовании великой гобийской цивилизации ариев, процветавшей примерно три-четыре тысячелетия назад. После того как эти места обратились в пустыню, арии переселились частью в Индию, частью - на север Европы. Считалось, что в Тибете еще сохраняются остатки арийской культуры, при Гитлере сюда снаряжались научные экспедиции с не вполне ясными целями. Легендарная Туле, т. е. Центральная Азия с Монголией и Тибетом, вошла в нацистскую мифологию как прародина германцев, как начало всех начал. В этом районе видели потаенное мистическое сердце мира. Его обладатель в конечном итоге обретет власть над всей планетой.

Отсюда уже совсем недалеко и до «Меморандума» Танаки, и до утверждения Воллосовича, что хозяин Монголии есть потенциальный владыка земного шара, и до твердой уверенности Унгерна в том, что именно здесь начнется строительство нового мира.

Барон Врангель, полковой командир Унгерна, отмечал в нем «острый пронизательный ум», который странно уживался с «поразительно узким кругозором». В этой характеристике своего подчиненного будущий командующий Русской армией одновременно и прав и не прав. Унгерн знал языки, много читал; в аттестации, выданной ему командиром сотни в 1913 году, сказано, что он выписывает несколько журналов и «проявляет интерес к литературе не только специальной, но и общей». Вопрос в том, какого рода была эта литература. Очевидно, круг чтения Унгерна и либерального, интеллигентного Врангеля был в принципе различен. Трудно представить себе Унгерна с томиком Чехова в руках, проще - с «Центуриями» Нострадамуса, где, кстати, имелось пророчество о пришествии «князя с Востока», или с какой-нибудь из тех шарлатанских брошюр, которыми наводнен был книжный рынок начала века. Хотя в разговорах он никогда не ссылаясь ни на Блаватскую, ни на Штейнера, его интерес к Тибету и к восточной мистике, его несколько утрированный, сознательно декларируемый фатализм, его высказывания о «неумолимой Карме», «Духе Мира» и т. д. - все свидетельствует, что с теософскими идеями он был знаком хотя бы понаслышке.

Рассказывали, что его мистические настроения «подогревал» петербургский литератор Фердинанд Оссендовский. После падения Колчака он бежал из Сибири, оказался в Монголии и в последние недели перед походом Унгерна в Забайкалье стал его ближайшим советником и конфидентом. Предметом их бесед могло, в частности, стать то, о чем Оссендовский позднее написал в своей книге «Люди, звери и боги», имевшей феноменальный успех в Европе и Америке. Среди ее читателей были Свен Гедин, Гаусгоффер и, возможно, сам Гитлер.

Улясунтаинский наместник, князь Чултун-Бэйсэ, впоследствии по приказу Унгерна убитый за сотрудничество с китайцами, и его приближенный лама рассказали Оссендовскому следующее о царстве Агарты: «Уже более шестидесяти тысяч лет как один святой с целым племенем исчез под землей, чтобы никогда больше не появляться на ее поверхности. Много людей с тех пор посетило это царство - Сакья-Муни, Ундур-гэген, Паспа, хан Бабур и другие, но никто не знает, где оно лежит... Его владыка - царь вселенной, он знает все силы мира и может читать в душах людей и в огромной книге их судеб. Невидимо управляет он восемьюстами миллионами людей, живущими на поверхности земли...» <Это, вероятно, один из вариантов буддийской легенды о Шамбале - мифической стране, своего рода земном рае, чьи обитатели стоят на страже духовных основ мироздания.>

История знает не столь уж редкий тип политика, чье самоощущение Кромвель выразил известной формулой: «Стрела в колчане Божьем». Правда, в XX веке для людей такого типа традиционное понятие «Бога» в русле той или иной исторической конфессии стало казаться чересчур банальным, слишком общим и аморфным, чтобы поверить в свою с ним исключительную связь; начались поиски каких-то иных, более экзотических, но не менее всеобъемлющих центров власти над миром, которые постоянно вмешиваются в ход истории и через своих избранников направляют ее к определенной цели. Гитлер, например, собственное фантастическое возвышение склонен был объяснять тайным воздействием некоей мистической, глобального масштаба силы, сделавшей его своим орудием. Как один из ее вариантов допускалось, вероятно, и царство Агарты. Есть известия, что Гитлер встречался с каким-то жившим в Мюнхене тибетским ламой, который называл себя «хранителем ключей подземного королевства».

Унгерн являл собой тот же психологический типаж. Он тоже параноически верил в свою избранность, окружал себя астрологами, гадателями, предсказателями. Офицеры Азиатской дивизии не понимали, что эти презираемые ими «грязные ламы» должны были, помимо прочего, расшифровывать тайные знаки и сигналы, поступающие к Унгерну от тех, кто привел его, эстляндского барона, в Монголию и вручил ему власть над этой страной. И основополагающее в теософии понятие судьбы он, очевидно, воспринимал как волю хозяев Агарты. Понять собственную судьбу значило для него постичь скрытый от простых смертных вектор мировой истории. В своей магической сопричастности ему Унгерн не сомневался.

Ламы рассказывали Оссендовскому, что когда-нибудь обитатели Агарты выйдут из земных недр. Этому будет предшествовать вселенская кровавая смута и разрушение всех основ жизни: «Отец восстанет на сына, брат на брата, мать на дочь. А затем - порок, преступление, растление тела и души. Семьи распадутся, вера и любовь исчезнут. Из десяти тысяч останется один, но и он будет гол и безумен, без силы и знаний, достаточных хотя бы для постройки дома и добывания пищи. Он будет выть, как бешеный волк, питаться трупами, грызть собственное тело и вызовет Бога на бой. Вся земля будет опустошена. Бог отвернется от нее, и над ней будут витать лишь смерть и ночь...» Но тогда «явится народ, доселе неизвестный», он «вырвет сильною рукою плевелы безумия и порока, поведет на борьбу со злом тех, кто останется еще верен делу человечества, и этот народ начнет новую жизнь на земле, очищенной смертью народов».

Ту же самую апокалиптическую картину современности сам Унгерн рисовал в письме одному монгольскому князю: «Вы знаете, что в России теперь пошли брат на брата, сын на отца, все друг друга грабят, все голодают, все забыли Небо». Точно так же вписывалось в реальность предсказание о неведомом народе с «сильною рукою»: в нем Унгерн увидел кочевников Центральной Азии.

«Барон стоял на грани почти гениальности и безумия, - писал о нем современник. - Он принадлежал к величайшим идеалистам и мечтателям всех времен». Отчасти так оно и есть, хотя автор этой характеристики, выданной Унгерну в 1935 году, мог бы уже и догадываться о том, что в XX столетии величайшие идеалисты становятся одновременно и величайшими преступниками.

Идеалы Унгерна достаточно просты, какими, впрочем, они и должны были быть, чтобы не остаться только мечтами, а сложиться в идеологию со всеми вытекающими из нее практическими выводами. В 1919 - годах, наездами бывая в Харбине, барон часто встречался и беседовал с жившим там неким С.-Р., которого высоко ценил за «ум и образованность». В разговорах с ним Унгерн и высказал «свои сокровенные мысли». Суть их состояла в следующем. Примерно к исходу XIV века Запад достиг высшей точки расцвета, после чего начался период постепенно прогрессирующего упадка. Культура пошла по ложному пути. Она перестала «служить для счастья человека» и «из величины подсобной сделалась самодовлеющей». Под властью буржуазии, главным образом еврейской, западные нации разложились. Русская революция - начало конца всей Европы. Но есть в мире сила, способная повернуть вспять колесо истории. Это кочевники центрально-азиатских степей, прежде всего - монголы. Сейчас, пусть «в иных формах», они находятся на том этапе общего для всех народов исторического пути, откуда пять столетий назад Запад свернул к своей гибели. Монголам и вообще всей желтой расе суждена великая задача: огнем и мечом стереть с лица земли прогнившую европейскую цивилизацию от Тихого океана «до берегов Португалии», чтобы на обломках старого мира воссоздать прежнюю культуру по образу и подобию своей собственной.

Любовь Унгерна к монголам предопределила традиционную в системах такого рода ненависть к евреям. Первые несли в себе божественное начало, вторые - дьявольское. Одни были воплощением всех добродетелей прошлого, другие - всех пороков настоящего. Монголы были прирожденными мистиками, как сам барон, евреи - сугубыми рационалистами, и в этом качестве они олицетворяли собой все то, что Унгерну было ненавистно в цивилизации XX века.

«Мистицизм барона, - писал знавший его лично колчаковский офицер Борис Волков, - убеждение в том, что Запад - англичане, французы, американцы, сгнил, что свет с Востока, что он, Унгерн, встанет во главе диких народов и поведет их на Европу, - вот все, что можно выявить из бессвязных разговоров с ним ряда лиц».

На самом деле выявить можно гораздо больше. За его «мистицизмом» стоит настолько расхожая, что ее источником Унгерн даже считал Библию, мысль о том, что одряхлевшая Европа, как некогда Рим и Византия, будет разрушена несущими свежую кровь новыми варварами. Этой идеей пропитан был воздух начала века. Тот же Соловьев сформулировал неизменно повторяющуюся историческую схему, не многим отличную от варианта князя Чульгун-Бэйсэ: «Тогда поднялся от Востока народ безвестный и чужой...» Брюсов вопрошал: «Где вы, грядущие гунны, что тучей нависли над миром?» Блок провидел «свирепого гунна», который будет «в церковь гнать табун и мясо белых братьев жарить», а Максимилиан Волошин в том же 1918 году, когда Унгерн в Маньчжурии принял командование монгольской конницей в отряде Семенова, надеялся, что «встающий на Востоке древний призрак монгольской угрозы» заставит Россию преодолеть внутренние распри. Да и сам Унгерн не случайно, по-видимому, подчеркивал, что его род ведет происхождение от гуннов.

Эмигрантский журналист писал о нем: «Если бы море внезапно отхлынуло, на месте его черных глубин люди увидели бы страшных, фантастических чудовищ; так из-под волн Гражданской войны вынырнули какие-то палеонтологические типы, до того скрытые в недрах жизни, в клетках быта».

Унгерн казался реликтом средневековья, живым анахронизмом, хотя на самом деле был плоть от плоти своей среды и эпохи. В нем текла кровь не столько реальных воинов Аттилы, сколько гуннов Брюсова и Блока. Воплощением этих же судьбоносных всадников стали для него монголы. Прозябающие на периферии мировой истории, не принимаемые в расчет ни западными политиками, ни большевиками, они должны были принести в мир испепеляющий, очищающий небесный огонь, но сами не могли осознать свою спасительную миссию и определить сроки ее исполнения. Им нужен был вождь, и Унгерн верил, что именно с этой целью судьба послала его в Монголию.

Во времена китайского владычества монголы создали множество легенд о грядущем спасителе, который явится с севера, чтобы вернуть им былое величие. Этот герой выступал под разными именами и обличьями, но во всех своих ипостасях должен был сыграть роль национального мессии. Унгерн, в частности, знал пророчество о некоем «бароне Иване» <Если титул «цин-ван» переводили обычно как «князь», «цзюнь-ван» как «граф», то к «барону» мог быть приравнен «гун» или «туше-гун».>, который когда-нибудь придет из России и возродит империю Чингисхана, что опять же будет лишь первым этапом в деле «спасения человечества». Так, во всяком случае, Унгерн говорил в плену, причем прямо признавался, что относил это предсказание к самому себе. По его словам, «Иван» и «Роман» «почти одно и то же». Свое появление в Монголии он воспринимал как факт всемирно-исторического значения, как закономерность, которая рождается не в череде причин и следствий реального мира, а вносится в него извне, через судьбу героя. Ссылаясь на судьбу, что он делал постоянно, Унгерн имел в виду свое предназначение быть исполнителем сверхъестественной воли. Собственная судьба казалась ему инструментом, выкованным в подземельях Агарты или в каком-то ином, тайном, но деятельном центре мировой мощи и мудрости, чье местонахождение он скорее всего предполагал где-то в Гималаях. Его кругозор, не без оснований казавшийся Врангелю «поразительно узким», был очерчен кругом этих идей, которые сами по себе были достаточно примитивны, но в соединении с личностью Унгерна образовали гремучую смесь, взорвавшую русско-китайское пограничье осенью 1920 года, когда барон повел своих всадников на штурм монгольской столицы.

Русский офицер, он вошел в Монголию и мог бы войти в Китай, как задолго до него входили туда казачьи полки. Но под трехцветным российским знаменем Унгерн собирался вести свои разноплеменные войска к цели, которая и не снилась его предшественникам на этих путях. Сын доктора философии Лейпцигского университета и враг западной цивилизации, он уже в плену однозначно высказал свои убеждения: «Восток непременно должен столкнуться с Западом. Культура белой расы, приведшая европейские народы к революции, сопровождавшаяся веками всеобщей нивелировки, упадком аристократии и прочее, подлежит распаду и замене желтой, восточной культурой, которая образовалась три тысячи лет назад и до сих пор сохраняется в неприкосновенности».

«ЗВЕЗДА ИХ НЕ ЗНАЕТ ЗАКАТА»

Весной 1921 года Унгерн в разговоре с Оссендовским подробно изложил ему свою родословную: «Семья баронов Унгерн-Штернбергов принадлежит роду, ведущему происхождение со времен Аттилы. В жилах моих предков течет кровь гуннов, германцев и венгров. Один из Унгернов сражался вместе с Ричардом Львиное Сердце и был убит под

стенами Иерусалима. Даже трагический крестовый поход детей не обошелся без нашего участия: в нем погиб Ральф Унгерн, мальчик одиннадцати лет. В XII веке, когда Орден Меченосцев появился на восточном рубеже Германии, чтобы вести борьбу против язычников - славян, эстов, латышей, литовцев, - там находился и мой прямой предок, барон Гальза Унгерн-Штернберг. В битве при Грюнвальде пали двое из нашей семьи. Это был очень воинственный род рыцарей, склонных к мистике и аскетизму, с их жизнью связано немало легенд. Генрих Унгерн-Штернберг по прозвищу „Топор“ был странствующим рыцарем, победителем турниров во Франции, Англии, Германии и Италии. Он погиб в Кадиксе, где нашел достойного противника-испанца, разрубившего ему шлем вместе с головой. Барон Ральф Унгерн был пиратом, грозой кораблей в Балтийском море. Барон Петр Унгерн, тоже рыцарь-пират, владелец замка на острове Даго, из своего разбойничьего гнезда господствовал над всей морской торговлей в Прибалтике. В начале XVIII века был известен некий Вильгельм Унгерн, занимавшийся алхимией и прозванный за это „Братом Сатаны“. Морским разбойником был и мой дед: он собирал дань с английских купцов в Индийском океане. Английские власти долго не могли его схватить, а когда наконец поймали, то выдали Русскому правительству, которое сослало его в Забайкалье...»

Действительно, род баронов Унгерн-Штернбергов был внесен в дворянские матрикулы всех трех прибалтийских губерний, и официальный родоначальник назван точно - Ганс фон Унгерн, живший, правда, не в XII, а в XIII веке. Баронское достоинство было пожаловано Унгерн-Штернбергам шведской королевой Христиной только в 1653 году, что же касается происхождения от гуннов и венгров, это уже семейная легенда, основанная на звучании фамилии. Родовой герб с лилиями и шестиконечными звездами был увенчан девизом: «Звезда их не знает заката».

Между Гансом фон Унгерном, вассалом рижского архиепископа, и генерал-майором Романом Федоровичем Унгерн-Штернбергом генеалогический словарь насчитывает восемнадцать родовых колен. За шесть столетий род разветвился, его представители расселились по всей Прибалтике, но наибольшее число поместий принадлежало им на севере Эстляндии, в Ревельском и Гапсальском уездах. Последний включал в себя часть материка и несколько островов, крупнейший из которых, Даго, по-эстонски - Хийумаа. Во времена Ганзы и Ливонского ордена его каменистые берега служили пристанищем пиратов, и здесь этот промысел никогда не считался предосудительным.

С юности Унгерн чрезвычайно интересовался своей генеалогией. Позднее все офицеры Азиатской дивизии, которой он командовал, в той или иной степени были наслышаны об экзотических предках барона. Он часто вспоминал о них даже в разговорах с малознакомыми людьми, и это не просто дворянская гордость, а еще и потребность как-то осмыслить очевидные аномалии собственной души и судьбы. В контексте родовом, семейном, все выглядело по-другому. Патология облагораживалась ее фатальной неизбежностью.

Унгерн воспринимал фамильную историю как цепь, чьим последним звеном является он сам. Но любопытно, что из этой цепи оказались выброшены два главнейших звена - отец и дед <Знаменитый пират приходился Унгерну не дедом, а прапрадедом.>. Не стоит винить в оплошности Оссендовского, пробел явно сделан не им. О предках-пиратах в Забайкалье и Монголии знали многие, про отца и деда - никто. Унгерн, видимо, не любил о них вспоминать, поскольку оба были людьми сугубо мирных, причем отнюдь не дворянских, занятий. Дед по отцовской линии до самой своей смерти занимал малопочтенную, с точки зрения внука, должность управляющего суконной фабрикой в Кертеле на острове Даго, а отец, будучи доктором философии, жил в Петербурге и подвизался при Министерстве государственных имуществ. Унгерну они должны были казаться досадным, но случайным и не стоящим упоминания буржуазным наростом на величественном древе рода, целиком состоящего из рыцарей, морских разбойников и мистиков.

И кажется, не случайно в разговоре с Оссендовским он о своем прапрадеде говорил как о деде. Надо думать, Унгерн сознательно спрямлял пространство своей полулегендарной генеалогии. От предка-пирата, в Индии ставшего буддистом, проще было перекинуть мостки к самому себе. Промежуточные поколения лишь затемняли картину. «Я, - говорил Унгерн, закончив рассказ о нем, - тоже морской офицер, но русско-японская война заставила меня бросить мою профессию и поступить в Забайкальское казачье войско».

Отчетливо видны три момента, по которым он сближал собственную жизнь с жизнью прапрадеда: буддизм, море и Забайкалье. Окруженная семейными преданиями, эта фигура, наверняка, волновала Унгерна в отрочестве, но еще, может быть, сильнее - впоследствии, когда он начал замечать (а отчасти придумывать) удивительное сходство их судеб.

Реальный Отто-Рейнгольд-Людвиг Унгерн-Штернберг, получивший, кстати, то же прозвище, что и его праправнук - «кровавый», не был ни настоящим моряком, ни корсаром, в том романтическом смысле, какой вкладывался в это слово после Байрона. Все свои морские путешествия он совершил в качестве пассажира, хотя действительно добирался до Индии, до Мадраса, где во время Семилетней войны был арестован англичанами - скорее всего, как подозрительный иностранец, а вовсе не как пират и гроза Индийского океана.

Он родился в 1744 году в Лифляндии, учился в Лейпцигском университете, затем служил при дворе польского короля Станислава Понятовского, уже камергером переехал в Петербург, а в 1781 году купил у своего университетского товарища, графа Карла Магнуса Штенбока, имение Гогенхельм на острове Даго. Здесь барон прожил до 1802 года, когда был увезен в Ревель, судим и сослан в Тобольск (а не в Забайкалье, как говорил Унгерн). Там спустя десять лет он и умер. Барон будто бы построил на скалистом берегу возле своего поместья высокую башню-маяк. В бурные ночи на башне зажигали свет, звонили в колокол, заблудившиеся суда шли на эти сигналы и разбивались о скалы. Их груз становился добычей барона, спасшихся моряков убивали. Так продолжалось, пока Унгерн-Штернберга не выдал губернёр его сына. Он случайно стал свидетелем убийства капитана голландского судна и донес властям.

Процесс над хозяином Гогенхельма стал уголовной сенсацией тогдашней Европы, о бароне писали как об одном из наиболее выдающихся преступников современности. Очень скоро исторический Отто-Рейнгольд-Людвиг Унгерн-Штернберг, став настоящей находкой для романтиков, растворился в персонажах романов, драм и поэм, которые имели весьма отдаленное сходство со своим прототипом. Одни подчеркивали в нем демоническое начало, другие трактовали его как трагического пришельца из прошлого, не нашедшего себе места в настоящем. Но после Первой Мировой войны венгерский исследователь Чекеи, чье любопытство пробудил роман Мора Йюкаи «Башня на Даго», решил попытаться восстановить правду. Изучив материалы судебного процесса, он с удивлением обнаружил, что породивший столько легенд ложный маяк в них даже не упоминается, что барон лишь вылавливал грузы с потерпевших крушение кораблей и причиной его ссылки в Сибирь стала ссора с бывшим владельцем Гогенхельма, в то время - эстляндским генерал-губернатором. Чекеи увидел в Унгерн-Штернберге не кровожадного пирата в звании камергера и с университетским образованием (это-то и волновало!), а трагическую жертву собственной исключительности в чуждой и грубой среде. «Барон, - утверждает Чекеи, - был человеком прекрасного воспитания, необыкновенно начитанным и образованным и вращался в высших сферах. Он был бесстрашным моряком, знающим и трудолюбивым землевладельцем, хорошим отцом. Он был строг как к себе, так и к окружающим, однако справедлив, славился щедростью и проявлял заботу о своих людях. Кроме того, он построил церковь. При всем том он страдал ностальгией по прежней жизни и отличался нелюдимостью. Местная знать не могла по достоинству оценить незаурядную личность барона».

Если бы праправнук прочел эту характеристику своего предка, он мог бы применить к

себе почти каждое слово. Именно так он представлял себя сам - рыцарем среди черни, одиноким и непонятым, и таким его иногда изображали. Унгерн и вправду обладал теми же традиционными феодальными добродетелями, какие приписывал Чекеи своему герою, - храбростью, щедростью, стремлением заботиться о подчиненных, справедливостью в собственном ее понимании. Точно так же он слыл нелюдимом и жаловался на отсутствие интеллигентного общества. Он тоже получил прекрасное воспитание, знал языки, читал Данте, Гете, Достоевского и Анри Бергсона, хотя все это не мешало ему отдавать воспитанниц Смольного института на растерзание солдатне и жечь людей живьем. Тип палача-философа еще только входил в жизнь Европы, и современники замирали перед ним в растерянности. Чтобы устранить противоречие, в те годы казавшееся невероятным, одни искренне считали вымыслом чудовищную жестокость барона, другие столь же искренне подвергали сомнению его образованность. Первые предпочитали говорить не о садизме, а о «вынужденной суровости при поддержании дисциплины», вторые, вопреки фактам, называли Унгерна «дегенератом».

Приблизительно так же Чекеи рассуждал о его прапрадеде. Он уверен, что этот образованный и даровитый человек не мог быть пиратом и, следовательно, пострадал дважды - сначала от судебного произвола, затем от фантазии романистов и поэтов. Но ведь историю с фальшивым маяком придумал не граф Штенбок, не французские и немецкие беллетристы. Хотя на процессе это обвинение не выдвигалось - возможно, по причине его недоказуемости, - но в памяти эстонских и шведских крестьян побережья «хозяин Даго» так навсегда и остался человеком, зажигающим на башне обманный огонь. Маяк, древний символ надежды и спасения, он обратил в орудие зла, сделал вестником гибели, и в этом дьявольском перевертыше при желании можно усмотреть знак действительного, а не сочиненного сходства между прапрадедом и праправнуком.

РОБЕРТ И РОМАН: ОТ АВСТРИИ ДО АМУРА

В плену, на одном из допросов, Унгерн, к удивлению тех, кто его допрашивал, заявил, что не считает себя русским патриотом, и своей «родиной» назвал Австрию. Действительно, родился он не на Даго, как обычно указывается, а в австрийском городе Граце.

Датой рождения Унгерна считается 22 января 1886 года по новому стилю, хотя на самом деле он появился на свет 29 декабря 1885 года, т. е. на двадцать четыре дня раньше. Очевидно, супруги Унгерн-Штернберги, будучи лютеранами, за границей зарегистрировали рождение сына по принятому в Западной Европе григорианскому календарю, но позднее, при поступлении мальчика в гимназию или в кадетский корпус, писарь, переводя григорианский календарь в юлианский, вместо того чтобы вычесть двенадцать дней, наоборот прибавил их к исходному числу. Затем полученная таким образом дата перекочевала в документы полковых канцелярий. После революции ее, само собой, сочли данной по старому стилю, и соответственно, приплюсовали еще двенадцать дней. В итоге Унгерн стал моложе почти на месяц.

Столь же фиктивно его имя, под которым он вошел в историю, и третье подряд смещение такого рода кажется уже символическим. По традиции, распространенной в немецких дворянских семьях, мальчик был назван тройным именем - Роберт-Николай-Максимилиан. Позднее он отбросил последние два, а первое, основное, заменил наиболее близким по звучанию начального слога славянским - Роман. Новое имя ассоциировалось и с фамилией царствующего дома, и с летописными князьями, и с суровой твердостью древних римлян. К концу жизни оно стало казаться как нельзя более подходящим его обладателю, чье презрение к смерти, воинственность и фанатичная преданность свергнутой династии вкупе с некоторой, в расхожем понимании, романтической экзальтированностью, также откликающейся в этом

имени, были широко известны, По отцу - Теодору-Леонгарду-Рудольфу, сын стал Романом Федоровичем.

Отец, самый младший ребенок в семье, имел четырех старших братьев и на серьезное наследство рассчитывать, естественно, не мог. Но в 1880 году, в возрасте двадцати трех лет, он женился на девятнадцатилетней уроженке Штутгарта, Софи-Шарлотте фон Вимпфен. Она, видимо, принесла мужу значительное приданое. Супруги много путешествовали по Европе, сын Роберт, их первый и единственный ребенок, родился лишь на шестом году брака.

После переезда семьи в Ревель, летом 1887 года Теодор-Леонгард-Рудольф совершил поездку по Южному берегу Крыма с целью изучить перспективы развития там виноградарства. Путешествие было предпринято по заданию Департамента земледелия Министерства государственных имуществ. Свои выводы Унгерн-старший изложил в солидном сочинении с таблицами, статистическими выкладками и пр., однако и здесь доктор философии Лейпцигского университета сумел найти возможность высказать некоторые мысли, свидетельствующие об интересе к социальным вопросам. «Россия, - пишет он, например, - страна аномалий. Она одним скачком догнала Европу, миновав ее промежуточные стадии на пути к прогрессу». В доказательство этого тезиса приводится следующий факт: русские стали строить железные дороги сразу вслед за проселочными, а шоссейных практически не знали. Автор видит здесь момент обнадеживающий. Он не подозревает, что резкое увеличение скорости чревато катастрофой, что Россия, прямо с проселка встав на рельсы, вот-вот покатится по ним к революции <Унгерн-старший умер в Петрограде в 1918 году. В это время его сын, оседлавший железнодорожную ветку между станциями Даурия и Маньчжурия, грабил проходившие поезда точно так же, как прапрадед - корабли, проплывавшие мимо Даго.>.

Сочинение Унгерна-старшего - труд профессионала, знакомого и с почвоведением, и с химией. Но это не исключает склонности автора к своеобразному прожектерству. Если сын будет строить планы создания ордена рыцарей-буддистов для борьбы с революцией, то идея отца хотя и скромнее, но замешана на тех же дрожжах. Он предлагает для пропаганды виноделия среди крымских татар учредить «класс странствующих учителей». Этих бродячих проповедников он представлял почти героями и предупреждал, что их миссия потребует «много самопожертвования», поэтому «при выборе таких лиц следует поступать с крайней осмотрительностью». Разумеется, крымские татары как мусульмане с понятной недоверчивостью относились к виноградной лозе, но здесь важнее другое: стремление даже хозяйственное предприятие облечь в формы романтического служения и подвижничества типично для тогдашней российской интеллигенции. Впрочем, зная характер младшего Унгерна, и в отце можно отыскать зародыш той мании прожектерства, которая у сына примет патологические формы.

Было бы неосторожно предположить, что именно подобные черты в характере Теодора-Леонгарда-Рудольфа послужили причиной семейного конфликта, но в 1891 году родители пятилетнего Роберта развелись, мальчик остался с матерью. Через три года она вторично вышла замуж - за барона Оскара Хойнинген-Хьюн Йерваканта. Брак оказался удачным, Софи-Шарлотта родила еще сына и дочь. Семья постоянно проживала в Ревеле. Дом отчима Унгерн считал родным, там он останавливался, изредка приезжая на родину, даже после того, как в 1907 году мать умерла. Его отношения со сводным братом и сестрой были самые родственные.

Некоторое время он посещал ревельскую Николаевскую гимназию, но был исключен. Как объясняет дело один из его кузенов - Арвид Унгерн-Штернберг, Роберт, «несмотря на одаренность, вынужден был покинуть гимназию из-за плохого прилежания и многочисленных школьных проступков». Сказано мягко, но, угадывая в мальчике черты взрослого мужчины, каким он станет впоследствии, трудно поверить в невинность этих

проказ. Как бы то ни было, Роберта решено было отдать в военное заведение. Мать остановила свой выбор на Морском корпусе в Петербурге, куда и отдала сына в 1896 году.

Однако военным моряком Унгерн не стал. Едва началась война с Японией, он решил ехать на фронт и за год до выпуска поступил рядовым в пехотный полк, что было поступком достаточно экстравагантным. Правда, к тому времени, когда Унгерн попал на Дальний Восток, война уже кончилась. Через год, так и не побывав под огнем, он возвращается в Ревель, затем поступает в Павловское пехотное училище в Петербурге. В 1908 году, «по окончании полного курса наук», его производят в офицеры, но не в подпоручики, чего следовало бы ожидать по профилю училища, а в хорунжие 1-го Аргунского полка Забайкальского казачьего войска. Странное для «павлона», как называли блестящих павловских юнкеров, производство и назначение Арвид Унгерн-Штернберг объяснял тем, что поскольку его кузен мечтал служить в кавалерии, то ему как выпускнику пехотного училища «можно было осуществить это свое желание только в казачьем полку».

То, что из всех казачьих войск Унгерн выбрал именно второразрядное Забайкальское, тоже вполне объяснимо. Во-первых, в это время поползли слухи о приближении новой войны с Японией, и он хотел быть поближе к будущему театру военных действий. Во-вторых, «желтыми» казаками (забайкальцы носили погоны и лампасы желтого цвета) командовал тогда генерал Ренненкампф фон Эдлер, с которым Унгерн состоял в родстве: его бабушка со стороны отца, Наталья-Вильгельмина, была урожденная Ренненкампф. Это позволяло надеяться на некоторую протекцию по службе.

В мирное время Забайкальское казачье войско выставляло четыре так называемых первоочередных полка шестисотенного состава: Читинский, Верхнеудинский, Нерчинский и Аргунский, в котором служил Унгерн. Полк базировался на железнодорожной станции Даурия между Читой и границей Китая. Здесь Унгерн быстро стал отличным наездником. «Ездит хорошо и лихо, в седле очень вынослив», - аттестовал его командир сотни.

Под конец жизни барон сделался абсолютным трезвенником, но сам признавался, что бывали времена, когда он напивался до «белой горячки». Наркотики тоже входили в программу развлечений местного офицерства, причем гораздо более сильные, чем заурядный кокаин. Впоследствии, намереваясь организовать для борьбы с революцией «Орден военных буддистов», Унгерн допускал употребление его членами гашиша и опиума, ибо «нужно дать возможность русскому человеку тешить свою буйную натуру». В шестидесяти верстах от границы Срединной Империи раздобыть все это не составляло большого труда.

В кратком описании внешности пленного барона, предваряющем протокол одного из допросов, отмечено: «На лбу рубец, полученный на востоке, на дуэли». Этот шрам на лице своего подчиненного запомнил и Врангель. Он даже полагал, что нервные припадки, которыми страдал Унгерн, и вообще некоторая патология его характера объясняются травмой от того давнего сабельного удара. Другие утверждали, что удар мог быть и сильнее и что барон, сам затеявший ссору, уцелел только благодаря рыцарственности противника.

В начале века дуэли в русской армии не были запрещены, напротив поощрялись как средство поддержания корпоративного сознания офицерства. Традиция столетней давности была искусственно реанимирована сверху в совершенно иных условиях. Соответственно усилился и элемент государственной регламентации в этой деликатной сфере. Отныне поединок перестал быть интимным делом двоих. Дуэли производились не по обоюдному соглашению, а по приговору офицерских судов чести, за чьей деятельностью надзирали командиры полков и дивизий. Они же выступали высшими арбитрами в спорных вопросах. В результате, как это всегда бывает, когда обычай превращается в закон, священный некогда ритуал утратил свою былую значимость. В дивизии, где служил Унгерн, произошел, например, такой инцидент. Офицер нанес товарищу «оскорбление действием», и суд чести вынес постановление о необходимости поединка. Противники сделали по выстрелу с

дистанции в двадцать пять шагов, после чего и помирились. Вскоре, однако, выяснилось, что накануне дуэли секунданты офицера, нанесшего оскорбление, предложили секундантам другой стороны не заряжать пистолетов, а обставить дело лишь «внешними формальностями». Те отказались, и секундантам, которые вместо дуэли решили устроить ее имитацию, пришлось перевестись в другой полк. Тем не менее начальник дивизии, узнав об этом, чрезвычайно возмутился. «Нравственные правила и благородство, - писал он в циркулярном письме полковым командирам, - исчезают в офицерской среде, и среда эта приобретает мещанские взгляды на нравственность и порядочность». Его негодование вызвано тем, что остракизму не были подвергнуты и секунданты противной стороны. Ведь они, выслушав порочащее их постыдное предложение, не оскорбились и не потребовали сатисфакции, а довольствовались всего лишь докладом о случившемся. Да и суд чести, не настояв на обязательности еще двух поединков, не оправдал ни имени своего, ни предназначения <Последним, может быть, случаем, продемонстрировавшим, что старинные традиции воинской чести еще живы, хотя и бессильны воздействовать на ход событий, был следующий: когда в декабре 1917 года прапорщик Крыленко стал большевистским главкомверхом, несколько офицеров через газеты послали ему вызов на дуэль, соглашаясь драться в любом месте и на любых условиях. Ответа, естественно, не последовало.>.

Обвинить Унгерна в «мещанских взглядах на нравственность» не мог бы никто. Все бюргерское, житейское вызывало у него презрение, но через полгода службы в Даурии суд чести предложил ему покинуть полк. Причиной послужила какая-то ссора, закончившаяся не то поединком, не то просто пьяной рубкой на шашках. Всю жизнь он был подвержен внезапным припадкам бешенства, а в подпитии становился и вовсе невменяем. Слава о его диких выходках тянулась за Унгерном с юности, и результатом одной из них стала публичная пощечина, уже во время войны полученная им от генерала Леонтовича.

На этот раз ему помогли влиятельные родственники - сам Ренненкампф или один из родственников по отцу, служивший в Генеральном Штабе. Высочайшим указом Унгерн из Аргунского полка был переведен в Амурский - единственный штатный полк Амурского казачьего войска. В 1910 году он покинул Даурию, чтобы вернуться туда через восемь лет и превратить название этой станции в мрачный символ террора и ужаса.

Уезжая, Унгерн заключил пари с товарищами по полку. Условия были таковы: имея при себе только винтовку с патронами, питаясь исключительно «плодами охоты», он обязывался на одной лошади, без дорог и проводников, проехать по тайге более четырехсот верст от Даурии до Благовещенска, где находились квартиры Амурского полка, а в заключение еще и переправиться на коне вплавь через реку Зею. Этот фантастический маршрут Унгерн, тайги практически не знавший, прошел точно в срок и пари выиграл <Кое-кто из современников называл другой маршрут - от Даурии до Харбина.>. Он сам рассказывал об этом, объясняя свою затею тем, что «не терпит мирной жизни», что «в его жилах течет кровь прибалтийских рыцарей, ему нужны подвиги». Другие для полноты картины добавляли, что из Даурии барон выехал с восседавшим у него на плече любимым охотничьим соколом.

Как всюду на Дальнем Востоке, немалый процент жителей Благовещенска составляли китайцы и корейцы, и после недавних слухов о близящейся войне с Японией к ним относились не без опаски. В каждом узкоглазом парикмахере, содержателе бань или торговце пампушками и гороховой мукой готовы были подозревать переодетого офицера японского Генерального Штаба. В местных куртизанках тоже видели агентов иностранных разведок.

В 1913 году генерал-квартирмейстер штаба Приамурского округа Будберг разослал всем командирам полков следующее письмо: «Штаб Приамурского военного округа получил совершенно секретные сведения, указывающие на то, что во многих общеувеселительных учреждениях, находящихся в пунктах расположения войск округа, очень часто можно встретить гг. офицеров в обществе дам, обращающих на себя внимание своим крикливым

нарядом, говорящим далеко не за их скромность. При выяснении этих лиц нередко оказывалось, что таковые себя именуют гражданскими женами того или иного офицера, а при более подробном обследовании их самоличности устанавливалось, что их можно видеть выступающими на подмостках кафешантанов в качестве шансонеток или же находящимися в составе дамских оркестров, играющих в ресторанах разных рангов на разного рода музыкальных инструментах, причем большая часть этих шансонеток и музыкантш - иностранки. Интимная близость этих шансонеток к г. г. офицерам ставит их в отличные условия по свободному проникновению в запретные для невоенных районы, т. к. бывая в квартирах гг. офицеров, они пользуются не менее свободным доступом ко всему тому, что находится в квартирах их - как секретному, так и несекретному. А если к этому прибавить состояние опьянения и связанную с последним болтливость, то становится ясно, что лучшим условием для разведки являются вышеизложенные обстоятельства, а самым удобным контингентом для разведывательных целей являются: шансонетки, женщины легкого поведения, дамы полусвета, оркестровые дамы. Причем в каждой из них есть еще и тот плюс, что в силу личных своих качеств (как, например, красота) каждая из них может взять верх над мужчиной, и последний, подпав под влияние женщины, делается послушным в ее руках орудием при осуществлении ею преступных целей включительно до шпионства...»

Перед Первой Мировой войной в русских цирках существовала женская борьба и проводились первенства. Тем более никого не удивляли женщины-артистки в ресторанах и кафе, особенно в новых, бурно растущих, многоязычных городах Дальнего Востока. Но под пером приамурского генерал-квартирмейстера кафешантанные певички, несчастные «оркестровые дамы» предстают созданиями могущественными, коварными и крайне опасными. Капитаны и поручики легко становятся их жертвами <Это письмо, пожалуй, можно счесть лишним доказательством того, что в судьбе цельных натур не бывает случайностей. Через пять лет одна из таких шансонеток, петербургская «цыганка» Машка, в качестве любовницы атамана Семенова будет серьезно влиять на политику атаманской Читы, а сам Будберг, заняв пост военного министра у Колчака, станет убежденным и бескомпромиссным врагом семеновского режима.>. Кажется, Будберга больше тревожат сами офицеры, чем те сведения, что могут получить от них иностранные разведки с помощью хабаровских и благовещенских дам полусвета. Сквозь формы официального циркуляра, комичного в своем архаически-казенном обличении «злых женок», прорывается печальное сознание слабости современного мужчины. Но к Унгерну подобные опасения не относились ни в коей мере: к женщинам он никогда не проявлял особенного интереса.

К технике он был столь же равнодушен, как к женщинам, и позднее даже артиллерией в своей дивизии почти не занимался. Поначалу приставленный к пулеметной команде Амурского полка, Унгерн вскоре возглавляет разведку 1-й сотни. Эта сотня имела единственный знак отличия - серебряную Георгиевскую трубу за поход в Китай в 1900 году. Тогда Россия вместе с Англией, Францией, Германией и Японией подавила «боксерское» восстание, в котором умирающий Владимир Соловьев увидел первое движение просыпающегося дракона, первую зарницу грозы, несущей гибель западной цивилизации.

Гарнизонная жизнь текла раз и навсегда заведенным порядком. Офицеры ходили в наряд дежурными по полку, руководили стрельбами, готовили свои подразделения к парадом в табельные дни, следили за перековкой и чисткой лошадей, за хранением оружия, за чистотой казарм, конюшен и коновязей. По утрам с нижними чинами занимались урядники, офицеры вели послеобеденные занятия в конном строю или «пеше по-конному». Другие обязательные предметы: гимнастика, рубка и фехтование, укладка походного выюка, прикладка, полевой устав. Ежедневно проходили «беседы о войне».

Генерал Ренненкампф давно покинул Забайкалье, война с Японией так и не состоялась. На быструю карьеру рассчитывать не приходится. Лишь на четвертом году службы Унгерн

получает чин сотника - производство следует в установленные сроки, если не медленнее. Возможностей совершать подвиги в Благовещенске оказалось не больше, чем в Даурии. Гонимый гарнизонной скукой, Унгерн в 1911 году отпрашивается в полугодовой отпуск и уезжает на родину, в Ревель. Между тем на северной окраине Срединной Империи, в Монголии, назревают события, в которые он вмешается дважды - через два года, а затем еще семь лет спустя.

«СТАТЬ ИМПЕРАТОРОМ КИТАЯ...»

Пржевальский сравнил жизнь монгольских кочевников, когда-то покоривших полмира, с потухшим очагом в юрте. Тремя десятилетиями позже один из русских свидетелей пробуждения потомков Чингисхана и Хубилая заметил, что великий путешественник ошибался, как ошибся бы случайный путник, зашедший в кибитку монгола и по отсутствию в ней огня заключивший, что очаг уже потух. Тот, кто живет среди кочевников, знает: «Стоит только умелой руке хозяйки, вооруженной щипцами, сделать два-три движения, как из-под золы появляется серый комок. Насыплет она на него зеленоватого порошка конского помета, подует на задымившийся порошок, и вспыхнет огонек, а если подбросить на очаг несколько кусков аргала (сухой навоз. - Л. Ю.), то перед удивленным взором путника блеснет яркое ровное пламя, ласкающее дно чаши, в которой закипает чай».

К началу века в Халхе <Халха, или Внешняя Монголия - Монголия в современных границах, в отличие от Внутренней Монголии, простиравшейся к северу за Великой Китайской стеной. Последняя входила в провинцию Хейлуцзян и до сих пор остается в составе Китая.>, находившейся под властью Пекина, жили сотни, а спустя десятилетие - тысячи русских крестьян-колонистов, купцов и промышленников. Были проведены скотопрогонные тракты, открывались ветеринарные пункты и фактории. Сибирские ямщики стали полными хозяевами на двухсотпятидесятиверстной дороге между пограничной Кяхтой и столицей Монголии - Ургой. Но все это не шло ни в какое сравнение с масштабами китайской колонизации. Нарастал поток переселенцев, распахивались пастбища, хошунные князья лишались своей наследственной власти в пользу пекинских чиновников, чьи законные и, главное, незаконные поборы перешли все мыслимые пределы. При торговых операциях обмануть простодушных кочевников не составляло труда, процветало ростовщичество. Фактически все монгольское население оказалось в долговом рабстве у китайских фирм. Но покорность монголов казалась безграничной, неспособность к сопротивлению - фатальной, как у их любимого животного, верблюда, который при нападении волка лишь кричит и плюется, хотя мог бы убить его одним ударом лапы; всякая тварь может обидеть это неприхотливое несчастное создание, даже птицы расклеывают ему натертые седлом ссадины между горбами, а он только жалобно кричит и крючком загибает хвост.

Правда, еще в годы русско-японской войны во Внутренней Монголии начал действовать партизанский отряд Тогтохо-тайджи. Повстанцы выдержали ряд мелких стычек с китайцами, после чего их командир стал национальным героем со всеми присущими этому званию атрибутами, какими награждает своих любимцев народ, еще не разучившийся творить мифы: чудесной силой, вездесущностью, неуязвимостью для стрелы и пули. Тем не менее мало кто всерьез допускал, что монголы, как писали их русские доброжелатели, «сбросят с себя маразм пасифизма». Скрытый под золой огонь вспыхнул неожиданно даже для тех европейцев, кто годами жил в Халхе.

В конце 1911 года Монголия провозглашает свою независимость, ургинский первосвященник Богдо-гэген Джебцзун-Дамба-хутухта - «живой Будда» торжественно восходит на престол. Отныне монголы даже летоисчисление начинают вести со дня его коронации: Халха вступает в «эру многими возведенного», т. е. избранного народом,

всемонгольского монарха - Богдо-хана.

В начале первого года этой эры Унгерн из Ревеля возвращается в Благовещенск. За событиями в Китае он внимательно следит по газетам. Династия Цинь пала, но и республиканское правительство не готово смириться с утратой северной провинции. Война с китайцами идет и во Внутренней Монголии, и на западе Халхи.

Как только Унгерн узнает, что в Урге по соглашению с Россией учреждается военная школа с русскими инструкторами, он подает рапорт с просьбой отправить его в Монголию. Ему отказывают. Тогда он решает выйти в отставку и поступить в монгольскую армию как частное лицо. В июле 1913 года Унгерн пишет прошение на Высочайшее имя об увольнении его в запас. Мотивировка расхожая: «Расстроенные домашние обстоятельства лишают меня возможности продолжать военную Вашего Императорского Величества службу...»

Прохшение уходит в Петербург, но ждать ответа Унгерн не желает. Он боится, что эта война, как и японская, кончится без него. Приказ о зачислении сотника Унгерн-Штернберга в запас без мундира и пенсии приходит лишь спустя пять месяцев. К этому времени его давно уже нет в полку.

В конце августа 1913 года молодой колонист, как называли русских, постоянно живущих в Монголии, доверенный представитель крупной сибирской фирмы Алексей Бурдуков должен был из Улясутая возвращаться в свою факторию на реке Хангельцик в Кобдоском округе на северо-западе Халхи. Перед отъездом он зашел в местное русское консульство, чтобы, как обычно, прихватить с собой пакеты с письмами и посылками в Кобдо. Здесь консул Вальтер попросил его немного задержаться, сказав, что даст ему в дорогу интересного спутника, и не без улыбки, надо полагать, показал принадлежащее этому человеку официальное командировочное удостоверение, как ни в чем не бывало завизированное консульской печатью. Оно гласило (текст Бурдуков через много лет воспроизводит по памяти): «Такой-то полк Амурского казачьего войска удостоверяет в том, что вышедший добровольно в отставку поручик (общееармейское соответствие чину сотника. - Л. Ю.) Роман Федорович Унгерн-Штернберг отправляется на запад в поисках смелых подвигов».

Тут же явился и владелец этого оригинального удостоверения, который, оказывается, только что прискакал из Урги (более 700 верст) и рвался немедленно, не задерживаясь, ехать дальше в Кобдо «Он был поджарый. - вспоминает Бурдуков, - обтрепанный, неряшливый, обросший желтоватой растительностью на лице, с выцветшими застывшими глазами маньяка. По виду ему можно было дать лет около тридцати, хотя он в дороге и отрастил бородку. Военный костюм его был необычайно грязен, брюки протерты, голенища в дырах. Сбоку висела сабля, у пояса револьвер, винтовку он попросил везти своего улачи (проводника. - Л. Ю.). Выюк его был пуст, болтался только дорожный брезентовый мешок, в одном углу которого виднелся какой-то маленький сверток...» <Кажется, в Унгерне может открыться нечто важное, чуть ли не главное, если знать, что хранилось в этом свертке, какая единственная вещь была ему необходима в пути кроме оружия.>

Судя по всему, Унгерн собрался на войну с тем же, исключая сокола, снаряжением, с каким он шел и ехал по дальневосточной тайге четыреста верст от Даурии до Благовещенска.

«Русский офицер, скачущий с Амура через всю Монголию, не имеющий при себе ни постели, ни запасной одежды, ни продовольствия, - подытоживает свои наблюдения Бурдуков, - производил странное впечатление». Оно еще усилилось, когда по дороге Унгерн сообщил, зачем ему понадобилось в Кобдо. Его планы были таковы: поступить на монгольскую службу, присоединиться к отряду Дамби-Джамцана, о чьем существовании он узнал из газет, и вместе с ним «громить китайцев».

Есть некая закономерность в том, что его выбор пал на этого человека. Дамби-Джамцан представлял собой тот тип азиатского лидера, напрямую связанного с потусторонними силами, который должен был казаться Унгерну единственно возможным типом истинного

воздья. Он сам впоследствии хотел бы стать именно таким.

Дамби-Джамцан-лама, чаще называемый просто Джа-ламой, - фигура фантазмагорическая даже для Монголии начала века, еще живущей в круговороте вечно повторяющихся событий, в вечном настоящем, где спрессованы и неотличимы друг от друга слои разных исторических эпох. Само имя Джа-ламы оказывало магическое воздействие на кочевников от Астрахани до Великой Китайской стены и от Гималаев до Байкала. Такие люди появляются на рубеже времен, чтобы, используя мифы уходящего времени, утвердиться в том, что идет ему на смену. Разбойник и странствующий монах, знаток буддийской метафизики и авантюрист с замашками тирана-реформатора, он всю жизнь балансировал на грани реальности, причем с неясно выраженным знаком по отношению к линии между тьмой и светом, и даже в 1929 году, спустя шесть лет после его смерти, монголы допытывались у Юрия Рериха, кем же на самом деле был Джа-лама - бурханом или мангысом, злым духом.

По одним сведениям, он - астраханский калмык Амур Санаев, по другим - торгоут Палден. Но обе версии его происхождения сходились в том, что родился Джа-лама в России. Рассказывали, будто мальчиком он попал в Монголию, стал послушником монастыря Долон-Нор, затем в числе наиболее способных учеников был отправлен в Тибет, много лет провел в знаменитой обители Дре-Пунья в Лхассе, бывал в Индии, но однажды якобы в пылу богословского спора убил товарища по монашеской келье и бежал в Пекин. Там он некоторое время служил при ямыне, составлявшем календари. Наконец в 1890 году Джа-лама объявился в Монголии, выдавая себя не то за сына Темурсаны, который в свою очередь был сыном Амурсаны - джунгарского князя, полтора века назад восставшего против китайцев, не то за самого Амурсану, вернее за его новое перерождение.

В Монголии буддийское учение о переселении душ и возрождении в живых людях духа праведников, достигших нирваны, не было отвлеченной умозрительной теорией, хубилганы-перерожденцы встречались в каждом монастыре. И если бы в России самозванец обязательно должен был быть приближен во времени к тому государю, чье имя он возлагал на себя и чья смерть объявлялась мнимой, то для монголов проблема временной совместимости попросту не существовала. Не было нужды отрицать и гибель героя. Будущий спаситель родины вполне мог физически умереть много столетий назад, а не заснуть волшебным сном, как в немецком предании спят в горной пещере рыцари Фридриха Барбароссы, а в чешском - короля Вацлава, чтобы пробудиться и прийти на помощь своему народу в трудный час его истории.

В 1755 году Амурсана поднял антимагичжурское восстание, был разбит, бежал в Россию и умер от оспы в том же городе, где позднее скончался ссыльный прапрадед Унгерна, - в Тобольске. Требование Пекина выдать его тело было отвергнуто Петербургом. Ближайший соратник Амурсаны, Шидр-ван, был схвачен и удушен, после чего, согласно легенде, у китайского императора родился сын с красной полосой вокруг шеи: это означало, что в нем возродился дух Шидр-вана. Младенца казнили особо страшным способом - все его тело по кусочкам выщипали сквозь дырку в монете-чохе, но спустя год императрица вновь родила сына, и его кожа оказалась пестрой, покрытой оставшимися от прежней казни шрамами. В третий раз воплощенный Шидр-ван был убит с помощью лам-чародеев и больше уже не возрождался. Но над Амурсаной, умершим в Тобольске, соответствующие заклинания не были произнесены, его дух

сохранил способность к новым воплощениям. Хотя в реальной истории он сначала сотрудничал с Пекином, искал поддержки Циней в борьбе за ханский престол, в легенде о нем все это было забыто. В Монголии верили, что наступит время, когда он придет с севера во главе большого войска и освободит народ от китайского владычества. Каждый год, как только служащие русских скотопромышленных фирм, на зиму уезжавшие в Сибирь, весной

возвращались обратно, монголы неизменно интересовались, не слышно ли в России каких-нибудь известий об Амурсане. И если Емельян Пугачев прекрасно знал, разумеется, что он вовсе не Петр III, а Гришка Отрепьев отнюдь не считал себя царевичем Дмитрием, то в буддийском мире дело обстояло иначе: сам Джа-лама при всех его несомненных авантюристических наклонностях совершенно искренне мог видеть в себе воплощение Амурсаны.

В том же 1890 году он был арестован китайцами, но вскоре выпущен из-под стражи и опять начал свои скитания по Центральной Азии. Через десять лет, ненадолго вынырнув из небытия, Джа-лама прибил к экспедиции Козлова, по его поручению ездил в Лхассу под именем Ширет-ламы, посетил Кобдо и вновь бесследно исчез, чтобы возникнуть в Монголии уже в 1912 году, в тот момент, когда отряды ургинского правительства начали осаду занятой китайцами Кобдоской крепости. Здесь Джа-лама приобрел огромное влияние на местных князей и стал одним из руководителей осаждавшей Кобдо монгольской армии. После того как город был взят штурмом, он превратился в самого могущественного человека на северо-западе Халхи. Через год это уже не странствующий монах, а владетельный князь. У него около двух тысяч семей данников, несколько сотен солдат и масса челяди. Неподалеку от монастыря Мунджик-хурэ он утвердил свою ставку, распланированную с необычайной правильностью. Над десятками юрт возвышался поражающий воображение монголов, невиданный по размерам и роскоши белый шатер-аил самого Джа-ламы (в разобранном виде его перевозили на двадцати пяти верблюдах). Рядом выкопали искусственное озеро, в ставке поддерживалась исключительная чистота. В ее пределах запрещалось испражняться не только на зеленую траву, как предписывалось и монастырскими уставами, но и на землю, что многими воспринималось как шокирующее нововведение.

Джа-лама не пил, не курил и сурово наказывал подданных за пристрастие к алкоголю. Лам, уличенных в пьянстве, он «расстригал» и принуждал идти к нему в солдаты. Вообще ему свойственны были черты правителя, пытающегося ввести элементы модернизации на западный манер. Своих цэриков он одевал в русскую военную форму, сам под монашеской курмой носил офицерский мундир и выписывал из России сельскохозяйственные машины, намереваясь приучить часть данников к земледелию. При этом он требовал поклонения, безусловной покорности и собственноручно пытал врагов, вырезая у них полосы кожи со спины. Бурдукову говорили, что сделанное после взятия Кобдо новое знамя из парчи Джа-лама приказал по древнему обычаю освятить кровью пленного китайца, которого зарубили у подножия знаменного древка.

Власть и влияние Джа-ламы основывались на мистическом страхе перед ним. Утверждали, что он святой, что ему покровительствуют добрые духи и грозные докшиты - хранители «желтой религии», а сам Джа-лама умело поддерживал веру в свои сверхъестественные способности. Бурдуков, живший неподалеку от Мунджик-хурэ, однажды по ошибке сфотографировал его на уже заснятой пластине, два кадра совместились, и при проявлении сам Бурдуков очутился на правом рукаве Джа-ламы. Это было истолковано как сотворенное последним чудо.

Но Юрий Рерих не сомневался, что этот человек был посвящен в таинства тантрийской магии и обладал даром гипнотизера. Живший в Монголии венгр Йозеф Гелета рассказывает, как однажды, преследуемый казаками, Джа-лама очутился на берегу озера Сур-нор: «Перед ним была водная гладь, позади - его преследователи. Монголы из находившегося поблизости небольшого кочевья, затаив дыхание, ждали, что в следующий момент Джа-лама будет схвачен. Внезапно они с изумлением заметили, что казаки свернули в сторону и вместо того, чтобы скакать прямо к Джа-ламе, который спокойно стоял в нескольких ярдах от них, галопом бросились к другому концу озера. „Он там! - кричали казаки. - Он там!“ Но „там“ означало разные места для каждого из них, и казаки, разделившись, поскакали в разные

стороны. Затем они вновь съехались вместе и напали друг на друга со своими длинными пиками, убивая один другого. При этом каждому из них казалось, что он убивает Джа-ламу». Гелета хотя бы честно признается, что не был свидетелем случившегося. Но Оссендовский, имевший чисто беллетристическую слабость вводить себя как действующее лицо в услышанные от других истории, будто бы собственными глазами видел, как Джа-лама ножом распорол грудь слуги, а тот в результате оказался цел и невредим. Он же передает рассказ о том, как Джа-лама перед штурмом Кобдо, чтобы поднять боевой дух осаждающих, внушил видение прекрасного будущего освобожденной от китайцев Монголии, а затем воочию показал судьбу тех, кто падет в этой битве. Якобы его таинственной властью солдаты Максаржава увидели «шатер или храм, наполненный ласкающим глаза светом»; вокруг алтаря с жертвенными свечами на шелковых подушках восседали монголы, павшие под стенами Кобдоской крепости, на столах перед ними стояли блюда с дымящимся мясом, вино, чай, печенье, сушеный сыр, изюм и орехи, герои «курили золоченые трубки и беседовали друг с другом».

Эти и подобные им истории Бурдуков мог рассказать Унгерну. В дороге тот все время расспрашивал своего спутника о Джа-ламе.

Едва они отъехали от Улясутая, барон принялся хлестать нагайкой улачи, требуя, чтобы тот гнал вскачь. Перепуганный улачи припустил коней, и всадники «лихо понеслись по Улясутайской долине». Пятнадцать станций-уртонов до Кобдо (450 верст) миновали за трое суток.

Скакали во весь дух, почти на каждой станции Унгерн «дрался с улачами», и Бурдукову было стыдно перед монголами, что в России «такие невоспитанные офицеры». Он недобрым словом поминал консула, подсунувшего ему в попутчики этого безумца, сказать которому что-нибудь поперек было «просто опасно». Сам Бурдуков, крестьянский сын, мальчиком попавший в Монголию и проживший здесь всю сознательную жизнь, относился к монголам как равный к равным, с уважением, хотя и без всякой сентиментальности. Он принадлежал к новому поколению русских в Халхе. Для него слова Пржевальского о том, что в путешествии по Центральной Азии «необходимы три проводника - деньги, винтовка и нагайка», никак не могли быть практическим руководством. Но если Пржевальский категоричность своего совета оправдывал тем, что «местное население, веками воспитанное в диком рабстве, признает лишь грубую осязательную силу», то спустя годы Унгерн сделает упор не на рабстве, а на преклонении перед силой и поставит это в заслугу монголам - в противовес европейцам, которые вместе с уважением к сильному потеряли одухотворяющее начало жизни.

Барон оказался неумолимым наездником, но человеком до крайности молчаливым. Когда же в трехдневном пути все-таки разговорились, он сообщил Бурдукову, что ему «нужны подвиги», что «восемнадцать поколений его предков погибли в боях, на его долю должен выпасть тот же удел». На ночлегах, готовясь к службе у Джа-ламы, он добросовестно записывал монгольские слова и с помощью Бурдукова пытался учиться говорить.

«Особенно запомнилась мне, - вспоминает Бурдуков, - ночная поездка от Джаргаланта до озера Хара-Ус-Нур. По настоянию Унгерна мы выехали ночью. Сумасшедший барон в потемках пытался скакать карьером. Когда мы были в долине недалеко от озера, стало очень темно, и мы вскоре потеряли тропу. К тому же дорога проходила по болоту вблизи прибрежных камышей. Улачи остановился и отказался ехать дальше. Сколько ни бил его Унгерн, тот, укрыв голову, лежал без движения. Тогда Унгерн, спешившись, пошел вперед, скомандовав нам ехать за ним. С удивительной ловкостью отыскивая в кочках наиболее удобные места, он вел нас, кажется, около часу, часто попадая в воду выше колена, и в конце концов вывел из болота. Но тропку нам найти не удалось. Унгерн долго стоял и жадно втягивал в себя воздух, желая по запаху дыма определить близость жилья. Наконец сказал,

что станция близко. Мы поехали за ним, и действительно - через некоторое время послышался вдали лай собак. Эта необыкновенная настойчивость, жестокость, инстинктивное чутье меня поразили».

В сентябре 1921 года между пленным Унгерном и одним из тех, кто его допрашивал в Иркутске, - членом реввоенсовета 5-й армии Мулиным - состоялся следующий диалог: «Где ваш адъютант?» (Вопрос Мулина). - «Дня за два (до офицерского мятежа в Азиатской дивизии. - Л. Ю.) сбежал. Он оренбургский казак». - «Это Бурдуков?» «Нет, Бурдуков скот пасет».

Мулин совершает классическую ошибку того времени, стоившую жизни многим несчастным по обе стороны фронта: он путает скотопромышленника, владельца шерстемойки Бурдукова с унгерновским порученцем и экзекутором Бурдуковским. Но показателен ответ барона. В кровавой сумятице последних месяцев он не только помнит давнего случайного спутника по трехдневной поездке из Улясутая в Кобдо, но и знает, что тот жив, до сих пор живет в Монголии. Очевидно, история их знакомства не исчерпывалась этим мимолетным эпизодом.

Бурдуков уверяет, что по прибытии в Кобдо он видел Унгерна лишь однажды. Встреча произошла на следующий день, когда оба они явились в местное консульство. На этот раз Унгерн выглядел иначе: он был выбрит, в чистом обмундировании, которое одолжил у приятеля, казачьего офицера Резухина <Через семь лет, во время похода в Монголию, Резухин стал правой рукой Унгерна, команди-ром одной из двух бригад Азиатской дивизии.>. Но, видимо, Бурдуков не договаривает. Свои воспоминания он писал в конце 20-х годов, в Ленинграде, где преподавал монголистику в университете, рассчитывал на публикацию и по понятным причинам предпочел умолчать о дальнейших отношениях с бароном, даже если они и были. Он предельно кратко сообщает, что и консул, и начальник русского гарнизона в Кобдо к идее Унгерна отнеслись без всякого энтузиазма. Идти на службу к Джа-ламе ему было строжайше запрещено, после чего барон вернулся в Россию. Создается впечатление, будто он тотчас же и уехал. Между тем Унгерн прожил в Кобдо более полугода. За это время Бурдуков, постоянно туда наезжавший из своей фактории, наверняка встречался с ним и мог свозить его в недалекий Гурбо-Ценхар, тогдашнюю ставку Джа-ламы. Вряд ли Унгерн упустил бы возможность повидать этого человека, о котором в те месяцы говорила вся Монголия, и полубопытствовать, чему научили монаха-воина отшельники таинственного Тибета <В начале 1914 года - не то по тайной просьбе Урги, где боялись растущего могущества Джа-ламы, не то по распоряжению из России, - Джа-лама был схвачен казаками прямо у себя в ставке и увезен в Сибирь.>.

Когда через двадцать лет Арвид Унгерн-Штернберг решил стать биографом своего знаменитого кузена, последовало предостережение другого, по возрасту более близкого Унгерну, родственника: «Если писать биографию Романа, опираясь только на достоверные факты, она будет бесцветной и скучной. При более художественном описании появляется опасность пополнить и без того большое количество рассказываемых о нем историй». Но и те авторы, кто вовсе не претендовали на художественность, в попытках как-то объяснить неожиданное превращение заурядного белого офицера в повелителя Монголии его первую поездку туда расцвечивали фантастическими подробностями. Врангель писал, будто Унгерн стал командующим всей монгольской конницей, в сражениях с китайцами выказывал чудеса храбрости и получил в награду княжеский титул. Другие, напротив, утверждали, что inferнальный барон, сколотив шайку головорезов, грабил караваны в Гоби. На самом деле, все обстояло проще и прозаичнее. После того, как воевать под окропленным человеческой кровью знаменем Джа-ламы ему запретили, Унгерн поступил сверхштатным офицером в Верхнеудинский казачий полк, частично расквартированный в Кобдо. Здесь он жил без особых приключений, в надежде, что затухающая война вспыхнет вновь. Но ему не повезло и

на этот раз. В конце 1913 года было подписано русско-китайское соглашение об автономии Внешней Монголии под формальным сюзеренитетом Пекина, военные действия в Кобдоском округе прекратились, и зимой, получив из Благовещенска документы о своей отставке, Унгерн уехал на родину, в Ревель. О его планах на будущее родные ничего не знали.

Как пишет Арвид Унгерн-Штернберг, за время пребывания в Монголии его кузен «приобрел обширные знания о стране и населяющих ее людях». Трудно судить, какого рода и насколько обширны были эти знания, но дух народа Унгерн почувствовать сумел. Позднее он говорил, что уже тогда «вера и обычаи монголов ему очень понравились». Возможно, в Кобдо он начал изучать монгольский и китайский языки. В мирном ревельском доме отчима ему, должно быть, приятно было почувствовать себя человеком, прикоснувшимся к принципиально иному, чуть ли не ирреальному в своей нереальности миру. Восток был в моде, интерес многочисленной родни подогревал и питал воображение. Между прочим, в семье было распространено мнение, что Роберт обладает богатой фантазией и сам часто верит в собственные вымыслы. Как правило, эту черту приписывают тем людям, кому симпатизируют, обычно заблуждаясь относительно степени самообмана. Но она предполагает горячность и увлеченность рассказчика. Молчаливый, мрачный, замкнутый, Унгерн с близкими людьми бывал иным. При их сочувственном внимании он вполне мог возбуждать в себе приятное сознание пережитых в Азии чудес, как герой «Дара» Владимира Набокова, путешественник по Монголии и Тибету: «Во время песчаных бурь я видел и слышал то же, что Марко Поло - „шепот духов, отзывающихся в сторону,, и среди странного мерцания воздуха без конца проходящие навстречу вихри, караваны и войска призраков, тысячи призрачных лиц...” Или как тот же Оссендовский: „Я слышал страшные дикие голоса, раздававшиеся в ущельях и горных пропастях. Я видел огни на болотах и горящие озера, смотрел на недосыгаемые горные вершины, наталкивался на скопления извивающихся змей, зимующих в ямах, всходил на скалы, похожие на окаменевшие караваны верблюдов и группы всадников. И всюду я встречал голые скалы, складки которых в лучах заходящего солнца напоминали мне мантию Сатаны...”

Может быть, в это время Унгерн впервые ощутил себя полноправным наследником легендарного прапрадеда, который тоже странствовал по Востоку и тоже вывез оттуда интерес к буддизму. По аналогии с Джа-ламой - воплощенным Амурсаной, Унгерн, с его склонностью к мистике, способен был вообразить, что в нем самом возродился дух Отто-Рейнгольда-Людвига Унгерн-Штернберга.

Но не меньше волновали его и азиатские чудеса иного рода. В Ревеле, разговаривая с кузеном Эрнстом о ситуации в Монголии и на Дальнем Востоке, Унгерн сказал: «Отношения там складывались таким образом, что при удаче и определенной ловкости можно было стать императором Китая» <Эрнст Унгерн-Штернберг должен был вспомнить этот разговор, узнав, что в 1919 году в Харбине его кузен женился на маньчжурской принцессе императорской крови.>. Разумеется, он имел в виду стремительные карьеры китайских генералов, чьи звезды внезапно восходили на дымном, озаряемом кровавыми отблесками гражданской смуты политическом небосклоне бывшей Срединной Империи, ныне Китайской республики. Но в этой фразе сквозит и очевидное сожаление об упущенных возможностях, какая-то глубоко личная окраска; иначе собеседник ее и не запомнил, и не повторил бы спустя два десятилетия в беседе с человеком, пишущим биографию Унгерна. Это не просто наблюдение. Конечно же, Унгерн не примерял на себя роль богдыхана. Скорее он мысленно подыскивал человека, способного занять опустевший престол Циней, а такой человек вновь, как во времена Чингисхана и Хубилая, мог появиться в монгольских степях. Повстанцы во Внутренней Монголии требовали восстановить в правах свергнутую маньчжурскую династию, под тем же спекулятивно-легитимистским лозунгом выступало и правительство Богдо-гэгена. Для Унгерна Монголия всегда была родиной великих завоевателей. Может быть, он втайне

льстил себе мыслью, что при его активном содействии тот же Джа-лама, сделав ставку на изгнанных Циней, мог бы с большим успехом разыграть выпавшую ему счастливую карту. Во всяком случае Китай прочно входит в сознание Унгерна как рай для отважных авантюристов, как чудесный мир, где в разрушенных структурах власти путь к ее вершинам сказочно короток. Но при всем его честолюбии Унгерну важно было и другое. Когда смута охватит и Россию, он по-прежнему будет смотреть на Восток. Под конец жизни план реставрации Циней, чтобы мощью возрожденной империи воздействовать на Россию и Европу, станет его навязчивой идеей. Умрет он в твердом убеждении, что «спасение мира должно произойти из Китая».

Старый друг Унгерна, барон Альфред Мирбах, женатый на его сводной сестре, писал о нем, ссылаясь на слова жены: «Только люди, лично знавшие Романа, могут объективно оценить его поступки. Одно можно сказать: он не как все...»

Если здесь еще легко заподозрить преувеличение, вызванное родственными чувствами, то другое схожее свидетельство принадлежит человеку постороннему - русскому поселенцу в Монголии, участнику нескольких исследовательских экспедиций Ивану Кряжеву. Он помнил Унгерна по жизни в Кобдо в 1913 году и рассказывал: «Барон вел себя так отчужденно и с такими странностями, что офицерское общество хотело даже исключить его из своего состава, но не смогли найти за ним фактов, маравших честь мундира». И далее: «Унгерн жил в Кобдо совершенно на особицу, ни с кем не водился, всегда пребывал в одиночестве. А вдруг ни с того ни с сего, в иную пору и ночью, соберет казаков и через весь город с гиканьем мчится с ними куда-то в степь - волков гонять, что ли. Толком не поймешь. Потом вернется, запрется у себя и сидит один, как сыч. Но, оборони Бог, не пил, всегда был трезвый. Не любил разговаривать, все больше молчал...»

Видимо, в это время Унгерн уже не пьет. Последующие обвинения в пьянстве, скорее всего, связаны с тем, что окружающие просто не умели иначе объяснить, каким образом аристократические манеры, французская речь, замкнутость, высокомерная обособленность внезапно оборачиваются приступами бешенства, вспышками отчаянной удали или немотивированной жестокости. Это приписывали, естественно, влиянию алкоголя. Привычка Унгерна к одиночеству питала такие слухи. Общество казачьих офицеров, стать членом которого он так стремился в юности, его разочаровало. В Ревеле он водил несравненно более интересные знакомства - был, например, в дружеских отношениях с адмиралом Зальцем.

Кряжев завершает свой рассказ об Унгерне очень точным и выразительным наблюдением: «В нем будто бы чего-то не хватало...» Ошибки тут нет: не ему чего-то не хватало, а именно «в нем». Эта странная пустота в душе, никакими социальными причинами, как и обстоятельствами биографии, не объяснимая, выдавала себя в глазах. Бурдуков говорит о «выцветших, застывших глазах маньяка». Другой мемуарист описывает их как «бледные», третий вспоминает о «водянистых, голубовато-серых, с ничего не говорящим выражением, каких-то безразличных». На немногих сохранившихся фотографиях Унгерна тоже заметна в его взгляде некая стертость, глаза кажутся не холодными, а скорее белесыми. Видимо, у него плохо были развиты окологлазные мышцы, чья игра способна придать человеческому взгляду бесконечное множество тончайших оттенков. Этот физиологический дефект связан обычно с недоразвитием эмоциональной сферы. Не случайно Унгерн почти не имел друзей и равнодушно, а то и неприязненно относился к женщинам. Его контакты с людьми были односторонними, в ответном отклике он не нуждался. Как пишет человек, не однажды с ним встречавшийся, в разговоре Унгерн «совершенно не заботился о производимом впечатлении, в нем не замечалось и тени какого-либо позерства». Но и это вызывающее уважение свойство характера обусловлено, в сущности, той же исходной причиной - эмоциональной блеклостью, отсутствием потребности в чисто человеческих связях. Унгерн никогда не корректировал свое поведение реакцией собеседника, она его попросту не интересовала. Отсюда же и его

неряшливость, которую отмечали многие - нестриженные усы и волосы, грязный костюм. Комнаты, где он жил, напоминали конюшню. Его аскетизм в быту общеизвестен. Ему было все равно, что есть и на чем спать. Спал он, подложив под голову седло - в буквальном смысле. Причем и тут не было позы. Такой аскетизм - тоже форма разрыва с миром и с людьми и возможен лишь при условии контакта с иной реальностью. Применительно к Унгерну корректнее будет говорить не о религиозности - по-настоящему религиозным человеком он не был - а именно о мистицизме, окрашенном в политические тона. Не исключено, что он страдал галлюцинациями. Его тяга к оккультизму - всякого рода предсказаниям, гаданиям, знаменам - порождена сознаваемым, но чувственно не переживаемым одиночеством, постоянным болезненным желанием нащупать точку опоры за пределами видимого мира. Ему требовалось потустороннее подтверждение истинности созданной им идеологической схемы. Ее цельность и внутренняя непротиворечивость достигалась игнорированием сигналов обратной связи на человеческом уровне. Бедность эмоциональной сферы позволяла не реагировать на такие сигналы, считать их не заслуживающими внимания, не имеющими ценности. И нет смысла противопоставлять чудовищную жестокость Унгерна его бескорыстию, идеализму или отсутствию позерства, как то делали некоторые заинтересованные современники, старательно сортируя достоинства и пороки этого человека, раскладывая их на разные чаши весов, чтобы установить точное соотношение в нем добра и зла. Одно здесь вытекает из другого, ибо и то и другое связано с определяющим моментом психологии параноика вообще, а параноика у власти - особенно: с представлением о собственной исключительности как объективном факте. Человек параноического склада рассматривает себя как единственно живого, существующего в окружении фантомов, по отношению к которым позволено все, поскольку они есть лишь эманация неких сил и начал, а не такие же люди, как он сам. Этот тип личности характерен не столько для тиранов патриархального толка, пусть даже самых кровавых, сколько для творцов тотальных утопий. Унгерн - не исключение. Система, которую он пытался воплотить в жизнь, была именно утопической, хотя и построенной на принципах, прямо противоположных идеологии его врагов.

О психической патологии свидетельствует и безумная энергия Унгерна, какой часто обладают люди с навязчивыми идеями. Эта энергия, порой превосходящая, кажется, меру человеческих возможностей, тем более изумляла в сочетании с астеническим сложением барона. Все описывают его практически одинаково: высокого роста, сухой, тонкий, держится очень прямо. Короткое туловище на длинных «кавалерийских» ногах, маленькая голова. Волосы светлые, с рыжеватым оттенком, не слишком густые. Правильный нос, плотно сжатые губы под довольно большими усами. Лицо «ординарное, с сильно выраженным тевтонизмом остзейского типа, но отнюдь не прусского» (в то время подобные этнофизиогномические тонкости еще в порядке вещей). Склонный к напыщенности Оссендовский говорит о лице, «похожем на византийскую икону». Никогда не выдавший Унгерна иначе как на фотографиях эмигрантский журналист может прибавить, что такие лица, «дышащие свирепостью и дикой волей», были у викингов, «рубившихся на кровавых тризнах». Спокойный наблюдатель снижает этот нордический образ: «Походная жизнь и привычка повелевать, жизнь в условиях узковоенной среды, все это наложило на него отпечаток солдатчины, хотя и не очень заметный».

ОЧИЩЕНИЕ И КАРА

В сентябре 1921 года, уже не на допросе, а на судебном заседании Унгерна спросили: «Ваш родственник, кажется, проходил по делу Мясоедова?» <Полковник Генерального штаба Мясоедов был обвинен в шпионаже в пользу Германии и повешен.> Вопрос явно рассчитан

на публику и находящихся в зале газетных корреспондентов. Спрашивающий сам все знает и готов уличить подсудимого, если ответ будет отрицательным. Унгерн равнодушно соглашается: «Да, дальний». Для него это не имело значения. Но тот, кто задал ему этот вопрос, как бы между делом стремился подчеркнуть, что пленному барону изначально, кровно, так сказать, чужды государственные интересы России, раз он действовал заодно с японцами. Намек достаточно грубый, учитывая, что большевики сами были связаны с кайзеровской разведкой, однако имеющий смысл, поскольку преступление одного из членов семьи Унгерн считал основанием для казни родственников. Впрочем, в ответ он мог бы напомнить членам трибунала о другом представителе фамилии Унгерн-Штернбергов - своем двоюродном брате Фридрихе, который после разгрома армии Самсонова под Сольдау в Восточной Пруссии сам бросился на вражеские пулеметы, не желая пережить поражение и гибель товарищей. Для большинства прибалтийских дворян родиной была пусть не Россия, но Российская Империя, и в 1914 году они пошли на войну точно так же, как если бы им предстояло воевать не с немцами, а с французами, англичанами или китайцами.

Мобилизация застала Унгерна в Ревеле, где все было как везде. Известие о начале войны, которой мало кто хотел, которая «у дипломатов, ею игравших и блефовавших, против их собственной воли выскользнула из неловких рук» (С. Цвейг), обернулось неожиданным взрывом энтузиазма. Отнюдь не казенное воодушевление охватило Париж, Петербург, Лондон, Берлин и Вену. Даже те интеллигенты, кто очень скоро увидят в войне только вселенский кошмар и повальное безумие, вынуждены признать, вспоминая ее первые дни, что в порыве масс было нечто величественное. Реакция оказалась чрезвычайно схожей по обе стороны готовых развернуться фронтов, и в ней парадоксальным образом еще раз проявилось единство Европы перед лицом общей исторической судьбы. Эта война, как ни одна до нее, породила надежды на грядущее обновление мира. Надежды были у всех разные, но Унгерн, видимо, подобно Томасу Манну, призывавшему войну как «очищение и кару», надеялся, что в стальном вихре исчезнет лицемерная буржуазная культура Запада, что сила положит конец власти капитала, материализма и избирательной урны. Кроме того, он просто хотел воевать, и неважно с кем: с Японией, Китаем, Германией или со страной, которую называл своей родиной - Австрией.

Он, вероятно, не читал Константина Леонтьева - «русского Ницше», хотя так же, как Леонтьев идеализировал войну-стихию в противоположность современной цивилизации параграфа и расчета и мог бы повторить его признание: «Я ужасно боялся, что при моей жизни не будет никакой большой войны». Но самого певца Заратустры он скорее всего читал или, по крайней мере, знал из вторых рук, как любой мало-мальски образованный человек тех лет. Некоторые его высказывания кажутся прямыми цитатами из Ницше. Если тот считал ханжеством думать, будто лишь благая цель оправдывает войну, если для него «жизнь есть результат войны, общество - орудие войны» и «отказаться от войны, значит отказаться от жизни в большом масштабе», то Унгерн на одном из допросов заявил: «Это только теперь, за последние тридцать лет выдумали, чтобы непременно воевать за какую-то идею». Монголы же вызывали его симпатию, в частности потому, что «у них психология

совсем другая, чем у белых, у них высоко стоит верность, война; солдат, это почетная вещь, и им нравится сражение». А свое недоверие к русским Унгерн мотивировал тем, что они «из всех народов самые антимилитаристские» и их «заставить воевать может только то, что некуда деваться, кушать надо».

В том восторге, с каким Унгерн встретил начало войны, патриотические чувства играли третьестепенную роль. Зато примешивались, очевидно, соображения сугубо житейские. Война грянула в тот момент, когда он окончательно оказался не у дел, и разом сняла все проблемы. Отставной сотник, тридцатилетний неудачник без денег, без семьи, без профессии, с неопределенными планами на будущее, он должен был страдать от

неудовлетворенного честолюбия и сознания стремительно уходящей молодости. Война открыла перед ним новые перспективы.

Сразу после объявления мобилизации Унгерн вместе со своим кузеном Фридрихом поступил в один из полков несчастной 2-й армии Самсонова. Оба они, говоря языком военных документов, «проделали» трагический августовский поход в Восточную Пруссию, но Фридрих погиб под Сольдау, а Унгерн был только ранен. Окружения и плена ему удалось избежать.

Его послужной список за это время не сохранился. Известно лишь, что с 1915 года он командовал сотней в 1-м Нерчинском полку и вновь, как в Даурии, носил на мундире желтые цвета забайкальского казачества. Полк входил в 10-ю Уссурийскую дивизию, которая позднее воевала на Юго-Западном фронте. Начальником дивизии был генерал Крымов, а полковым командиром Унгерна - полковник Врангель. Они знали друг друга еще по Забайкалью, да и в Эстляндии наверняка имели общих знакомых, но никаких отношений, кроме служебных, между ними не было. Уже в эмиграции, вспоминая Унгерна и отмечая его храбрость, Врангель отзывался о нем без симпатии, скорее даже с неприязнью, хотя и отдавал должное оригинальности этого странного, непредсказуемого и неприятного человека. Он, в частности, называл его «типичным партизаном», который всем - от поведения до костюма - выделялся из офицерской среды.

Когда мало кому известный белый генерал семеновского производства превратился в диктатора Монголии, в его предшествующей жизни начали искать истоки этой сказочной карьеры. Легенд ходило множество. Кто-то, например, пустил слух, будто Унгерн командовал личным конвоем Николая II. Его повышали в чинах, назначали на должности, о которых он тогда и мечтать не смел, делали полным георгиевским кавалером и т. д. На самом деле Унгерн имел один Георгиевский крест и орден Святой Анны 3-й степени. Выше командира сотни он так и не поднялся.

Отчаянная храбрость Унгерна общеизвестна, но и тут не обходилось без преувеличений. Якобы каждый офицер, приезжавший с Юго-Западного фронта, знал и рассказывал о его подвигах. Он будто бы неделями пропадал в тылу у австрийцев, корректировал огонь русской артиллерии, сидя на дереве прямо над неприятельскими окопами. Будто бы командир полка, заслышав его голос, прятался под стол, заранее будучи уверен, что барон опять предложит какую-нибудь сумасшедшую авантюру. Мемуарист, знакомый с кем-то из ревельских родственников Унгерна, вспоминал: «Его письма родным с фронта напоминали песни трубадура Бертрана де Борна, они дышали беззаветной удалей, опьянением опасности. Он любил войну, как другие любят карты, вино и женщин».

Но бои на Юго-Западном фронте мало напоминали битву в Ронсевальском ущелье или под стенами Иерусалима, где один из предков Унгерна сражался рядом с Ричардом Львиное Сердце. Чтобы любить не войну вообще, а именно эту войну, надо было обладать извращенным чувством жизни, если не ненавистью к ней. Если человек в возрасте за тридцать способен забыть обо всем и наслаждаться только «опьянением опасности», это уже вопрос не идеологии, а скорее физиологии. Происхождением, воспитанием или чтением Ницше храбрость Унгерна объяснить нельзя. В ней есть что-то патологическое. Недаром рассказывали, что в атаку барон часто скакал, как пьяный или как лунатик, с застывшими глазами и качаясь в седле. Люди такого сорта невыносимы в нормальной жизни, незаменимы на войне, но опасны даже там. Поэтому едва ли случайно, что за три года, проведенные на передовой, Унгерн, будучи опытным, отважным и не столь уж молодым офицером, имея четыре ранения, получил всего одно повышение в чине: из сотника стал есаулом.

Его карьера завершилась внезапно и, пожалуй, закономерно. В начале 1917 года он с фронта был делегирован в Петроград, на слет георгиевских кавалеров, но поездка закончилась в Тарнополе. Здесь Унгерн, пьяный, избил комендантского адъютанта, не

предоставившего ему квартиры, и был арестован. «Я выбил несколько зубов одному наглому прапорщику», - рассказывал он позднее своему кузену Эрнсту. Предстоящий суд грозил ему тремя годами крепости. По словам того же Эрнста Унгерн-Штернберга, от суда его спас Врангель, который «употребил все свое влияние на то, чтобы Роман так легко отделался». Но сам Унгерн утверждал, что сидел в тюрьме и на свободу вышел только осенью 1917 года. Во всяком случае, он был отчислен «в резерв чинов» и, видимо, уехал в Ревель, где оказался точно в таком же положении, как три года назад после возвращения из Монголии - без денег и без каких бы то ни было планов на дальнейшую жизнь.

ЧЕЛОВЕК ИЗ КУРАНЖИ

В годы Гражданской войны в Забайкалье два имени всегда произносились рядом - Семенов и Унгерн. Их обычно называли без фамилии, просто «атаман» и «барон». Все знали, что этих двоих связывают давние приятельские отношения. Познакомились они или еще в Монголии, или на фронте: оба служили в одном полку. Семенов поначалу тоже командовал сотней, а затем занял должность полкового адъютанта.

Григорий Михайлович Семенов на пять лет младше Унгерна. Он родился 13(25) сентября 1890 года в забайкальской станице Дурулгуевской, точнее в одном из ее караулов - Куранжинском, расположенном на правом берегу Онона. Его отец, Михаил Петрович, был местный уроженец, казак с сильной примесью бурятской или монгольской крови, а мать, Евдокия Марковна, в девичестве Нижегородцева, происходила, видимо, из старообрядческой семьи.

Основным источником богатства караульских казаков был скот. В семеновских табунах ходило до полутора ста лошадей, овечьи гурты насчитывали три сотни голов. Пастухами были буряты. На зимние пастбища они угоняли стада в Монголию, и хозяева часто ездили туда проводить свой скот. Отсюда любопытная закономерность: чем богаче был казак, тем с большим уважением относился он к кочевникам, знал их язык, обычаи, имел представление о буддизме. Объединенные принадлежностью к казачьему сословию, буряты и русские в пограничных с Монголией районах нередко рождались между собой. В караульских станицах люди со смешанной кровью составляли большинство. Напротив, крестьяне, особенно переселившиеся в Забайкалье после столыпинской реформы, кочевников презирали, а их образ жизни считали разновидностью безделья.

В Куранже, где большая часть жителей была неграмотна, Семенов-старший считался образованным человеком. Его домашняя библиотека хранилась в семи ящиках, причем среди этих книг имелись сочинения по буддизму и по истории Монголии. Сам будущий атаман, как и вся отцовская родня, с детства свободно говорил по-монгольски и по-бурятски. Мальчиком он много читал и даже будто бы в четырнадцать лет уговорил отца выпустить какую-то газету, став таким образом первым в Куранже подписчиком. Однако в Читинскую гимназию ему почему-то поступить не удалось, он окончил двухклассное училище в Могойтуйе, затем сидел дома, помогая отцу управляться со стадами. В лубочно-пропагандистских биографиях атамана говорится, что в это время он увлекся археологией и палеонтологией. За звучными терминами стоит вот что: Семенов нашел в окрестностях Куранжи какие-то древние кости («кости мамонта»), каменный топор и «посуду из морских раковин величиной с тарелку». Как раз тогда по распоряжению наказного атамана в станицах собирали всевозможные раритеты для войскового музея в Чите, куда Семенов и отдал («пожертвовал») свои находки.

Во время Гражданской войны житийный жанр процветал при редакциях газет равно белых и красных, при отделах политических и осведомительных, но среди жизнеописаний вождей в обоих лагерях биографии Семенова отличаются одной особенностью: в них подробно рассказывается о детстве героя, причем в агиографическом ключе («В Могойтуйе он

буквально поражал свою родню по матери усидчивостью и трудолюбием...»). Кроме того, упор неизменно делался на его простоту, народность, чувствительность, что должно было разрушить представления о нем как о властолюбце и беспринципном вассале Токио. В том же стиле описывается и выбор им военной карьеры: «Сдача Порт-Артура страшно тяжело отозвалась на его впечатлительной натуре, тут же он решил сделаться офицером».

В 1908 году Семенов поступает в Оренбургское казачье юнкерское училище и через три года выходит хорунжим в Верхнеудинский полк. Почти сразу он попал в Монголию, служил там в военно-топографической команде, объездил всю страну и даже якобы прославился тем, что установил «мировой рекорд скорости верховой езды на морозе», проехав однажды 350 верст за 26 часов при температуре 45 градусов ниже нуля по Реомюру (при пользовании подменными лошадьми на уртонах это результат хороший, но не фантастический). В начале 1914 года, не поладив с полковым командиром, Семенов перевелся в Нерчинский полк, стоявший на станции Гродеково под Владивостоком. Здесь он, видимо, осознал, что его знание Монголии (в биографиях атамана отмечается «глубокое изучение им буддизма») может ускорить карьеру административную или дипломатическую, но в казачьем полку абсолютно бесполезно. Семенов решил выйти в отставку и поступить во владивостокский Институт восточных языков. Война помешала осуществить этот замысел.

Среднего роста, с кривыми ногами номада, необъятной грудью и громадной, рано полысевшей головой, Семенов обладал редкой физической силой. Прекрасный наездник, он при своей массивности был быстр, ловок, хищно-легок в движениях. Не случайно после окончания училища его послали преподавать в бригадную гимнастическо-фехтовальную школу. Позднее официозные семеновские газеты писали, будто прежде всего богатырская сила и рыцарское умение владеть холодным оружием и привлекли к атаману благосклонное внимание японцев, увидевших в нем самурая по телу и духу.

Его личная храбрость вне сомнений. Вдобавок ему сопутствовала удача: за всю войну он ни разу не был ранен. В ноябре 1914 года, когда прусские уланы захватили знамя Нерчинского полка, Семенову, который с несколькими казаками возвращался из разведки, посчастливилось натолкнуться на группу этих улан и отбить у них полковой штандарт. За это он был награжден Георгиевским крестом. В первые месяцы войны награды сыпались густо: через три недели, отличившись вновь, Семенов получил Георгиевское оружие. Зато последующие три года его пребывания на фронте орденами не отмечены. Сам он рассказывал, что за совершенный подвиг при обороне какого-то ущелья в Карпатах награду получил начальник дивизии, генерал Крымов, из-за чего они и поссорились. Будто бы не вытерпев несправедливости, он подал рапорт о переводе в другую часть. Так это или не так, трудно судить, но в 1916 году Унгерн остался служить под командой Крымова и Врангеля, а Семенов перешел в 3-й Верхнеудинский полк, воевал на Кавказе, затем в составе дивизии Левандовского совершил поход в персидский Курдистан.

В забайкальских казачьих полках Левандовского было много бурят, и спустя десять лет евразиец Никитин, бывший офицер, участник этого похода, увидел в нем проявление таинственных «ритмов Евразии». Если газеты сравнивали его с походом Александра Македонского, то Никитин подобное сопоставление считает «мелодекламацией нашего лжеевропеизма». Он настаивает на иной аналогии: «Кампания в Персии должна вызвать в памяти не македонские фаланги, а всадников Хулагу, тогда великого монгольского хана... » Теперь русская армия двинулась в эти края по воле Великого Белого царя - Цаган-Хагана, т. е. Николая II, но за шестьсот с лишним лет мало что изменилось. Так же медленно тянется под знойным персидским солнцем конная колонна, так же на развилке дорог направляет ее выставленный головным дозором «маяк» «плосколицый скуластый казачина-бурят» со своей винтовкой (единственное существенное отличие), с пикой и «всяким добром, притороченным к седлу». Он - вылитый воин Хулагу: «Зорко глядят раскосо поставленные глаза, стоит не

шелохнется большеголовый, широкогрудый, мохнатый и злой конек его». Немногим разнится от него и русский казак на такой же низкорослой лошадке. Он разве что шире в плечах, выше ростом, и ноги ниже свисают под лошадиным брюхом: «Так и кажется иной раз, что конек его о шести ногах».

Никитин вспоминает: «Эти освоители евразийских пространств, эти „пари“, как они сами меж собой перекликаются („паря,“), поражали меня своей способностью быть у себя в самых глухих углах Центрального Курдистана. В этих гиблых местах наши читинцы, аргунцы, нерчинцы и др. рысили на мохнатых коньках своих, как у себя дома, ходили дозорами, разведывали, языка добывали, и все это проделывали, так сказать, в терминах своей забайкальской географии: ущелья оставались у них и здесь „падями,“, курдские сакли - „фанзами«, курды - „манзами«, просо - „чумизой«, а кукуруза - „гаоляном«. Все плоды земные для наших „парей“ были безразлично „ягодой“, будь то виноград, инжир или дыня...” Никитину кажется, что эта удивительно естественная приспособляемость типична лишь для обитателей евразийских просторов, что она есть «свойство духа, как бы сжимающего громадные пространства через их уподобление».

Доказывая, что Россия представляет собой особый мир, отличный и от Востока, и от Запада, парижские и пражские евразийцы вспоминали Святослава, половцев, Чингисхана, монгольское иго, но в их построениях почему - то никак не фигурировали два современника, чьи биографии словно бы нарочно складывались так, чтобы наглядно подтвердить правоту евразийства - Семенов и Унгерн. Между тем Чингисхан, Хубилай и Хулагу для этих двоих были не безличными элементами геополитической концепции, а реалиями того исторического времени и тех мест, где жили и действовали они сами. В Монголии время имело иную плотность, нежели в Европе. Нынешний Богдо-гэген был восьмым перерождением индийского подвижника Даранаты, жившего почти три столетия назад, Амурсана мог явиться в образе Джа-ламы с маузером на боку, а печальная тенденция русской истории к цикличности, которая после революции стала более чем очевидна, порождала у одних надежды, у других - опасения, что и в России время может сгуститься до монгольского варианта. Когда Семенов, а за ним Унгерн рассчитывали, пусть в разных масштабах, возродить империю Чингисхана, их планы отчасти зиждились на той же, подмеченной Никитиным у забайкальских казаков, способности «сжимать громадные пространства через их уподобление». Только в данном случае речь шла о пространствах не географических, а исторических, разделенных столетиями, а не верстами. Семенову эта способность досталась от степных предков, Унгерн же получил ее как побочный продукт своей биографии, характера и антизападного мировоззрения. Отсюда ненатуральность, избыточность, свойственная утопиям истеричность даже тех его замыслов, которые для Семенова были естественны и потому казались вполне осуществимыми.

В мае 1917 года, по возвращении из Персии находясь на Румынском фронте, будущий атаман делает первый шаг на пути, вскоре приведшем его к неограниченной власти над всем Забайкальем: он пишет докладную записку на имя Керенского, тогда военного министра, и отправляет ее не по команде, как положено, а с едущим в Петроград однополчанином. В этой записке Семенов предлагал сформировать у себя на родине отдельный конный монголо-бурятский полк и привести его на фронт якобы с целью «пробудить совесть русского солдата, у которого живым укором были бы эти инородцы, сражающиеся за русское дело». Так дело выглядит в трактовке придворного атаманского историографа. На самом деле побуждения Семенова были несравненно прагматичнее. Он, видимо, хотел переждать в тылу смутное время развала армии, а затем, если ситуация изменится к лучшему, прибыть на фронт во главе лично им сформированной и лично ему преданной боевой единицы. Она могла бы стать надежным фундаментом быстрой военной карьеры.

Саму идею Семенов, скорее всего, почерпнул из газет, оригинальна лишь точка ее приложения - Монголия. После Февральской революции национальные батальоны, полки и даже дивизии возникали как грибы - украинские, кавказские, латышские и т. д., создавались и экстраординарные добровольческие части, не имевшие аналогий в прежней армейской системе. В условиях повального дезертирства Временное Правительство надеялось заткнуть ими бреши на фронте. Появляются немногочисленные, маломощные, но широко рекламируемые отряды под грозными наименованиями - штурмовые бригады, ударные батальоны, «батальоны смерти». Свой монголо-бурятский полк Семенов видел в этом ряду, и момент выбран был точно: вскоре приходит распоряжение откомандировать автора записки в столицу. В июне он отправляется в Петроград, окрыленный надеждами, что наконец-то знание монгольского языка и личные связи с влиятельными кочевниками, доставшиеся в наследство от отца, помогут ему выдвинуться. Собственно говоря, эти связи (сам Семенов утверждал, что по отцу он является прямым потомком Чингисхана) и стали фундаментом его последующей головокружительной карьеры, которая так удивляла Врангеля: тот никак не мог понять, каким образом его бывший адъютант, вполне заурядный, хотя и отличавшийся природной хитростью человек, сумел подняться к вершинам власти.

Спустя почти тридцать лет, в августе 1945 года, Семенов был схвачен в Китае, доставлен в Москву, судим, приговорен к смертной казни и повешен <Схватили бывшего атамана совершенно случайно: его самолет, пилотируемый японским летчиком, по ошибке приземлился на уже занятом советскими войсками аэродроме в Чаньчуне.>. В обвинительном заключении фигурировал следующий пункт: летом 1917 года Семенов будто бы «намередвался с помощью двух военных училищ организовать переворот, занять здание Таврического дворца, арестовать Ленина и членов Петроградского Совета и немедленно их расстрелять с тем, чтобы обезглавить большевистское движение... » Хотя о таком замысле упоминает в своих мемуарах и сам Семенов, едва ли это был продуманный план именно того времени, скорее позднейшая вытяжка из тогдашних надежд, слухов, застольных разговоров и спасительных проектов, сотканных из воздуха и табачного дыма. Чтобы возглавить военный переворот, Семенов, тогда безвестный есаул, не имел ни связей, ни средств, ни имени. Правда, о готовящемся выступлении Корнилова он, видимо, знал. Но если даже у него и были какие-то контакты с сослуживцами по Уссурийской дивизии, входившей в двинутый на Петроград корпус генерала Крымова, Семенов сумел сохранить их в тайне. Его лояльность осталась вне подозрений. В сентябре он с крупной суммой денег и мандатом комиссара Временного Правительства выехал из столицы на восток.

На первых порах в Забайкалье он действительно пытался сформировать свой монголо-бурятский полк, абсолютно никому не нужный ни в Чите, ни в Верхнеудинске, ни в Даурии. От Семенова все норовят избавиться. Наконец после двухмесячных мытарств он с тремя-четырьмя офицерами и десятком казаков добирается до пограничной китайской станции Маньчжурия, которая отныне становится его ставкой. Отсюда Семенов рассылает вербовщиков, и вскоре ему удается сколотить отряд, по месту формирования названный Особым Маньчжурским. К январю 1918 года в нем насчитывалось около пяти сотен туземных всадников и примерно полтораста русских казаков и офицеров. С этой серьезной по местным масштабам силой Семенов после долгих колебаний бросает вызов Чите, где власть к тому времени уже перешла к большевикам.

В то время Семенов много пил, часто напивался, но не зверел, напротив, становился покладистым. Человек громадной физической силы, он, по всей видимости, принадлежал к тем натурам, на кого алкоголь действует умиротворяюще. Да и вообще по характеру он не был жесток. Его жестокость никогда не переходила границ, очерченных честолюбием. Он бывал и непритворно мягким, и участливым, легко соглашался с аргументами собеседника, но не потому, что считал их убедительными, а просто из нежелания спорить и портить

отношения. Подвластный минутным порывам, горячий и чувствительный, в первые месяцы своего атаманства Семенов легко принимал решения и с той же легкостью их отменял, что все дружно приписывали влиянию на него собутыльников, прежде всего двух его «злых гениев» полковников Афанасьева и Вериги. Представление о нем как о человеке чрезвычайно податливом и не имеющем собственного мнения было всеобщим.

Член войскового правления Гордеев, земляк и детский товарищ атамана, говорил: «Я хорошо знаю Семенова. По моему мнению, он ни над чем не задумывается. Что-нибудь скажет одно, а через десять минут - другое. Кто-нибудь из близких людей может посоветовать что-то, Семенов с ним согласится, а через некоторое время соглашается с другим. Такие свойства характера привели к тому, что он совсем измельчал». Впрочем, этой характеристике доверять следует с осторожностью. Человек редко способен по достоинству оценить младшего по возрасту товарища, когда тот вдруг поднимается над ним. Подобный взлет всегда кажется случайным и несправедливым.

Один из колчаковских офицеров оценил Семенова как «умного, вернее очень хитрого человека», заметив при этом, что «настоящим атаманом своей казачьей вольницы он не являлся, наоборот, эта вольница диктовала ему свои условия». Но трудно определить, где кончалась действительная зависимость Семенова от приближенных и где начинался миф о ней. Следствием этого мифа была легенда, будто он, как истинный государь, окружен злыми советниками, скрывающими от него правду. Считалось, что атаман не знает о творящихся его именем безобразиях, а сам по себе он «добрый, простой и отзывчивый человек без всякой мании величия». «Семенов-то сам хорош, семеновщина невыносима!» это, как пишет генерал Сахаров, в Забайкалье «повторялось почти всеми на все лады». Даже крестьяне-старообрядцы, уходя в партизаны, заявляли, что идут воевать не с Семеновым, а с семеновщиной. Точно так же мужики позднее с молитвенным благоговением произносили имя Ленина и резали коммунистов. Тут сказались древние модели поведения, следование традиции, в которой власть священна и борьба ведется не с ее верховным носителем, а с чем-то от него отдельным, настолько же противоположным ему по духу, насколько внешне близким. Окружение Семенова - это оборотни, завладевшие рыцарским оружием атамана, чтобы на него пала пролитая ими кровь. И очень вероятно, что Семенов, довольно быстро избавив реальную зависимость от соратников типа Афанасьева и Вериги, в известной степени поддерживал легенду о ней как парадоксальное средство укрепления своего авторитета. Этим он отделял себя от преступлений им же созданного режима. Во всем, что касалось власти, он обнаруживал колоссальную интуицию, какое-то почти бессловесное понимание обстоятельств.

Один из биографов атамана писал, что с 1917 года за ним, как «за головным журавлем, без всяких компасов и астролябий указывающим верный путь в теплые страны, тянется длинная вереница верящих и преданных ему спутников». Под «компасами и астролябиями» подразумеваются идеологические установки: Семенов действительно обходился без них. «Он вообще не идеалист», - говорил о нем Унгерн, объединявший в этом слове понятия «идеализм» и «идейность». С присущим ему здравым смыслом атаман предпочел сделать упор на самом себе как личности, а не на какой-то своей особой политической платформе. Это было тем легче, что он обладал врожденным даром мимикрии. Перед представителями союзных миссий в Китае Семенов являлся в образе демократа, японцы видели в нем олицетворение русского национального духа. Для сторонников единой и неделимой России он - сепаратист, лелеявший планы передачи Монголии российских земель за Байкалом, для позднейших русских фашистов - масон, создавший у себя в армии «жидовские части», для следователей с Лубянки - фашист, еще в годы Гражданской войны носивший на погонах знак свастики <Этот священный для буддистов символ вечного круговорота жизни («суувастик») был эмблемой Монголо-Бурятского конного полка имени Доржи Банзарова, чьим шефом

считался Семенов.>. Семенов перебивал и в первых патриотах из «стаи славных», и в предателях родины. Он мог расстреливать эсеров, чего не делали ни Колчак, ни Деникин и Врангель, но он же в итоге допустил их в правительство, на что другие белые вожди так и не решились. Он называл себя «борцом за государственность», но опирался на вечных врагов государства - уголовников, хунхузов, даже анархистов.

Кто-то из харбинских острословов определил Семенова как «смесь Ивана Грозного с Расплюевым». Его стремились представить то кровавым деспотом, то ничтожеством, то претендентом на российский престол, то чуть ли не большевиком. Последнее обвинение, как и все прочие, тоже отчасти справедливо: одно время он предпринимал попытки перейти на службу к Москве. Впрочем, примерно тогда же генерал Сахаров, который убеждал его начертать на знамени «всем дорогое имя» Михаила Романова, из разговора с атаманом вынес твердую уверенность, что тот - настоящий монархист и лишь обстоятельства не позволяют ему выкинуть лозунг борьбы за реставрацию Романовых. Омск и Москва видели в Семенове не более чем японскую куклу, но в Токио опасались его излишней самостоятельности в восточных делах. Одни писали о нем как о грубом необразованном казаке, другие напоминали, что он является почетным членом харбинского Общества ориенталистов, специально изучал буддизм, издал два стихотворных сборника, говорит по-монгольски и по-английски. Развязанный его именем свирепый террор заставлял содрогнуться всякое перевидавших колчаковских офицеров, но при этом сам он не был ни фанатиком, ни извергом. Диктатор областного масштаба, он не послал ни одного солдата за пределы Забайкалья, но на выдаваемых им наградных листах помещалось изображение земного шара с перекрещенными шашкой и винтовкой - эмблема, чрезвычайно схожая с коммунистической символикой. Казаки считали его казаком, буряты - бурятом, монголы уповали на него как на защитника их интересов, даже евреи видели в нем заступника и покровителя. Как ни странно, все, что говорилось и писалось о Семенове, почти правда. Он был и тем, и другим, и третьим, равно как не был никем. Маски нужны тому, у кого есть лицо, Семенов же многолик. В этом - сила, позволившая ему продержаться у власти дольше, чем любому другому из вождей Белого движения.

За мягкость часто принимали его беспринципность, за безволие - расслабленность хищника перед прыжком. Начальнику английского экспедиционного отряда полковнику Джону Уорду атаман показался похожим на «тигра, готового прыгнуть, растерзать и разорвать», а его глаза - «скорее принадлежащими животному, чем человеку».

ОСОБЫЙ МАНЬЧЖУРСКИЙ ОТРЯД

Семеновский отряд пополнялся по тому же принципу, что Запорожская Сечь. У русских добровольцев никаких документов не спрашивали, задавали всего три вопроса: «В Бога веруешь? Большевиков не признаешь? Драться с ними будешь?» Утвердительные ответы давали право быть зачисленным на денежное и прочее довольствие. Поскольку платили хорошо, на станцию Маньчжурия стекался всякий сброд. Как всегда в смутные времена, появились и самозванцы разного масштаба. Многие присваивали себе офицерские чины, китаец-парикмахер выдавал себя за побочного сына японской императрицы, а какой-то молодой еврей назвался сыном покойного генерала Крымова и некоторое время фигурировал при штабе, пока не был разоблачен и в наказание выпорот.

Управляющий зоной КВЖД генерал Хорват, которому русский Харбин во многом обязан был своим недолгим процветанием, к Семенову с самого начала отнесся настороженно. Военную власть в полосе отчуждения он предпочел вручить не ему, а приехавшему из Японии адмиралу Колчаку. Тот публично называл семеновцев «хамами», «бандой», однако на японские деньги эта банда быстро превращалась в серьезную силу. Подстрекаемый

японцами, Семенов наотрез отказался подчиниться Колчаку. Атаман закупал снаряжение вплоть до радиостанций, приступил к оборудованию бронепоездов, а Колчак сумел поставить под ружье не более 700 человек, разбросанных по всей магистрали и вооруженных лишь трехлинейками. У Семенова к весне 1918 года было впятеро больше. Правда, личный состав отряда был преимущественно азиатский: служили китайцы, в том числе хунхузы, монголы всех племен, буряты, корейцы. Из трех с половиной тысяч бойцов русских насчитывалось не более трети.

В начале апреля Семенов во второй раз перешел границу и с налету захватил сначала Даурию, затем станцию Мацевская, где едва не погиб - раненого в ногу, его с трудом извлекли из-под обломков колокольни, разрушенной прямым попаданием снаряда. Здесь же под видом добровольцев к нему присоединился батальон японской императорской армии в 400 штыков. «Маленькие ростом, великие своим воинским духом, щеголеватые и веселые, японские солдаты в теплый весенний вечер выскакивали из своих вагонов, кокетливо иллюминированных светящимися фонариками самых причудливых форм. В руках у каждого из них было по национальному японскому и русскому флагу, они оживленно размахивали этими эмблемами русско-японской солидарности», - так бывший адъютант Семенова описывает первое появление японцев в Забайкалье, в котором он усмотрел «повторение повествования евангелиста о благодетельном самаритянине».

Из Мацевской, взятой после ожесточенного боя, Семенов устремляется дальше на запад. На этот раз наступление идет успешно. К концу апреля захвачена станция Оловянная, сам атаман с авангардом выходит к берегу Онона.

Установить точную численность семеновских частей и противостоящих им полков Забайкальского фронта практически невозможно. Сплошного фронта нет, все постоянно движется, меняется, сотни людей по нескольку раз перебегают от Лазо к Семенову и обратно. Дезертируют тоже сотнями. Целые полки бесследно растворяются в степи. Мобилизации, которые пытается проводить каждая из сторон, увеличивают не столько их собственные силы, сколько армию противника. Поскольку реквизиции проводили и белые, и красные, врагом становился тот, кто делал это первым. Какое-то разделение по имущественному признаку тоже не прослеживается. Сплошь и рядом богатые крестьяне объявляют себя сторонниками советской власти, а бедные поддерживают Семенова. Грабить позволяют и белые и красные, поскольку и те и другие объявляют себя носителями высшей справедливости, которая в мужицкой среде понимается как имущественный передел. Часто красное или трехцветное знамя служило только поводом для сведения старых счетов из-за выгонов и пахотных земель. Русские переселенцы претендовали на степные угодья, принадлежавшие кочевникам, и появление в Особом Маньчжурском отряде бурятских и монгольских всадников толкнуло крестьян в противостоящий лагерь. Среди бойцов Лазо в ходу был лозунг «Грабь тварей!», т. е. бурят. К тем из них, кто сражался на стороне красных, относились презрительно: «Как я встану рядом с яшашным?» В то же время для казаков такой проблемы не существовало: их отношение к кочевникам было несравненно более уважительным.

Обычно человек оказывался по ту или иную сторону фронта по причинам чисто житейским, не имеющим ничего общего с идеологией обоих лагерей. Парень из Читы мог пойти служить в вокзальную охрану при красных, потому что ревновал свою невесту, работавшую там кассиршей: к ней постоянно приставали мужчины, и он охранял ее с винтовкой - бдительнее, наверное, чем вокзал от семеновских диверсантов, но с приходом белых на него настроил донос один из соперников, и несчастный жених был арестован за службу большевикам. В те дни люди выбирали судьбу на годы вперед, хотя еще и не догадывались об этом.

Большинство попросту не понимало, кто, с кем и из-за чего воюет. Уже в эмиграции

бывший офицер с грустью вспоминал разговор, состоявшийся между ним и какой-то женщиной на улице только что захваченного белыми городка. Та никак не могла взять в толк, на чьей же стороне сражаются победители. «Мы красных бьем», - объясняет офицер, но такой ответ не избавляет его собеседницу от сомнений. Если есть воители, значит, как испокон веку ведется, должны быть и те, кого защищают. Где же они? «Вот вас и защищаем», - находится наконец офицер. Тогда, растрогавшись, женщина благодарно крестит его и говорит: «Ну слава Богу! А то все нынче промеж себя дерутся, про нас-то уж и позабыли...»

Фронт надолго замирает у Оловянной, затем Лазо внезапно переходит Онон. Наступление началось на Пасху, когда семеновцы отмечали праздник, а сам атаман вообще уехал кутить в Харбин. Он срочно возвращается назад, но восстановить положение уже невозможно. Своим последним оплотом Семенов попытался сделать пограничную пятивершинную сопку Тавын-Тологой, однако не удержал ее и был отброшен в Китай. Лазо начал переговоры с представителями китайской военной администрации. Китайцы прибыли на встречу с положенными по этикету безделушками в качестве подарков, а лично командующему преподнесли мешок сахарного песка. Хозяин усадил гостей пить чай у себя в вагоне, и тут выяснилось, что подаренный песок сильно подмочен. Лазо подозвал адъютанта, приказав ему немедленно, любыми путями добыть рафинад. С трудом удалось разыскать несколько кусков, которые Лазо гордо выставил на стол и, как пишет его жена, «в разговоре с китайцами сделал тонкий намек на то, что русские люди предпочитают пить чай с рафинадом и не любят сахарный песок, в особенности если он подмочен».

На этой идиллической ноте Ольга Лазо заканчивает свои воспоминания о борьбе мужа с Семеновым, но у других осталось в памяти другое. Семеновский офицер, спустя десять лет напечатанный в одной харбинской газете заметки об этих днях, вспоминает какие-то командировки с давно забытыми целями, поездки на паровозном тендере, стрельбу, бегство, случайных попутчиков, но при чтении постепенно возникает чувство, будто сам автор ясно помнит лишь одно - то, как от поджигаемой красными и белыми степи небо все время затянуто дымной пеленой. Каждый новый день разгорается незаметно и так же незаметно переходит в ночь. Над миром властвуют сумерки. Это почти физиологическое воспоминание пронизывает весь его сбивчивый рассказ, главная историческая ценность которого состоит в ощущении тоски и безнадежности от многократно и на разные лады повторяемого: «Свет солнца, притемненный дымкой степного пала, казался не дневным, а вечерним...»

Позднее в эмигрантских газетах утверждалось, будто атаман и барон вместе стояли у истоков семеновской эпопеи и плечом к плечу начали борьбу с красными. Но это, скорее всего, не более чем официозная легенда. Традиция режимов типа семеновского предполагала, что чем выше поднимается человек по ступеням этого режима, тем раньше он начал бороться за его торжество. Но старый друг и родственник Унгерна, муж его сводной сестры Альфред Мирбах, свидетельствует, что дело обстояло иначе.

Когда в августе 1917 года Уссурийская дивизия по приказу Корнилова и Крымова двинулась на революционный Петроград, она с фронта следовала через Ревель. Здесь, видимо, Унгерн и присоединился к ней вместе с Мирбахом и своим сводным братом Максимилианом Хойнинген-Хьюном. После того как эшелоны уссурийцев застряли под Ямбургом, некоторые офицеры, зная о том, что Семенов набирает командный состав для будущего монголо-бурятского полка, решили ехать вслед за ним в Забайкалье. Надо думать, на их решение влияли слухи о готовящихся арестах участников корниловского выступления. Во всяком случае, Унгерн и оба его родственника выехали на восток значительно позже, чем Семенов. Ни о какой борьбе с большевиками все трое не помышляли, как и сам будущий атаман, иначе сестра Унгерна не отправилась бы вслед за мужем и братьями. Те ждали ее в Иркутске, но когда она туда прибыла, ситуация резко изменилась. Семенов на станции Маньчжурия уже формировал свой отряд, начиналась Гражданская война, и Унгерн решил

пробираться в Китай. Мирбах вначале хотел составить ему компанию, но передумал. Брать с собой жену и ее юного брата было рискованно, покидать их - тоже. В итоге они втроем выехали обратно и в конце концов с массой приключений добрались до Ревеля, а Унгерн - тоже, вероятно, не без трудностей, оказался у Семенова.

Почти сразу он был назначен комендантом железнодорожной станции в Хайларе, затем стал военным советником при монгольском князе Фушенге. Его расквартированная в этом городе «бригада» насчитывала около восьмисот всадников племени харачинов - самого дикого и воинственного из племен Внутренней Монголии. Год назад они совершили набег на восточные аймаки Халхи (в бою с ними был ранен будущий председатель Монгольской Народно-Революционной партии, в то время пулеметчик войск ургинского правительства Сухэ-Батор); позднее Фушенга с помощью японских артиллеристов и на японские деньги воевал с китайцами, а теперь по совету все тех же японцев поступил на службу к Семенову, который с самого начала внимательно смотрел в сторону Токио. Харачины были известны как отъявленные разбойники, и для контроля над ними требовался человек с железной рукой. Для этой роли Унгерн подходил как нельзя лучше. Постепенно у себя в штабе он сосредоточил фактическое командование «бригадой». Все важнейшие вопросы решались русскими и японскими инструкторами, сам Фушенга царствовал, но не управлял.

В августе 1918 года, при очередном наступлении Семенова в Забайкалье, харачины по распоряжению штаба Особого Маньчжурского отряда угнали из приаргунских станиц, поддержавших Лазо, восемнадцать тысяч овец. Их предполагалось передать казакам, которые пострадали от большевистских реквизиций. Но ни возмездие, ни восстановление справедливости осуществить не удалось. Обнаружилось, что не то по ошибке, не то по неистребимой привычке к разбою харачины угнали не тех овец - большинство их принадлежало казакам, служившим не у красных, а у Семенова. Часть стада Унгерн вернул владельцам, но породистые овцы были уже испорчены, поскольку их гнали вперемешку с баранами и оплодотворили на несколько месяцев раньше, чем положено по скотоводческому календарю. Другую часть успели продать, остальное пошло на пропитание самим харачинам. Пострадавшие от реквизиций казаки вообще ничего не получили. Естественно, разразился скандал. Но когда член войскового правления Гордеев, на которого со всех сторон сыпались жалобы, обратился за разъяснениями к начальнику снабжения Маньчжурского отряда, тот сказал: «О, этого вопроса вы, батенька, не поднимайте. Ведь это сделал барон!... Батенька, если я об этом заявлю, мой чуб затрещит. Тут есть особый пункт, которого касаться нельзя!» Иными словами, с Унгерном лучше не связываться. Причины этой странной неприкосновенности барона объяснялись, видимо, не столько его дружбой с Семеновым, сколько с теми, от кого всецело зависел сам атаман - с японцами.

Еще в Хайларе Унгерн имел возможность сблизиться с находившимися при Фушенге японскими офицерами, среди которых был профессиональный разведчик капитан Нагаоми (русской разведке он был известен под фамилией Окатоё). Японцы должны были по достоинству оценить незаурядную фигуру барона. Его характер, интерес к Востоку вообще и буддизму в частности, наконец, полное отсутствие прозападных симпатий - все это делало Унгерна потенциальным союзником. На ситуацию в Азии он смотрел приблизительно так же, как кумир японской офицерской молодежи, военный министр Кадзусигэ Угаки, в декабре 1917 года провозгласивший, что Япония будет противостоять европейскому и американскому «деспотическому капитализму» с одной стороны, и «катящейся на восток волне русского большевизма» с другой.

И еще в одном пункте взгляды Унгерна в точности соответствовали принципам политики Токио: он тоже был сторонником свергнутой династии Цинь. Но если для Японии это был вопрос чисто политический, то Унгерну он представлялся иным. Восстановление Циней на престоле казалось ему волшебным ключом к будущему всего человечества, центральной

нотой вселенской гармонии. Единственный, как во всякой утопии, рычаг, с чьей помощью можно сдвинуть и вернуть в исходное положение утративший равновесие мир, он видел в маньчжурской династии; единственную точку физической опоры - в Монголии, а духовной - в буддизме.

ДАУРСКИЙ ВОРОН

Взять Читу собственными силами Семенов так и не сумел. Он принял ее из рук чехословацких легионеров Гайды и сибирских добровольцев Анатолия Пепеляева, впоследствии - прославленного «мужицкого генерала». В сентябре 1918 года атаман утвердил свою резиденцию в лучшей читинской гостинице «Селект», а Унгерн обосновался в Даурии. Он получил ее от Семенова на правах феодального владения: казармы стали его замком, гарнизон - дружиной, жители пристанционного поселка - крепостными, которых он опекал, казнил и жаловал.

Два пункта на географической карте, прочно связанные с жизнью Унгерна, странно созвучны его фамилии - Урга и Даурия. Здесь почти сразу после победы он приступил к формированию своей Азиатской дивизии, основу которой составили бурятские и монгольские всадники. На первых порах ее называли Туземным корпусом, Инородческим корпусом, Дикой дивизией, но Унгерн с его паназиатскими идеями хотел, видимо, подчеркнуть их в самом названии. Сколько сабель насчитывалось в дивизии, определить затруднительно. Колчаковские агенты доносили в Омск, что она «вообще не поддается учету». Не менее сложно разобраться в ее структуре, которая была разной в разное время. Поначалу один полк составили харачины Фушенги, другой набрали из казаков - русских и бурят, но за те два года, что Унгерн провел в Даурии, все неоднократно менялось. Управление строилось по принципу двойного командования: русские офицеры дублировали и контролировали туземных начальников. На штабных должностях и в артиллерии служили преимущественно русские. Вскоре при дивизии была создана военная школа для подготовки офицерских кадров из бурят и монголов. Заведовал ею есаул Баев. Как и заместитель Унгерна, Шадрин, он владел монгольским языком не хуже, чем родным.

Ничьей власти над собой барон не признавал. Когда из Читы к нему прибыла комиссия для расследования произведенных реквизиций и потребовала каких-то отчетов, Унгерн вежливо предостерег ревизоров: «Господа, вы рискуете наткнуться на штыки Дикой дивизии!» В Даурии он сидел полным князем и считал себя вправе облагать данью проходившие мимо поезда.

Средства, отпускаемые из Читы на содержание дивизии, были ничтожны, и главным способом получения крупных сумм для Унгерна стали реквизиции на железной дороге. Интендант барона, генерал Казачихин, позднее арестованный в Харбине и отданный под суд, оправдывался: «Ведь одевать, вооружать, снаряжать и кормить тысячи людей и лошадей, это при современной дороговизне чего-нибудь да стоит! Источником была только реквизиция. Ею долги платили и покупали на нее...» Самым удобным местом для такого рода промысла была пограничная Маньчжурия с ее постами военного и таможенного контроля. Реквизированные товары тайно переправлялись в Харбин, где продавались через спекулянтов-перекупщиков, часто по заниженной цене. Вокруг этого кормилась целая орда русских и китайских дельцов. Иногда кого-нибудь из них привозили на расправу в Даурию, затем все опять шло по-прежнему. Казачихин жаловался: «Мое положение было какое? Не сделать - барон расстреляет, сделать - атаман может отдать приказ и расстрелять». Унгерн, однако, был ближе и страшнее. Повинуясь его распоряжениям, Казачихин присылал в Даурию и вырученные деньги, и натуру: муку, сало, рис, ячмень и овес для лошадей, табак, папиросы, спички, партии обуви и чая. То Унгерну требовались электротехнические

принадлежности и латунь для патронных гильз, то парный экипаж, то горчица, то вдруг почему-то кокосовые орехи. При этом сам он был абсолютно бескорыстен, чего нельзя сказать о его помощниках. Тот же Казачихин, например, между делом купил себе дом в Харбине.

Даурия представляла собой совершенно особый замкнутый мир со своими мастерскими, швальнями, электростанцией, водокачкой, лазаретом и, разумеется, тюрьмой. Поселок был окружен сопками. На одну из них, господствующую, где постоянно выставлялся караул, Унгерн приказал вкатить товарный вагон и устроить в нем караульное помещение. С невероятным трудом его втащили на вершину сопки, провели туда телефон для связи со штабом, поставили печь, сколотили лежанки. Этот вагон виден был издали и долго изумлял приезжавших в Китай беженцев из числа тех, кто ничего не слышал о причудах барона.

Еще десять лет назад, в те времена, когда Унгерн, юный хорунжий, служил здесь в Аргунском полку, в Даурии начали строить новые казармы. Это были мрачные, с элементами модной тогда псевдоготики, большей частью двухэтажные здания из красного нештукатуренного кирпича с массивной кладкой стен, достигавших полутораметровой толщины, со сводчатыми коридорами и глубокими, на песчаную почву рассчитанными фундаментами. В военном городке имелись конюшни, орудийные парки, тир и манеж. Начали возводить и каменную церковь. К революции строительство почти закончили, но освятить церковь не успели, и Унгерн в конце концов приспособил ее под артиллерийский склад <В октябре 1920 года белые, отступая из Даурии, взорвали находившиеся в церкви снаряды. Рассказывали, что разнесенное по Аргуни эхо взрыва слышно было за 200 верст.>

Всякого рода условностями он всегда пренебрегал, в том числе и канцелярскими. Бумажные процедуры в его штабе были упрощены до предела. Когда кто-нибудь из подчиненных просил у барона письменное подтверждение полученного приказа - «бумагу», Унгерн с насмешкой отвечал: «Вам нужна бумага? Хорошо, я велю вам послать целую десь». Время от времени всю вообще штабную документацию он отправлял в печь как «тормозящую живое дело». На нестроевых должностях в Азиатской дивизии - от начальника штаба до последнего писаря - люди сменялись как в калейдоскопе. «Долго сидеть, - говорил Унгерн, - надоедает писать».

При этом он был прекрасным организатором, причем вмешивался в такие вопросы, которые, казалось бы, никак не входили в его компетенцию. Узнав, например, что в Чите собираются печатать собственные бумажные деньги, Унгерн вместо этого предложил чеканить монеты из вольфрама с местных рудников, пытался выписать из Японии машины для чеканки и даже со свойственной ему страстью к эмблематике (позднее он лично придумывал эмблемы для своих отрядов) продумал, как, будут выглядеть эти монеты.

Всю осень 1918 года в Чите праздновали победу, продолжались бесконечные банкеты и кутежи. Непременное участие в них принимал сам Семенов со своей любовницей - «атаманшей Машкой». Под этим именем она была известна всему Дальнему Востоку. Фамилии, похоже, никто не знал. Не то бывшая шансонетка, не то питерская цыганка, она была опытной авантюристкой. Агенты колчаковской контрразведки не без юмора доносили в Омск, что «Машка», всеми способами пытаясь привлечь к себе симпатии офицеров, даже платит за них карточные долги. Эта женщина пользовалась большим влиянием на Семенова, ее боялись и перед ней заискивали, но Унгерна она, видимо, числила в своих врагах. Надо думать, не случайно подаренную ему Семеновым белую кобылу барон назвал Машкой <Впрочем, эта тезка атаманской любовницы верой и правдой служила Унгерну вплоть до того момента, как он попал в плен.>. К тому времени как семеновская «атаманша» начала входить в силу, Унгерн уже сделался абсолютным трезвенником. Атмосфера, царившая в Чите, его раздражала, он считал, что там все «катится по наклонной плоскости». В одном из писем Унгерн сравнил атаманских пассий с «евнухами», которые обладали той же властью

при дворе турецких султанов.

В самой Даурии обстановка была более деловая, но и зловещая. Телесные наказания стали нормой, даже за дисциплинарный проступок виновного могли забить до полусмерти. Если в Эстляндии XVIII века помещик, давший своему крепостному свыше тридцати палок, подлежал суду, то теперь все измерялось иными масштабами. Били так, что у человека отваливались куски мяса. Эзекуционная команда состояла главным образом из китайцев, и березовые палки именовались «бамбуками». При порке ими граница между жизнью и смертью пролегла где-то на рубеже двухсот ударов.

Восток был рядом, и выражение «китайские казни» стало в Забайкалье отнюдь не метафорическим. Один из семеновских контрразведчиков рассказывал, что в Маньчжурском отряде практиковался, например, следующий метод допроса: арестованного привязывали к столу, затем на голый живот выпускали живую крысу, сверху накрывали ее печным чугуном и лупили палкой по днищу до тех пор, пока обезумевшее от грохота животное не вгрызлось человеку во внутренности. Как и Джордж Оруэлл, в романе «»доведший эту пытку до чудовищного совершенства, семеновские следователи позаимствовали ее из арсенала китайских палачей. Недаром и в ЧК на такого рода должностях тоже часто оказывались китайцы.

Эти методы применялись, разумеется, к врагам, хотя и своим тоже приходилось несладко. Но в первое время пребывания Унгерна в Даурии смертные приговоры чинам дивизии были еще редки. Даже дезертиры порой отделялись поркой.

Далеко не сразу, как писал есаул Макеев, барон из «человека кристальной честности, боготворимого подчиненными», превратился в «маньяка», а лишь «постепенно поддавшись стихийным порывам жестокой борьбы с красными». Так, во всяком случае, это выглядело в глазах близких ему людей.

Унгерн называл себя сторонником палочной дисциплины - «как Николай Первый и Фридрих Великий», хотя ни русский император, ни прусский король и помыслить бы не могли о том, чтобы пороть своих офицеров, причем с вовсе не обязательным после этого разжалованием в рядовые. Но и офицеры были таковы, что порка не воспринималась ими как смертельное унижение, после которого остается пустить себе пулю в лоб. Старые представления о чести рухнули, в отрезанной от всего мира Даурии сам Унгерн стал мерой добра и зла, и он же являлся гарантом хоть какого-то порядка среди всеобщей продажности и озверения. Этот порядок Унгерн поддерживал по-своему: мог утопить в реке офицера, при переправе подмочившего запасы муки, или заставить интенданта съесть всю пробу недоброкачественного сена.

В дивизии Унгерн был непререкаемым авторитетом. Одновременно его боялись до дрожи, до приступов немоты. Рассказывали, будто офицеры в немалых чинах прятались под телеги, чтобы в пьяном виде не попасться ему на глаза. Большинство своих вынужденных русских соратников он презирал, но к солдатам относился хорошо и даже заслужил у них прозвище «дедушка». Те, кто воевал с ним на Юго-Западном фронте, помнили, что еще тогда Унгерн избегал офицерского общества, спал прямо на полу вместе с казаками своей сотни и ел с ними из одного котла. Впрочем, по-настоящему интимными были только его отношения с монголами и бурятами. Об этом писали многие, в том числе эстляндец Александр Грайнер, посетивший Даурию как корреспондент одной американской газеты.

Даже будучи наслышан об эксцентричности барона, Грайнер был поражен его позой и костюмом: «Передо мной предстала странная картина. Прямо на письменном столе сидел человек с длинными рыжеватыми усами и маленькой острой бородкой, с шелковой монгольской шапочкой на голове и в национальном монгольском платье. На плечах у него были золотые эполеты русского генерала с буквами А. С., что означало „Атаман Семенов" <Чин генерал-майора Унгерн получил от Семенова в ноябре 1918 года.>. Оригинальная

внешность барона озадачила меня, что не ускользнуло от его внимания. Он повернулся ко мне и сказал, смеясь: „Мой костюм показался вам необычным? В нем нет ничего удивительного. Большая часть моих всадников - буряты и монголы, им нравится, что я ношу их одежду. Я сам очень высоко ценю монгольский народ и на протяжении нескольких лет имел возможность убедиться в честности и преданности этих людей". В дальнейшем разговоре Унгерн постоянно возвращался к той же теме. «Барон, - вспоминает Грайнер, - показал большие познания в области монгольских нравов и обычаев, их религии. Признаться, меня удивило, что он, оказывается, религиозен, ведь я разговаривал с ним как с человеком, который не боится ни Бога, ни дьявола».

Все одиннадцать забайкальских «застенок смерти» напоминали пыточные избы времен Ивана Грозного, но среди них даурская тюрьма пользовалась особенно зловещей славой. Это, по-видимому, объясняется тем, что сюда свозили не столько пленных партизан, сколько провинившихся «своих» и вообще всех подозрительных. Много было людей и вовсе случайных, ставших жертвами беспощадной войны, которую Унгерн время от времени объявлял спекуляции, пьянству и проституции. Когда Семенов однажды заточил в монастырь каких-то изменивших мужьям офицерских жен, это был акт пропагандистский, демонстрирующий мнимую патриархальность его власти, но Унгерн вполне искренне мог ощущать себя бичом Божиим, испепеляющим скверну. Ужас порождало возведенное в ранг закона чудовищное несоответствие между степенью вины и мерой наказания. По свидетельству очевидцев, стены камер даурской гауптвахты были испещрены надписями, чей общий смысл сводился к следующему: не знаем, за что нас губят.

Унгерн и гордился своей беспощадностью, и вместе с тем испытывал болезненную потребность оправдать ее, пускался в пространные объяснения, никак не спровоцированные собеседниками. На эту тему он порой заговаривал даже с малознакомыми людьми. Того же Грайнера барон видел впервые в жизни, но в разговоре с ним, без всякой логической связи с предшествующим монологом о монголах, вдруг сказал: «Я не знаю пощады, и пусть ваши газеты пишут обо мне что угодно. Я плюю на это! Я твердо знаю, какие могут быть последствия при обращении к снисходительности и добродушию в отношении диких орд русских безбожников... »А через два с половиной года, разъезжая с Оссендовским на автомобиле по ночной Урге, Унгерн так же внезапно начал говорить ему: «Некоторые из моих единомышленников не любят меня за строгость и даже, может быть, жестокость, не понимая того, что мы боремся не с политической партией, а с сектой разрушителей всей современной культуры. Разве итальянцы не казнят членов „Черной руки"? Разве американцы не убивают электричеством анархистов-бомбометателей? Почему же мне не может быть позволено освободить мир от тех, кто убивает душу народа? Мне - немцу, потому что крестоносцев и рыцарей. Против убийц я знаю только одно средство - смерть!»

Здесь Унгерн лукавит: «единомышленники» обвиняли его в жестокости не к врагам, а к своим же соратникам и к тем, кого он в силу разных причин считал «вредным элементом». Программу тотального истребления всех потенциально опасных лиц Унгерн так в полной мере и не осуществил, лишь декларировал ее перед походом из Урги на север, но первые очистительные эксперименты начал проводить уже в Даурии. На роль первого помощника в этом деле удобнее было взять чужака, и начальником гауптвахты он сделал бывшего военнопленного, австрийского полководца Лауренца (солдаты перекрестили его в Дауренца).

Современники Унгерна, говоря о нем, не в последнюю очередь задавались вопросом, что же все-таки было изначально в этом человеке: клиническая картина психики или доведенный до кровавого абсурда политический максимализм? Но едва ли одно можно тут отделить от другого, а все вместе - от времени, как писал харбинский литератор Альфред Хейдок, «великого беззакония», когда «безумие бродило в головах и порождало дикие поступки,

когда ожесточение носилось в воздухе и пьянило души».

В 1920 году некий доктор Репейников, прибывший в Читу с запада, на публичной лекции говорил о том, что в Европейской России врачи констатируют новую, совершенно оригинальную современную психическую болезнь - жажду убийств. «Это не садизм, - рассказывал лектор, - не помешательство, не стремление новыми преступлениями заглушить укоры совести. Единственное лекарство для таких больных - либо самоубийство, либо убийство не меньше трех раз в неделю. Страдающий подобной болезнью лишен сна, теряет аппетит, все мускулы его ослаблены, и он делается не способен ни к мускульному труду, ни к полному бездействию» <Но Репейников рассказал и о другой, типичной для времени и для русского национального духа, форме психического расстройства - «помешательстве на желании искупить преступления, совершенные другими людьми». Вообще, в эти годы колоссально выросло число душевнобольных; лечебницы в городах переполнены. Тогда же в психиатрической больнице в Чите лежала знамени-тая женщина-офицер Мария Бочкарева, чье имя носил когда-то женский «батальон смерти». За храбрость и ранения она имела Георгиевский крест всех четырех степеней, золотое оружие и серебряную шашку, подаренную ей генералом Корниловым. Позднее, оказавшись в Омске, Бочкарева пыталась организовать женские части в армии Колчака. Но Гражданская война мало походила на Германскую, а на Отечественную 1812 года - и того меньше. На этой сцене за роль кавалерист-девицы несчастной женщине пришлось расплачиваться безумием.>

Не делая никаких касающихся Унгерна выводов из этой полушарлатанской, может быть, лекции заезжего доктора, зарабатывающего себе таким образом на кусок хлеба, стоит поставить рядом свидетельство того же Хейдока: «Горе тем, кто сидит на гауптвахте, потому что барону сжало сердце, и он готов на все, лишь бы отпустило. Он обязательно заедет на гауптвахту и произведет короткий и правый суд».

Жестокость Унгерна была связана с его маниакальной подозрительностью. «Я никому не могу верить, - жаловался он Оссендовскому, - нет больше честных людей! Все имена фальшивы, звания - присвоены, документы - подделаны...» Это обычно для параноика - мыслить себя единственным настоящим человеком среди оборотней, по отношению к которым ничто не может считаться преступлением. На тот же самый диагноз указывают и неистощимая энергия Унгерна, его постоянная бурная деятельность, перемежаемая приступами апатии, предприимчивость в сочетании с мрачным фатализмом, дикие припадки ярости при всегдашней молчаливости и замкнутости, его фанатизм, нетерпимость, отсутствие интереса к женщинам, наконец, манера речи - быстрой, возбужденной, если разговор касался близких ему тем, с повторением одних и тех же слов, и одновременно бессвязной, «перескакивающей с предмета на предмет», как писал один из собеседников барона. Но корректнее все же говорить не о параноике в медицинском смысле, а о параноическом складе личности, характерном для тиранов разных времен и народов. Не случайно «сумасшедшим бароном» Унгерна стали называть лишь после его смерти. Он занимал крупные посты, с ним считались и в Чите, и в Харбине, и в среде высшей китайской администрации северных провинций. Японцы тоже, судя по всему, не сомневались в его нормальности, как, впрочем, и большевики. Видимо, понадобилась временная дистанция, чтобы увидеть в нем признаки безумия, замечаемые и раньше, но на фоне ирреальной действительности тех лет казавшиеся незначительным отклонением от нормы. Инфернальная фигура барона вызывала почти суеверный ужас, притуплявший естественное чувство границы между человеком просто неуравновешенным и душевнобольным. К тому же сама атмосфера таинственности, окружавшая Даурию, мешала пристальнее взглянуть в ее хозяина.

Посторонние здесь появлялись редко, но от железнодорожников, солдат и местных жителей было известно, что в Даурии тела расстрелянных не закапывают и не сжигают, а бросают в лесу на съедение волкам. Ходили слухи, будто иногда на растерзание хищникам

оставляют и живых, предварительно связав их по рукам и ногам. «С наступлением темноты, - вспоминал служивший в Даурии полковник Ольгерд Олич <Возможно, это псевдоним Льва Вольфовича, одного из ближайших сподвижников Унгерна, единственного еврея в его окружении.>, - кругом на сопках только и слышен был жуткий вой волков и одичавших псов. Волки были настолько наглы, что в дни, когда не было расстрелов, а значит, и пищи для них, они забегали в черту казарм».

Тот же мемуарист рассказывает, что Унгерн любил абсолютно один, без спутников и без конвоя, «для отдыха»вечерами ездить верхом по окружавшим военный городок сопкам, где всюду валялись черепа, скелеты и гниющие части обглоданных волками тел». Причем у этих его одиноких прогулок было подобие цели: где-то здесь, в лесу, обитал филин, чье «всегдашнее местопребывание»барон хорошо знал и обязательно проезжал возле. Однажды вечером, то ли не услышав привычного уханья, то ли еще по какой-то причине Унгерн решил, что его любимец болен. Встревожившись, он прискакал в поселок, вызвал дивизионного ветеринара и велел ему немедленно отправляться в сопки, «найти филина и лечить его».

Если даже такой случай и вправду был, тут заметно отношение к Унгерну как существу демоническому - ночью, в окружении воющих волков он скачет по лесным полянам, усеянным человеческими костями, и беседует с филином, птицей колдунов и магов. Это, впрочем, сугубо интеллигентская мифология. После казни Унгерна харбинская публика с особым интересом читала и рассказывала подобные истории о нем. Его отвратительная жестокость была известна всем, но теперь многие предпочитали осмыслить ее иначе. Трагическая попытка Унгерна в одиночку бросить вызов большевикам на границах Монголии сделала его героем. В эмигрантской среде на севере Китая возникла традиция, в которой безумие барона не отрицалось, но облагораживалось: патология трактовалась как демонизм, в мрачных и тем не менее романтических тонах.

История с филином была, в частности, очень популярна; харбинский поэт Арсений Несмелов положил ее в основу своей «Баллады о Даурском бароне». Правда, филина, символ мудрости, он заменил вороном, птицей более откровенно связанной со смертью и Роком. Дерево, где находится его дупло, превращается в сатанинский алтарь, расстрелы - в жертвоприношения. Этот ворон у Несмелова становится олицетворением ночной стороны души Унгерна и в то же время символом его нечеловеческого одиночества. Узнав о его гибели, барон, «содрогаясь от гнева и боли», кричит: «Он был моим другом в кровавой неволе, другого найти я уже не смогу!»В финале баллады оживший ворон сидит на плече Унгерна, который, тоже восстав из мертвых, исполинским призраком на черном коне пронесется в горячих песчаных вихрях над пустыней Гоби. Адской свиты, как положено в классических сюжетах такого рода, при нем нет, барон скачет один, павшие в боях или им же самим казненные сподвижники и соратники - это лишь челядь, безгласный инструмент его дикой воли, не способный воскреснуть сам по себе и не воскрешенный Унгерном. Его единственный верный спутник, единственная родная душа на этом и на том свете - даурский филин-ворон, кормившийся телами его жертв.

ТЕНЬ ЧИНГИСХАНА

Когда 18 ноября 1918 года Александр Васильевич Колчак стал Верховным Пра-вителем России, Семенов отказался его признать и потребовал в течение суток передать власть Деникину, Хорвату или атаману Дутову. Не получив ответа, он разорвал телеграфную связь Омска с Дальним Востоком и начал задерживать эшелоны с военными грузами, идущие через Читу на запад. В Омске поведение Семенова было квалифицировано как акт государственной измены; в ответ атаман, поддерживаемый японцами, которые всегда считали Колчака

«человеком Вашингтона», отправил ему телеграмму, беспрецедентную по тону и смыслу: он сам обвинил адмирала в измене и заявил, что во всеоружии встретит его, если тот попытается применить силу. На пороге нового, 1919 года белая Сибирь оказалась на грани междоусобной войны.

Не отправив на Урал, где в это время решалась судьба России, ни единого солдата, ни одного из своих семи бронепоездов, Семенов приводит армию в полную боевую готовность. Теперь под ружьем у него, по разным оценкам, от 8-10 до 20 тысяч бойцов. В Чите раздаются голоса, призывающие распространить власть атамана до Урала, а омских генералов, включая Колчака, предать суду. Приближенные Семенова прямо прочат его в сибирские диктаторы, а на возражения, что слишком многие будут этим недовольны, следует ответ: «Наплевать, мы эту сволочь всю перебьем!»

Столкнулись между собой не только две политические ориентации - на союзников и на Японию, не только две тенденции в Белом движении - вековая традиция российской государственности и столь же древняя стихия атаманщины, самозванчества, - но и два человека, хорошо знавшие и ненавидевшие друг друга. Одному сорок пять лет, он знаменитый адмирал, исследователь Арктики, автор ученых трудов, герой Порт-Артура, бывший командующий Черноморским флотом; то, что для него было национальной и личной трагедией, для другого, недавно еще никому не известного, полного сил двадцативосьмилетнего полковника стало шансом на успех. Семенов рвался к власти, сам взял ее и не намерен был никому уступать ни части завоеванного; Колчак власти не хотел, но принял ее из чувства гражданского, военного и человеческого долга, как принял бы любое другое поручение, если бы считал его полезным для спасения родины.

«Легенда о „железной воле" Колчака, - писал Павел Николаевич Милуков, - очень скоро разрушилась, и люди, хотевшие видеть в нем диктатора, должны были разочароваться. Человек тонкой духовной организации, чрезвычайно впечатлительный, более всего склонный к углубленной кабинетной работе. Колчак влиял на людей своим моральным авторитетом, но не умел управлять ими». Еще определеннее писал о нем Будберг, военный министр Омского правительства: «Это большой и больной ребенок, чистый идеалист, убежденный раб долга и служения идее и России; несомненный неврастеник, быстро вспыхивающий, бурный и несдержанный в проявлении своего неудовольствия и гнева... Истинный рыцарь подвига, ничего себе не ищущий и готовый всем пожертвовать, безвольный, бессистемный и беспамятливый, детски и благородно доверчивый, вечно мятущийся в поисках лучших решений и спасительных средств, вечно обманывающийся и обманываемый, обуреваемый жадой личного труда, примера и самопожертвования, не понимающий совершенно обстановки и не способный в ней разобраться, далекий от того, что вокруг него и его именем совершается...»

Весной 1919 года, в момент наивысших успехов на фронтах, редактор газеты «Русское дело» Устрялов наблюдал за Колчаком во время молебна в омском Казачьем соборе и в тот же вечер записал в дневнике, что на лице адмирала «видна печать обреченности». Устрялов подчеркивает: это именно тогдашнее наблюдение, зафиксированное в дневнике, а не придуманное задним числом. Действительно, мысли о Роке, о гибельности избранного пути, об игре тайных сил преследовали Колчака постоянно. Он много думал о смерти, готовился к ней и при поездках на фронт не расставался с револьвером, чтобы застрелиться при угрозе плена. Семенов отнюдь не был подвержен подобным настроениям. Умирать он не собирался и в любых обстоятельствах имел запасной вариант жизни, будь то штатский костюм на случай бегства или деньги в банках Харбина и Нагасаки. Он никогда не считал себя ни игрушкой надмирных сил, как Колчак, ни их орудием, как Унгерн, и все его предприятия, даже самые, казалось бы, авантюрные, определялись тремя факторами: собственным интересом, трезвым расчетом и мощным инстинктом самосохранения.

Устрялов писал, что все крупные фигуры Белого движения органически чуждались власти: она была для них «долгом, бременем и крестом». Здесь они являли собой полную противоположность Ленину и Троцкому. Ни Деникин и Алексеев, ни Врангель, ни тем более Колчак никогда не мыслили себя в роли будущих правителей России. Их программа: «Вот доведем до Москвы, и слава Богу!» Но Семенов «эросом власти» обладал. Во многом это и предопределило исход его столкновения с Колчаком, который проиграл и как политик и как человек, по природе не созданный для такого соперничества. В конце концов адмирал вынужден был отменить свой приказ, объявлявший Семенова «изменником», и дать обещание сложить с себя звание Верховного Правителя при первом соприкосновении с войсками Деникина. В ответ Семенов телеграфировал о подчинении, но фактически победа осталась за ним. Произведенный в генерал-майоры, признанный походным атаманом всех трех казачьих войск Дальнего Востока, он так и не послал на фронт ни одного солдата и сохранил полную независимость от кого бы то ни было, не считая, разумеется, японцев.

Что касается Унгерна, он с первых дней конфликта без колебаний поддержал Семенова, причем действовал даже более решительно, чем сам атаман. Тот хитрил, давал обещания, которые заведомо не собирался исполнять, делал вид, будто готов идти на уступки; Унгерн же попросту арестовал всех колчаковских эмиссаров в Даурии и на станции Маньчжурия, не вступая с ними ни в какие переговоры. Все это в его стиле. Недаром, сравнивая Унгерна с Семеновым, в Забайкалье говорили: «Барон с атаманом по одной дороге не пойдут, дороги у них разные. Путь барона прямой, а у того - другой...» Тем не менее до поры до времени эти двое шли рядом.

Несомненно, Унгерн считал Колчака мягкотелым позером и ненавидел его как либерала, японофоба и западника. Генерал Резухин, правая рука барона, мог, например, употребить такое выражение в адрес бывшего офицера Сибирской армии: «Сентиментальная девица из колчаковского пансиона».

В романе Сергея Маркова «Рыжий Будда» рассказывается, что в Монголии, при штабе Унгерна, Колчака называли «герцогом». Роман в значительной степени написан по воспоминаниям Бурдукова. Марков был знаком с ним и, возможно, не придумал, а услышал от него его прозвище. Есть в нем оттенок подлинности. Именно так Унгерн должен был воспринимать Колчака - с долей иронического презрения к его претензиям видеть в себе настоящего диктатора. В самом слове «герцог» присутствует нечто бутафорское, оперное, не соотносимое с Россией. Для Семенова и Унгерна трагическая фигура Колчака превратилась в шутовскую, его роковое интеллигентское бессилие выгодно оттеняло их собственную, не стесненную условностями, власть.

Но не менее важным казалось, видимо, Унгерну и другое: при реальном, а не формальном подчинении Омску с последующим обязательным выступлением на Западный фронт неминуемо должны были рухнуть их с Семеновым общие планы, о которых в декабре 1918 года еще мало кто догадывался. Борьба с красными на Волге и на Урале не входила в эти грандиозные планы. Они касались восточных дел и временно заставляли считать второстепенным все, что происходит к западу от Байкала.

Еще летом 1918 года, задолго до конфликта с Колчаком и даже до занятия Читы, Семенов поделился со старым другом, Гордеевым, своими сокровенными замыслами. Тот рассказывал: «Семенов мечтал в интересах России образовать между ней и Китаем особое государство. В его состав должны были войти пограничные области Монголии (Внутренней. - Л. Ю.), Барга, Халха и южная часть Забайкальской области. Такое государство, как говорил Семенов, могло бы играть роль преграды в том случае, когда бы Китай вздумал напасть на Россию ввиду ее слабости...»

Если буквально воспринимать побудительный мотив этого плана, то все в нем непонятно и нелогично: предвидя азиатское нашествие, Семенов почему-то исключает главную силу,

способную организовать и возглавить такое движение, - Японию. Вообще сама попытка объяснить дело «интересами России» выглядит смехотворной: создание подобного государства было выгодно прежде всего Японии. Здесь атаман не заблуждался, хотя и старался как-то затушевать это обстоятельство привычной патриотической, фразой.

Но только послушным орудием в руках японских политиков он никогда не был. Идея объединения всех монгольских племен для него стала воистину заветной, глубоко личной, лишь внешне совпадающей с планами Токио. Тут мы приближаемся к самому, может быть, интимному в этом незаурядном человеке - к тому, что роднит его с Унгерном и что сделало их обоих трагическими фигурами не столько собственно русской, сколько евразийской истории. Тень Чингисхана являлась им обоим, но оборачивалась разными сторонами: Унгерн видел перед собой потрясателя Вселенной, Семенов - строителя Империи.

Мысль о частичном возрождении державы Чингисхана не могли внушить ему ни Афанасьев с Вериго, ни кто-то другой из ближайшего окружения атамана, от которого он будто бы всецело был зависим. Для этих людей Монголия оставалась пустым звуком, ничего не говорящим ни уму, ни сердцу. Они еще принимали ее в расчет как стратегическую базу, как поставщика живой силы или лошадей для армии, но никакого кровного интереса к ней не испытывали. Ее горы и степи не пробуждали в них ни воспоминаний, ни надежд. Скорее уж первоначальная подсказка исходила от японцев, хотя и это не столь несомненно, как считали враги атамана. Идея всемонгольской государственности выдвигалась еще в годы первой монголо-китайской войны; у нее были горячие сторонники и в Халхе, и во Внутренней Монголии, и в Бурятии. Семенов, имея обширные связи среди монгольского ламства и князей, об этом, разумеется, знал. Но даже если семя было брошено его японскими советниками, оно упало на благодатную и уже взрыхленную почву и дало неожиданно бурные всходы, удивившие самих же сеятелей.

Тот, первый разговор, который состоялся в Китае, трезвый Гордеев не принял всерьез, но спустя полгода Семенов опять вернулся к этой теме. На вопрос Гордеева, как он представляет собственную роль в будущем государстве, атаман ответил, что станет «главковерхом» при каком-нибудь ламе, которого сам же и «посадит» не то на престол, не то в кресло премьер-министра. Иными словами, он рассчитывал формально на второе, а фактически - на первое место в государственной иерархии «Великой Монголии». Это было тем вероятнее, что его бабка по отцу принадлежала к роду князей-чингизидов.

«Монгольские князья, - после встречи с Семеновым в марте 1919 года писал Джон Уорд, - просили его стать их императором, и если он выберет эту дорожку, то вихрь промчится по соседним землям». Правда, Уорд со слов своих русских собеседников составил мнение, что при таком выборе «Семенов станет паяцем, а нити будут дергать японцы». Однако в Пекине именно атамана считали главным инициатором панмонгольского движения, и о том же самом доносил в Омск русский посол в Китае князь Кудашев.

Но в любом случае никто не сомневался, что, если на карте появится «Великая Монголия», она будет целиком зависеть от Токио. Японцы давно стремились утвердить свое влияние в центре Азии, чтобы оттуда контролировать и Туркестан, и Тибет, через который открывался путь в Индию, и конечно, Северный Китай. Монгольский ключ подходил ко всем этим священным воротам азиатского материка. Крушение Российской Империи позволяло надеяться на успех программы, но ее конкретные очертания были, видимо, выработаны при живейшем участии Семенова и Унгерна. Эти двое российских кондотьеров обладали той организующей энергией западного типа, какой лишены были сами монголы, и той степенью политической безответственности, которая как раз и устраивала Японию, нуждавшуюся в какой-то ширме для своих планов. Прямого вмешательства западные державы не потерпели бы. Но глобальные интересы Токио парадоксальным образом совпали с личной заинтересованностью атамана и барона. Именно тут скрыта разгадка странной близости этих

столь не похожих друг на друга людей. Они строили одно здание, хотя использовать его хотели по-разному. Идеалист Унгерн в создании «Великой Монголии» видел только первый шаг на пути к будущему обновлению Китая, России и Европы; прагматик Семенов этот шаг рассматривал как последний, итоговый. Для него новое государство должно было стать не эпицентром грядущих вселенских потрясений, как для неистового барона, а запасным вариантом судьбы. Там, в незыблемом, вневременном, с детства привычном мире монгольских степей, он мог обрести пожизненную, если не наследственную власть восточного владыки. Мысль об этом то укреплялась в нем, то слабела, но полностью не исчезала никогда. Ее подъемы и спады зависели от хода Гражданской войны в России. Семенов отлично сознавал, что, кто бы ни победил - Колчак или красные, в Чите ему не усидеть. Его могущество было временным, определялось равновесием сил на западе Сибири, и когда чаша весов начинала склоняться на ту или иную сторону, он, как бы спохватываясь, в очередной раз обращался к спасительному монгольскому варианту. Семенов и вообще-то не имел привычки сжигать за собой мосты, а этот, над пропастью ведущий к спасению, берег как зеницу ока: в течение двух лет его неусыпно охранял Унгерн со своей Азиатской дивизией. Порой возникает ощущение, что в этом замысле Семенов-человек доминирует над Семеновым-политиком. Вряд ли, скажем, простой случайностью объясняется тот факт, что первый разговор с Гордеевым о создании «особого государства» атаман завел в тяжелые для себя дни - после сокрушительного поражения, нанесенного ему войсками Лазо. Так будет и позднее. Похоже, что в минуту усталости и отчаяния Семеновым движет желание все бросить и вернуться наконец, как в материнскую утробу, в родную стихию Монголии, где даже власть могла бы быть сопряжена с удовольствием и покоем, чего нет и не будет в России при любом исходе войны.

В начале февраля 1919 года Семенов, этот «блудный сын Московии», как называл его Уорд, прибывает в Даурию, куда уже съехались делегаты всех населенных монголами областей, за исключением главнейшей - Халхи. Атамана избирают председателем конференции. Заседания продолжаются несколько дней и окружены завесой секретности. Даже близкие Семенову, но далекие от этих его планов люди имели весьма смутное представление о том, что же на самом деле происходило в Даурии. Еще меньше они сочли возможным рассказать членам комиссии, которая по распоряжению Колчака двумя месяцами позднее из Омска была отправлена в Забайкалье для расследования «действий полковника Семенова и подчиненных ему лиц». В общих чертах все знали одно: на Даурской конференции речь шла о создании независимого монгольского государства. Зато почти каждый из допрошенных сообщил, что делегаты поднесли Семенову высший княжеский титул «цин-вана», т. е. князя 1-й степени, или «светлейшего князя», а также подарили ему белого иноходца и шкуру белой выдры, которая, по мнению управляющего Забайкальской областью Таскина, «родится раз в сто лет». Таскин говорил: «Такие подарки делаются самым высоким лицам. Семенов из выдры носит шапку, и это очень нравится монголам». Другие полагали, что это не выдра, а белый бобер - «ценный талисман для охраны в ратных подвигах».

Но, разумеется, не выдра и не шапка из нее интересовали колчаковских следователей. Больше всего их занимал вопрос о границах предполагаемого государства. Здесь подтвердились худшие опасения Омска, позволявшие говорить о государственной измене атамана. Свидетели показали, что в состав «Великой Монголии» должен войти изрядный кусок русского Забайкалья, населенный бурятами. Судя по некоторым деталям, на конференции дебатировалось и присоединение единовременного Тибета, но тут Семенов, опасаясь реакции англичан, проявил здравомыслие.

Правда, всех собравшихся в Даурии не могло не тревожить одно чрезвычайное обстоятельство: Халха - крупнейшая и, в отличие от прочих, практически самостоятельная

область Монголии, делегатов прислать не пожелала. Правительство Богдо-гэгена участвовать в конференции отказалось, чем поставило под сомнение успех всего предприятия.

В самом Забайкалье о происходившем в Даурии знали мало, но в Пекине, пользуясь веками отработанной системой подкупа монгольских князей, быстро установили все детали. Уже через месяц имя Семенова заполнило первые полосы китайских газет. О «храбром казаке-буряте», задумавшем возродить ядро империи Чингисхана, писали в Европе и в Америке. Крохи этой информации подбирали сибирские журналисты. Но в Омской контрразведке о событиях знали не по газетам. Донесения стекались отовсюду: из Читы, из Хайлара, даже из Урги, куда специально для борьбы с панмонгольскими планами Семенова и Унгерна был направлен поручик Борис Волков. Один из колчаковских агентов сумел заполучить и переслать в Омск все секретные материалы Даурской конференции.

На ней было образовано временное правительство «Великой Монголии» и определено ее будущее политическое устройство - федерация во главе с конституционным монархом. Верховную власть решили предложить Богдо-гэгену, а если он и в таком случае откажется признать Даурское правительство, то объявить ему войну, созвать ополчение и под предводительством Семенова идти походом на Ургу.

Шла весна 1919 года. Колчаковские генералы ведут бои на Волге, в низовьях Камы, на Южном Урале. Чтобы опередить Деникина и первыми войти в Белокаменную, юные омские командармы вынудили Колчака принять гибельный, как оказалось, план прямого наступления на Москву через Пермь и Вятку. Пермь взята, двадцатилетний Анатолий Пепеляев, генерал-эсер, из последних сил рвется на запад, но его останавливают в районе Глазова. Наступление других колчаковских армий еще не выдохлось, однако штабные карты все гуще покрываются красной сыпью крестьянских восстаний. Омск умоляет Семенова двинуть хотя бы тысячу штыков на Минусинский фронт, против партизан Кравченко. Атаман отвечает отказом: у него есть более важные дела, нежели воевать с большевиками за пределами своих владений. В марте на бронепоезде «Атаман», где для него оборудован блиндированный салон-вагон, Семенов отбывает во Владивосток.

Там первый визит нанесен полковнику Барроу, начальнику разведки американского экспедиционного корпуса. Атаман вручает ему декларацию о независимости Монголии и адресованное президенту Вильсону послание премьер-министра Даурского правительства Нэйсэ-гэгена. Но Барроу уже получил соответствующие инструкции, оба документа без рассмотрения возвращаются обратно к Семенову. Здесь же, во Владивостоке, его ждет и другое, куда более серьезное разочарование. Хотя совсем недавно ему было твердо обещано, что Япония первой признает новое государство, теперь в Токио трубят отбой. Там сменились приоритеты, ставка делается уже не на Семенова, а на генерал-инспектора Маньчжурии Чжан Цзолина, чьи войска готовятся войти во Внутреннюю Монголию, и на китайских генералов из клуба «Аньфу», планирующих завоевание Халхи. Атаману ясно дают понять, что монгольской делегации нечего делать в Приморье, все равно в Токио ее не пустят. И еще того хуже: чтобы реабилитировать себя перед новыми союзниками, японцы сами же предадут огласке тайные замыслы Семенова. Атаман тоже знал толк в интриге, но такой изощренной двойственности, такого откровенного предательства предвидеть не мог. Он бросается к консулам Англии и Франции, но те вообще отказываются обсуждать вопрос о свидании с членами Даурского правительства. Грандиозные планы рушатся буквально в одночасье.

В плену, отвечая на вопрос о Даурском правительстве, Унгерн сказал, что относился к нему «отрицательно» и его членов считал «пустыми людьми».

Похоже, так оно и было. Группировавшиеся вокруг Нэйсэ-гэгена монгольские и бурятские интеллигенты с их идеей национальной независимости, с намерением на месте империи Чингисхана создать банальную республику по западному образцу, могли вызвать у барона только презрение. Они отталкивали его своим ученическим прогрессизмом,

разговорами о конституции и парламенте, своей заемной буржуазностью, которая казалась пародией на западную, но прекрасно уживалась с азиатской хитростью, уклончивостью и безответственностью в практических делах. Постоянно апеллируя к великим космополитам - Чингисхану и Хубилаю, эти люди стремились лишь к государственности в сугубо этнических границах и совершенно не задумывались над тем, какая роль в мировой истории отведена желтой расе. Видя, как они трусливо мечутся между Семеновым и Пекином, как рабски зависят от атамана и в то же время пытаются его обмануть, относиться к ним всерьез Унгерн, естественно, не мог. Единственным исключением был князь Фушенга, воин и аристократ, но вскоре выяснилось, что и на него надеяться нельзя.

В конце августа 1919 года, когда Унгерн был в отъезде - в Харбине, Даурию посетила дипломатическая миссия, состоявшая из китайцев и их монгольских союзников. Ее члены провели официальные переговоры с правительством Нэйсэ-гэгена и секретные - с Фушенгой. Первые ни к чему не привели, вторые оказались гораздо результативнее, и через несколько дней после того, как миссия отбыла восвояси, в Азиатской дивизии вспыхнул мятеж.

Колчаковский агент в Чите, полковник Зубковский, доносил в Омск, что предводитель харачинов, «монгольский генерал» Фушенга, будучи подкуплен пекинскими дипломатами, согласился перебить в Даурии всех русских офицеров и разоружить оба туземных полка. Однако нашлись доносчики, заговор был своевременно раскрыт, и рано утром 3 сентября Фушенгу решили арестовать.

По другой версии, никакого заговора не существовало, он был выдуман семеновской контрразведкой с целью обезглавить харачинов, которые, устав ждать добычи от обещанного похода на Ургу, собирались то ли переметнуться к китайцам, то ли просто уйти в бега и вернуться к прежнему разбойничьему промыслу.

Наконец, была и третья версия: интендант Унгерна, генерал Казачихин, объяснял мятеж тем, что харачины давно не получали жалованья.

Так или иначе, когда явившиеся к Фушенге офицеры предложили ему сдать оружие, он это требование выполнить отказался и заперся у себя в доме. С ним был его конвой, а мощные кирпичные стены позволяли надеяться выдержать осаду хотя бы до темноты. После того как все уговоры сдать оказались безрезультатными, бурятские части, окружив дом, пошли на приступ. Фушенга с конвоем начали отстреливаться из окон. Первое наступление было отбито с большим уроном для нападавших. Чтобы избежать потерь, Шадрин, в эти дни заменявший Унгерна, приказал придвинуть стоявший на станции бронепоезд «Грозный» и прямой наводкой вести обстрел из орудий. Артиллерийским огнем дом был снесен с лица земли, но неукротимый Фушенга заблаговременно успел перебраться в подвалы, засел там со своими уцелевшими конвойными, и едва осаждающие попытались приблизиться к развалинам, оттуда вновь раздались выстрелы. Теперь 75-миллиметровые пушки «Грозного» перенесли огонь на подвалы, но смешать их с землей оказалось труднее, чем разрушить само здание. Тем временем бурятский полк занял казармы харачинов и приступил к их разоружению. Против ожиданий операция прошла спокойно: под устрашающий грохот артиллерии монголы легко сдали оружие. Орудийный обстрел подвалов продолжался до трех часов пополудни, затем огонь прекратили. Развалины безмолвствовали, Фушенга и все его товарищи были мертвы.

Четырнадцать наиболее близких к нему монгольских офицеров посадили в бронепоезд и повезли в Читу, но по дороге они «подавили конвой, завладели оружием и двумя головными вагонами, заставив машиниста ехать обратно». Они думали прорваться в Китай, но в Даурии успели перевести стрелки. Оказавшись в западне, монголы отчаянно оборонялись, но в конце концов атакующим удалось захватить паровоз, отцепить захваченные мятежниками вагоны и подвести их под огонь дивизионных батарей.

После этого инцидента правительство Нэйсэ-гэгена фактически прекратило свою

деятельность, и сам он вместе с харачинами был отправлен из Даурии в Верхнеудинск. Но одновременно Семенов опять начинает прощупывать возможность осуществления своих панмонгольских планов. Причины вернуться на старое пепелище у него были.

К осени 1919 года партизанское движение в Забайкалье становится поистине всенародным, в нем участвуют все слои населения вплоть до купечества и караульских казаков. Даже родной дядя атамана, известный под кличкой «дядя Сеня», оказывается во главе одного из отрядов. Теперь семеновский режим контролирует лишь города и узкую полосу вдоль железнодорожной линии Верхнеудинск - Чита - Маньчжурия, да и эта зона уже небезопасна. Японцы почти не участвуют в боевых операциях, большая часть экспедиционного корпуса оттягивается на Дальний Восток, в Приморье. К западу от Байкала события тоже развиваются стремительно. Успешное поначалу осеннее наступление армий Сахарова и Ханжина в районе Тобольска завершается провалом; отныне всем ясно, что Колчак войну проиграл. Падение Омска становится вопросом ближайших недель.

В этой ситуации Семенов неминуемо должен был задуматься о собственном будущем. Роль монгольского «главковерха» опять начинает представляться ему спасительной и желанной, как было минувшей зимой, когда он тоже почувствовал непрочность своего положения. Но тогда это было связано с усилением Колчака, с его победами, теперь - с его поражением. Тогда Семенову грозило торжество белых, теперь - их гибель. Чтобы склонить Богдо-гэгена к участию в панмонгольском движении, атаман командует в Ургу генерала Левицкого, исполнителя его особо доверенных поручений. Левицкий нанес визит министру иностранных дел Халхи, известному китаефилу Цэрэн-Доржи, но, как следовало ожидать, ничего не добился. В Урге растет влияние прокитайской партии. Окружение «живого Будды» не доверяет Семенову с его сомнительными ставленниками вроде Нэйсэ-гэгена, с его харачинами, готовыми грабить всех и вся, с его опорой не на ламство, а на князей Внутренней Монголии. Сам атаман с его честолюбием тоже кажется фигурой в высшей степени подозрительной.

Красный вал, с запада неудержимо катящийся к границам Халхи, ставит ее правителей перед выбором из трех вариантов: или подчинение Пекину и мир в обмен на независимость, или Семенов, за которым стоят японцы, и война с Китаем, или большевики и полнейшая неизвестность. В Урге склоняются к первому варианту. Он, может быть, не столь и хорош сам по себе, но, во всяком случае, сулит хоть какую-то определенность.

Семенову терять нечего, он решает действовать. По возвращении Левицкого из Урги атаман назначает его командовать расквартированной в Верхнеудинске дивизией, часть которой составляют харачины во главе с Нэйсэ-гэгеном. Левицкий приступает к подготовке похода на Ургу, чтобы войти в Монголию с севера. Унгерн ведет такие же приготовления в Даурии, намереваясь двинуться к монгольской столице с востока. В операциях против партизан Азиатская дивизия почти не участвует, Семенов бережет ее для других целей. И Унгерн, и Левицкий ждут приказа из Читы, но момент упущен: упреждая Семенова, в Ургу вступает китайский генерал Сюй Шичен. Вскоре Богдо-гэген вынужден подписать отречение от престола, Халха вновь становится провинцией Китая.

Но уже в январе 1920 года Левицкий почему-то уводит свою дивизию из Верхнеудинска на юг. Маневр кажется странным. Красные вот-вот могли прорваться в Забайкалье, время для карательных операций против партизан было не самое удачное. Можно предположить, что Левицкий все-таки получил от Семенова приказ идти в Монголию: теперь атаман мог рассчитывать на поддержку свергнутого Богдо-гэгена, лам и князей Халхи, уже успевших вкусить прелести китайского владычества. Во всяком случае, Левицкий шел именно в этом направлении, но дойти не сумел. В восьмидесяти верстах южнее Верхнеудинска харачины взбунтовались. Ночью, во время привала неподалеку от Гусиноозерского дацана, они начали убивать спящих русских офицеров и казаков. Было вырезано около сотни человек. Самому

Левецкому в темноте удалось бежать.

В Чите восстание истолковали как месть за смерть Фушенги и его товарищей. Но похоже, что сам Нэйсэ-гэген попытался объяснить бунт желанием воспрепятствовать походу русских на Ургу. Иначе он просто не осмелился бы отдаться на милость китайцев. Поначалу те разрешили харачинам поселиться в Кяхтинском Маймачене, отвели им фанзы для постоя, снабдили продовольствием. Через несколько дней Нэйсэ-гэгена с двенадцатью его ближайшими соратниками, ламами и офицерами пригласили на торжественный обед, во время которого все они были предательски убиты. После этого часть харачинов разбежалась, остальных отправили в Ургу на казенные работы.

ПРИНЦЕССА ЕЛЕНА ПАВЛОВНА

16 августа 1919 года произошло немаловажное для Унгерна событие - на тридцать четвертом году жизни он вступил в свой первый и последний брак. Всезнающий генеалогический словарь прибалтийских дворянских родов называет точную дату бракосочетания, его место - Харбин, и имя невесты - Елена Павловна. Ее девичья фамилия не сообщается. Составителям словаря она осталась неизвестна, как и большинству современников барона. Но настоящее имя новоявленной баронессы Унгерн-Штернберг было не более чем созвучно с указанным в словаре. Едва ли невесту перед свадьбой крестили. Скорее всего ее русское имя было образовано по тому же принципу, по какому, скажем, китаец Ван Го превращался в Ивана Егоровича. Еленой Павловной она быть никак не могла, поскольку была китайкой, точнее - маньчжурской принцессой, дочерью «сановника династической крови». Очевидно, ее отец принадлежал к тем членам бесконечно разветвленной императорской фамилии, которые после революции бежали из Пекина в Маньчжурию и нашли приют при дворе могущественного Чжан Цзолина.

Этот брак, разумеется, был акцией чисто политической. Вряд ли Унгерн испытывал к невесте какие-то особо нежные чувства. Он никогда не проявлял интереса к женщинам, и при всех его симпатиях к «желтой расе»китайки и монголки тут не были исключением.

Ни эстляндские родственники, ни люди, знавшие барона в Даурии и Монголии, ничего не сообщают даже о его мимолетных связях, не говоря уж о настоящих романах. Лишь генерал Шильников, рисуя перед колчаковскими следователями картины самоуправства Семенова и его фаворитов, мельком упомянул следующий факт: будучи комендантом Хайлара, Унгерн не дал прибывшим из Харбина инспекторам провести ревизию в местном управлении железной дороги, потому что начальником там был некий Спичников, а барон «жил с сестрой его жены». Наверняка, в этих отношениях тоже ничего романического не было, а позднее и такого рода случайные сожительницы напрочь исчезают из жизни Унгерна.

Вообще, свидетельство Шильникова уникально. Все остальные, кто затрагивал эту деликатную тему, сходились на том, что барон «почти не знал женщин», что, как аристократ, в женском обществе он бывал

любезен, держал себя по-светски, но «при внешних рыцарственных манерах»к представительницам слабого пола относился с несомненной и глубокой неприязнью. Утверждали даже, что если за какого-нибудь провинившегося солдата или офицера ходатайствовала женщина, то Унгерн увеличивал ему меру взыскания.

Это не просто черта характера или особенность физиологии. Во многом похожий на Унгерна атаман Анненков, тоже потомок старинного дворянского рода, правнук декабриста, отличался таким же ярким женоненавистничеством. Оба они воплощали определенный тип вождя в Белом движении - тип тяготеющего к идеалам «нового средневековья»монаха-воина, аскета и сверхчеловека. Известный своей храбростью и свирепостью, Анненков не пил, не курил, ел самую грубую пищу, презирал роскошь. Казахов он уважал точно так же, как

Унгерн - монголов, ценя в них воинственность и верность <Не случайно один из полков Азиатской дивизии носил имя Анненкова, хотя он в то время был еще жив.>. Сам холостяк, Анненков запрещал офицерским женам не только жить вместе с мужьями, но и квартировать ближе десяти верст от расположения отряда. Свидания супругов допускались по строго отведенным дням и в указанном месте. Нарушители этих правил сурово наказывались. По словам одного из анненковцев, атаман не любил «женатиков», даже в интимных дружеских беседах не говорил о женщинах и «смотрел на них как на печальную необходимость, не более».

Лично для Унгерна они, видимо, не были и необходимостью. Его женофобия имела явный психопатический оттенок. Не исключено, что ему присущи были гомосексуальные наклонности, и он страдал от этого, мучительно переживая разлад между собственным телом и духом, между извращенными желаниями и стремлением переустроить мир на основах патриархального панморализма. Ему, само собой, и в голову не приходило, что одно здесь вытекает из другого. Но напряжение - пусть неосознанно - могло разряжаться, когда по его приказу начинались гонения на проституток, когда жен солдат и офицеров Азиатской дивизии секли за разврат, за супружескую неверность или даже, как рассказывали, за сплетни. Не вдаваясь в темные глубины психопатологии, можно предположить, что есть некая связь между намерением Унгерна создать «орден военных буддистов», чьи члены давали бы обет безбрачия, и его странно высоким тенором, удивлявшим собеседников барона.

Но, с другой стороны, патология не противоречила идеологии Унгерна, а получала в ней свое оправдание. Как, впрочем, и наоборот. Это еще вопрос, что здесь первично. Над людьми, подобными Унгерну, власть отвлеченных идей настолько велика, что эти идеи могут действовать почти на физиологическом уровне. Он вполне способен был вслед за Ницше выстроить тот же ряд презираемых им тварей: «Лавочки, христиане, коровы, женщины, англичане и прочие демократы». Неприятие современной европейской цивилизации Унгерн мог перенести на свое отношение к женщине. Она казалась ему олицетворением продажности и лицемерия, позлащенным кумиром, который Запад в губительном ослеплении вознес на пьедестал, свергнув оттуда воина и героя. В традиционной антиномии Восток - Запад не первый, как обычно, а последний ассоциировался у него с женским началом, породившим химеру революции как апокалиптический вариант плотского соблазна. Победитель дракона, рыцарь и подвижник должен был, следовательно, явиться на противоположном конце Евразии.

«Что касается западных наций, - уже из Урги писал Унгерн генералу Чжан Кунью, - то падение там общественной морали, включая молодое поколение и женщин самого нежного возраста, всегда повергало меня в ужас». В России картина была еще безнадежнее. Гражданская война разорила тысячи семейных гнезд, города наводнены беженцами. Дороговизна и скопление воинских масс приводят к небывалому расцвету проституции. Страх перед будущим и половая распущенность идут рука об руку. Сожительство вне брака тем более никого не шокирует; сам Колчак перед лицом всей Сибири открыто живет со своей невенчанной женой Тимиревой. Об этом судачат, но не слишком. Бесчисленные пары, встретившиеся на дорогах войны и бегства, при всем желании не могут узаконить свои отношения, ибо развод с прежним супругом часто невозможен: расторгнуть брак имеет право лишь консистория той епархии, где он был заключен. Беглецы из центральных губерний находятся в таком же положении, как Верховный Правитель России. Линии фронтов проходят в буквальном смысле через сердце любящих. Новые союзы непрочны и быстротечны, детей никто не хочет. Противозачаточные средства ценятся на вес золота. Фельетонисты иронизируют: «Ницше считал, что брак есть воля двоих к созданию третьего; современный брак - это воля двоих, направленная к тому, чтобы третьего ни в коем случае не

было» <Но образ прекрасной незнакомки в разных ипостасях витает над отступающими, измученными и завшивевшими, потерявшими веру в победу армиями Колчака. Во многих сибирских газетах имеется специальный раздел: «Почтовый ящик фронта», в нем публикуются адреса полевой почты тех, кто желает обзавестись крестной матерью по переписке. При этом, естественно, каждый надеется, что напишет ему такая женщина, которой по возрасту он не будет годиться в сыновья. Адресов печатают много - видимо, спрос на заочных крестных матерей велик. В это же время в кинематографах Забайкалья и Дальнего Востока идет фильм «Гамлет» с Астой Нельсон в главной роли. По сценарию Гамлет-девушка, чем объясняется и нерешительность принца, и популярность фильма. В финале Горацио расстегивает рубашку на груди раненого Гамлета и понимает все. Окоченевший труп солдаты несут на вытянутых руках, над головами. Голова принца запрокинута, процессия медленно движется по аллее склоняющихся перед мертвым телом копий. «Ничего не произошло, - вспоминал белый офицер, именно тогда посмотревший этот фильм, - но сердце почему-то забилось сильнее, крепче набирая и выталкивая кровь...»>.

Все эти проблемы перед Унгерном не стояли. Он никогда прежде не был женат и о детях думал меньше всего. Если он и спал с женой, то продолжалось это весьма недолго. В плену, отвечая на вопрос о своей семейной жизни, Унгерн сказал, что был женат на китайке, но вскоре отослал ее от себя. Один из современников подтверждает его слова: «Женившись на китайской принцессе, барон уже через месяц отправил ее обратно к родителям и выступил в поход».

Как женщина и подруга жизни, Елена Павловна его не интересовала. Ему нужно было ее имя, ее родство с величайшей из династий Востока. Он верил, что «спасение мира должно произойти из Китая» при условии реставрации там Циней, и этот сказочный брак, сама возможность которого показалась бы фантастикой его эстляндским кузенам, открывал перед ним неясные, пока еще далекие, но блистательные перспективы участия в будущем обновлении Азии, России и Европы.

Иначе смотрели на дело японцы. Они, по всей вероятности, и выступили в роли сватов, но их надежды были гораздо скромнее: улучшить натянутые отношения между своими главными союзниками в регионе - Семеновым и Чжан Цзолином. Многие были уверены, что это совпадает и с интересами атамана, что в Чите бракосочетание Унгерна рассматривают «как акт дипломатической важности в смысле китайско-семеновского сближения». Но у Семенова были тут и свои расчеты. Династия, с одним из женских побегов которой скрестили прибалтийского дичка, оставалась чрезвычайно популярной в Монголии, все тамошние мятежники, восставая против Пекина, действовали под лозунгами борьбы с Китайской республикой и восстановления на престоле Циней. Новое родство повышало акции Унгерна и, соответственно, самого Семенова на тот случай, если им придется возглавить панмонгольское движение. Как показало дальнейшее, планы создания «Великой Монголии» были ими не отброшены, а лишь отложены до лучших времен. Не случайно сразу же вслед за женитьбой то ли депутация князей Внутренней Монголии, то ли правительство Нэйсэ-гэгена и семеновские клеветы поднесли Унгерну титул «вана» князя 2-й степени.

Венчание состоялось, очевидно, в лютеранской церкви - Унгерн сохранил веру предков и в православие не переходил. Сомнительно, чтобы невеста говорила по-русски, скорее всего, они общались на английском или китайском. С грехом пополам Унгерн мог объясняться на родном языке Елены Павловны. Да и разговоры между ними быстро кончились, если были вообще. Он уехал к себе в Даурию, она вернулась в родительский дом, оставаясь, тем не менее, его законной супругой. Большого от нее и не требовалось. Правда, некоторое время Елена Павловна прожила на станции Маньчжурия, но не похоже, чтобы Унгерн ее там часто навещал. Никакого приданого она ему не принесла; напротив, платить должен был он сам, и через своего доверенного офицера, поляка Гжицкого, барон оформил в одном из харбинских

банков значительный вклад на имя жены.

Последний раз он вспомнил о ней спустя год после свадьбы. В сентябре 1920 года, незадолго до того, как Азиатская дивизия пересекла границу и двинулась на Ургу, в Харбин прибыл кто-то из адъютантов барона. Он вручил давно покинутой принцессе официальное извещение о разводе. Брак был расторгнут по китайской традиции, согласно которой мужу достаточно известить жену о своем решении.

Может быть, зная, что идет в Монголию воевать с китайцами, Унгерн не хотел, чтобы у Елены Павловны и ее родственников возникли из-за него какие-то осложнения с властями; а может быть, переходя свой Рубикон, просто рвал все формальные отношения с прошлой жизнью.

КАППЕЛЕВЦЫ

В конце ноября 1919 года на совещании Ставки Верховного Главнокомандования в Новониколаевске обсуждался и был отвергнут как «фантастический» план уйти на юг, чтобы через Западный Китай прорваться в Туркестан и соединиться там с Оренбургской армией. Колчак еще надеялся остановить Тухачевского на Оби. Сразу после совещания он выехал на восток, вслед за ним двинулась 2-я Сибирская армия, командование которой Войцеховский сдал Владимиру Оскаровичу Каппелю.

Все паровозы на магистрали были захвачены чехословаками; шли пешком, с женами и детьми, везли раненых. Сыпно-тифозных привязывали к саням, чтобы не спрыгивали в бреду, но, как вспоминали оставшиеся в живых, мороз умерял горячку, и больные часто выживали там, где насмерть замерзали здоровые.

В первых числах декабря, в канун сочельника, разгромленная под Красноярском армия перестала существовать, потеряв около шестидесяти тысяч бойцов убитыми, ранеными и пленными, все обозы и всю артиллерию. Лишь небольшой ее части удалось пробиться к селу Есаульскому, где Каппель отдал приказ повернуть на север - прочь от железной дороги. Сначала двигались вдоль Енисея, затем начался беспрецедентный 120-верстный переход по льду реки Кан. Со дна здесь били горячие ключи, лед был некрепкий, под снегом попадались полыньи. Гибли лошади. «С каждой из них, - писал один из участников похода, - была связана молчаливая, тихая, но великая драма человеческой жизни». По ночам шли с масляными фонарями. Питались, главным образом, кониной и «заварухой» похлебкой из муки со снегом.

Еще в самом начале пути Каппель, раненный в руку под Красноярском, провалился под лед, началось воспаление легких. Утром его сажали на коня, вечером снимали. При ночных переходах несли на руках. Ноги у него были обморожены до колен, идти он не мог.

Под Канском, обойдя красные заставы, вновь вышли к железной дороге. Здесь, на разъезде Утай, неподалеку от станции Зима, умер Каппель. Когда-то чехословаки выкинули его вместе со штабом из вагона, освобождая место для ценной мебели, а теперь, мертвого, предложили взять в эшелон и доставить в Читу. Офицеры не согласились. На страшном морозе с погребением можно было не спешить. Тело командующего положили в гроб и на телеге, обмотанной веревками, повезли с собой. Командование опять принял Войцеховский.

В начале февраля он подошел к Иркутску, предъявил ультиматум с требованием освободить Колчака и, получив отказ, двумя колоннами повел наступление на город. Первая, трехтысячная, была ударной; вторая, вчетверо большая, состояла из женщин, детей, раненых, больных, обмороженных.

В ночь на 7 февраля 1920 года Колчак был расстрелян перепуганными хозяевами Иркутска <Согласно одной из легенд, проверить которую едва ли возможно, Колчака расстреляли не только вместе с его премьером Виктором Пепеляевым, но и с

прославившимся при белых своей жестокостью китайцем-палачом из иркутской тюрьмы. По той же легенде Колчак просил не унижать его смертью рядом с этим человеком, но ему отказали.>, а Войцеховский, остановленный в боях под Олонками и Усть-Кудой, обойдя город с востока, вывел остатки армии к берегам Байкала.

Казалось, над озером гремит артиллерийская канонада, идет бой, но это трещал непрочный еще лед. Осень была теплая, Байкал встал поздно. Впереди шли байкальские рыбаки с шестами, нащупывая трещины, за ними - саперы. Через проломы перебирались по доскам, по сходням. Лошади, кованные на обычные подковы без шипов, скользили и падали. Поднимать их не было сил. Переправлялись ночью, а утром, оглянувшись, увидели, что байкальский лед от берега до берега чернеет конскими трупам.

Отсюда после недолгого отдыха Войцеховский направился к Верхнеудинску, со всех сторон охваченному пламенем крестьянской войны, и туда же, через истоки Лены и северную оконечность Байкала, вышла другая крупная группа отступающих из Западной Сибири колчаковцев. Остальные, более мелкие, прибывали еще в течение двух месяцев <Поэт Леонид Ешин, адъютант генерала Молчанова, писал, вспоминая эти дни: «Скрипя, ползли обозы-черви./Одеты дико и пестро,/Мы шли тогда из дебрей в дебри/И руки грели у костров./Тела людей и коней павших/Нам обрамляли путь в горах./Мы шли, дорог не разобравши,/И стыли ноги в стремях...»>.

В Забайкалье генералы Войцеховский, Вержбицкий, Сахаров, Молчанов и другие, возглавлявшие этот героический поход, впоследствии названный «Ледовым» или «Ледяным», не без удивления узнали, что, пока они с боями прорывались по тайге на восток, у них появился новый верховный вождь, который все это время спокойно отсиживался в тылу. Оказывается, незадолго до ареста, особым приказом от 4 января 1920 года Колчак произвел Семенова в генерал-лейтенанты и впредь до соединения с Деникиным назначил его «главнокомандующим всеми вооруженными силами и походным атаманом всех российских восточных окраин». Этот приказ многие восприняли с недоумением, а то и с возмущением, но подчинились ему как последней воле покойного адмирала.

В марте к Чите начинают стягиваться эшелоны и пешие колонны «каппелевцев», как теперь называли себя все участники Ледового похода, а не только те, кто служил непосредственно под началом Каппеля. Для Семенова это было настоящим подарком судьбы среди сплошных неудач. Японцы лишь охраняли железнодорожную магистраль, без крайней нужды в боевые действия не ввязываясь, и не будь каппелевцев, атаман вряд ли сумел бы отбить наступление на Читинские войска Эйхе. Дважды - в начале и конце апреля, части Народно-Революционной армии достигали предместий атаманской столицы, но взять ее не смогли и под мощными контрударами Войцеховского откатились обратно к Верхнеудинску, над которым развевался красный, с квадратной синей заплаткой в верхнем углу у древка, флаг буферной Дальне-Восточной республики. Партизанам тоже пришлось отступить туда, где находилась опорная база повстанческого движения - в треугольник между линиями Амурской и Забайкальской железных дорог и китайской границей.

Разными путями в Восточном Забайкалье оказалось от 25 до 30 тысяч бывших солдат и офицеров Колчака. Это была серьезная сила. Закаленные, озлобленные, сцементированные легендарным походом и общей судьбой, они считали себя обломком истинной России, последними носителями ее былой славы, и атаману подчинялись лишь скрепя сердце. С первых же дней начались их столкновения с семеновцами, доходило до массовых драк и даже до стрельбы. Среди каппелевцев было много студенчества, интеллигенции; почти в полном составе пробившись в Читинские полки ижевских и воткинских рабочих, которые вплоть до весны 1919 года отказывались признавать трехцветное знамя своим и в бой против красных шли под красным флагом, с пением «Смело, товарищи, в ногу!». Для семеновских офицеров эти люди были если не большевиками, то с сильным «демократическим душком»; каппелевцы же

видели в Семенове и его окружении просто бандитов, чья тупая жестокость заставляла крестьян целыми селами уходить в сопки. Они не могли простить атаману, что он интриговал против Колчака, что не послал на фронт ни одного солдата, когда сибирские армии истекали кровью на Урале и под Тобольском. Местные жители усиливали эту ненависть рассказами о кровавых карательных экспедициях, о зверствах Унгерна и Тирбаха, об амурных похождениях Семенова и его связях с монголами.

Ненависть вызывалась и причинами чисто житейскими. Возмущало всеисилие японцев, их наглость и одновременно холуйский тон читинских газет, умиленно писавших, например, о том, что в Чите мало осталось детей, у которых не было бы японских игрушек. Раздражала полная небоеспособность семеновских частей при их прекрасной амуниции. Атамановцы, не нюхав порошу иначе как в боях с мужиками, делавшими пушки из водопроводных труб, имели отличные сапоги, летом щеголяли в галунных погонах при полевой форме, зимой носили валенки, полушубки, меховые шапки, а ижевцы и воткинцы, пройдя с боями от Камы до Байкала, зябли в ветхих шинелях, в гимнастерках из мешковины. Недаром, как записал в своем дневнике редактор дивизионной газеты «Уфимец» Петр Савинцев, одну из своих речей перед героями «Ледяного похода» Семенов «начал с высоких материй, а кончил теплыми штанами, которые пообещал выдать». Высокое жалованье семеновских солдат тоже вызывало зависть, зато применяемые к ним телесные наказания - презрение. У каппелевцев такого не было и в помине.

К весне в Забайкалье была создана так называемая Дальне-Восточная Русская армия. Два из трех ее корпусов составили каппелевцы, третий - семеновцы. Командующим стал Войцеховский, а главнокомандование оставил за собой Семенов. Но уже летом собственно атамановские части, не считая Азиатской дивизии, или перешли к партизанам или разбежались, или настолько были деморализованы, что боялись выходить из казарм. Тем не менее даже в этой ситуации Семенов упрямо отказывался заявить о своем подчинении Врангелю, на чем настаивали каппелевцы.

В июне Войцеховский слагает с себя командование и уезжает за границу. Сотни солдат и офицеров уходят вслед за ним. Армию бьет лихорадка генеральских назначений, смещений и перемещений. Командующим становится Лохвицкий, но ненадолго - вскоре его сменит Вержбицкий. А пока перед Лохвицким встает та же трудновыполнимая задача, которая оказалась не по плечу его предшественнику - сместить Унгерна как наиболее одиозную фигуру семеновского режима.

В октябре 1920 года, когда Унгерн уже стоял на склонах Богдо-ула и обстреливал Ургу, китайская полиция в Харбине внезапно совершила налет на квартиры трех каппелевских генералов, незадолго до того покинувших Забайкалье - Акинтиевского, Филатьева и Бренделя, и арестовала их по какому-то вздорному обвинению. Наутро все трое были освобождены, однако изъятые у них при обыске бумаги бесследно пропали. Никто, впрочем, не сомневался, что свою добычу китайцы переправили к Семенову, что харбинская полиция им подкуплена и целью всей операции являлось похищение компрометирующих атамана документов.

В интервью одной из газет Акинтиевский подробно перечислил, что именно у него украли: это докладные записки о расстреле рабочих в Чите, о хищении золота и тому подобное. Несколько документов касались непосредственно Унгерна: «Доклад об убийствах, расстрелах и других преступлениях, чинимых в Даурии генералом Унгерном и его подчиненными», «Жалоба г-жи Теребейниной об убийстве ее мужа, поручика Теребейнина, по приказу Унгерна», а также ряд материалов, необходимых для предания его военно-полевому суду. Поначалу, видимо, намерения Лохвицкого были самые серьезные. Многие потом сожалели, что хозяин Даурии, бросивший столь зловещую тень на Белую идею, сумел избежать казни. Один каппелевский офицер прямо писал: «Знаменитый Унгерн,

сумасшедший барон, давно был бы повешен, если бы не японцы».

Разговоры о том, что он заслуживает петли, пошли еще в июне, когда по распоряжению Лохвицкого производилась инспекция забайкальских тюрем. В Нерчинске генерал Молчанов освободил почти всех заключенных, а в Даурии - вообще всех. Камеры опустели, страшная даурская гауптвахта прекратила свое существование. Но то, что каппелевцы там увидели и услышали, привело их в ужас. Очевидно, в это время, опасаясь ареста и суда, Унгерн стал склоняться к мысли все бросить, уехать, поселиться «на родине» в Австрии. Так он говорил в плену, не уточняя, когда именно явилась ему эта мысль. Империя Габсбургов исчезла с географической карты, но Унгерн готов был смириться и с Австрийской республикой. То ли ему казалось, что там он будет принят и натурализован по праву рождения, то ли его звал туда Лауренц-Дауренц, но получить визу почему-то не удалось. Вероятно, попытки не были очень уж настойчивыми. Они прекратились, как только, благодаря стараниям Семенова и японцев, тревога миновала. Документы, позволявшие начать судебный процесс над бароном, легли под сукно.

Правда, подчинить Азиатскую дивизию Лохвицкому на общих основаниях Унгерн отказался наотрез. Один из его офицеров, капитан Никитин, рассказывает, что вернувшись из командировки в Читу, он около 10 августа сошел с поезда в Даурии и с удивлением обнаружил, что в военном городке никого нет, казармы пусты. Но сам Унгерн был на месте. Он подвел Никитина к окну в своем кабинете и, указывая на видневшуюся вдали вершину одной из сопок, сказал: «Вот вам направление, догоняйте дивизию. Когда она придет в Акшу, я приеду туда...»

МЕЖ ДВУХ ОГНЕЙ - К ТРЕТЬЕМУ

Акша - маленький пыльный степной городок в верховьях Онона, примерно в трех сотнях верст к западу от Даурии, в пятидесяти - от монгольской границы. К исходу августа Унгерн сосредоточил здесь все свои силы и сделал это, безусловно, по договоренности с Семеновым.

Как уже бывало и раньше, очутившись на краю пропасти, атаман вспомнил о восточном варианте собственной судьбы и вновь расчехлил выцветшее, но еще не окончательно истлевшее знамя панмонгольского движения. Правда, на этот раз все обстояло принципиально иначе. В предвидении близкого конца он сделал правительству Советской России предложение, которое русские фашисты, обвинявшие его в масонстве, спустя много лет определили как попытку «обращения в лоно Авраама, Исаака и Иакова».

А именно: 7 августа 1920 года, на бланке своей походной канцелярии, но без регистрационного номера и печати, не прибегая к услугам секретаря и машинистки, дабы обеспечить абсолютную тайну, Семенов собственноручно пишет письмо, не имеющее конкретного адресата, - каким-то образом оно должно было найти дорогу к одному из тех, чье мнение существенно для хозяев Московского Кремля <Похоже, что промежуточным адресатом был премьер Дальне-Восточной республики Шумяцкий. Годом позже именно он предал гласности это письмо, которое, видимо, дальше Верхнеудинска на запад не попало.>. Главный смысл письма таков: атаман обязуется с верными ему частями покинуть Забайкалье и уйти в Монголию и Маньчжурию для их завоевания. Он предлагает Москве финансировать всю его деятельность на Востоке (в течение первого полугодия - до 100 миллионов иен), а также оказывать помощь всем необходимым «включительно до вооруженной силы», если эта деятельность будет совпадать с интересами Кремля. В свою очередь, Семенов берет на себя обязательство не более не менее как полного «вышиба Японии с материка» и создания независимых Маньчжурии и Кореи. Взамен он скромно просит лишь предоставить право «свободного проезда в торжественной обстановке поезда атамана с маньчжуро-монгольской делегацией» по всем железным дорогам Сибири и России.

К концу лета 1920 года ни для кого уже не секрет, что могущество клуба «Аньфу», в числе прочих провинций контролировавшего и Внешнюю Монголию, клонится к закату. Аньфуисты вступили в борьбу с чжилийским генералитетом, и сила не на их стороне. К тому же Чжан Цзолин, генерал-инспектор Маньчжурии, поддержал чжилийцев. Вынужденные выбирать между ним и своими старыми союзниками - аньфуистами, японцы делают выбор в пользу Чжан Цолина. Тот мечтал создать самостоятельное государство из Маньчжурии и обеих Монголии под номинальной властью наследника Циней, а в Токио надеялись утвердить свое влияние на этом обломке Поднебесной Империи.

Нетрудно заметить, что Семенов предложил большевикам осуществить проект Чжан Цолина, только на его место поставил себя, а Токио заменил Москвой. В новом всплеске гражданской войны в Китае он увидел свой последний шанс избежать печальной участи изгнанника. В Маньчжурию атаман, скорее всего, идти не собирался и планировал лишь завоевание Халхи. Цель оставалась прежней - власть над Монголией, причем в случае успеха Семенов едва ли бы согласился быть послушным вассалом Кремля. Лавируя между японцами, красными, Чжан Цолином, аньфуистами и восставшими против них монгольскими князьями, используя всех, он в то же время, видимо, рассчитывал в итоге не зависеть ни от кого.

Но в любом случае все предприятие должно было начаться походом на Ургу. Не случайно вместе с отправлением письма в Москву дивизия Унгерна выдвигается в район Акши, откуда открывался прямой путь к монгольской столице. О том, что предполагается идти в Монголию, Унгерн знал и даже перед выходом из Даурии объявил некоторым офицерам конечную цель экспедиции, но ему, разумеется, и в голову не приходило, что знамя, осеняющее этот долгожданный поход, может быть и красным.

Первые недели Азиатская дивизия стоит в Акше без своего начальника и тает на глазах. Дезертирство принимает угрожающие размеры. Воевать никто не хочет, все устали, сам Унгерн колеблется, не имея ни четких указаний от Семенова, ни собственных планов. То он объявляет оставшимся в Даурии артиллеристам, что силой никого не держит, готов хоть сейчас распустить желающих по домам, и действительно, без всяких препятствий отпускает пол-батареи, но затем вдруг приходит в бешенство и приказывает расстрелять двоих офицеров, обвинив их в том, будто они подбивали солдат к дезертирству. Один из них, штабс-капитан Рухлядев, перед смертью сумел передать друзьям свое обручальное кольцо, чтобы те отослали его жене. Кольцо было завернуто в записку со словами: «Погибаю ни за что».

В эти недели Унгерн мечется между Даурией, станцией Маньчжурия и соседними селами, где стоят части дивизии, еще не ушедшие в Акшу. Семеновский режим агонизирует, везде барона подстерегают враги, жаждущие его крови. В самой Даурии уже расположились каппелевцы, которые с удовольствием повесили бы ее прежнего хозяина, в окрестностях действует крупный партизанский отряд Лебедева. В Харбине тоже появляться небезопасно. Одни возмущены его «ставкой на бурятскую силу, вылившейся в даурские зверства», другие требуют возмещения убытков от реквизиций, да и китайские власти, встревоженные упорными слухами о готовящемся вторжении семеновских войск в Монголию, не без оснований связывают эти планы с именем Унгерна.

Он пытается наладить снабжение дивизии патронами, плетет сеть агентуры, вербует офицеров. Впоследствии все свои военные неудачи Унгерн объяснял тем, что у него «плохие офицеры». Но найти хороших было нелегко. У Семенова таких не имелось, а осевшие в Китае колчаковские капитаны и поручики ни на какую войну идти больше не желали, под началом Унгерна - тем более. Да он им не очень-то и доверял. И правильно делал, замечает один из позднейших поклонников барона: в конце концов колчаковцы его и предали. Как с сочувствием писал агент Унгерна в Маньчжурии, есаул Никитин, взявший себе по-юнкерски

шикарный псевдоним «Де Микитон», барон «мечтал о создании летучего офицерского отряда из рыцарей без страха и упрека», но ему пришлось довольствоваться наличным материалом.

Наконец, по сообщениям харбинских газет, проверить которые невозможно, Унгерн выезжает на встречу с монгольскими князьями вблизи озера Долон-Нор. Пока он ведет переговоры, его свита развлекается охотой и рыбалкой. В сентябре, информируют те же газеты, утки уже взматерели, есть вечерний и утренний слеты. Много фазанов, ибо зима была малоснежной, и весенний паводок не угрожал фазаньим гнездам. Над степью появляются передовые стаи летящих с севера гусей, и автор фенологической заметки с особым чувством, понятным русским беженцам в Маньчжурии, напоминает слова слышного в гусяном крике прощального привета: «Прощай, матушка Русь, к теплу потащусь!» В монгольских и бурятских улусах, как велит обычай, женщины брызгают молоком вслед птичьим караванам, выстилая им счастливую «белую дорогу», по которой они весной легко вернутся обратно. Затем на газетной полосе в этом царстве пернатых возникает аэроплан, ведомый японским летчиком. Он садится на берегах Долон-Нора, после чего летит обратно на север. Связь между атаманом и бароном поддерживается по воздуху, но о чем они пишут друг другу, неизвестно.

От Долон-Нора Унгерн отправляется в Акшу. К тому времени Семенов, на станциях Гонгота и Хабибулак подписав мирные соглашения с правительством ДВР и передав Народному Собранию гражданскую власть над Забайкальем, переносит свою ставку из Читы в Даурию. Унгерн, видимо, ждет, что теперь атаман по-настоящему займется подготовкой монгольской экспедиции, но Семенов со свойственной ему осторожностью вновь меняет планы.

Москва его предложение или отвергла, или не соизволила ответить, а ситуация в Китае была настолько запутанной, что он счел за лучшее не рисковать. Во всяком случае, ему ясно было, что после того как Чжан Цзолин предательским ударом в спину добил аньфуистов, разгромленных чжилийским генералом У Пейфу, поход на Ургу будет означать войну не со слабеющим клубом «Аньфу», а со всем Китаем. В Даурии по инерции еще шумит последняя волна пропагандистской кампании за независимость Монголии <Пробольшевистская харбинская газета «Вперед» откликается на это следующим куплетом: «В наклонности к безволию,/Предчувствуя беду,/В Монголию, в Монголию, в Монголию пойду...»>, атаман еще выжидает и поглядывает в сторону Токио, но в глубине души уже сознает, что восточный вариант его судьбы должен быть забыт навсегда.

Опасным сигналом для Унгерна могло стать известие о свадьбе Семенова. Если его собственный брак был акцией сугубо политической, то атаман женится как частное лицо. Отставлена знаменитая Машка, сумевшая сохранить его привязанность на протяжении почти трех лет. Красота и опытность зрелой авантюристки отступают перед прелестью некоей Терсицкой. Ей семнадцать лет, она служит в походной канцелярии атамана. Очевидно, Семенов и в самом деле влюблен, ибо никакими расчетами этот брак объяснить невозможно.

Терсицкая пришла в Читу вместе со своим двоюродным братом, каппелевским офицером. Она уроженка Оренбургской губернии; ходят слухи, будто вместо свадебного подарка она попросила жениха послать крупную сумму денег интернированному в Синьцзяне атаману Дутову. Согласно другой, еще более романтической версии, это было предварительным условием, лишь при исполнении которого она отдаст атаману руку и сердце. Утверждают, что никогда не отличавшийся щедростью Семенов выполнил просьбу невесты и отправил Дутову 100 тысяч рублей золотом <В традициях времени и прессы, питающейся слухами, цифра округлена до ощутимой значимости, но вполне вероятна. Деньги у него имелись, он задержал в Чите то ли вагон, то ли несколько вагонов из поезда, увозившего на восток золотой запас России. На личные нужды Семенов значительные суммы переправил в Японию, куда после окончания медового месяца отослал и Терсицкую.>. Внезапная страсть

вспыхивает в нем как нельзя более вовремя: прекрасная ремингтонистка помогает ему смириться и с утратой власти над Забайкальем, и с крушением монгольских планов. Кажется, что в зените славы он и внимания бы не обратил на эту девушку и, уж наверняка, не подумал бы связать с ней свою судьбу.

Свадьбу отпраздновали в конце августа или в начале сентября, а в середине месяца Унгерн из Акши выезжает на свидание с атаманом. Оно происходит не в Даурии, а западнее по линии Забайкальской железной дороги, на станции Оловянная. Это их последняя в жизни встреча. О чем они говорили, можно лишь гадать, но по возвращении в лагерь под Акшей барон трубит общий сбор, переходит, говоря языком военных сводок, демаркационную линию, определенную Гонготским соглашением, и открывает боевые действия против войск «буфера».

Хотя вскоре Семенов издал какой-то приказ, объявлявший его «вне закона» <Приказ Вержбицкого гласил: «Начальник Партизанского отряда генерал-майор Унгерн, не соглашаясь с политикой последних дней атамана Семенова, самовольно ушел с отрядом к границам Монголии, в район юго-западнее г. Акши. Почему генерал-майора Унгерна и его отряд исключить из состава вверенной мне армии».>, многие, тем не менее, были уверены, что Унгерн начал войну по тайному благословию атамана. По всей видимости, так оно и было. Сам барон в плену говорил, будто осенью 1920 года Семенов разработал план широкомасштабного наступления на Верхнеудинск и «далее на запад». Согласно этому плану Азиатская дивизия должна была пройти через отроги Яблонового хребта и двигаться на Кяхту - Троицкосавск. Исполняя поставленную перед ним задачу, Унгерн, по его же словам, и действовал. Он был уверен, что Семенов развивает операцию на другом направлении.

Но в тогдашней ситуации атаман вряд ли даже помыслить мог о чем-либо подобном. Безднадежность такого рода авантюры была для него очевидна. Скорее всего, этот мифический план сочинили японцы, намеренно вводя Унгерна в заблуждение, а сам Семенов о нем или не знал, или, что гораздо вероятнее, не считал нужным опровергнуть при свидании в Оловянной. Легендарное двуличие атамана делает последнее предположение вполне допустимым.

И японцев, и Чжан Цзолина в то время тревожило возможное вторжение красных в Монголию. Видимо, для того чтобы оттянуть их силы, не нарушив при этом Гонготских договоренностей, и решено было использовать Азиатскую дивизию. Обманув Унгерна, его заставили совершить нечто вроде отвлекающего рейда в монгольском пограничье.

При нем состоят японские солдаты и офицеры, о которых Роберт Эйхе немедленно запрашивает представителей Токио в Чите и во Владивостоке. Те отвечают, что Унгерн действует без всякой с их стороны поддержки и даже называют Азиатскую дивизию «шайкой». Но присутствие японцев при штабе барона отрицать нельзя, об этом знают все. Полковник Исомэ заявляет, что эти подданные Японии находятся там по своему собственному желанию и считаются уволенными из императорской армии. Но если в японских военных уставах эталоном выступала такая степень послушания, при которой подчиненный следует за начальником, как «тень за предметом и эхо за звуком», то очень сомнительно, чтобы эти люди оказались при Унгерне, не имея на то приказа. Наверняка они были прикомандированы к нему в роли отчасти советников, отчасти заинтересованных наблюдателей, но впоследствии превратились в свидетелей, бессильных что-либо изменить. Их было не то пятьдесят, не то семьдесят человек - вполне достаточно для того, чтобы позднее укрепить авторитет Унгерна в глазах монгольских князей.

Но сама стихия Гражданской войны исключает возможность объяснять события лишь какими-то исключительно рациональными мотивами их участников. Возможно, переходя демаркационную линию, Унгерн хотел спровоцировать большую войну, поставить Семенова перед необходимостью разорвать заключенные с красными соглашения. А может быть, им

двигало отчаяние, желание дать выход накопившейся злобе, и ни Семенов, ни японцы тут ни при чем.

В Азиатскую дивизию входят в то время три конных полка по 150 - сабель каждый - Монголо-Бурятский, Татарский и «атамана Анненкова». Кроме них - Даурский конный отряд с пулеметной командой и две батареи неполного состава. С этой значительной по забайкальским масштабам силой Унгерн рассеивает мелкие отряды противника, но вскоре его положение становится критическим. В район Акши стягиваются части НРА, матросы и мадьяры, подходит Таежный партизанский полк Нестора Каландаришвили.

Командиром головного эскадрона в нем служит Ян Строд, имеющий восемь ран, четыре Георгиевских креста и два ордена Красного Знамени. Неподалеку от границ Монголии грузин и латыш настигают эстляндского барона. Его конница «показала хвосты», партизаны занимают какую-то деревню, дотла выжженную Унгерном. Здесь, у обгорелых развалин мельницы, Строд видел двоих мертвых стариков, привязанных к мучному ларю. Один был с совком, другой - с мешком. Чья-то рука придала трупам естественные позы, в которых они заоченели. Брюки у обоих были спущены, икры изгрызаны собаками или свиньями.

На восток, в зону железной дороги, Унгерн отступить не может, его там ждет неизбежный теперь суд и петля. Теснимый со всех сторон, в первых числах октября он отрывается от преследователей, уходит на юг и пропадает в необозримых просторах монгольской степи. Четыре пушки и большая часть обоза потеряны, в его полках остается не более восьми сотен всадников.

«За ним, - пишет Альфред Хейдок, - шли авантюристы в душе, люди, потерявшие представление о границах государств, не желавшие знать пределов. Они шли, пожирая пространства Азии, впитывая в себя ветры Гоби, Памира и Такла-Макана, несущие великое беззаконие и дерзновенную отвагу древних завоевателей».

«За ним, - разрушая этот экзотический мираж, констатирует колчаковский офицер Борис Волков, лично знавший Унгерна и ненавидевший его, - идут или уголовные преступники типа Сипайло, Бурдуковского, Хоботова, которым ни при одной власти нельзя ждать пощады, или опустившиеся безвольные субъекты типа полковника Лихачева, которых пугает, с одной стороны, кровавая расправа при неудачной попытке к бегству, с другой - сотни верст степи, сорокаградусный мороз с риском не встретить ни одной юрты, ибо кочевники забираются зимой в такие пади, куда и ворон костей не заносит...»

ПРОПАВШАЯ ДИВИЗИЯ

Не будь похода на Ургу, имя Унгерна осталось бы в ряду таких сподвижников Семенова, как Артемий Тирбах <Подобно Унгерну, этот прибалтийский барон прославился своей холодной жестокостью и уже в эмиграции, в Маньчжурии, был убит взбунтовавшимися казаками.>, Афанасьев и Вериги, и было бы известно лишь нескольким историкам и краеведам. Знаменитым его сделала монгольская эпопея. Белый генерал, ни разу не вступивший в бой с регулярными советскими частями, палач и неврастеник, известный скорее карательными, нежели полководческими заслугами, он превратился в полубезумного «самодержца пустыни» и в итоге стал героем мифа, жутким символом не только российской смуты, но и тех веяний мирового духа, которые ощущаются и поныне, грозя в будущем обернуться новой бурей с Востока.

Однако вопрос о том, почему и в какой именно момент Унгерн решил идти на Ургу, остается открытым. Современники выдвигали разные версии.

Хотя многие считали, что инициатива похода принадлежала Семенову, это предположение верно лишь отчасти. О планах Унгерна атаман, несомненно, знал, но этим его участие в них и ограничивалось. Осторожное одобрение - вот самое большее, что он мог себе

позволить. Никаких инструкций Унгерн не получал от него ни тогда, ни потом, если не считать немногих писем скорее частного порядка. Правда, в апреле 1921 года Семенов пригласил его принять

участие в широкомасштабном наступлении на красных по всей линии русско-китайской границы, но этот план, похоже, был такой же фикцией, как и тот, согласно которому Унгерн действовал под Акшей. Радиосифр для связи с Семеновым у него был, но, по его словам, он им ни разу не воспользовался, хотя радиостанцию в Урге сумел починить.

Согласно другому варианту, который прежде всего культивировался советской пропагандой, вдохновителями барона были японцы. Ведя двойную, как всегда, политику, они будто бы решили сделать Унгерна чем-то вроде подсадной куклы, чтобы Чжан Цзолин, победив это тряпичное чудовище, предстал бы перед всем Китаем в ореоле национального героя. Но такая гипотеза кажется маловероятной уже в силу ее чрезмерной изощренности. Это чисто умозрительное построение - из тех, в какие сам автор начинает верить лишь после того, как сведет концы с концами.

Впрочем, и в эмиграции многие считали Унгерна марионеткой Токио, хотя никто, пожалуй, не мог определенно сказать, какие конкретные цели преследовали кукловоды, посылая его в Монголию. Но можно предположить, что с помощью Унгерна японцы рассчитывали облегчить Чжан Цзолину завоевание Халхи, если барон прикроет ее с севера от возможного вторжения красных. Наверняка они подталкивали его к этой экспедиции. Не случайно доверенным лицом Унгерна в то время ненадолго стал капитан Судзуки, командир входившей в состав Азиатской дивизии отдельной «японской сотни». Однако очень скоро Судзуки угодил в опалу, поскольку слишком буквально понимал свои обязанности «советника». Он, видимо, настаивал на том, чтобы, пройдя по монгольской территории, захватить Троицкосавск и перерезать Кяхтинский тракт, с севера ведущий к Урге, но Унгерн тайне вынашивал совсем другие планы, несравненно более грандиозные. Быть игрушкой в руках Токио он отнюдь не собирался и позднее, на допросах и на суде с несомненной искренностью отрицал, что действовал «под покровительством Токио».

Третья версия гласила, будто Унгерн вошел в Монголию по приглашению самого Богдо-гэгена. Распространяемая агентами барона в Маньчжурии, она была откровенной спекуляцией и намеренно совмещала разновременные события. Поддержкой «живого Будды» Унгерн действительно сумел заручиться, но лишь спустя несколько месяцев.

Наконец, четвертое, самое простое объяснение дал один из офицеров Азиатской дивизии. На вопрос о причинах похода на Ургу он ответил коротко: «Метания затравленного зверя». Но и это не вся правда, а лишь часть ее.

Унгерн метнулся на тот путь, который мысленно проходил не раз. Ему не требовалось никакого внутреннего усилия, чтобы явиться в новом, для многих неожиданном и экзотическом обличье буддиста, освободителя Монголии от китайских республиканцев, борца за восстановление Циней. Эта маска давно вросла в его плоть.

По-видимому, вскоре после того, как Суй Шичен низложил Богдо-гэгена и уничтожил автономию Халхи, Семенова и Унгерна призвали на помощь восточно-монгольские князья, уже весной 1920 года начавшие партизанскую войну с китайцами. Самым известным среди них был князь Лувсан-Цэвен. От него, может быть, исходило приглашение, которое Семенов после долгих колебаний отверг, а Унгерн - принял. В той ситуации ему, в общем-то, ничего другого не оставалось.

Когда в плену его прямо спросили о причинах похода в Монголию, он лаконично объяснил все «случайностью и судьбой». Но, в своей обычной манере ссылаясь на судьбу, Унгерн имел в виду не столько европейское, из античности идущее представление о безличном надмирном фатуме, сколько буддийскую «карму». Так, отчасти рисуясь, он говорил незадолго до смерти. Причин было много, но вдаваться в подробности для него уже

не имело смысла. Ему хотелось представить свой поход как предпринятый вне всякой политической логики, как акцию, чьей истинной, глубинной причиной была история рода и его собственная жизнь, прочно связанная с Востоком.

Итак, в октябре 1920 года Унгерн переходит монгольскую границу неподалеку от станции Кыринской и бесследно пропадает в степи. Ни в белом, ни в красном Забайкалье, ни в Харбине никто не знает, куда и зачем повел он своих всадников.

В течение нескольких недель, если судить по газетам, барон существует везде и нигде, одновременно появляясь в самых разных местах, удаленных друг от друга на сотни километров. Откуда-то вдруг проносится слух, будто он занял Троицкосавск, захватил там десять пудов приискового золота и выступил дальше на запад. В Харбине публикуются восторженные сообщения, что красные, напуганные его победоносным маршем, в панике эвакуируют не только Верхнеудинск, но даже Иркутск, что к нему присоединяются партизанские вожаки, буряты, старообрядцы. Еще больший восторг вызывает известие о том, будто захваченное им в Троицкосавске золото было не приисковым, а в слитках и предназначалось для отправки в Пекин послу ДВР Юрину-Дзевалтовскому. Этого бывшего гвардейского поручика харбинцы ненавидят лютой ненавистью: его появление в Пекине вместо старого российского посла князя Кудашева означало конец прежнего статуса русских беженцев в Китае, которые отныне становятся совершенно бесправны. Высказываются радужные предположения, что без этого золота дипломатическая деятельность большевиков, основанная на подкупе китайских чиновников, будет сильно затруднена.

В свою очередь советские газеты объявляют Унгерна разбитым наголову, а его дивизию - полностью уничтоженной. Таким образом снимается вопрос, куда же на самом деле исчез бешеный барон. Это как бы уже не имеет значения: называемая цифра в 700 пленных свидетельствует о том, что Азиатская дивизия попросту перестала существовать.

Тем временем партизанские армии с востока начинают наступление на линию Забайкальской железной дороги. И Семенову, и красным становится не до Унгерна. Чита капитулирует, Даурия взята штурмом. Атамановцы без боя бегут в Китай, а каппелевские части, предусмотрительно расположенные Семеновым на самых опасных участках, с трудом прорываются в полосу отчуждения. Сам атаман бросает еще сражавшуюся армию, садится в аэроплан и улетает в Маньчжурию <Спустя четверть столетия самолет его погубит, зато теперь он спасен.>

Навсегда покидают Забайкалье семеновские и каппелевские бронепоезда: «Отважный», «Справедливый», «Грозный», «Резвый», «Атаман», «Всадник», «Повелитель», «Семеновец», «Генерал Каппель». Им на смену идут «Ленин», «Коммунист», «Стерегающий», «Красный орел» и «Красный сокол», «Борец за свободу» и «Защитник трудового народа» <С тех пор миновало достаточно времени, чтобы при желании прочесть этот реестр, как список ахейских кораблей, приплывших к берегам Трои. Тут вспоминаются слова Борхеса о том, что в мире есть всего четыре бесконечно варьируемых сюжета. Первым из них он называет следующий: «Город, который осаждают и обороняют герои...»>.

В эти смутные дни вновь ползут слухи об Унгерне. Одни связывают с ним последние надежды и уверяют, будто его конница из района Акши устремилась на север, вот-вот он перережет Транссибирскую магистраль, чтобы красные не могли перебрасывать по ней подкрепления с запада. Другие, напротив, делают его символом решительного поражения белых. Какие-то беженцы рассказывают, что на станции Маньчжурия видели барона переодетым в штатское. Вывод напрашивается сам собой: уж если прекратил сопротивление этот человек, известный своей непримиримостью, значит, конец бесповоротен.

Между тем, Унгерн стремительными переходами идет вверх по Онону. Вскоре к нему присоединяются князья Лувсан-Цэвен и Дугор-Мерен со своими отрядами. Их эмиссары вместе с людьми барона разъезжают по кочевьям, всюду произнося «зажигательные речи» и

призывая к борьбе с китайцами. Распространяется слух, что неожиданно явившийся с севера русский генерал состоит в близком родстве с самим Цаган-Хаганом, т. е. Белым Царем - Николаем II, который прислал его в Монголию, дабы покарать вероломных «гаминов», нарушивших договоры с Россией о независимости Халхи. О том, что русский царь давно мертв, большинство монголов не подозревает. Да и вообще для буддиста смерть, тем более смерть такого человека, не есть что-то абсолютное: даже если Цаган-Хаган и умер, ничто не мешает ему воплотиться в каком-нибудь человеке, тем более родственнике.

Чтобы создать впечатление большого войска, Унгерн приказывает своим всадникам передвигаться по Монголии исключительно по двое в ряд. То и дело на горизонте маячат конные монголы, а издали растянувшаяся по степи колонна кажется гораздо большей по численности, чем есть на самом деле. Три оставшихся орудия тащат бычьи упряжки, а для перевозки пулеметов изобретено специальное приспособление, род монгольской тачанки: на оси от тарантаса устанавливали дощатую платформу для «максима»или «кольта», к ней крепили дышло, к дышлу прикручивали ремнями поперечную длинную палку «давнур», которую двое всадников клали на передние луки седел и везли за собой все это сложное сооружение, весьма, впрочем, подвижное и удобное в маневренном конном бою.

Все лишние винтовки розданы казакам на руки, ведено отдавать их всякому, кто пожелает вступить в отряд. Но монгольских добровольцев пока немного, не более двух сотен. Отправив часть своих бойцов, - главным образом, бурят, собирать ополчение, Унгерн быстро движется к столице. Его гонит надвигающаяся зима и ведет надежда ошеломить засевших в Урге китайцев, чтобы покончить дело одним ударом.

Первая половина замысла ему удалась: он появляется под Ургой неожиданно для всех, и когда известия о первых боях достигают Харбина, там поначалу отказываются верить, что это именно Унгерн пытается штурмовать священный город Богдо-гэгена. К тому же верить и не хочется - авантюра барона грозит харбинцам новыми осложнениями с китайскими властями. Газеты утверждают, что это очередная «утка»советской пропаганды. Печатаются поступившие из «достоверных источников»сообщения, будто под Ургой действует партизанский отряд эсера Калашникова, который после ссоры с большевиками из-под Иркутска ушел в Монголию.

Но скоро не остается уже никаких сомнений, что войска, появившиеся перед столицей Халхи, - это и есть вынырнувшая из небытия Азиатская дивизия.

Есть известия о том, что, прежде чем штурмовать город, Унгерн предъявил китайскому командованию ультиматум. Он будто бы потребовал впустить его в Ургу «со всем войском», чтобы Азиатская дивизия могла «отдохнуть и пополнить запасы»перед походом на север, к пограничному Троицкосавску, но китайцы наотрез отказали барону в гостеприимстве. Впрочем, если даже такой ультиматум и вправду имел место, он был не более чем формальностью. В то время Унгерн едва ли собирался продолжать войну с красными. Ему нужна была именно Урга, хотя харбинские апологеты барона упорно доказывали, будто его главной целью по-прежнему оставался Троицкосавск и он просто вынужден был штурмовать Ургу, чтобы открыть себе путь к границам Советской России.

Первый удар Унгерн решил нанести по Маймачену - столичному пригороду, населенному почти исключительно китайцами. На протяжении последних десятилетий здесь находилась резиденция пекинского наместника, жили чиновники, солдаты, купцы, ремесленники, размещались канцелярии, казармы, банки, конторы и склады крупных торговых фирм. Единственный из поселков, составлявших городской конгломерат, Маймачен имел плотную застройку, был обнесен глинобитной стеной с воротами, которые на ночь запирались по сигналу чугунного колокола с возвышавшейся над крышами домов и храмов сторожевой кирпичной башни. Но стену давно не ремонтировали, во многих местах она зияла проломами, и захватить эту средневековую крепость было, в общем-то, нетрудно.

Вечером 27 октября ближайший помощник Унгерна, генерал Резухин, с тремя сотнями занял одну из возвышенностей к востоку от Маймачена. Он завязал перестрелку с китайцами, а на следующую ночь сюда же подошел сам барон во главе оставшихся шести сотен. Никакого плана атаки у него не было, никто не знал, что нужно делать. В ожидании рассвета казаки разбрелись по сопкам, а Унгерн совершенно один, как он любил это делать, верхом отправился на разведку. Идея была не из самых удачных, вдобавок он плохо себе представлял, где, собственно, находится Маймачен. Стояла непроглядная октябрьская ночь, луны не было. Как и следовало ожидать, Унгерн вскоре заблудился. В кромешной тьме он часа три проплутал в сопках, наконец все-таки выбрался к крепостной стене, поехал вдоль нее и даже каким-то образом ухитрился проникнуть в город. Зачем ему это понадобилось, непонятно. Похоже, что такая игра со смертью для Унгерна была болезненной потребностью, ради которой он забывал обо всем, в том числе о цели этих одиноких вылазок, не приносящих, как правило, особой пользы. Возможно, подобные предприятия он совершал в наркотическом опьянении: многие современники писали о его пристрастии к кокаину, а то и к опиуму.

Так или нет, но когда Унгерн остановил часовой, он сумел ускакать и вернуться к своему «войску». Тем временем начало светать. Барон еще не успел сделать никаких распоряжений, как вдруг китайцы, в темноте скрытно подобравшись к расположению унгерновцев, с трех сторон бросились в атаку. Правда, казаки отступили без больших потерь. Преследовать их китайская пехота не могла, но в эту ночь Унгерн лишился практически всей артиллерии: из четырех пушек удалось вывезти всего одну. Артиллеристы в страхе ожидали реакции барона, однако он, видимо, сознавал свою вину, и на этот раз репрессий не последовало. Зато на следующий день Унгерн выместил ярость на русских колонистах из поселка Мандал в полусотне верст от Урги. Здесь дивизия остановилась на отдых, чтобы через четыре дня вновь двинуться на штурм столицы.

Ургу занимала многотысячная, прекрасно вооруженная и экипированная китайская армия со штабами, полевыми телефонами, горными орудиями, а под началом Унгерна было несколько сот измученных, оборванных и полуголодных всадников на отощавших конях, одна пушка, один пулеметный взвод и минимальный запас патронов. Мысль о том, чтобы с такими силами выбить китайцев из города, кажется безумием, но 2 ноября 1920 года Азиатская дивизия опять подошла к столице Халхи.

Теперь, оставив Маймачен в стороне, Унгерн решил штурмовать Ургу с северо-востока. Первый приступ был отбит, после чего он попытался ночью незаметно подойти к центральному кварталам по руслу речки Сельбы, но с рассветом выяснилось, что выбраться из речной пади будет нелегко: устье Сельбы и гребни соседних сопкок оказались прикрыты окопами. Китайцы успели подготовиться к обороне и встретили казаков огнем. Сотни спешились, начались сменяющие одна другую непрерывные изнурительные атаки. Лезли прямо на пулеметы, сам Унгерн, как всегда, был в гуще сражения. Кто-то объяснял его храбрость воздействием наркотиков, кто-то - «мистической верой в свое призвание», но факт остается фактом: барон появлялся в самых опасных местах, причем без оружия, с неизменным монгольским ташуром в руке - камышовой тростью, которой он, по словам мемуариста, «полировал спины солдат и офицеров, внедряя в них ужасную дисциплину времен Тамерлана».

Но даже самаркандский «железный хромец» вряд ли мог бы очутиться на месте Унгерна в сцене, разыгравшейся в эти дни между ним и прапорщиком Козыревым.

После того как то ли под Маймаченом, то ли позже дивизия потеряла почти все пулеметы, два последних бесценных «кольта» были отданы под начало Козыреву. Для юного прапорщика это, видимо, было большой честью. Он всячески старался оправдать доверие, лез на рожон, и в итоге эти два пулемета тоже едва не были захвачены китайцами. Сам Козырев

чудом не был ни убит, ни ранен. Тогда Унгерн предупредил его: «Смотри! Если ранят, повешу!» Между тем бой продолжался, и спустя какое-то время Козырева ранило: пуля попала в живот. Унгерн находился неподалеку. Сидя в седле, он посмотрел на окровавленный живот, на мгновенно посеревшее лицо Козырева и, не сказав ни слова, поехал прочь. По виду рана была смертельной, благодаря чему бедный прапорщик и уцелел. Его вывезли с поля боя, в конце концов он все-таки выжил, дело забылось, но все те, кто тогда находились рядом и позже пересказывали эту историю, вполне, видимо, допускали, что, если бы Унгерн не был уверен в скорой смерти раненого, он мог выполнить свою угрозу.

К вечеру 4 ноября, после двухдневных боев китайская пехота была сбита с позиций и отброшена к храмам монастыря Да-Хурэ. Но успех был непрочный. Утром осажденные подтянули к месту прорыва свежие силы, в том числе артиллерию, а барон уже исчерпал все свои резервы. Последним днем штурма стало 5 ноября. Унгерн предпринял еще несколько попыток ворваться в столицу с разных направлений, но это ему не удалось. Тем не менее отчаянные атаки унгерновцев произвели сильное впечатление на китайцев, которые с этих пор считали барона страшным противником. Они даже выпустили из тюрьмы и послали в бой остатки харачинов Нэйсэ-гэгена, год назад взятых в плен под Кяхтой, - в надежде, что те не упустят случая отомстить убийцам Фушенги. Но в тот момент Унгерн, казалось, побеждал, и харачины сочли за лучшее переметнуться на его сторону.

Впоследствии ходили слухи, будто китайцы в панике начали готовиться к эвакуации, для победы хватило бы еще двух-трех атак, однако положение Унгерна стало невыносимым. Потери были огромны - не то двести, не то триста человек убитыми и ранеными, т. е. приблизительно от трети до чуть ли не половины всех бойцов. Четверо из каждых десяти офицеров остались лежать мертвыми на ургинских сопках. В довершение всего рано ударили морозы. Не хватало теплой одежды, раненые умирали от холода. Патроны были на исходе, продовольствие - тоже, обещанное монгольскими князьями подкрепление не появлялось, и Унгерн решил отступать. Скорее для морального, чем для военного давления на китайцев, напуганных и психологически не способных, как он правильно предвидел, удалиться от города на сколько-нибудь значительное расстояние, Унгерн оставил небольшой отряд вблизи Урги, а сам с главными силами, увозя раненых, ушел к востоку Халхи, на берега Керулена - в те места, которые семь столетий назад стали колыбелью империи Чингисхана. Отказываться от своих планов он не собирался.

ПЯТЬ ГОЛОСОВ

Спустя полтора десятка лет после того как Унгерн был взят в плен и расстрелян, в китайском городе Калгане во Внутренней Монголии одиноким стариком в нищете доживал свой век известный некогда журналист и этнограф Дмитрий Петрович Першин. Путешественник и защитник идеи сибирской автономии, друг Потанина и Ядринцева, он по месту рождения давным-давно взял себе псевдоним, позднее по странной случайности ставший для Унгерна своеобразным приложением к его баронскому титулу - Даурский <Как, скажем, Потемкин-Таврический или Суворов-Рымникский.>.

Першин немного знал монгольский и китайский языки, интересовался ламаизмом, собрал коллекцию танок <Танка - написанная на материи ламаистская икона.>. Долгое время он был чиновником особых поручений при иркутском губернаторе, а уже на склоне лет, в годы Первой Мировой войны принял предложение стать директором Русско-Монгольского коммерческого банка и поселился в Урге. Там судьба Першина-Даурского пересеклась с судьбой даурского барона.

В 1935 году, по просьбе жившего тогда в Тяньцзине историка Серебренникова, в прошлом - министра снабжения в правительстве Колчака, Першин написал обширные

воспоминания об этих месяцах, озаглавленные: «Барон Унгерн, Урга и Алтан-Булак: записки очевидца тревожных времен во Внешней (Халха) Монголии» <Серебренников переписал их к себе в тетради с некоторыми сокращениями, а оригинал - возможно, с тем, чтобы передать деньги не имевшему никаких средств Першину, - был им продан в Гуверовский институт в США.>. Название выдержано в духе старого доброго времени, и сами мемуары написаны в том же ключе. Это спокойный рассказ умного, трезвого, иногда ироничного наблюдателя. Как реалист народнического толка, Першин дает своим героям прежде всего социальные характеристики, со старомодной добросовестностью выписывает детали, стараясь избежать оценок, не взвешенных на весах объективности и разума. Его взгляд остер, память не ослабла, но голос уже тронут старческой сухостью. Все, что случилось в Монголии при Унгерне, для Першина было не роковым часом истории, а всего лишь «тревожными временами». Он пережил их зрелым человеком, когда новые впечатления не способны изменить устоявшийся взгляд на вещи, и пере нес на бумагу в том возрасте, когда близость смерти побуждает быть не судьей, а летописцем.

Совсем по-иному звучит голос двадцатилетнего поручика Бориса Волкова, для которого Унгерн был врагом идейным и личным, приговорившим его к смерти. Записки Волкова - самый страстный из всех обвинительных приговоров, которые когда-либо выносились «кровоавому барону», и об авторе стоит сказать подробнее, тем более что жизнь этого всеми забытого человека заслуживает уважения и памяти.

Уроженец Иркутска, Волков учился на филологическом факультете Петербургского университета, после революции вернулся на родину, где в декабре 1917 года участвовал в юнкерском восстании. Спасаясь от ареста, он скрылся в сербском эшелоне и был доведен сербами до Харбина. Оттуда его опять послали в Иркутск для подпольной работы. В разгар боев с Семеновым какой-то наивный комиссар, твердо стоявший на революционно-просветительских позициях, разрешил Волкову производить археологические раскопки на монгольской границе, в районе «вала Чингисхана». Под видом этой мифической экспедиции он наладил связи с Семеновым, затем сформировал отряд и внезапным ударом выбил мажарские части из Троицкосавска. На этом военная карьера Волкова закончилась и началась другая: в начале 1919 года его из Омска послали в Монголию с заданием противодействовать набиравшему силу панмонгольскому движению во главе с Семеновым и Унгерном. Там он женился на дочери барона Витте, бывшего императорского советника при правительстве Богдо-гэгена, и после разгрома Колчака остался в Урге. Не сумев бежать в Китай по причинам личного порядка, при Унгерне он ждал конца как колчаковский агент и враг панмонголизма. «Но мне посчастливилось, - пишет Волков, - я произвел хорошее впечатление на барона, который чрезвычайно доверял первому впечатлению». Однако уже двинувшись в последний поход, Унгерн с дороги прислал в Ургу телефонограмму с приказом немедленно расстрелять четырех человек. В этом списке была и фамилия Волкова. Но ему опять повезло: принявший телефонограмму дежурный офицер сам был поименован в числе этих четверых и предупредил товарища по несчастью.

«Я бежал по уртонам <Уртон - почтовая станция на тракте, ям.>, - рассказывает Волков, - на озеро Буир-нор, в течение пяти с половиной дней сделав около 1200 миль и переменяв 44 коня...» На границе китайцы вылавливали беглых унгерновцев, бросали их в тюрьму, а многих и расстреливали, но Волков сумел проникнуть в Китай: мимо военных постов его провезли на телеге, укрытого брезентом. В Хайларе он долго скрывался, пока не был взят под покровительство одним баргутским князем, которому тесть Волкова, барон Витте, оказал когда-то важную услугу. «Я никогда не забуду, - вспоминает он, - как воинственный баргут привел меня в штаб китайских войск и, хладнокровно обмахиваясь шелковым веером, заявил повскакавшим с мест от изумления китайским офицерам, что я только что от Унгерна из Урги, и что я - его гость. А потому всякое нанесенное мне оскорбление он будет считать

личным оскорблением».

Вскоре Волков уехал в Америку, работал там на шоколадной фабрике, опубликовал по-английски очерк о своих монгольских впечатлениях и то ли издал, то ли собирался издать большую книгу под названием «Страна золотых будд». Затем следы его теряются где-то между Оклендом и Сан-Франциско.

Если Першин писал через тринадцать лет после самих событий, то Волков - летом 1921 года, и не за столом, а прячась от китайцев на сеновале у знакомого бурята в Хайларе. «Стоит ли писать об этом? - так начинает он свои записки. - Не знаю. Часто я задаю себе этот вопрос. Поверил ли бы я тому, о чем хочу рассказать, если бы сам не пережил тех кошмарных кровавых дней, если бы, встав рано утром где-нибудь в мирном городе, за чашкой кофе пробежал страницы чужих, полных ужаса слов? Всегда я отвечаю отрицательно. Слишком нереально, слишком нелепо все пережитое...»

Для Першина такой вопрос уже не стоял. Унгерн стал историей, все с ним связанное можно было вспоминать спокойно, ни с кем не споря и никого ни в чем не убеждая. Человек девятнадцатого столетия, Першин писал свои мемуары как традиционное повествование, где сюжет не вырван из плоти каждодневной жизни, где самые страшные события все равно разворачиваются на фоне городской топографии, привычного быта и природы, продолжающей «красою вечную сиять».

У Волкова есть цель: раскрыть глаза современникам. Ему еще не известно, чем закончился поход Азиатской дивизии на север. «Разбит ли Унгерн, дикий сумасшедший барон?» спрашивает он. И отвечает фразой, похожей на заклинание: «Я верю, что в самом себе таит он свою гибель...»

Першин давным-давно все знает. Вспоминая недели, последовавшие за первыми двумя попытками Унгерна штурмовать город, он уже в самом начале рассказа берет совсем другую ноту: «В Урге между тем наступила сухая, как всегда, и холодная осень. Вся долина реки Толы, вдоль которой протянулась столица, и окружающие ее плоские горы без единого деревца были затянуты скучным, серо-желтым, блеклым покровом засохшей травы. Это однообразие пейзажа приятно контрастировало с массивным кряжем священной горы Богдо-ул, густо покрытой хвойными деревьями разных пород...»

Голоса еще двоих свидетелей принадлежат офицерам Азиатской дивизии - военному врачу Николаю Рибо, переделавшему свою фамилию на русский лад и ставшему Рябухиным, и есаулу Макееву. Эти двое, в отличие от Першина и Волкова, сами были участниками событий, но видели их по-разному, ибо представляли собой две враждебные группы унгерновского офицерства: первый - бывших колчаковцев, различными путями оказавшихся в Монголии, второй - тех, кто пришел из Даурии вместе с бароном.

Эпитетом «колчаковский» с добавлением любого ругательства определялось отношение таких, как Макеев, к таким, как Рибо. Отношения между ними были напряженными, а то и откровенно враждебными. По сути своей это был все тот же конфликт между каппелевцами и семеновцами, хотя и осложненный новыми обстоятельствами. Старые «даурцы» с оружием в руках прошли всю Монголию, трижды штурмовали столицу и наконец захватили ее, но в итоге были вытеснены на вторые роли более образованными и опытными колчаковскими офицерами, мобилизованными Унгерном уже после взятия Урги. Ветераны Азиатской дивизии ненавидели этих людей; те платили им презрением. Если взять даже ближайших соратников барона, пришедших с ним из Забайкалья, то один раньше был его денщиком, второй - не нюхавшим порошу палачом семеновской контрразведки, третий - бывшим извозчиком, четвертый - содержанием трактира, пятый - полицейским, а среди колчаковцев много было настоящих фронтовиков, кадровых военных вплоть до генштабистов, бывших учителей, студентов и т. д. Те и другие на происходящее вокруг смотрели, естественно, по-разному.

Рибо, в прошлом личный врач атамана Дутова, попал в Монголию из Синьцзяна, где были интернированы части Оренбургской армии, служил в ургинском госпитале, затем возглавил походный госпиталь Азиатской дивизии. Унгерна он считал маньяком и садистом, его приближенных - бандитами, но в монгольских делах разбирался плохо, не особенно ими интересовался и писал лишь о том, что видел собственными глазами. Его рассказ прост, иногда печален и почти всегда очень точен в деталях.

Совершенно другим человеком был есаул Макеев. Адъютант и мимолетный любимец Унгерна, затем каратель и помощник главного палача Сипайло, в 1934 году в Шанхае он издал книгу под названием «Бог Войны - барон Унгерн», написанную от третьего лица (автор прозрачно зашифровал себя под именем есаула М., храбреца и человека чести). Это неумелое и наивное, но с претензией на завлекательность повествование с изрядной долей хвастовства и присущего жанру застольного рассказа бесхитростного камуфляжа. Монгольскую эпопею, совпавшую с юностью, ставшую самым ярким эпизодом в его жизни, Макеев вспоминал с умилением и прямо признавался, что несмотря на все «до сих пор хранит теплую память о своем жестоком, иногда бешено-свирепом начальнике». В рассказанных им историях все перемешано, все изложено с одинаковой легкостью - отвратительные подробности убийств и экзекуций, походы и сражения, бегство в Китай и коронация Богдо-гэгена. Это взгляд человека, подхваченного стихией, которая сама по себе не знает ни добра, ни зла и оставляет в живых лишь тех, кто тоже утратил способность к их различению.

Пятый голос принадлежит сороклетнему петербургскому журналисту, экономисту, химику и литератору Антонию Фердинанду Оссендовскому. Одно время он преподавал химию в Томском политехникуме, и поэтому, видимо, в Урге его называли «профессором». Возможно, он и сам так представлялся, хотя на самом деле был приват-доцентом. Автор сентиментальных повестей, путевых записок и пропагандистских брошюр, в годы Гражданской войны Оссендовский служил в Осведомительном отделе при Ставке Верховного Правителя, жил в Омске, а после падения Колчака из Красноярска бежал в Монголию. С группой спутников он пытался проникнуть в Тибет, чтобы оттуда попасть в Индию, но не сумел, вернулся на север и поселился в Улясутае, где со свойственной ему ловкостью смог всех убедить в своей незаменимости - и русских беженцев, и китайцев, и монголов, и, наконец, самого Унгерна, которого в итоге обманул, как и всех прочих.

После того как барон выступил в свой последний поход, Оссендовский уехал из Урги в Китай, затем в Америку. Там он выпустил книгу «Люди, звери и боги», переведенную вскоре на все европейские языки. Ее цитировали на заседаниях британского парламента, и с ней же, обвиняя автора в недобросовестности и подтасовках, спорил знаменитый шведский путешественник по Центральной Азии Свен Гедин. В Париже был устроен публичный диспут, на нем Оссендовский с успехом отражал нападки оппонентов, в том числе корреспондентов советских газет.

Но и русские эмигранты не разделяли восторгов европейской публики: в книге Оссендовского они увидели не более чем «новую Шахерезаду». Автора прямо обвиняли в сознательной лжи, хотя при ближайшем рассмотрении обнаруживается, что придумывал он не так уж и много. Во всяком случае, практически все рассказанное им об Унгерне подтверждается или протоколами допросов самого барона, или другими мемуаристами. То, что современниками воспринималось как фантастика, оказалось правдой. Если Оссендовский что и сочинял, так это собственные приключения. В остальном он лишь приукрашивал и облагораживал свою роль в действительных событиях, делал упор на восточную экзотику, заставлял героев излагать информацию в развернутых монологах и до неузнаваемости беллетризировал реальные факты.

В голосе Оссендовского всегда чувствуется оттенок фальши, но таков уж его природный тембр. Это голос человека, знающего цену всему, в том числе и Унгерну, которого он тоже

сделал ходовым товаром, поданным в соответствующей упаковке.

Оссендовский рассказывал, что, узнав о его дневнике, Унгерн попросил дать ему прочесть записи о нем. Прочитав, он написал на тетради: «Печатать - после моей смерти». Надо полагать, собственный образ показался ему приемлемым. Загадочный, никем не понятый одинокий пророк, грозный, но справедливый мститель, потомок крестоносцев в костюме азиатского владыки - таким он видел себя сам и таким его изобразил Оссендовский. Одобрение первого читателя предвосхитило успех у последующих, воспитанных на тех литературных образцах, которые в жизни копировал Унгерн.

ГРАД ОБРЕЧЕННЫЙ

Столица Халхи протянулась вдоль реки Толы, чья прибрежная долина одному путешественнику прошлого столетия напомнила «роскошные долины Ломбардии». Русское название города - Урга (от «орго»ставка) - в самой Монголии знали немногие. Обычно монголы свою столицу называли Их-Хурэ, т. е. «большой монастырь»; в 1911 году она получила официальное название Нийслэл-Хурэ - «монастырь-столица», а еще тринадцать лет спустя была переименована в Улан-Батор.

Город состоял из пяти-шести примыкавших один к другому поселков и имел форму неправильной подковы, разомкнутой на юг, в сторону Толы, на противоположном берегу которой поднимались величественные кряжи Богдо-ула. Такой столица представляла при взгляде на нее с окрестных гор. Внизу она казалась беспорядочным скопищем юрт, русских изб, китайских глиняных фанз, хотя во всем имелся определенный порядок, не доступный взгляду заезжего наблюдателя. Над сплошной серо-черной, деревянно-войлочной массой всюду возвышались ярко раскрашенные или позолоченные крыши бесчисленных кумирен и храмов.

Русские путешественники, въезжавшие в Ургу с севера, по Кяхтинскому тракту, перед самым городом должны были спуститься с пологой горы, весь склон которой занимал крупнейший из столичных монастырей - Гандан, город богословов, Афины северного буддизма. Его полное название - Гандан-Тэгчинлин, что значит «Большая Колесница Совершенной Радости». Только Гандан за пределами Тибета имел право присуждать ученые степени теологам, но кроме них здесь обучались и врачи, и те, кого особо отличал Унгерн - астрологи и гадатели-изрухайчи. Здесь хранились высушенные, покрытые золотой краской и превращенные в статуи тела двух предшественников нынешнего Богдо-гэгена, бывших пятым и седьмым перерождением тибетского подвижника Даранаты. В 1904 году из Лхассы, занятой англичанами, сюда бежал Далай-лама XIII, и для встречи с ним в Гандан специально приезжал из Петербурга крупнейший русский буддолог Федор Щербатской: они беседовали о законах древнеиндийской логики. Впрочем, интересы божественного изгнанника этим не ограничивались. Если бы, как позднее надеялся Унгерн, ему удалось встретиться с духовным и светским владыкой Тибета, у них нашлись бы и другие, более земные темы для разговора.

Ближе к вершине холма, на котором располагался Гандан, стояли ослепительно-белые субурганы восьми канонических разновидностей, тянулись ряды молитвенных мельниц-хурдэ под изящными навесами; дальше поднимались каменные ограды, за ними гладкие стены и нарядные многоярусные воздушные кровли храмов, построенных в китайском стиле. Их венчали сияющие на солнце ганжиры - цилиндры-шпили, заполненные «мани», т. е. листками, на которых писался начальный иероглиф мистической молитвы-заклинания: «Ом мани падме хум». Эти загадочные, по-разному толкуемые, слова хорошо знал и любил повторять Унгерн. Над их смыслом он вряд ли сильно задумывался, как не задумываются над словами военного паролка.

На самой вершине вздымалось видное из любой точки города мощное, башнеобразной

формы белое здание, самое высокое в столице - храм Мижид Жанрайсиг, посвященный Авалокитешваре Великомилосердному, чьим земным воплощением считался Далай-лама. Внутри стояло изображение Авалоки-тешвары из позолоченной меди высотой в 80 локтей (более 25 метров). Статуя была так велика, что снизу можно было разглядеть лишь укутанные шелком колени этого исполина. Его окружали десять тысяч бурханов Будды Аюши, покровителя долгоденствия, которые все оптом были отлиты на одной из варшавских фабрик.

Склоны холма вокруг храмов занимали квадратные дворики с заплотами из жердей. За ними, в юртах - кельях, жили хувараки - послушники и ламы всех степеней. Русские старожилы Урги умели различать монахов разных школ и рангов по форме ворота монашеской курмы, по обшлагам на рукавах, по шапкам, напоминающим то огромные желтые грибы, то бордовые фригийские колпаки, то шлемы древнегреческих воинов. От других столичных монастырей Гандан отличался строгостью нравов. Женщинам предписывалось обходить его по окружной дороге, иноверцам вход сюда тоже был запрещен.

От подножия холма, где расположен Гандан, к самому ложу Толы одна над другой шли две широких террасы. Верхняя почти сплошь была застроена домами русского типа: здесь селились выходцы из России. На нижней террасе обитали тибетцы. Восточное лежал большой захламленный пустырь с лавками, складами, торговыми рядами, вечно заполненный шумной и пестрой толпой. Это так называемый Захадыр - центральный базар, самое оживленное место в городе. Здесь торговали всем чем можно, и здесь же обсуждались политические дела. Сюда стекались за информацией китайские и унгерновские шпионы: о важнейших событиях тут узнавали раньше и знали больше, нежели в резиденции наместника или во дворце Богдо-гэгена. На Захадыре бился пульс ургинской розничной торговли, но местом заключения крупных оптовых сделок были четыре-пять китайских улиц между Ганданом и вторым по величине монастырем Урги - Дзун-хурэ. Хотя по ламаистским законам никакая торговля не должна производиться вблизи храмов - ближе, чем слышен удар храмового колокола, - китайцы сюда втиснулись вопреки яростному сопротивлению ламства и удержались благодаря поддержке Пекина. Впрочем, храмы с колоколами были везде, до любой лавки долетал звон какого-нибудь из них, так что в конце концов на это соседство стали смотреть сквозь пальцы.

Если въезжать в город с севера, то Гандан оставался справа от дороги, а слева, за оврагом с речкой Сельбой, над массивом юрт и дворигов царили два ориентира: круглый, обитый листовой медью, купол Майдари-сум <Будда Майдари (инд. Майтрейя) - владыка будущего, буддийский мессия.> - главного храма столицы, и золоченая крыша Шара-Ордо - Желтого, или Златоверхого дворца Богдо-гэгена, где проходили все торжественные церемонии. Два других его дворца, Зимний и Летний, изолированно стояли на самом берегу Толы. Строиться и разбивать юрты возле них было запрещено.

Отсюда, через плоскую прибрежную долину, дорога вела к центру города, к громадной, пустынной, но в праздники заполняемой тысячами паломников, прямо в пыли отбивающих земные поклоны, площади Поклонений. Перед въездом на нее стояла деревянная арка с причудливыми черепичными кровлями, воздвигнутая последним китайским императором в честь последнего Богдо-гэгена. Лишь он один имел право проезжать в носилках под ее сводами.

Не считая множества мелких кумирен, на площадь Поклонений так или иначе выходили все главные святыни столицы: пережившая три столетия и считавшаяся священной исполинская юрта Абатай-хана, Майдари-сум и, наконец, тантрийский Тэгчин-Калбын-сум - храм Великого Спокойствия Калбы, личный храм Богдо-гэгена, примыкавший к его Златоверхому дворцу. Он тоже имел позолоченную двухъярусную крышу в китайском стиле, под карнизами которой висело множество звенящих на ветру колокольчиков. Особняком стоял Цогчин - первый соборный храм Урги, громадный деревянный шатер, поддерживаемый

ста восемью колоннами и способный вместить в себя две с половиной тысячи человек. Ежегодно на площади Поклонений проходил Цам - грандиозная мистерия, представлявшая борьбу грозных буддийских божеств с врагами «желтой веры»; весной отсюда начиналось праздничное шествие в честь грядущего воцарения Майдари, когда растянувшаяся на несколько верст многотысячная процессия под звуки труб и раковин обходила Ургу от Кяхтинского тракта, ведущего на север, в Россию, до Калганского, который шел на юго-восток и связывал столицу с Китаем. Оба они, как все дороги в Монголии, усеянные костями лошадей, верблюдов, овец, быков и людей, смутно белели даже в темноте.

В южной части площади группировались все правительственные учреждения - ямыни. Важнейшие из них, в том числе таможня, были обнесены высоким бревенчатым тыном с красными воротами. Еще южнее,

ближе к Толе, располагалась огражденная кирпичной стеной резиденция Чойджин-ламы - государственного оракула, родного брата последнего Богдо-гэгена. Монгольские юрты стояли к западу и северу, между площадью Поклонений и монастырем Дамбадоржин-хийд, а восточнее вновь начинались китайские кварталы с их лавочками, харчевнями, цирюльнями, шорными и скорняжными мастерскими. Весь этот район русские называли «Половинкой».

«От Половинки, - пишет Першин, - далее на восток дорога поднимается на безотрадное полугорье, голое и каменистое, занимаемое Консульским поселком». Здесь в начале столетия был выстроен целый комплекс зданий русского консульства. Поселок состоял из единственной улицы, вдоль нее версты на полторы протянулись дворы консульских служащих, торговцев, ямщиков, казаков, солдат и т. д. На западной половине этой улицы выделялся двухэтажный каменный дом, принадлежавший русско-бельгийской золотопромышленной компании «Монголор»; в годы Гражданской войны его занимал дипломатический агент Орлов со своим штатом. Русская колония имела выборные органы управления, церковь, школу и больницу. Накануне революции она (колония) насчитывала до трех тысяч человек, но после разгрома Колчака, когда в Монголию хлынули беженцы из Сибири, это число если не утроилось, то удвоилось наверняка.

От Консульского поселка по береговой террасе Толы дорога вела к Маймачену. Практически это был отдельный город примерно в четырех верстах к востоку от Урги. Здесь жили почти исключительно китайцы, стояли китайские молельни и храмы.

Все население столицы оценивалось не то в шестьдесят, не то в восемьдесят тысяч, из них не менее одной десятой составляли ламы. Их желто-красные одеяния сразу бросались в глаза среди пестрых монгольских дэли и синих китайских. Но в уличной толпе синий цвет заметно преобладал: китайцы составляли едва ли не большую часть населения Урги. Монголов, живших здесь круглый год, было относительно немного. Торговлей они почти не занимались, хотя их ближайшие родичи - буряты, держали в своих руках весомую долю ургинской коммерции. Среди выходцев из России немало было евреев и татар. Росла японская колония. Время от времени появлялись европейские и американские коммерсанты, инженеры, миссионеры и просто искатели приключений.

На узких, кривых и невероятно грязных улицах, стиснутых глухими заборами из неошкуренных лиственниц, в районе Захадыра и Половинки всегда было многолюдно. В толчее проходили обозы и верблюжьи караваны, проезжали всадники, но не такой уж редкостью считался и автомобиль. Кое-где в домах по вечерам зажигалось электричество, телефонная станция имела до сотни абонентов. Существовал китайский театр, издавались газеты на трех языках. Из России привозили и фильмы, хотя постоянного кинематографа не было.

Русские считали Ургу типично азиатским городом, однако японцы утверждали, что такого города нет больше нигде в Азии. Лестный титул «северной Лхассы» определял суть монгольской столицы не многим точнее, чем эпитет «северная Венеция» в применении к

Санкт-Петербургу. Священная, через свои святыни и обитающего в ней «живого Будду» связанная с сакральными силами, но несравненно шире открытая миру, нежели Лхасса настоящая, где даже швейные машинки находились под запретом, Урга действительно являла собой уникальное сочетание монастыря, рынка и ханской ставки, дворца и кочевья, Востока и Запада, современности и не только средневековья, но самой темной архаики, таинственно примиренной с учением о восьмеричном пути и четырех благородных истинах.

Характерной, к примеру, и жутковатой деталью столичного быта, на которую в первую очередь обращали внимание иностранцы, были собаки-трупоеды. В зависимости от того, в год какого животного и под каким знаком родился покойный, ламы определяли, в какой из четырех стихий должно быть погребено тело - водной, воздушной, земляной или огненной. Иными словами, его могли бросить в реку, оставить на поверхности земли или на дереве, зарыть и сжечь, причем один из этих способов для каждого считался наиболее подходящим, еще один - терпимым, остальные два исключались. Но на практике простые монголы либо чуть прикрывали мертвеца слоем земли, либо просто оставляли в степи на съедение волкам. Считалось, что душе легче выйти из тела, если плоть разрушена, поэтому если труп в течение долгого времени оставался несъеденным, родственники покойного начинали беспокоиться о его посмертной судьбе. В Урге вместо волков роль могильщиков исполняли собаки. Эти черные лохматые псы за ночь оставляли от вынесенного в степь тела один скелет, но обилие человеческих костей в окрестностях столицы никого не смущало: в ламаизме скелет символизирует не смерть, а очередное перерождение, начало новой жизни. Собачьи стаи рыскали по городским окраинам, и одинокому путнику небезопасно было повстречаться с ними в темноте. Иногда они, нападали и на живых. Европейцы, называя их «санитарами Урги», тем не менее относились к ним со страхом и отвращением, сами же монголы - абсолютно спокойно.

Перебили их через несколько лет после Унгерна. Монгольское правительство особым указом запретило относить мертвецов в степь, но революционный указ, естественно, игнорировался, и тогда, как с восторгом сообщает заезжий московский журналист, «в назначенный день на улицы вышли все ревсомольцы, все партийцы, все передовые монголы, и это была собачья Варфоломеевская ночь».

Но в месяцы, когда здесь царил Унгерн, эти псы, необычайно размножившиеся, разжиревшие, обнаглевшие, тучами собирались на свалке у берега Сельбы, куда свозили трупы убитых евреев и китайских солдат. Древний погребальный обычай превратился в омерзительный шабаш, традиция обернулась чем-то чудовищным и противоестественным. Дикий разгул четвероногих могильщиков словно бы предвещал их гибель, а то и другое вместе знаменовало собой конец старого мирного Их-Хурэ. Унгерн и те, кто пришел ему на смену, сделали этот город иным, не похожим на прежний.

Еще осенью 1919 года, когда падение Колчака стало делом ближайших недель, монголы обратились за советом к Орлову, который представлял в Урге Омское правительство. Они спросили, кого им теперь следует предпочесть в качестве сюзерена: красную Москву или Пекин? Орлов, разумеется, посоветовал идти лучше под китайцев. Но и без его подсказки к этому варианту склонялись многие князья и высшие ламы, группировавшиеся вокруг министра иностранных дел Цэрен-Доржи. Вскоре генерал Сюй Шичен («маленький Сюй») вошел в Ургу с 12-тысячной армией и целым штатом чиновников. Как пекинский наместник он заставил Богдо-гэгена отречься от престола, причем для вящей символичности предложил ему подписать отречение в тот самый день по календарю, который восемь лет назад стал днем его восшествия на престол.

Сюй Шичен искал популярности у монголов, устраивал зрелища и народные гулянья. Перед русскими он щеголял европейскими манерами и даже у себя дома по вечерам брэнчал на рояле. Его чиновники устроили что-то наподобие клуба для столичного бомонда всех

национальностей и старательно разыскивали по городу бильярд, который казался им непременной принадлежностью такого рода клубов.

Одновременно Сюй Шичен ввел гарнизоны во все крупные центры Халхи, а затем восстановил и прежнюю маньчжурскую систему управления, разве что чиновники были теперь без кос, без шапочек с коралловыми шариками, и назывались не фудуцоньями, как при Цинях, а политическими комиссарами. В Пекине аннулировали все прежние договоры с Россией. Тысячи переселенцев из охваченных неурожаем внутренних районов Китая вновь двинулись в пределы Халхи, китайские купцы и ростовщики извлекли на свет старые долговые расписки. Необходимость платить долги, да еще с набежавшими за восемь лет дикими ростовщическими процентами, вызвала панику. Монгольские князья, сами же и пригласившие китайцев для защиты от Семенова и большевиков, были разочарованы, возмущены и напуганы. Они покидали столицу и разъезжались по своим кочевьям, но там их поджидали правительственные эмиссары с отрядами солдат. Богдо-гэген по сути дела находился под домашним арестом в своем дворце, в Урге становилось все беспокойнее. В Пекин потоком шли жалобы, наконец Сюй Шичен, заслуживший всеобщую ненависть, был отозван. Наместником назначили Чен И, известного дипломата (одно время при Цинях он уже служил в Монголии), а до его прибытия всеми делами заправлял кавалерийский генерал Го Сунлин. По словам Першина, это был «ражий детина с замашками хунхуза». Он «являлся на обеды, устраиваемые русской колонией, в полной форме, в кепи с белым султаном и в перчатках на два-три размера больше, чем нужно, сидел, обливаясь потом, не умея пользоваться ножом и вилкой, зато в конце обеда яростно накидывался на кофе и ликеры».

Но человек он был решительный и сумел отбить первые две попытки Унгерна штурмом взять Ургу. Теперь обеды с участием китайских генералов стали прекрасным воспоминанием; бывших подданных Российской Империи подозревали в сочувствии барону. Десятки, а то и сотни русских были арестованы.

«В отношении „хабары“, - пишет Першин, сам побывавший под арестом, - китайские военачальники народ опытный и практичный. Они судили о заключенных по способу их питания. Если человек пропитывался своим коштом, то, значит, с него можно было содрать хоть что-нибудь. Тех же, кто кормился за счет благотворительности и подаяния, выпускали, всыпав полсотни „бамбуков“. Были брошены в тюрьму и некоторые влиятельные монголы, известные как враги Пекина. Поддержавшие Унгерна пригородные монастыри подверглись разграблению. Ожесточение дошло до того, что убивали даже лам. Солдаты врываются в храмы во время богослужения и открывают пальбу. В окрестностях столицы сожгли все заимки, все загоны для скота - якобы для того, чтобы они не стали опорой Унгерну. В самой Урге солдатня Го Сунлина мародерствовала почти открыто. Объясняя это, китайцы из числа „фирмовых служащих“ говорили Першину: „Из хорошего железа гвозди не делают, делают из худого. Доброго человека в солдаты не берут, берут худого...“

Стоял бесснежный холодный ноябрь с резкими ветрами. Исчезли недавно еще окружавшие город юрты, монголы откочевывали подальше от столицы и угоняли стада. На западе, в Кобдоском округе, войну китайцам объявил неукротимый Джа-лама, очередной раз вернувшийся в Монголию, на севере были красные, на востоке - Унгерн, к югу простиралась необозримая, непроходимая Гоби. Урга оказалась отрезана от всего мира. Опустел Захадыр, ламы не выходили из монастырей. Среди русских царила растерянность, жили по принципу: день прошел, и слава Богу. Уехать в Китай было невозможно, караулы никого не выпускали из Урги и не впускали в нее. Все въезды в город охранялись войсками, жизнь замерла, торговля прекратилась.

Уже к концу ноября Го Сунлин провел мобилизацию китайского населения. Под ружье было поставлено до трех тысяч мелких торговцев, огородников, ремесленников. Оружия имелось достаточно, снарядов и патронов - тоже. По обезлюдевшим улицам, с которых

пропали даже старухи с корзинами и деревянными вилами, собиравшие сухой навоз для очага, в разных направлениях проходили солдаты, разъезжали конные патрули. У присутственных мест на площади Поклонений целыми днями маршировали новобранцы. Однажды здесь же устроили маневры. Артиллеристы ловко отцепляли маленькие горные пушечки, выкатывали их на позиции, заряжали, целились. Проходивший мимо Першин отметил, что вся амуниция, седла, механизмы были в прекрасном состоянии, «франтоватая кожа приборов и чехлов блистала новизной». Но если раньше посмотреть маневры собралось бы множество зрителей, особенно монголов с их обычным для кочевников простодушным любопытством, то сейчас вокруг не было ни души. Все прятались по домам, город затаился в ожидании каких-то близких и грозных перемен <Особенно гнетущее впечатление на русских в Урге произвела гибель каравана сибирского Центросоюза. С ним в основном шли деятели левого толка, эсеры и меньшевики, бежавшие из Советской России под видом торгово-закупочной кооперативной экспедиции. С невероятными лишениями они из Красноярска добрались до Урги и здесь почти все, в том числе бывший секретарь Керенского, полковник Журавский с женой, были убиты китайцами. Уцелели двое из сорока человек.>.

«Лишь изредка, - вспоминает Першин, - из монастырских храмов доносились ревущие протяжные звуки священных труб, зловеще раздававшиеся в морозном воздухе. Но скоро и трубы умолкли. Военные власти запретили ламам совершать моления в храмах по той причине, что громкие и стонущие трубные звуки наводят ужас и смущают солдат. Солдаты говорили, что ламы своими молениями накликают всякие беды и несчастья на гарнизон, ибо им послушны злые духи и демоны, покровители этих мест. Как ни поясняли ламы, что они молятся добрым божествам, пришлось подчиниться».

Китайские колонисты, пробиравшиеся в Ургу под защиту гарнизона, рассказывали, что войско Унгерна растет, монголы поддерживают его, а он их не обижает, за все расплачивается золотом. Никто не верил, что барон действует на свой страх и риск, ползли самые невероятные слухи о его покровителях. В их числе называли даже Врангеля, и после первого штурма Урги генерал Чу Лицзян, соперничавший за власть с Го Сунлином, просил подкреплений у Пекина на том основании, что будто бы Врангель в помощь Унгерну отправил армию в 15 тысяч штыков. Видимо, поводом для этих страхов стали не то сообщения об эвакуации Крыма, не то мнимые намерения каппелевцев, которые считали себя частью Русской армии Врангеля, из Забайкалья идти в Монголию.

«ЭТОГО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»

Врангель уже плыл из Севастополя в Турцию, когда Унгерн, отступив от Урги, расположился лагерем в долине Терельджин-Гол на берегах Керулена. Это была территория самого восточного из четырех аймаков Халхи - Цеценхановского, и маршрут выбран был не случайно. Здесь его ждали. Восточномонгольские князья первыми если не призвали, то поддержали Унгерна, а теперь они же открыто провозгласили его своим вождем в начинающейся борьбе за освобождение Монголии. Сам цецен-хан, их сюзерен, прислал ему 600 теплых войлочных палаток-майханов и перевязочный материал для раненых. После того, как китайские генералы в Урге посадили под арест Богдо-гэгена, запретили богослужения в столичных храмах и кровью настоятеля осквернили монастырь Шадоблин, сопротивление приобрело характер священной войны. Отныне Унгерн с его непоказной симпатией к буддизму стал естественным центром притяжения, а его потрепанные сотни - ядром будущей армии. К нему начали присоединяться не только княжеские отряды, но и простые араты, и даже нищенствующие монахи. Ходили слухи, будто сам Далай-Лама XIII объявил русского генерала борцом за веру и прислал ему семьдесят всадников из числа телохранителей своей

личной гвардии. Это очень похоже на правду. Чуть позже, перед новым наступлением на Ургу, в Азиатской дивизии появилась отборная, особо отличаемая бароном. Тибетская сотня, которой в противном случае просто неоткуда было взяться в монгольской степи, за тысячи верст от Лхассы.

Монголы называли Унгерна «Богом Войны», и это не только метафора. В необъятном ламаистском пантеоне, особенно среди докшитов - грозных хранителей веры, нетрудно было найти подходящую фигуру, чей дух мог бы воплотиться в человеке, вставшем на защиту оскорбленного чужеземцами «живого Будды». Это не обязательно должно было быть официальным актом в стиле прецедента полуторавековой давности, когда Екатерину II объявили перерождением Дара-Эхэ - Белой Тары, всевидящей богини милосердия с глазами на руках и на ступнях ног <Было объявлено, что она воплотилась в российской императрице, дабы «смягчить нравы жителей северных стран». С тех пор все государи из династии Романовых считались хубилганами Белой Тары.>. Урга была далеко, но в местных монастырях и среди лам, окружавших монгольских соратников Унгерна, без труда отыскивались бы такие, кто из соображений патриотического свойства, по приказу или за деньги готовы были признать барона хубилганом какого угодно божества из разряда воителей.

Это было тем легче, что монголы считали Унгерна существом если не сверхъестественным, то уж наверняка интимно связанным с таковыми. Верили в его неуязвимость, в его способность с помощью духов становиться невидимым, насылать на врагов панический страх и т. д. Дело тут не в одних личных качествах Унгерна, как хотелось думать тем, кто его романтизировал. Видимо, уже после первого похода на Ургу за ним все ярче начала обрисовываться мистическая фигура грядущего освободителя Монголии: во всех легендах и пророчествах этот национальный мессия должен был прийти в годы жизни восьмого Богдо-гэгена и непременно с севера.

Из России ожидалось пришествие Амурсаны, причем этот умерший двести лет назад мятежный джунгарский князь уже воплотился в образе Джа-ламы. С севера в седьмом столетии по смерти Чингисхана ожидалось явление его белого знамени, под которым, согласно легенде, монголы вернут себе былое величие. А учитывая, что по монгольским поверьям в знамя переходит душа полководца - «сульдэ», явление знамени Чингиса равносильно явлению его самого. Вообще-то в мифологии евроазиатских народов север - это страна мертвых. Оттуда и должны вернуться великие герои прошлого, но для монголов потусторонний мир парадоксально слился с Россией.

В своей записке, поданной Александру III, некоторые из таких легенд привел Бадмаев, истолковав их, правда, как предсказания будущей власти Романовых над Халхой. Он, например, передает рассказ о каком-то князе, казненном китайцами на границе с Россией и перед смертью предрекшем, что в какую сторону откатится его отрубленная голова (она откатилась на север), оттуда и придут грядущие властители Халхи. Наконец, на севере должна была начаться война между неверными и войском Шамбалы - мистической страны, чьи владыки в конце времен распространят «желтую религию» по всему миру. Если верить Николаю Рериху, то Сухэ-Батор, первый председатель Монгольской Народно-Революционной партии, сочинил песню, в которой его война с Унгерном и китайцами трактовалась как «северная Шамбалы война» <У Рериха чуть иначе: «Северной Шамбалы война». Изменение падежа меняет смысл. Тем самым к Шамбале как бы приравнивается Советская Россия.>, и всем павшим в боях красным цэрикам обещалось возрождение в облике воинов Шамбалы.

Разумеется, Унгерна не считали ни ожившим Чингисханом (рыжебородым, кстати, как сам барон), ни Амурсаной или посланцем Шамбалы, но он действовал в одном ряду с этими вариантами, питаясь их энергией. Как всякий, кто принимает на себя груз народных

ожиданий, Унгерн приобрел черты мифологического героя. И хотя ожидания были обмануты, это не изменило отношения к нему как к человеку, стоящему на грани двух миров - реального и незримого.

Среди многих других мессианских легенд существовали две, соотносимые с ним напрямую. Во-первых, это легенда о «бароне Иване»; во-вторых - о пророчестве «Бичигту цаган шулун», священного белого камня. В одном из своих воззваний Унгерн - вероятно, просвещенный на этот счет состоявшими при нем ламами, напоминал широко известное в Монголии предсказание о том, что после великой смуты явится непобедимый «белый батор», который спасет и возродит монгольского хагана. Причем его пришествие должно было произойти в «год белой курицы», т. е. в 1921 году. Тот факт, что Унгерн - белый генерал, делало это пророчество особенно волнующим для монголов, очень чутких к цветовой символике.

Враги Унгерна считали, что ламы сознательно обманывали невежественных кочевников, а сам барон использовал эти легенды в сугубо прагматических целях. Это неправда: Унгерн никогда бы не стал тем, кем он стал, и не совершил того, что совершил, если бы в нем не было настоящей глубокой веры в свою особую миссию.

«Легенды в Монголии, - писал Бадмаев, призывая Александра III опереться на них в своей восточной политике, - значат больше, чем действительность». Для кочевников, живущих в архаической эпохе, такие легенды лежали в одной плоскости с реальностью, образуя точки, где она входила в соприкосновение с иным, высшим миром. Это своего рода «чакры»-центры, через которые в сосуд человеческой плоти вливается животворная космическая энергия. Разница лишь в том, что здесь речь идет о народе, а не об отдельном человеке. Одна из таких «чакр» на теле Монголии открылась поздней осенью 1920 года в долине Терельджин-Гол - там, куда Унгерн привел остатки Азиатской дивизии.

Разбитый под Ургой, он начинает понимать, что для победы нужно привлечь к себе тех, чьи имена популярны в Монголии. Наибольшим, пожалуй, моральным авторитетом среди монголов пользовался прославленный Тогтохо-гун. Когда-то он первым бросил вызов Пекину, а теперь, старый и больной, кочевал неподалеку от Урги, давно не вмешиваясь в политику. Но многие помнили, что в былые времена китайцы обещали в награду золотой весовой эквивалент его тела, если он будет доставлен живым, и серебряный - если мертвым. Во всяком случае, такова была легенда, и отблеск славы Тогтохо ложился на его родственника Найданжава, который присоединился к Унгерну на Керулуне. Правда, сам Тогтохо остался в стороне и никого из своих родичей и данников на эту войну не благословил.

Установить связи с восточномонгольскими князьями помог Унгерну один из самых близких к нему людей - бурят Джамбалон. Волков полагал даже, что если бы не он, второй поход на Ургу попросту не состоялся бы. Это, может быть, и преувеличение, но небольшое. Именно буряты, более образованные, гибкие и светские, теснее связанные с Россией, всегда играли роль посредников между монголами и русскими политиками, будь то дипломаты Николая II, Семенов, Унгерн или деятели Коминтерна и сибирские большевики.

Одни утверждали, что Джамбалон воевал с бароном еще в Нерчинском полку, другие - что свою карьеру он начал простым пастухом в Азиатской дивизии. Оссендовский, оперируя, главным образом, тем обстоятельством, что Джамбалон имел «необыкновенно длинное»лицо аристократа, выводил его родословную от мифических «бурятских царей». Но все сходились в одном: Унгерн доверял ему больше, чем любому из своих русских соратников. После взятия столицы он получил княжеский титул, и хотя ургинские шутники вместо «Джамбалон-ван»произносили «Джам-болван», это был человек незаурядный. Через него позднее Унгерн завязал отношения с «живым Буддой», а пока что с его помощью сумел организовать отряд из кочевавших по Керулуну бурятских беженцев.

Здесь же Азиатская дивизия пополнилась и сотней бежавшего из Забайкалья войскового старшины Архипова. С ним было девяносто казаков и доктор Клингенберг из Перми, имевший впоследствии зловещую славу придворного унгерновского врача-убийцы. Вообще в лагерь на Керулуне почти ежедневно являлись беженцы из Сибири и Забайкалья. Шли с женами и целыми семьями, военные и штатские. Большинство приходило к Унгерну в надежде, что он выведет их в Маньчжурию, к очагам цивилизации. Когда же выяснялось, что барон собирается идти в противоположную сторону - к Урге, воевать с «гаминами», было уже поздно. Большая часть смирялась, некоторые пробовали бежать. В снежной степи, за сотни верст от границы, зная, что пойманных дезертиров ждет неминуемый конец под палками палачей, на побег отваживались немногие. Добраться до вождя Харбина удавалось и вовсе единицам.

Первая попытка Унгерна штурмовать Ургу отозвалась на судьбах тысяч беженцев из России, рассеянных к югу от границы с Китаем. Волна насилия, выкидывая их из наскоро свитых гнезд, прокатилась от Синьцзяна до хребтов Наин-ула на западе, не затронув лишь Маньчжурию. Горели поселки и торговые фактории, кое-где власти позволили красным отрядам вступить на китайскую территорию, чтобы уничтожить интернированные в приграничье остатки белых армий.

В это время в поселке Бангай-Хурэ на севере Монголии учительствовал бывший колчаковский офицер Дмитрий Алешин. Он обучал детей русских колонистов тому, что знал сам: русской грамоте, английскому языку, немного истории, математике и географии. Родители, как водится, платили ему в складчину. За зиму Алешин думал накопить денег и весной уехать в Харбин, но появление Унгерна сделало эти планы абсолютно нереальными. Китайцы начали разорять русские поселения в районе Кяхтинского тракта. Они знали, что Унгерн - белый, и этого было довольно, чтобы убивать всех, в ком подозревали белых офицеров. Алешин скрылся в сопках, там пристал к группе таких же, как он сам, затравленных ожесточившихся беглецов, которые, в свою очередь, нападали на китайских поселенцев и отставших солдат. Командир этого маленького партизанского отряда намеревался вести своих людей к Унгерну, когда их лесное убежище выследили и попросили приюта семеро дезертиров из Азиатской дивизии. Бежав с Керулена, они добрались до границы с Россией, хотели сдаться в плен, но красноармейцы то ли по доброте душевной не посоветовали им этого делать, то ли просто прогнали обратно в Монголию.

После разговора с ними желание идти к Унгерну у всех пропало. Алешин впервые услышал о том, что в Азиатской дивизии не только пленных большевиков, но и своих, виновных подчас в ничтожных проступках, насмерть забивают палками, что на допросах подозреваемым льют в ноздри кипяток, поджигают волосы или поджаривают на медленном огне. Рассказано было также о судьбе поселка Мандал к северо-востоку от Урги. Жившие там русские колонисты отказались выставить солдат для службы у барона, за что все население было вырезано поголовно, а поселок сожжен дотла. Но особенно жуткое впечатление даже на этом фоне произвела история некоего Чернова, выпускника консульской школы во Владивостоке и любимца Унгерна.

Вкратце она такова.

После неудачного штурма Урги в дивизии было много раненых, и Унгерн решил отправить их в Акшу, в тамошний госпиталь. Оторванный от всего мира, он полагал, что демаркационная линия, которая согласно Гонготскому соглашению разделила красное и белое Забайкалье, еще сохраняется в целостности и неприкосновенности. Командовать обозом поставлен был Чернов. Но неподалеку от границы, пройдя уже около пятисот верст, он узнал, что Семенов бежал, что и над Акшей, и над самой Даурией поднят красный флаг. Тогда решено было двигаться дальше на восток, до станции Маньчжурия (еще пятьсот верст), и тех, кто все равно не вынес бы дальнейшего перехода, Чернов распорядился отравить.

Поговаривали, правда, будто заодно с тяжелоранеными смертельную дозу яда получили все, имевшие при себе какие-нибудь ценности и деньги. Так или иначе, узнав об этом, Унгерн пришел в ярость. Чернова привезли в лагерь, били палками до тех пор, пока тело его не превратилось в лохмотья, затем привязали к дереву и еще живого сожгли на костре <Все русские в Монголии слышали об этой расправе, но объясняли ее разными причинами - от преступного сладострастия Чернова до подделки им каких-то денежных документов. О том, что он был прежде любимцем Унгерна, тоже знали и не удивлялись: обычно фавориты барона плохо кончали. К тем, кому он доверял и кто обманул его доверие, он бывал особенно беспощаден. При этом Першин пишет, что уже на костре, проклиная всех пришедших посмотреть на его муки, Чернов будто бы «не произнес ни единого слова порицания или хулы по адресу барона», который, как всегда, не присутствовал при совершаемой по его приказу казни.>

История гибели Чернова изложена была со всеми чудовищными физиологическими подробностями его предсмертных мучений. Когда рассказчик закончил, один из товарищей Алешина, тоже офицер, страшно побледнев, сказал: «Этого не может быть!»

Даже люди, прошедшие сквозь мясорубку Гражданской войны в Сибири, не раз видевшие смерть и убивавшие сами, не могли поверить, что такое возможно. Сожжение человека на костре вызывало в памяти разве что картинку в том параграфе гимназического учебника, где говорилось об ужасах инквизиции. Тем более казалось невероятным, что в роли Торквемады выступает не кто-нибудь, а современный культурный европеец, барон, белый генерал.

Монголы, несмотря на свое воинственное прошлое, едва ли не самый мирный из азиатских народов, свирепости Унгерна должны были, кажется, ужасаться еще сильнее. Но им отчасти было и проще принять ее как должное, когда некоторые ламы на востоке Монголии провозгласили барона воплощением Махагалы.

Это гневное шестирукое божество из разряда дхармапала (по-тибетски «срунма» или «докшит», по-монгольски «шагиусан»), хранитель веры, устрашающий и беспощадный. Он изображался в диадеме из пяти черепов, с ожерельем из отрубленных голов, с палицей из человеческих костей в одной руке и с чашей из черепа - в другой. Побеждая злых духов, Махагала ест их мясо и пьет их кровь. Сам не способный достичь нирваны, он обречен вечно сражаться со всеми, кто препятствует распространению буддизма, причиняет зло ламам или мешает им совершать священные обряды.

Унгерн полностью подпадал под эту классификацию: борец за веру, получивший благословение чуть ли не от самого Далай-ламы, он объявил войну китайцам, которые посадили под арест «живого Будду», запретили богослужения в столичных монастырях и оскверняют храмы. При таком взгляде всякий, на кого обращался гнев барона, будь то дезертир, пьяница или тот же Чернов, становился врагом «желтой религии», мешающим ее торжеству <Унгерн прежде всего жесток был со своими и первое время безжалостно пресекал попытки грабить кочевников.>, а унгерновские палачи типа Сипайло и Бурдуковского - спутниками Махагалы. Как все дхармапала, он представлял собой симбиоз древнейшего культа мертвых и буддийской мифологии; его челядь - бесноватые кладбищенские демоны и демониссы, «жадные до крови и мяса», «покрытые пеплом погребальных костров» и «пятнами трупного жира». Не требовалось большого воображения, чтобы именно такими увидеть палачей и экзекуторов Азиатской дивизии, снимавших скальпы со своих жертв и забивавших им в уши раскаленные шомпола.

Разумеется, так Унгерна воспринимали не все и не всегда. Очевидно, воплощением Махагалы его признали не в Урге; это могло быть частной инициативой группы лам или какого-то мелкого монастыря, которому барон, как он часто делал, пожертвовал деньги. Тем не менее образ неумолимого шестирукого дхармапала вставал за ним, как и фигура северного спасителя. Само прозвище, полученное Унгерном от монголов - «пожирающий людоед»,

было, возможно, в числе ритуальных титулов Махагалы.

В свиту последнего ламаистские обрядники включают и животных соответствующего толка. Это шакалы, дикие собаки, лисы, грифы, совы - те, кто питается падалью. Невольно вспоминаются рассказы об усеянных человеческими костями сопках вокруг Даурии, где воют волки и одичавшие псы и где Унгерн по ночам проезжал на свидание со своим любимцем - филином. Здесь причудливо сближаются

два принципиально различных способа восприятия мира - архаическое сознание кочевника-буддиста и мировоззрение русского интеллигента начала века. Оба они демонизируют обыденное зло, чтобы подсознательно, может быть, защититься от неприкрытого ужаса жизни, который просто так, в грубой реальности, нормальному человеку принять и пережить невозможно.

НА ВЕРШИНАХ СВЯЩЕННОЙ ГОРЫ

Перед тем, как выступить в новый поход на столицу, Унгерн отдал строжайший приказ о полном запрещении употреблять спиртное. Это, как вспоминал Макеев, «заставило полковника Лихачева с частью офицеров справить поминки по алкоголю и выпить до положения риз». Легли под утро, а уже через пару часов ведено было седлаться и выступать. Лихачева с трудом разбудили. Качаясь в седле, он подъехал к своему Анненковскому полку, скомандовал: «Полк, за мной марш!» И «помчался как угорелый». Полк поскакал за командиром, потерял строй и беспорядочной кучей «нарвался» на Унгерна. Тот пришел в бешенство, приказав Лихачеву и всем офицерам спешиться и идти вслед за дивизией пешим порядком.

В реестре наказаний, предусмотренных за пьянство, это было еще относительно мягким. Осенью, наткнувшись в лагере на двух пьяных офицеров, Унгерн распорядился раздеть их догола, привязать к лошадям и на веревках перетащить через ледяную реку. Голые, не разводя костра, они всю октябрьскую ночь просидели на противоположном берегу, причем лагерные часовые каждый час устраивали им переключку. Это случай частный, но наказание, которому подвергся Лихачев, входило в систему узаконенных дисциплинарных мер и было позаимствовано Унгерном у монголов - так, например, поступал Максаржав со своими провинившимися цэриками. Но если в монгольской армии периода войны за независимость приказ идти пешком означал крайнюю степень позора, то в Азиатской дивизии, где были разрушены все прежние представления о чести и бесчестье, это символизировало достаточно высокий статус наказуемого. По утверждению Рибо, такая мера применялась Унгерном лишь к тем, кого он не позволял себе просто избить.

Макеев пишет: «Дорога была сплошной каменистый щебень». Офицеры Анненковского полка шагали по ней два перехода, в конце последнего Лихачев подошел к генералу Резухину и доложил: «Ваше превосходительство, я больше не могу, и если мне еще прикажут идти дальше пешком, я застрелюсь!» В итоге Унгерн отправил Лихачева в обоз, а его полк расформировал, слив с Татарским <Служили в нем, главным образом, не татары, а башкиры - около полутора сотен. Они пришли в Забайкалье вместе с каппелевцами и как «азиаты» отданы были под начало Унгерна.>

Дивизия приближалась к столице, когда на дороге показался скачущий навстречу одинокий всадник. Задержавшим его казакам он представился хорунжим Немчиновым и был отведен к Унгерну, которому признался, что подослан китайцами с заданием отравить его. «Делайте со мной что хотите, - заявил Немчинов, - но вот вам Цианистый калий и деньги, две тысячи, которые дали мне китайцы вперед...» Унгерн вернул ему деньги, приказав оставить их себе, а самому оставаться при штабе. Ампулу с ядом барон взял и с тех пор всегда носил ее в халате, чтобы покончить с собой при угрозе плена.

По словам Алешина, «с варварским великолепием, окруженный поклонением и славой», прошел Унгерн по всей Монголии и уже в декабре 1920 года расположился неподалеку от столицы, блокировав ее со стороны Калганского тракта. Лагерь разбили в районе Налайхинских угольных копей под склонами Богдо-ула.

В это время, согласно подсчетам Макеева, в дивизии было около тысячи человек, «включая интендантских, обозных и прочих мертвых бойцов», но монгольские отряды прибывали и позднее. Сам Унгерн, при широте стратегических замыслов никогда не знавший точную численность своих войск, на допросе говорил, что накануне штурма Урги у него было 1200 всадников. Кто-то увеличивал эту цифру еще на две-три сотни, иные доводили ее до двух тысяч, из которых русские составляли не более четверти, но в любом случае противник обладал громадным, чуть ли не десятикратным перевесом. Оборонявшая столицу регулярная китайская армия насчитывала 10-12 тысяч человек с пулеметами и артиллерией, а вместе с ополченцами общая численность гарнизона достигала 15 тысяч. Зато на стороне Унгерна были иные силы, не материальные, но могущественные.

Во времена Циней маньчжурский наместник Урги жил в Маймачене, но Чен И перенес свою резиденцию в одну из усадеб китайского квартала к востоку от площади Поклонений. Здесь, в центре города, он чувствовал себя в большей безопасности. По-европейски образованный человек, библиофил, подаривший городу прекрасную библиотеку на многих языках, знаток монгольской и китайской истории, одно время увлекавшийся археологическими раскопками, Чен И с его мягкостью, гуманностью и просветительскими планами пришелся не ко времени. В городе, который превратился в гибрид военного лагеря с тюрьмой, этот просвещенный администратор практически не имел власти. Правда, русские относились к нему с уважением и благодарностью, поскольку после первого штурма столицы Унгерном именно Чен И сумел предотвратить готовящийся погром, но этим, пожалуй, его деятельность и ограничилась. Против него интриговал Го Сунлин, армия подчинялась ему лишь формально, чиновники вели собственную политику, заигрывая с генералами. Кроме того, решительность Чен И подтачивали слухи о близком вторжении красных, о намерениях Москвы потребовать соблюдения прежних договоров между Китаем и Россией, а подкрепления из Пекина могли подойти не раньше весны. Там еще никто не воспринимал появление Унгерна как серьезную угрозу китайскому владычеству в Халхе. Но из Урги события виделись иначе, и, вероятно, только общим разбродом и растерянностью в верхах столичной администрации можно объяснить тот опрометчивый шаг, который Чен И предпринял в конце ноября, когда Унгерн стоял на Керулене: внезапно был арестован сам Богдо-гэген. Его отделили от свиты, изъяли из дворца и перевели в один из пустующих китайских домов на «Половинке» неподалеку от резиденции Чен И.

Цель этой святотатственной акции никто из живших в Урге европейцев просто не в силах был понять. Она представлялась абсолютно бессмысленной, более того - вредной для самих же китайцев. Наиболее правдоподобным казалось предположение, что Чен И вынужден был уступить нажиму генералов, решивших таким способом продемонстрировать свое могущество монголам, а заодно и собственным солдатам. Гибкость и дипломатичность Чен И разбились об упрямство Го Сунлина и Чу Лицзяна. Русские колонисты легко восстановили нехитрую логику их рассуждений: «Вот, мол, мы арестовали самого бога, и ничего, все в наших руках, и все с наших рук сходит». Считалось, что это сделано в назидание всем тем, кто выступает против китайских властей - уж если не поцеремонились с самим Богдо-гэгеном, по отношению к остальным подавно возможны любые репрессии. «А гарнизон, - замечает Першин, - должен был убедиться, что перед военной силой пасует даже божество».

Но, как и следовало ожидать, результат оказался прямо противоположным. Монголы были не столько напуганы, сколько потрясены и возмущены, зато китайских солдат охватил

суеверный страх. Им казалось, что арест «живого Будды» даром не пройдет, что такое неслыханное кощунство неотвратимо повлечет за собой возмездие. Все верили в неизбежность кары и ждали каких-то исключительных событий, но ничего не происходило: Унгерн, подойдя к столице, штурмовать ее не пытался и вообще активных действий не предпринимал. Он стоял около Налайхи, а Богдо-гэген спокойно сидел под арестом. Особых лишений он не испытывал. Из дворца ему носили даже шампанское, к которому последний ургинский хутухта питал всем в Монголии известную слабость.

Начиная с осени, он несколько раз пробовал вырваться из столицы под предлогом якобы заранее запланированных поездок в провинциальные монастыри, но всякий раз подобные планы решительно пресекались. Китайцам Богдо-гэген был нужен как заложник. Прибегнув к аресту, они, помимо прочего, надеялись оборвать его связи с ламством и мятежными князьями и совершили роковую ошибку: с божеством нельзя было обращаться как с человеком. Кажется, уж кто-кто, а китайцы должны были это понимать. Но понимали солдаты, огородники, парикмахеры, а поверхностно европеизированные чиновники и генералы, испытывавшие на себе мощь прагматичного Запада, повели себя с той западной прямолинейностью, от которой сами европейцы давно отказались. Подвергнув Будду физическому заточению, эти политики действовали с примитивным рационализмом самоуверенных и наивных неопитов просвещения, отрицающих всякую мистику, и не случайно Унгерн всегда приравнивал китайских республиканцев к русским большевикам: борьба с религией ставила их на одну доску, а корень зла в обоих случаях уходил в гнилую почву европейской культуры. Схема, разумеется, чересчур проста, но такой и должна быть концепция, побуждающая не к размышлению, а к действию. Тем не менее арест Богдо-гэгена показал, что новые хозяева Урги с их по английскому образцу пошитыми мундирами, французскими кепи и немецкими пушками, с их бильярдом как символом цивилизации были в этой стране, где почти триста

лет властвовали их предки, несравненно большими чужаками, чем Унгерн с его монгольским дэли и уверенностью, что свет - с Востока. Но в том-то и парадокс, что он при этом оставался истинным европейцем. Потребность сменить душу - западный синдром, кожу - восточный.

Отлично сознавая, какие выгоды сулит ему арест Богдо-гэгена, Унгерн решил не спешить со штурмом. Открытых столкновений он теперь избегал и начал типично азиатскую военную кампанию, планомерную, хотя внешне и бессистемную, при полном собственном бездействии заставляющую противника пребывать в постоянном напряжении.

Первым делом Унгерн выставил дозоры на Богдо-уле, а затем сосредоточил здесь часть туземных сотен. Отсюда велось наблюдение за всеми передвижениями китайских войск - сверху город виден был как на ладони, но гораздо более важным стал другой аспект занятой позиции: господствующая над Ургой стратегическая высота одновременно была одной из главных монгольских святынь.

Последний отрог Хентейской гряды, Богдо-ул, с юга возвышается над столицей и просматривается из любой ее точки. На склонах - около версты в высоту, верст восемьдесят в длину и примерно сотня в окружности, - в начале столетия тянулся густой заповедный лес, прорезанный ягодными полянами, ущельями и сбегаящими в Толу горными ручьями. Вдоль гребня растут кедры, пониже - лиственницы, сосны, ели. Подножье затянуто березовой чепорой, осинником. Нигде больше в Монголии восточнее, западнее и южнее Урги нет ничего подобного. Эта гора, поднявшаяся среди степи и голых каменистых сопок, представлялась чудом и почиталась как священная. «Который уже раз я вижу тебя и люблюсь тобой, - мысленно обращался к ней, в 1908 году подъезжая к Урге, Петр Кузьмич Козлов, суровый скиталец, в дневниках своих путешествий по Центральной Азии отнюдь не грешивший лирическими излияниями, - бесконечно долго смотрю на твою таинственную строгую красоту, на твой горделивый девственный наряд. Ты все прежняя - задумчивая,

молчаливая, прикрываешься сизой дымкой и двумя-тремя нежными тонко-перистыми облачками, стройно проносящимися над твоей могучей головой. Ламы ургинских монастырей свято охраняют твой чудный покров...»

Обойти Богдо-ул вокруг или даже объехать верхом значило искупить самые тяжкие грехи, а к вершинам люди поднимались для созерцания, уединенного размышления и молитвы. В лесу водились маралы, козули, кабаны, соболи, рыси, но всякую охоту здесь запретили еще во времена Ундур-гэгена, который считался вторым перерождением Джебцун-Дамба-хутухты и был современником Петра I. С тех же самых пор не звенел в этих лесах и топор лесоруба. По периметру священной горы специальная стража перекрывала входы во все восемьдесят ведущих к гребню гряды ущелий, пропуская лишь безоружных. Единственными постоянными обитателями Богдо-ула были монахи монастыря Маньчжури-хийд, выстроенного на южном, противоположном от города склоне, среди скал и каменных осыпей <Бодисатва Маньчжури, покровитель мудрости, изображался сжимающим в одной руке книгу, в другой - меч, дабы рассесть им мрак неведения и заблуждений.>. Во время осады Урги сюда не раз приезжал Унгерн, и, может быть, именно здешние ламы посоветовали ему в целях психологического давления на осажденных зажигать по ночам огонь на вершине восточной оконечности Богдо-ула. Как бы то ни было, костры там разводили из ночи в ночь в течение почти двух месяцев. «Эти горевшие на большой высоте, - вспоминал Першин, - гигантские костры ярко пламенели на темном фоне неба, и их зловещие отблески на снежном покрове священной горы панически настраивали китайских солдат, которые везде видели демонов и всякую нечисть».

На помощь Унгерну вновь пришла легенда: Богдо-ул был неотделим от имени Чингисхана. По одной легенде, юный Темучин скрывался здесь от врагов и позднее повелел приносить жертвы спасшему его духу горы, по другой - у подножия Богдо-ула и родился будущий властелин вселенной. Дважды в год при огромном стечении народа, в присутствии лам из всех столичных и многих провинциальных монастырей на вершине Богдо-ула совершались торжественные жертвоприношения с обязательным, по особым правилам разложенным, костром. Унгерн, видимо, рассчитывал, что ночные огни на вершине Богдо-ула будут вызывать определенные ассоциации, и не ошибся. «Этим кострам, - пишет Першин, - придавалось мистическое значение. Говорили, что барон там приносит жертвы духам, хозяевам горы, прося их, чтобы они наслали всякие беды на тех, кто оскорбил Богдо». Но возможно, и сам Чингисхан, чье второе пришествие ожидалось в это время, незримо стоял за спиной Унгерна, присутствуя во всех связанных с ним страхах и надеждах.

Одно несомненно: для монголов и китайцев Унгерн сумел слить себя со священной горой, стать если не олицетворением ее волшебной силы, то, во всяком случае, исполнителем ее воли. Обстреливать Богдо-ул китайские артиллеристы боялись, а генералы не смели настаивать.

Осадив столицу, Унгерн начинает тотальную психологическую войну и ведет ее с поразительным искусством. Просвещенный Чен И ничего не мог противопоставить варварским, но эффективным методам, с помощью которых барон воздействовал на боевой дух его солдат, и без того не слишком высокий. Еще в Маньчжурии он имел возможность наблюдать и за китайскими наемниками в отряде Семенова, и за регулярными подразделениями «гаминов», как называли монголы солдат республиканского Китая, знал их быт, привычки, видел все слабые пункты этого забитого бесправного воинства и мастерски играл на них в те два месяца, пока стоял под Ургой. В город засылались монголы-лазутчики - не столько для разведки, сколько для распространения нужных слухов. Соответствующую пропаганду вели и столичные ламы. Отчасти они были подкуплены, отчасти действовали по собственному разумению: запретив богослужения в храмах, китайцы сами же сделали ламство союзником Унгерна. Царившую в городе атмосферу всеобщего брожения красочно

рисует все тот же Першин: «Монголы рассказывали китайским купцам всякие небылицы про барона и казаков, собенно про башкир-мусульман, а купцы с прикрасами передавали солдатам. Многие солдаты были охотники до гаданий и обращались к ламам-гадателям, а те этим пользовались и запугивали их карами Богдо, который всемогущ...»

Важным элементом всей этой дезинформационной кампании были слухи о том, что Унгерн якобы нарочно медлит с приступом, ожидая подкреплений. Откуда и от кого он их ждет, никто не знал, поговаривали о Семенове, японцах, каппелевцах из Приморья, хунхузах, наконец, о будто бы движущемся к столице несметном монгольском ополчении. Время от времени такие известия опровергались китайским командованием, но Азиатская дивизия располагалась под городом так прочно, что мало кто верил этим опровержениям. Зародившись в китайских кварталах Маймачена и «Половинки», страх проникал в казармы, достигал полковых и дивизионных штабов. Все ждали каких-то знамений - провозвестников грядущих событий, и такое знамение последовало: в город, находившийся на военном, даже осадном положении, среди бела дня явился сам барон.

Першину рассказывали, что дело было так: «Однажды в яркий солнечный зимний день Унгерн в монгольском одеянии, как всегда, в красно-вишневом халате, в белой папахе, на своей быстроногой белой кобыле <Эту кобылу, с которой он никогда не расставался, ему еще в Забайкалье подарил Семенов.> средним аллюром спокойно проехал по главной дороге на Половинку, к дому, где проживал Чен И. Въехав во двор, барон не спеша слез с лошади, подозвал рукой одного из слуг, которые в качестве охраны постоянно находились во дворе, приказал ему за повод держать коня, а сам обошел вокруг дома, вернулся и, подтянув подпруги у седла, сел верхом и не торопясь выехал со двора. На обратном пути, проезжая мимо тюрьмы, он заметил часового, спавшего у ворот. Такое нарушение дисциплины возмутило барона. Он слез с коня, наградил спавшего часового несколькими ударами ташура, т. е. камышовым чернем плети. Спросонья часовой ничего не мог понять, а Унгерн - он знал немного по-китайски - пояснил ему, что на карауле спать нельзя и что за такое нарушение дисциплины он, барон Унгерн, самолично его наказал. Затем, так же не торопясь, он поехал дальше. Перепуганный, часовой поднял тревогу, но Унгерн был уже далеко...»

Понимая неправдоподобность случившегося, Першин счел нужным указать, что свидетелями, видевшими Унгерна и слышавшими, как тот поучал часового, были какие-то арестованные монголы, которые в это время находились во дворе тюрьмы. Эту сцену они наблюдали сквозь щели между палями тюремной ограды. Позднее, впрочем, находились и другие очевидцы.

Вся история напоминает легенду, но трезвый Першин ничуть не сомневался в ее достоверности. Он, правда, как и многие в Урге, не вполне понимал, для чего именно Унгерн решил нанести этот фантастический визит пекинскому наместнику. Ясно было, что не с разведывательными целями. Шпионов у него имелось более чем достаточно - практически все монгольское население столицы. Оставалось неясным, сознательно провел он эту акцию, чтобы явить свое превосходство и посеять панику, или она была просто лихой штукой, предпринятой по вдохновению, без какого-либо дальнего умысла. Но к точной расшифровке его побуждений никто и не стремился. Унгерн был фигурой настолько дикой, что не стоило труда гадать о мотивах такого рода поступков. У живших в Урге русских интеллигентов они должны были вызывать не восхищение его безрассудной отвагой, а скорее подавленность и ужас - не меньший, может быть, чем столь же иррациональная жестокость барона. И то и другое почти в равной степени заставляло ощутить зыбкость той почвы, в которую так надежно, казалось, вбиты опорные сваи современной цивилизации. Азиатская фантазмагория становилась реальностью, и за ней открывалась бездна, о существовании которой эти люди недавно еще не подозревали. Теперь они оказались у самого ее края.

Что касается китайцев, они восприняли поездку Унгерна как предвестие своего скорого

поражения. Ламы, естественно, истолковали ее как чудо. Все сходились на том, что без особого заговора от пуль барон не рискнул бы один отправиться во вражеский стан. Одновременно вспоминали о кострах на вершине Богдо-ула, о жертвах, приносимых им духу священной горы, который ему покровительствует. «Этот дух, - передает Першин ходившие по Урге слухи, - охранял барона и наслал затмение на всех, кто хотел или мог его задержать или убить».

Растерянность китайских генералов, офицеров и чиновников уже ни для кого в столице не составляла секрета. При огромном численном перевесе осажденные не предпринимали никаких попыток отогнать Унгерна, сам Го Сун-лин со своим трехтысячным кавалерийским корпусом ни разу не решился на вылазку. Изолированные посреди враждебной страны, китайцы, похоже, изначально чувствовали собственную обреченность, но особенно деморализирующее воздействие на гарнизон оказало похищение Богдо-гэгена. Это был финальный аккорд, в котором хозяева Урги услышали звон погребального гонга. После того как среди бела дня и тоже, казалось, не без вмешательства сверхъестественных сил опустел Зеленый дворец «живого Будды», мысль о дальнейшем сопротивлении покинула самых отважных.

СЛЕПОЙ БУДДА

К середине января 1921 года Чен И, видимо, сумел сломить упрямство своих генералов. Да и сами они успели убедиться в совершенной ошибке и не протестовали, когда Богдо-гэген был выпущен из-под ареста, продолжавшегося около полутора месяцев. Ему разрешили поселиться во дворце на берегу Толы, вернули часть свиты, но не свободу. Раньше дворцовая стража состояла из монгольских цэриков, теперь на смену им пришли китайские солдаты.

Человек, находившийся под их неусыпной охраной, для монголов был живым богом, владыкой духовным и светским - вращающим «колесо учения» ханом-праведником, подобным Хубилаю и Абатай-хану. В его отречение от престола или не верили, или считали этот акт вынужденным и незаконным. Но прежде всего для сотен тысяч ламаистов от Астрахани до Гималаев он был очередным перерождением великого подвижника Даранаты - Джебцун-Дамба-хутухты, который почти три столетия назад проповедовал учение Будды на севере Индии и в Тибете. С конца XVII века все, в ком воплощался его дух, становились ургинскими первосвященниками. Нынешний был восьмым по счету <Вообще-то, в самом Даранате возродился один из первых пятисот учеников Будды Шакья-Муни, живший тогда под именем Лодон-Иши, и по этому счету пленник Чен И был не восьмым, а двадцать третьим носителем духа Джебцун-Дамба. Из них последние восемь - исторические фигуры, остальные - легенда.>.

В Центральной Азии буддийская теория аватары всегда была частью не только духовной жизни, но и политики. В Китае опасались, что какой-нибудь из Богдо-гэгенов сумеет сплотить вокруг себя монголов, особенно в том случае, если им станет мальчик из знатной монгольской фамилии. Иностранец был предпочтительнее, и после смерти первого из ургинских первосвященников, проявлявшего опасную независимость, не то по специальному императорскому указу, не то по договоренности между Пекином и Лхассой было объявлено, что, согласно предсказаниям, отныне все перерожденцы Джебцун-Дамба должны появляться на свет за пределами Монголии, в Тибете.

Восьмой Богдо-гэген тоже был тибетцем. Его настоящее имя хранилось в секрете, но по традиции он происходил из простой семьи. Рассказывали, что его отцом был невысокого ранга чиновник одного из ямыней, ведавшего провиантом. Сразу по смерти прежнего, седьмого хутухты, который неожиданно умер девятнадцатилетним юношей в 1869 году, тибетские ламы, как обычно, путем гаданий определили двенадцать кандидатов, один из

которых должен был занять место покойного. Это были мальчики в возрасте до трех лет. Их привезли в Лхассу, где при дальнейшем освидетельствовании девятерых отстранили как обладающих меньшими признаками физического существа Будды. Судьбу оставшихся троих решил жребий. В Потале, в присутствии Далай-ламы и Панчен-ламы, три бумажки с именами претендентов опустили в священную золотую урну - сэрум, затем после богослужений и магических церемоний вынули одну. Мальчик, чье имя значилось на ней, с этой минуты стал воплощением духа Джебцун-Дамба, другие два - его тела и слова. Их отправили в посвященные Даранате монастыри, а восьмой Богдо-гэген в 1875 году пятилетним ребенком был привезен в Монголию. За ним прибыло пышное посольство - по двести человек от каждого из четырех аймаков Халхи, в пути процессию сопровождали маньчжурские и тибетские войска. Ургинские ламы выходили встречать ее на расстояние десяти ночевок от столицы.

В желтом паланкине мальчик торжественно въехал в Ургу и с тех пор был окружен всеобщим поклонением. Впрочем, на людях, в городе, он почти не показывался, официальных приемов во дворце пекинского наместника тоже не посещал. О том, что происходит за стенами трех его резиденций, иностранцы ничего не знали.

Слухов ходило множество, но, по словам русского путешественника Позднеева, оценить их достоверность было столь же трудно, как «проверить действительность жизни гаремов персидского шаха».

Вплоть до 1911 года, когда Богдо-гэген был возведен на престол, простые монголы имели возможность видеть его лишь дважды в году - во время Цама и на празднике в честь Майдари. Вся жизнь этого человека была подчинена сложным ритуалам, продолжавшимся и после его смерти «По смерти Богдо-гэгена, - писал Позднеев, - тело его бальзамируют. Операцию эту производят обыкновенно ламы месяца три или даже дольше. Труп они не анатомируют, а, усадив в должную позу, натирают разного рода благовониями и спиртуозными жидкостями, потом обмазывают составом из соли и других веществ. В этом состоянии труп пребывает месяца два, пока совершенно не высохнет. Тогда от него отделяют соляной состав. Части тела, свободные от одежд, и лицо покрывают позолотой; поверх позолоты на лице разрисовывают брови, усы и губы, но глаза оставляют закрытыми. В этом виде труп Богдо-гэгена называется „шарил“, его салят в серебряный субурган и с торжественным богослужением ставят в храме».>. Ему воздавались божеские почести, но за фасадом придворного и храмового этикета шла жестокая борьба между различными группировками ламства, в которой он так или иначе участвовал. Члены враждующих партий умирали при загадочных обстоятельствах; рассказывали об отравленной одежде, обуви, пропитанных ядом поводьях, четках и страницах священных книг. По слухам, сам Богдо-гэген едва не был отравлен китайским врачом, действовавшим по приказу Пекина. Там сочли, что ургинский хутухта проявляет чрезмерную политическую активность.

После того как Халха стала независимой, ему пришлось бороться с князьями, которые хотели на монгольский престол возвести не его, тибетца по крови, а хана-чингизида. Но ламство приняло сторону своего первосвященника. Его главный соперник - тушету-хан Даши-Нима, прямой потомок Чингисхана, вынужден был отступить и все равно, даже признав поражение, умер от яда. Та же участь постигла и другого родовитого претендента на престол - дзасакту-хана Содном-Равдана. Из этой схватки Богдо-гэген вышел победителем и тут же вступил в новую, разгоревшуюся по вопросу о престолонаследии. В принципе, единственным законным преемником монарха-Будды мог стать лишь ребенок, избранный в результате той процедуры, которая сделала Богдо-гэгеном его самого. Но князья не желали видеть на престоле случайного иностранца. Объявить же, что новый перерожденец Джебцун-Дамба должен появиться не в Тибете, а в Халхе и принадлежать к роду одного из ханов-чингизидов, значило пойти на конфликт с высшим ламством, тесно связанным с

Лхассой. Проблема казалась неразрешимой, но Богдо-гэгэн и здесь нашел неожиданный выход: было провозглашено, что, согласно древним пророческим ствам, его теперешнее воплощение является последним, девятого не будет. Это был компромисс между ламством и княжеской партией, и в результате выиграл сам Богдо-гэгэн: ему позволили официально жениться на женщине, с которой он давно втайне сошелся и имел от нее сына. По одним сведениям, его жена Дондогдулам была дочерью цецен-хана, по другим, более вероятным, происходила из незнатной семьи, но теперь ее признали воплощением Эхе-Дагини - буддийского женского божества. Теперь на аудиенциях она восседала на троне рядом с мужем и, как и он, благословляла подданных, касаясь их голов приспущенной на пальцы перчаткой, дабы избежать физического соприкосновения <Прежние Богдо-гэгены тоже имели связи с женщинами, что духовенству строжайше запрещалось. Но в народном сознании это вопиющее нарушение закона трактовалось не как преступление, а как подвиг: якобы «живой Будда» вступал в связь только с такими женщинами, в ком прозревал мангыса - злого духа; - плотское сожителство с ними на самом деле было титанической борьбой со злом.>. Правда, вопрос о том, станет ли наследником Богдо-гэгэна его сын от нее, оставался открытым, подобно многим другим вопросам дальнейшего существования этой причудливой теократической монархии. В точности воспроизвести модель империи Хубилая в двадцатом столетии оказалось не так-то просто. Новое здание пришлось возводить из подручного материала, его пышные формы на изменившемся фоне казались ненатуральными, и сама конструкция вызывала ощущение недолговечности.

Человек энергичный, прозорливый, хитрый, последний ургинский хутухта одновременно страдал пристрастием к алкоголю. Это дало Свену Гедину основания назвать его «позором богов и людей». Через четыре года после падения Романовых в подвалах его дворца еще сохранялись запасы шампанского, некогда привезенного из Петербурга. Многие полагали, что именно пьянство привело его к слепоте. Храм Мижид Жанрайсиг с гигантской статуей Авалоки-тешвары - исцелителя слепых, был воздвигнут для того, чтобы к Богдо-гэгэну вернулось зрение. Но он продолжал слепнуть и уже почти незрячим выдержал опаснейшую борьбу с теми из своих приближенных, кто решил устранить из жизни ослепшего бога.

Богдо-гэгэн не раз проявлял себя мастером дворцовой интриги. Тут он чувствовал себя уверенно, хотя широким политическим кругозором не обладал, в дела правительственных учреждений вмешивался редко и не имел в них большого веса. Последнее не было секретом для Унгерна. Он трезво оценивал этого человека, разграничивая в нем знак и сущность, государственного деятеля и главу религиозного клана. Его роль в управлении страной барон охарактеризовал как «ничтожную», но признал, что «своих он здорово держит в повиновении».

Богдо-гэгэн был фигурой изначально двойственной. Эту раздвоенность он нес в самом себе, будучи «живым богом» и человеком, затем - богом и монархом, который стоял на границе двух исторических эпох и двух культур - западной и восточной, в свою очередь разделенной на ламаистскую, монголо-тибетскую и китайскую, с ее совершенно иными ценностями. Причастность к сокровенным тайнам буддийской тантры уживалась в нем с варварски-наивным интересом к чудесам современной цивилизации. Одно время он разъезжал по столице в подаренном ему русским консулом автомобиле, предпочитая его ритуальному паланкину, любил артиллерийскую пальбу, коллекционировал граммофоны и европейские музыкальные инструменты. При этом ему не чужда была, видимо, и восточная эротика, на что обратил внимание знаменитый путешественник Гомбожаб Цыбиков, бурят, первым из российских подданных побывавший в Лхассе с научными целями. В 1927 году он посетил дворец Богдо-гэгэна, к тому времени превращенный в музей, и среди экспонатов его поразили неприличные рисунки, принадлежавшие прежнему хозяину дворца. «Несколько сцен, когда мужчина имеет возбужденный член, - записывает Цыбиков в дневнике. - Есть

сцена совокупления. Все в китайском духе. Даже лошади и бараны, все отправляют половые акты». Еще больше «в этом отношении» удивило его супружеское ложе Богдо-гэгена, беззастенчиво выставленное новыми хозяевами Монголии на всеобщее обозрение: широкая двуспальная кровать под балдахин, на котором с внутренней стороны, вверху, имелось зеркало, и с четырьмя окружающими ее зеркальными стенами. Надо думать, в атеистической пропаганде тех лет эта «развратная» кровать «живого Будды» была не последним аргументом.

«Пьяный старик, слушающий банальные арии граммофона, пускающий ток в своих слуг с помощью динамо-машины, коварный ветхий слепец, отравляющий своих врагов», - такое впечатление составил о нем Оссендовский, которому протекция Унгерн и Джамбалона помогла попасть на прием к Богдо-гэгену. Однако эту нелюбимую характеристику Оссендовский завершает неожиданным выводом: «Он все же не вполне обычный человек».

Как бы Унгерн ни относился к нему лично, он, разумеется, понимал его значение как общенационального символа. С хутухтой в качестве заложника китайцы могли потребовать многое, зная, что ради него монголы всегда пойдут на уступки. Пока он оставался в Урге, полностью положиться на свои монгольские отряды Унгерн не мог. Обязательным условием штурма столицы стало похищение Богдо-гэгена. Идея принадлежала барону, он же вместе с Джамбалом разработал и план ее осуществления.

Прежде всего следовало подыскать человека, способного руководить операцией. При помощи монголов-лазутчиков такой человек был найден: им стал бурят Тубанов. Его знали в Урге как отчаянного парня с уголовными наклонностями, заядлого картежника, сына популярной в городе портнихи Тубанихи, шившей монгольское верхнее платье. Она, по словам Першина, пользовалась доброй репутацией, а сам Тубанов - «очень худой». Это был плотный коренастый парень с отталкивающей физиономией, волчьими глазами и «зубами лопатой» под толстыми негритянскими губами, вздутыми и ярко-красными. «Все в нем, - подытоживает Першин, - носило характер преступности и решительности, наглости и отваги».

Вероятно, в лагере Унгерн ему посоветовали опереться на «тубутов», как монголы называли тибетцев, чья многочисленная колония занимала отдельный квартал вблизи Захадры. Тибетцы в Урге жили замкнуто, в изоляции от прочих национальных групп. Занимались они торговлей, но в гораздо большей степени - ростовщицеством, что усиливало их обособленность. Очевидно, для вознаграждения участникам операции Унгерн выделил немалую сумму, но только ради денег они рисковать не стали бы. Это были, как пишет Першин, «фанатически настроенные ламаиты», которые во имя веры «могли совершать чудеса храбрости» и которые к тому же, «ненавидели китайцев как своих притеснителей и насильников над Далай-ламой». Помимо этих резонансов их «особенно воодушевляла мысль, что им предстоит совершить дело национального свойства, т. к. Богдо был их земляк». Все это позволяло надеяться на сохранение ими тайны.

Как технические исполнители «тубуты» также подходили лучше, чем кто бы то ни было. Почти не имевшие близких знакомств, тем более родственных связей за пределами своего квартала, связанные круговой порукой, они представляли собой идеальных заговорщиков. Из них Тубанов отобрал приблизительно шестьдесят человек самых отважных, сильных, умеющих владеть оружием и привыкших лазать по скалам у себя на родине. Последнее было особенно важно, поскольку похищенного «живого Будды» предстояло унести на Богдо-ул. Обособленность тибетцев позволила им, не привлекая ничьего внимания, заранее изучить все тропы на обращенном ко дворцу склоне священной горы. Пока они проводили рекогносцировку, Тубанов несколько раз пробирался к Унгерну за инструкциями и возвращался обратно в город. По-видимому, вместе с ним проникли в Ургу несколько человек из Тибетской сотни.

План операции разработали в мельчайших деталях. Все было готово, оставалось главное:

добиться, чтобы сам Богдо-гэген или, по крайней мере, наиболее близкие к нему ламы согласились бы на похищение. Каким образом удалось Унгерну заручиться таким согласием, никто не знал, но оно было получено. Между ставкой барона и резиденцией «живого Будды» поддерживалась тайная связь, и этой стороной дела ведал Джамбалон. Возможно, он сумел доказать пленному хутухте, что действует по поручению Далай-ламы. То обстоятельство, что именно тибетцы взяли на себя миссию освободителей, едва ли случайно: скорее всего, из Лхассы поступили на этот счет какие-то указания.

Но от Богдо-гэгена требовалось известное мужество, чтобы решиться на побег. Риск имелся, и значительный. Предприятие было задумано таким образом, что в случае провала он не мог свалить всю вину на похитителей, действовавших якобы без его ведома. Неудача грозила ему новым, гораздо более суровым заточением, а свитским ламам, участникам заговора, - тюрьмой и даже смертью. Страсти были накалены до предела, китайцы со дня на день ожидали штурма. Но остаться в стороне от набиравшего силу национального движения Богдо-гэген и его приближенные тоже не могли, это означало бы усиление княжеской партии и ослабление их собственных позиций. Вдобавок такому решению способствовали слухи о том, будто китайцы готовятся к отступлению и намерены увезти царственного пленника с собой.

Итак, предложение Унгерна было принято, хотя, на первый взгляд, замысел казался почти неосуществимым: надежная охрана и сама топография местности вокруг дворца практически исключали всякую возможность внезапного нападения.

От центра города к югу, через долину Толы шла прямая гатированная дорога. Примерно в полутора верстах от площади Поклонений она раздваивалась, упираясь в ворота двух из трех резиденций Богдо-гэгена - Зимней и Летней. Обе располагались над самым берегом реки на небольшом расстоянии друг от друга. Главной была первая. Она представляла собой комплекс храмов, беседок, павильонов, крошечных садиков и хозяйственных построек, обнесенных довольно высокой кирпичной стеной, перед которой со стороны Урги поднимались въездные, так называемые Святые ворота с многоярусными кровлями в китайском стиле. Вообще вся резиденция была распланирована в том же духе, что и Запретный императорский дворец в Пекине - по принципу перемежающихся дворов и двориков, но скромнее, разумеется, и миниатюрнее. Летом и здесь, и в соседней резиденции всюду стояли клетки и вольеры с животными. Как буддист, Богдо-гэген должен был покровительствовать четвероногим, прежде всего копытным, поскольку именно олени первыми внимали проповеди Будды Шакьямуни, но это формальное покровительство у него перешло в настоящую страсть. Между храмами и беседками возник целый зверинец. Здесь жили не только маралы и косули, но и обезьяны, медведи, орлы, грифы, породистые голуби и собаки, даже слон, подаренный «живому Будде» не то самим Николаем II, не то каким-то купцом из Красноярска.

В самом восточном из внутренних дворов стояло двухэтажное кирпичное здание русского типа. Его железная крыша была выкрашена в зеленый цвет, поэтому всю резиденцию называли Зеленым дворцом - в отличие от Желтого, расположенного в самом городе. В собственно Зеленом дворце размещались личные покои Богдо-гэгена, его библиотека и сокровищница. Последняя поражала иностранцев огромным и абсолютно бессистемным собранием раритетов из разных стран Европы и Азии. Наряду с прекрасной коллекцией изваяний буддийских бурханов Оссендовский видел здесь драгоценные шкатулки с корнями женьшеня, слитки золота и серебра, «чудотворные олени рога», десятифунтовую глыбу янтаря, китайские изделия из слоновой кости, наполненные жемчугом мешочки из золотых нитей, моржовые клыки с резьбой, индийские ткани, коралловые и нефритовые табакерки, необработанные алмазы, редкие меха необычной окраски <Среди них была белая, как та, что подарили Семенову монгольские князья, шкура выдры.> и, как заключает Оссендовский,

«массу других предметов, которые я не в состоянии описать». По одной из описей, составленных за полвека до посещения им сокровищницы Богдо-гэгена, только часов - карманных, настенных, настольных и напольных - тут значилось 974 штуки. Комнаты и переходы Зеленого дворца были тесно заставлены разнотильной мебелью, всюду висели картины, стояли фарфоровые вазы и сервизы, европейские музыкальные инструменты; вдоль стен тянулись витрины с безделушками, чучелами зверей, птиц, змей, так что внутри резиденция напоминала скорее богатый провинциальный музей, чем апартаменты монарха и первосвященника.

На этом сказочном острове посреди пустынной, нищей и дикой страны еще год назад обитали сотни лам всех школ и степеней - выходцы из Халхи и Внутренней Монголии, Тибета, Бурятии, Китая, множество работников и слуг, но теперь китайские власти значительно сократили их число. Монголам запрещено было здесь появляться. Обычно из окна Зеленого дворца свисала толстая красная веревка, сплетенная из конского волоса и верблюжьей шерсти. Она была протянута через двор до внешней ограды, откуда свешивалась вниз. Когда другой ее конец держал в руке Богдо-гэген, к ограде на коленях подползали паломники, чтобы за определенную плату прикоснуться к этой веревке и через нее вступить в физический контакт с «живым Буддой», получив тем самым его благословение и помощь в делах. Но сейчас веревку приказано было убрать, паломников не подпускали ко дворцу, да их, в общем-то, и не было. Численность охраны возросла до 350 солдат и офицеров. Караулы выставлялись круглосуточно по всему периметру стен. У ворот были установлены пулеметы, проведен телефон для связи со штабом.

Сам Зеленый дворец своим фасадом был обращен к югу, в сторону Толы. Сразу на другом берегу, за снежной гладью реки, вздымались кряжи Богдо-ула. Прямо напротив дворца лес расступался; тут проходила неглубокая падь, идущая от подножья до самой вершины. С трудом по ней можно было подняться вверх, к монастырю Маньчжушри-хийд, но на снеговом фоне любые передвижения не остались бы не замеченными, а приблизиться к реке под прикрытием деревьев мешали горные кручи. К тому же от резиденции отлично просматривалась вся плоскость замерзшей Толы. Всадникам здесь нечего было делать, а пешую вылазку китайцы отбили бы без особенных усилий.

С другой, городской, стороны простиралась голая и плоская прибрежная долина, открытая со всех направлений. На ней не было ни единого кустика, ни одного строения. Отсюда скрытно подобраться ко дворцу тем более не имелось ни малейшего шанса. Из Урги резиденция просматривалась как на ладони не только днем, но и ночью. В ясные морозные ночи каждая тень выделялась на всем пространстве между городом и Зеленым дворцом, одиноко темневшим посреди заснеженной равнины. При таких условиях выкрасть Богдо-гэгена казалось делом безнадежным, и китайцы чувствовали себя спокойно.

О том, как именно произошло похищение, ходили самые невероятные слухи. По замечанию Першина, «некоторые рассказываемые подробности больше напоминали сказку». Понятно, монголы и китайцы объясняли дело вмешательством сверхъестественных сил или, может быть, ссылались на пример тибетских отшельников, способных делать свое тело невидимым. Но и русские тоже пребывали в растерянности. «Помилуйте, - говорили в городе, - ведь на виду всей Урги в богдойский дворец среди бела дня проникли похитители, обезоружили, а где надо и перебили охрану, забрали Богдо и унесли... Ну, скажите, не чудо ли? Отвод глаз, что ли, случился или что-нибудь в этом роде?» Даже есаул Макеев, участник похода, описывал похищение вполне в легендарных тонах: «Тибетцы лихим налетом, с дикими криками напали на тысячную охрану, и пока китайцы в панике метались по дворцу, дикие всадники ворвались в последний, нашли там живого бога, вытащили его наружу, положили через седло и ускакали». Позднее версию о «лихом налете» Тибетской сотни излагали многие. С легкой руки Макеева она стала общепринятой, хотя конный отряд не мог

ни спуститься ко дворцу с Богдо-ула, ни подъехать незаметно со стороны Урги. На самом деле для исполнения задуманного потребовалась не только храбрость, но и немалая фантазия.

Случайным свидетелем похищения стал опять же Першин. Около четырех часов дня 31 января 1921 года он стоял у окна своей квартиры и смотрел в бинокль на Богдо-ул. Вид на гору отсюда открывался отличный, поскольку здание Русско-Монгольского банка, чьим директором был Першин, стояло на высокой береговой террасе Толы. Как раз в эти дни Унгерн распустил слух, что ожидаемые им подкрепления наконец подошли, и Першин пытался различить приметы готовящегося штурма. Внезапно в поле обзора попали какие-то движущиеся черные точки на склоне. Они видны были на снеговых прогалах, где нет леса. Поначалу встревожившись, Першин решил, что это всего лишь охранники-монголы. Даже в дни осады они - больше, правда, теперь для проформы - обходили дозором священную гору. Однако вскоре послышались выстрелы.

Позднее, расспрашивая очевидцев и участников похищения, Першин выяснил все детали. Оказалось, что еще с ночи группа «тубутов», состоявшая, видимо, из людей Тубанова и спешенных всадников Тибетской сотни, укрылась в лесу на Богдо-уле. Другая группа заговорщиков, переодетых ламами, но с карабинами под одеждой, в назначенный час беспрепятственно проникла в резиденцию через Святые ворота. У караула они не вызвали никаких подозрений. Свитские ламы были предупреждены, заранее вооружились и ждали похитителей. По условному знаку им предстояло наброситься на часовых внутренней стражи. Это было сделано без единого выстрела: их обезоружили и связали. Тем временем вошедшие разделились. Одни заняли оборону возле дворца, другие вбежали вовнутрь, где находились Богдо-гэгэн с женой, уже готовые к побегу - «тепло одетые». Их подхватили и понесли к берегу. Но несколько человек остались во дворце, чтобы прикрыть отход.

Едва похитители, таща на себе Богдо-гэгена и Эхе-Дагиню, она же - Дон-догдулам, появились на льду Толы, тибетцы, прятавшиеся за деревьями, образовали живую цепочку от подножия до вершины Богдо-ула (этот маневр и наблюдал в бинокль Першин). Одновременно оставшиеся во дворце открыли огонь по наружной охране. От неожиданности нападения китайцы бежали. Но чтобы наверняка помешать возможной погоне, с десяток тибетцев заперлись во дворце, из окон взяв под прицел берег реки. Они завязали перестрелку с оправившимся от первого испуга караулом, а их товарищи, передавая драгоценную ношу с рук на руки, с удивительной быстротой и ловкостью по цепочке подняли Богдо-гэгена с женой - бога и богиню - на вершину и унесли в монастырь Маньчжушри-хийд на противоположном склоне. Преследовать их китайцы не посмели. Солдатами овладел суеверный ужас. Они были настолько потрясены случившимся, что в суматохе защитникам дворца тоже удалось бежать. Отстреливаясь, тибетцы ближе к вечеру отступили к так называемому Западному храму, верстах в двух от резиденции Богдо-гэгена. «Там они, - завершает свой рассказ Першин, - и засели, причем так крепко, что сумели продержаться в этом укрытии более трех суток, пока китайцы не ушли из Урги».

Унгерн ждал известий от Тубанова, находясь на Богдо-уле, но не там, где развернулись главные события дня, а восточное. Внизу, верстах в четырех, видна была Урга, он смотрел на нее с высоты, и в этот момент, если верить картинному описанию Макеева, подсказавший «на взмыленном коне» тибетец подал ему записку от Тубанова. В ней была всего одна фраза: «Я выхватил Богдо-гэгена из дворца и унес на Богдо-ул» <После взятия столицы Тубанов на несколько недель стал чуть ли не национальным героем. Он получил чин хорунжего, остался служить в Азиатской дивизии и спустя четыре месяца, при наступлении в Забайкалье, возглавил сотню, действовавшую вне основных сил. Это означало полное доверие Унгерна. Авантюрист уголовного склада, Тубанов таким и остался. Его последний поход, по замечанию Першина, «вылился в ряд не поддающихся описанию насилий». Позднее он скрывался в Урге, в 1922 году был схвачен и расстрелян несмотря на личное заступничество

Богдо-гэгена.>. По словам Макеева, «барон загорелся от радости и крикнул: „Теперь Урга наша!“ Лагерь находился неподалеку, скоро известие обошло все части. По горе покатилося: „Ура-а!“

ШТУРМ

В Азиатской дивизии все с нетерпением ждали приступа. Урга была рядом, в течение нескольких недель казаки разглядывали с горы этот фантастический город с ярко раскрашенными или золочеными крышами дворцов и храмов, казавшийся оазисом изобилия среди пустынных заснеженных степей. Так аркебузиры Кортеса смотрели на столицу ацтеков, крестоносцы - на встающие из моря стены Константинополя, а бойцы Фрунзе - на угадываемые за гнилыми водами Сиваша вожделенные, тонущие в несправедной роскоши, города Крыма.

Ходили слухи, что Унгерн обещал войскам на три дня, как при Чингисхане, отдать город на разграбление, под страхом смерти запретив при этом переступить порог храмов. Но даже если официально такое обещание и не было дано, все равно для голодных, оборванных, замерзающих людей победа стала единственным шансом на спасение. Идти было некуда: на севере стояли красные, в Маньчжурию не пропустили бы китайцы. Да и тысяча с лишним верст до китайской границы оставляла мало надежд по морозу добраться туда живыми и еще сохранить боеспособность, чтобы сквозь пограничные заслоны генерала Чжан Кунью уйти в глубь Китая. Жизнь была только в Урге, вне ее - гибель. Сам Унгерн, после взятия столицы разговаривая с кем-то из русских колонистов, назвал себя «воскресшим из мертвых». Это не преувеличение: он, как и многие его соратники, готовился к смерти. При неудаче монголы могли разбежаться, а без их поддержки голод превратился бы в грозного союзника китайских генералов. Последнее время в полках не осталось ни крошки муки, питались лишь мясом. При отсутствии всего остального суточный паек составлял четыре фунта на человека. Запасы соли тоже подошли к концу. Остатки разделили и выдали каждому на руки. Выгоднее считалось посолить не мясо, а воду, в которой мочили куски баранины и конины, сваренные в пресной воде. При таком рационе многие страдали выпадением прямой кишки. Многие гибли от холода, особенно старики и подростки, перед уходом из Забайкалья мобилизованные Унгерном по причине повального бегства призывных возрастов. Бывалые бойцы забрали у них все теплые вещи. Люди были одеты в невероятные лохмотья и, войдя в Ургу, поражали жителей столицы своей чудовищной живописностью. Обувь давно изнашивалась. Нужда заставила изобрести так называемый «вечный сапог»: ногу плотно обтягивали только что снятой, еще теплой овечьей или звериной шкурой, затем быстро сшивали ее. Застывая, шкура принимала форму ноги, сидела мертво и не снималась месяцами. Почти все были обморожены. Позднее в ургинском госпитале сотнями ампутировали пальцы рук и ног.

Но накануне штурма настроение в дивизии было приподнятым. Похищение Богдо-гэгена вселило веру в успех, и оно же повергло осажденный город в страх и отчаяние. Русские колонисты ожидали мести китайцев, грабежей и резни. Надеялись только на офицеров, которые должны были поддерживать дисциплину в собственных интересах. В доме Першина, примыкавшем к зданию банка, и в самом банке жило около двух десятков беженцев из России, среди них генерал, полковник и несколько младших офицеров - «публика тертая». Правда, из оружия были лишь револьверы, да и то не на всех. Остальные вооружились дубинками. Першинские постояльцы заперли и забаррикадировали дровами ворота, заложили на болты ставни и учредили во дворе круглосуточное дежурство. В такие же крепости превратилось большинство русских усадеб южного квартала и Консульского поселка. Хозяева прятали муку, мясо, сено. Колчаковские офицеры, поселившиеся у

Першина и в домах других ургинских старожилов, с радостью готовились встретить Унгерна, хотя почти ничего не знали о нем. Им было довольно того, что он - белый. Беженцы из Забайкалья лучше представляли себе этого человека, но, даже их сейчас гораздо сильнее страшила китайская солдатня. Все рассчитывали, что барон не станет медлить и воспользуется удобным моментом.

Пока русские ждали погромов, китайское командование лихорадочно обдумывало план действий. Божественный заложник был похищен, а вместе с ним исчезли последние слабые надежды на то, что удастся расколоть казацко-монгольскую коалицию. К тому же с помощью лазутчиков Унгерн добился своего: китайцы были уверены, что к нему подошли крупные подкрепления, что вот-вот он обложит город кольцом. Опасаясь оказаться в ловушке, решили начать отступление, но спор, по-видимому, разгорелся из-за того, по какому маршруту отступить. К утру 1 февраля давние распри между Го Сунлином и Чен И завершились окончательным разрывом. Генерал, как можно предположить, настаивал на немедленной эвакуации на восток, а наместник еще питал какие-то иллюзии относительно возможностей дальнейшей борьбы. Он тоже соглашался с необходимостью покинуть столицу, но лишь для того, чтобы спасти армию, вывести ее из западни, которая, как ему казалось, может захлопнуться в любую минуту. Генерал Чу Лицзян принял сторону Чен И. В итоге Го Сунлин сел в автомобиль и под конвоем своих всадников по Калганскому тракту умчался в Китай. За ним последовала лучшая часть гарнизона - его трехтысячный кавалерийский корпус. С отборной китайской конницей Унгерн предпочел не связываться, пропустив ее без единого выстрела.

В первых числах февраля китайцы и монголы отмечают Цаган-Сар - Новый Год по лунному календарю. Обычно в эти дни по всей Урге шла оживленная предпраздничная торговля, люди закупали припасы к столу, не жалея денег, «ставя ребром последний грош», но сейчас вместо веселой сутолоки царило зловещее безлюдье. Магазины и лавки были закрыты. Ламы затаились в монастырях, горожане сидели по домам. Запрет на богослужение не был снят, в канун праздника все пятьсот храмов столицы по-прежнему безмолвствовали. Хотя большая часть армии оставалась в городе, никто даже не пытался организовать оборону. Солдаты, всегда наводнявшие центральные улицы, куда-то пропали. К вечеру в Урге наступила удивительная тишина.

В предыдущую ночь, обманывая китайцев, Унгерн применил старую, как мир, военную хитрость: дабы внушить противнику, что его силы многократно возросли, он приказал разложить костры из расчета один на троих человек. Теперь этот маневр был повторен. Склоны Богдо-ула вновь осветились множеством огней. В темноте над вершинами священной горы поднялось, наводя ужас на осажденных, сплошное огненное зарево.

Волков, невысоко ценивший военные таланты Унгерна, писал, что предпринятые осенью первые две неудачных попытки штурмовать Ургу прошли под личным руководством барона и по его диспозиции, но план третьего, успешного, наступления был «разработан единственным в истории отряда совещанием командиров отдельных частей».

Совещание состоялось после похищения Богдо-гэгена или на следующее утро. В нем, не считая монгольских князей, должны были участвовать начальник штаба дивизии Ивановский, возглавлявший бурятскую конницу Джамбалон, полковники Лихачев и Хоботов, войсковые старшины Архипов и Тапхаев, подполковник Вольфович и еще какие-то офицеры, в данный момент пользовавшиеся расположением Унгерна. Некоторым из них он сам дал краткие характеристики на допросах и в беседах с Оссендовским. О Хоботове, например, было сказано: «Храбрый, но мнит о себе». О Вольфовиче: «Храбрый, но жесток, как черт». О Тапхаеве: «Храбрый, но изменил мне». В первой половине все эти аттестации однообразно справедливы - командиры унгерновских полков (по численности это скорее сотни) были головорезы, рубаки и пьяницы. Особняком среди них стоял генерал-майор семеновского

производства Борис Резухин - старый, еще довоенный приятель Унгерна, второй человек в дивизии. Он был безгранично предан своему начальнику, во всем подражал ему и ради него шел на все. По словам Рибо, Резухин был «бледной копией барона». То, что в оригинале восхищало и ужасало, в Резухине повторялось как бы механически, производя несравненно меньший эффект: его боялись, но перед ним не трепетали. «Резухин мог сделать, что ему прикажут, - говорил Унгерн. - Он только послушный...» Однако сейчас именно на Резухина была возложена главная задача: ему предстояло совершить то, что тремя месяцами раньше не удалось самому барону - выбить китайцев из Маймачена.

На рассвете 2 февраля заранее сформированный отряд из двух башкирских сотен и немногих казаков повел наступление на Маймачен. Они шли в пешем строю, но поскольку в дивизии оставалось не более десяти патронов на винтовку, в случае их полного израсходования предполагалась и сабельная атака. Она и последовала после первой неудачи. Теперь башкиры двинулись с востока, нанося отвлекающий удар, а в это время Резухин через южные ворота ворвался в Маймачен. С ходу ему удалось пройти с полверсты, затем продвижение замедлилось. Ближе к центру и вовсе пришлось остановиться. На узких кривых улочках конная атака выдохлась, Резухин приказал спешиться и начал уличный бой.

Го Сунлин бежал, бросив свою пехоту на произвол судьбы, Чен И с другими генералами находился в Урге, в четырех верстах. Организовать и возглавить оборону было некому. Оставшиеся офицеры с несколькими десятками солдат укрепились в здании штаба и в смежных дворах. Они держали под пулеметным огнем прилегающие улицы, но никаких попыток вырваться из окружения не предпринимали, надеясь, видимо, что при заметной нехватке у противника патронов можно будет выдержать осаду, пока не подойдет помощь из Урги. Другие группы обороняющихся были рассредоточены по всему городу. Не ожидая пощады от заросших бородами свирепых победителей, дрались они отчаянно. Местные жители стреляли даже из луков. Когда Резухин пробивался к центральной площади Маймачена, с плоских крыш в казаков летели гранаты, камни и стрелы. Как в средневековье, последним прибежищем китайских солдат и ополченцев стали «кумирни», в том числе главный маймаченский храм, посвященный Гэсэру. Это древнее монголо-тибетское божество считалось покровителем ханьцев, живших в застойном Китае, и под защиту его собрались сотни людей. Но молитвы не помогли - ворота были взломаны. Унгерн с его суеверным уважением ко всем восточным культам приказал шадить столичные святыни любой религии, тем не менее в горячке боя этот приказ исполнялся не всегда. Все храмы были деревянные, казаки забрасывали их гранатами или поджигали. Помощь из Урги так и не пришла, зато башкиры вместе с монгольскими отрядами тоже вступили в Маймачен. Началась резня. Уже после полудня сумели, наконец, поджечь бывший штаб Го Сунлина, его защитники погибли в огне.

Чуть позже, а по другим сведениям - на следующий день, казачьи сотни Архипова, Хоботова и Парыгина ворвались на восточные окраины самой Урги и захватили тюрьму - большой неотопливаемый барак, набитый полуживыми от холода русскими колонистами и беженцами из России. Последние дни их не кормили и не разрешали разводить костры во дворе. Некоторые умерли, остальные ждали смерти. Намерение освободить этих несчастных, среди которых немало было колчаковских офицеров, Унгерн выставлял как одну из основных причин, заставивших его двинуть войска к столице Монголии. Макеев, например, по старой памяти называл столичную тюрьму «главной целью похода», тем самым еще раз доказывая, что большинство сподвижников барона понятия не имело об его истинных намерениях. Позднее многих выпущенных на свободу пленников - русских и монголов, - приводили к Унгерну, он с ними беседовал, наслаждаясь ролью освободителя, и сам определял их дальнейшую судьбу. При нем тюремный барак, символ насилия китайцев, пришел в запустение. Новые, гораздо более страшные застенки разместились в других домах. Это и

естественно. Трудно, скажем, представить, чтобы большевики решили использовать Петропавловскую крепость, а якобинцы Бастилию - по их прежнему назначению. Все подобные режимы с подсознательной чуткостью реагируют на символику власти.

Расположенный неподалеку от тюрьмы Консульский поселок унгерновцы заняли без больших усилий. Серьезное сопротивление встретили только в самом его начале, у оврага, где находилось русское кладбище, но и здесь бой продолжался недолго. «Первым домом, захваченным солдатами Унгерна, - вспоминал Волков, - был наш дом. бывшее консульство, и я до сих пор не могу забыть, как оборванные и полузамерзшие казаки, разбив прикладами окна, под пулеметным и ружейным огнем засевших во рву за домом китайцев ворвались в него...» На этом боевые действия прекратились, наступила ночь.

Рано утром 3 февраля Першина разбудил живший у него в квартире и дежуривший в эту ночь доктор Рибо-Рябухин: «Идите скорее! Китайцы отступают!» Все обитатели дома уже собрались во дворе. С высокого крыльца видно было, что «вся площадь напротив Да-хурэ и весь склон горы возле монастыря Гандан, и все пространство между этими двумя монастырями» усеяно отступающими в беспорядке «гаминами». Кто-то сбегал за биноклем, который начали передавать из рук в руки. Першин увидел: «Многие солдаты бежали без теплой одежды и обуви, без котомок. Люди, лошади, телеги - все было перемешано. Среди этого беспорядочного месива изредка виднелись обозы с оружием и провиантом». Армия выходила на Кяхтинский тракт и бесконечным потоком тянулась на север, к русской границе. Ближе к полудню толпы отступающих поредели, а затем и сошли на нет. Город вновь обезлюдел. В доме у Першина все с нетерпением ждали известий из Консульского поселка, но на улицу выходить боялись. Наконец около трех часов дня заметили группу всадников, неторопливо приближавшихся со стороны «Половинки». По коням и посадке видно было, что это казаки. Стоя у ворот, першинские постояльцы отсалютовали им дубинками.

Китайские войска уже пропали за гребнем горы, никто их не преследовал. В Урге опять воцарилась тишина. Сам Унгерн с большей частью дивизии находился в Маймачене. Здесь победителям достались громадные трофеи - до полутора десятков орудий, свыше четырех тысяч винтовок разных систем, пулеметы, склады с экипировкой, фуражом, продовольствием. Муки, правда, было немного, да и то гороховая. Не оправдались и надежды, что удастся пополнить запас патронов. Снарядов тоже почти не взяли.

За судьбу захваченного оружия можно было не беспокоиться, но вызвала тревогу сохранность кладовых двух размещенных в Маймачене банков - Китайского и Пограничного. Сразу после взятия города казаки устремились именно к ним. Проводники нашлись быстро, часть ценностей растащили, и весь день 3 февраля Унгерн, видимо, наводил порядок на этом важнейшем участке. В плену он говорил, что захватил здесь на 200 тысяч рублей серебра, но наверняка цифра сильно преуменьшена. Поговаривали, что в подвалах обоих банков хранилось и золото, которое разворовать не успели.

Но в день, когда китайцы покинули столицу, там еще не знали никаких подробностей о взятии Маймачена. В Урге было тихо. Правда, теперь погромов ждали китайские купцы и просили о заступничестве русских, которые несколько дней назад обращались к ним с аналогичными просьбами. Многие ремесленники и служащие торговых фирм предпочли уйти вместе с отступающими войсками или, по крайней мере, эвакуировать семьи. Одному из них, своему доброму знакомому, Першин даже отдал лошадь с телегой. Старожилы русских кварталов радовались, конечно, что дело обошлось без эксцессов, но особого энтузиазма не проявляли. Напротив, недавним беженцам из России терять было нечего, реквизиций они не боялись и с восторгом готовились встретить русского генерала. Его чудесное появление здесь, на краю света, казалось предвестием каких-то счастливых перемен. Для монголов победа Унгерна была их собственной победой, и уже через несколько часов после ухода китайцев город ожил, к монастырям потянулись сотни людей в праздничных одеждах.

Вечером в Цогчине началось торжественное богослужение с множеством лам. Изгнание ненавистных «гаминов» совпало с кануном Нового Года, в чем видели не случайность, а знак судьбы. «Перед заходом солнца, - пишет Першин, - из монастырских храмов Да-хурэ послышались густые звуки гигантских богослужебных труб, но теперь эти аккорды не нагоняли уныние, а возвещали о радости и торжестве жизни. После двухмесячного вынужденного молчания трели „башкуров“ - храмовых кларнетов, в морозном воздухе звучали громко и победно».

Наутро «бичачи» писари государственных учреждений - уже шли через площадь Поклонений к своим ямыням. В Урге было относительно спокойно, пока под вечер 4 февраля под Захадыром не взвились клубы дыма. К горящему базару, сплошь застроенному деревянными лавками, амбарами и складами, повалил народ, начались грабежи. К счастью, ветра не было. Огонь, грозивший перекинуться на центральные кварталы и храмы Да-хурэ, удалось потушить до темноты. Но еще раньше на пожар примчался из Маймачена сам Унгерн. Это было его первое, если не считать полумифической поездки к дому Чен И, посещение столицы, а теперь ее обитателям стало окончательно ясно, с кем они будут иметь дело. По дороге барону попались на глаза две монголки, тащившие какую-то ткань из разграбленной китайской лавки. Тут же он распорядился их повесить и не снимать трупы в течение нескольких дней. Неделю спустя несчастные воровки, обмотанные украденной материей - свидетельством их преступления - еще висели на полуобгоревших столбах базарных ворот. Первый приезд Унгерна в Ургу ознаменовался первой в ее трехсотлетней истории публичной казнью.

«ДАЖЕ НА СЕМЯ НЕ ДОЛЖНО ОСТАТЬСЯ НИ МУЖЧИН, НИ ЖЕНЩИН...»

«Ваше превосходительство, - в мае 1921 года писал Унгерн генералу Молчанову, находившемуся тогда во Владивостоке, - с восторгом и глубоким удивлением следил я за Вашей деятельностью и всегда вполне сочувствовал и сочувствую Вашей идеологии в вопросе о страшном зле, каковым является еврейство, этот разлагающий мировой паразит. Вы вспомните беседу, которую вели мы с Вами под дождем, касаясь очень близко этого важного предмета...»

Эта беседа - горячая, надо думать, если продолжалась «под дождем», могла состояться годом раньше, в Даурии. Правда, Унгерн и каппелевский генерал Молчанов единомышленниками не были. Последний ликвидировал даурскую тюрьму, выпустив на свободу всех заключенных, и он же, по-видимому, начал собирать материалы для предания Унгерна военному суду. Лишь в одном сходились оба - в убеждении, что главными виновниками революции являются «горбатые носы», «юркие», «избранное племя» и т. д. За примерами не нужно далеко ходить: во главе Дальне-Восточной республики стояли два еврея - Шумяцкий и Краснощеков, а общая национальная ответственность за грех каждого своего представителя издавна связывала и спланивала все еврейство. Это древнее проклятье оказалось неснимаемым, и недаром еще в 1918 году посланцы волынского и подольского раввина умоляли Троцкого отойти от дел, ибо отвечать за него придется всем соплеменникам. Насилие над евреем перестало считаться преступлением, превратилось в простейший способ поразить таинственное мировое зло в любом месте и элементарными средствами.

Впрочем, на государственном уровне антиеврейские настроения удерживались в рамках законности, и Колчак, например, отменил распоряжение о том, что евреи как потенциальные шпионы подлежат выселению из 100-верстной прифронтной полосы. Что бы ни говорилось и ни писалось тогда о Троцком-Бронштейне и Стеклове-Нахамкесе, какие бы выходы ни позволяли себе пьяные офицеры, факт остается фактом: в Сибири при белых практически не

было еврейских погромов за все три года Гражданской войны. В семеновской Чите существовало Еврейское общество, в театре шли спектакли на идиш. Еще в начале столетия в Забайкальском казачьем войске числилось около четырехсот «казаков иудейского вероисповедания». Из них Семенов сформировал отдельную Еврейскую роту, за что спустя двадцать лет выходящий в Эрфурте на восьми языках журнал «Мировая служба» даже обвинял атамана в «иудомасонстве». Вообще, в Сибири многие евреи служили в Белой Армии, занимали видные, вплоть до министерских, посты в омской и читинской администрации. Такое положение вещей Унгерн считал совершенно нетерпимым.

«В настоящее время, - писал он Молчанову, - Вам удастся осуществить свой план действий в отношении евреев, от которых даже на себя не должно остаться ни мужчин, ни женщин...» Но очень сомнительно, чтобы Молчанов мог вынашивать подобные планы. Официально ни один из белых генералов никогда не выдвигал лозунга тотальной борьбы с еврейством. Унгерн - единственное исключение. Для него евреи были не только виновниками революции, но и движущей силой той, как он говорил, «всеобщей нивелировки», которая погубила Запад, и противопоставить которой можно лишь религию, культуру, сам дух «желтой расы». Монголы и евреи казались Унгерну крайними антиподами, носителями полярного мировоззрения.

Жившие в Урге русские если сами и не видали еврейских погромов, то, по крайней мере, знали, что такое бывает. Но когда в ночь на 5 февраля, после пожара на Захадыре, начались грабежи еврейских домов, а затем и зверские убийства евреев, для монголов смысл происходящего был совершенно недоступен. Даже монгольские князья, не говоря уж о простых кочевниках, понятия не имели, что Унгерн видит в них последнюю надежду «испорченного Западом человечества». Им и в голову не приходило считать евреев, которых они не очень-то отличали от других европейцев, эманацией мирового зла и опаснейшими врагами «желтой расы». Монголы попросту не в состоянии были понять, почему «цаган орос» «белые русские» убивают «хара орос» «черных русских», хотя они всегда мирно жили и торговали бок о бок. Объяснение, что это «жиды-коммунисты», которые хотят отобрать у кочевников «их главное богатство - табуны и стада», мало кого удовлетворяло. Да и кто мог всерьез поверить, будто такие замыслы лелеял, например, добрейший хозяин пекарни Мошкович? После того как он был убит, монгольские знакомые Волкова настойчиво пытались выяснить, «что плохого сделал этот всем известный, всеми любимый старик». Кое-кто из русских, вероятно, успокаивал свою совесть тем, что все евреи - потенциальные большевики. Монголы такого утешения были лишены.

Веками воспитываемые в духе буддийской ахимсы, потомки воинов Чингисхана давно превратились едва ли не в самый миролюбивый из азиатских народов. В Монголии даже преступников приговаривали к смерти лишь в исключительных случаях, а теперь людей убивали прямо на улицах. Рассказывали, что, когда одна молодая еврейка, спасаясь от насилия, бритвой только что убитого мужа перерезала себе горло, ее тело, за ноги привязанное веревкой к седлу, протащили по всему городу и выбросили на свалку.

Но верность и преданность монголов Унгерн ценил справедливо. В одной еврейской семье, поголовно вырезанной казаками, нянька-монголка успела схватить младенца, побежала с ним в церковь при бывшем русском консульстве и упросила священника тут же его крестить. Вломившимся следом казакам было сказано, что ребенок уже христианин, тогда они в ярости зарубили его спасительницу.

Еврейские дома в Урге не были выделены в особый квартал наподобие тибетского. Евреи жили в зданиях русского типа, а они, если не считать Консульского поселка, были разбросаны по всему городу, вперемешку с юртами и фанзами. Разумеется, находились доносчики, тем не менее отыскать евреев оказалось не так-то легко. Все случившееся было для них полной неожиданностью, но с началом погрома некоторые еврейские семьи все же

успели покинуть свои дома. Не то одиннадцать, не то двадцать евреев - мужчин, женщин и детей - нашли убежище у прославленного Тогтохо-гуна. Наверняка, они обратились к нему сознательно и не ошиблись в выборе. Еще при жизни ставший национальным героем, этот суровый воитель всеми почитался за образец благородства и рыцарских добродетелей. От политики он давно отошел, большую часть года проводил в степи, но в столице у него был свой дом. В нем или в стоявших во дворе юртах и были спрятаны бежавшие к Тогтохо-гуну евреи.

Между тем об их исчезновении стало известно в штабе Унгерна. Начались поиски. Впрочем, сам барон в них участия не принимал. Единожды решив судьбу ургинских евреев, дальнейшее он передоверил полковнику Сипайло, исполнявшему при нем обязанности начальника контрразведки. Но, несмотря на все его старания, найти беглецов не удавалось, хотя ясно было, что они где-то в городе. Тогтохо-гун, его родичи и данники свято хранили тайну. Все дело погубил случай.

В то время в Урге жил богатый корейский эмигрант, доктор Ли. В городе его знали все, он был фигурой заметной - отчасти потому, что имел автомобиль. И многие знали, что недавно доктор Ли потерял умершую от тифа обожаемую трехлетнюю дочь. Может быть, слышали о ее смерти и укrywшиеся у Тогтохо-гуна евреи. Но они не подозревали, что эта маленькая мертвая корейка станет причиной их собственной гибели. В ирреальном мире тех месяцев сцепления человеческих судеб были непредсказуемы, кровавая фантазмагория становилась нормой жизни.

Когда Унгерн занял Ургу, Ли стал хлопотать о разрешении выехать в Китай, но получил отказ. То ли он был связан с тайными обществами, боровшимися за освобождение Кореи из-под власти Токио, и задержать его рекомендовали состоявшие при штабе барона японцы, то ли сам Унгерн не хотел выпускать на восток свидетеля ургинского погрома. Еще вероятнее, что Сипайло просто зарился на принадлежавший Ли автомобиль. Тогда он задумал бежать на этом автомобиле.

Неизвестно, каким образом о его намерениях узнали в доме Тогтохо-гуна, но укrywшиеся там евреи решили воспользоваться случаем, чтобы переслать письма своим родственникам и знакомым в Маньчжурии. О чем были эти письма, нетрудно догадаться. Скорее всего, в них содержались отчаянные просьбы обратиться за помощью к японцам, к западным консулам, к Семенову или другим белым генералам - словом, к любому, кто мог бы повлиять на Унгерна. Надежда вполне иллюзорная, но иных не оставалось. Правда, с технической стороны замысел вовсе не был таким безнадежным, как кажется на первый взгляд. По Калганскому тракту от Урги до китайской границы - около 600 верст, три дня пути на автомобиле. Обратную дорогу, пользуясь подменными лошадьми на «уртонах», гонец мог одолеть примерно за тот же срок. Если даже накинуть неделю на хлопоты в самой Маньчжурии, можно было надеяться, что за это время ничего непредвиденного не произойдет.

Неважно, за деньги или из сочувствия к несчастным, но Ли согласился взять письма. Все было готово к побегу, когда в последний момент о его планах кто-то донес. К нему пришли с арестом и во время обыска неожиданно обнаружили в шкафу мумифицированное детское тельце в маленькой ванночке. Оказалось, что Ли, не в силах расстаться с умершей дочерью, набальзамировал и сохранил ее тело. Обложенная засохшими цветами, девочка выглядела как живая. Изумление, охватившее всех, было прервано криком хозяина дома. На коленях умоляя не отнимать у него бесценную мумию, Ли во всем признался, отдал письма евреям и сказал, у кого они прячутся. Это его не спасло. Он был арестован и расстрелян, а перед Сипайло встала непростая задача: захватить евреев и в то же время повести себя достаточно корректно по отношению к Тогтохо-гуну. Его слава и влияние на монголов исключали возможность прямого насилия.

О том, что произошло дальше, рассказывали по-разному, но в целом картина

складывается приблизительно следующая.

Видимо, когда сам Сипайло или кто-то из его помощников явился к Тогтохо-гуну, тот поначалу все отрицал. Обыскивать дом не посмели. Чтобы получить доказательства пребывания там евреев, за домом установили тайное наблюдение. Вскоре доказательства были получены и предъявлены; Тогтохо-гун вынужден был признать, что действительно прячет у себя евреев, но выдать их отказался. В Монголии законы гостеприимства священны. Князь заявил, что принял этих людей под покровительство и отдать их на верную смерть - значит для него покрыть свое имя «несмываемым позором». При всей кажущейся театральности этих слов они, вероятно, именно так и прозвучали. Тогтохо-гун был порождением того мира, которым так восхищался Унгерн и основы которого им же самим и были подорваны.

Княжеский дом пользовался абсолютной неприкосновенностью, Сипайло вновь пришлось отступить. Но отныне всем стало понятно, что рано или поздно сопротивление Тогтохо-гуна будет сломлено. Евреи уже осознали свою обреченность. В этой ситуации Сипайло умело сыграл и на их подавленности, и на том естественном чувстве благодарности, которое они испытывали к своему спасителю.

В одну из ночей к его дому подъехала группа казаков, действовавших, как можно предположить, якобы не по приказу, а по собственной инициативе. Не то они вызвали князя на крыльцо, не то просто кричали под окнами, угрожая пристрелить его, если он не выдаст спрятанных «жидов». Вряд ли казаки решились бы исполнить эту угрозу. Похоже, что вся затея была не более чем ловкой провокацией, но расчет Сипайло оказался точен. Не выдержав, евреи сами вышли из дома, чтобы не увлечь за собой в могилу и Тогтохо-гуна.

Выходя на улицу, они готовились к немедленной смерти, но этого не произошло. К тому времени Унгерн вынужден был принять в расчет недовольство высших лам, чиновничества и самого Богдо-гэгена. Теперь евреев, уцелевших в первые дни погрома, не убивали на месте, а отводили в комендантство, где царил полковник Сипайло.

Сам Унгерн принадлежал к известному в XX веке типу палача-идеалиста. Вид физических страданий его жертв не доставлял ему удовольствия, скорее вызывал отвращение. Но Сипайло был существом совершенно иной породы, и евреям, арестованным у Тогтохо-гуна, предстояло пережить перед смертью самое страшное <Из всех ургинских евреев большевиком был, пожалуй, только председатель местного Совета, бывший врач Шейнеман. Еще некоторое время проездом из Китая здесь активно фигурировал вечный студент Буртман, политикан и оратор. Шейнеман и вся его семья были убиты после взятия Урги, а Буртман заблаговременно отбыл в Иркутск, где вскоре, говоря словами официального некролога, «нелепая трагическая случайность оборвала его жизнь» он погиб «в минуту отдыха», при каких-то пьяных, видимо, упражнениях с револьвером.>

«Когда, - вспоминает Волков, - стали доходить слухи о невероятных пытках и насилиях над женщинами, а вскоре тела замученных выбросили недалеко от города, всем стало ясно, что это не погром, не „стихийный взрыв народной ненависти к евреям“, а узаконенное гнусное убийство».

При всем том Унгерн не брезговал пользоваться услугами еврейских коммерсантов в Китае, через которых сбывал захваченные в Монголии трофеи и которые, зная о судьбе соплеменников, тоже, в свою очередь, не отказывались вести дела с их убийцей. Крещеный еврей Вольфович был агентом барона в Харбине.

Оссендовский рассказывает, как однажды ночью они с Унгерном приехали на радиостанцию, и тот, просматривая радиogramмы от своих агентов на Дальнем Востоке и в Китае, заметил: «Эти смелые и ловкие люди все - евреи. Они мои настоящие друзья!» При этом Оссендовский ни словом не обмолвился об ургинских убийствах. Причина очевидна: успех его книги был бы невозможен без фигуры Унгерна, поданной в ореоле романтического

героя, да и сам автор, выступая в роли конфиденанта заведомого изверга и палача, не мог рассчитывать на симпатии читателей.

О масонах Унгерн никогда не упоминал. В духе «Протоколов сионских мудрецов», о которых ему, наверняка, приходилось слышать, он полагал, что еврейство, основываясь «на принципах Талмуда», стремится к власти над миром путем «уничтожения наций и государств». Впрочем, он хотел уточнить свою концепцию и просил Грегори побеседовать на эту тему с каким-то жившим в Пекине «старым философом», а затем сообщить его мнение в Ургу.

Позднее, уже в плену, Унгерн предрек, что власть в России «неприменно перейдет к евреям, т. к. славяне неспособны к государственному строительству, а единственно способные люди в России - евреи». Вообще, он постоянно говорил о физическом, умственном и моральном вырождении русских. В этой связи евреев тем более следовало уничтожить, дабы образовавшийся в России вакуум духа и власти был бы заполнен не еврейским началом, а восточным, выраженным прежде всего в буддизме.

Но многим евреям в Урге удалось спастись. Их прятали и монголы, и русские. К Першину несколько раз являлись казаки, спрашивали, не живут ли тут евреи. Получив отрицательный ответ, уходили без обыска. Но если бы им вздумалось обыскать дом, они обнаружили бы укрывшихся там зубного врача Гауэра с женой и племянником. Их привел к Першину его квартирант, старый генерал Ефтин. «Это мои знакомые, - сказал он, - хорошие люди. Спрячем их, а после, когда пройдет суматоха, общими силами воздействуем на Унгерна, чтобы спасти им жизнь...» Ефтин уповал на профессию Гауэра - весьма практическую, и не ошибся: зубной врач нужен был всем. Получили «охранные грамоты» и еще кое-какие евреи из тех, за кого ходатайствовали влиятельные представители русской колонии. Но, как вспоминает Першин о своем визите к Унгерну на четвертый день после взятия столицы: «С первых моих фраз, отзывавшихся благожелательством к евреям, барон перебил меня отрывисто, резко, повелительно и произнес одно только слово: „Отставить!“»

Из еврейского населения Урги было убито, как считает Першин, около пятидесяти человек. «Русских погибло гораздо больше», - замечает он, сохраняя объективность, которая в чисто количественном выражении здесь неуместна. Каждого русского убивали за его собственное преступление, пусть ничтожное или вообще фиктивное, но личное, а не за равно распределенную между всеми долю общенациональной вины, когда оправданий нет никому и человек в крови несет свою смерть.

ПИР ТРУПОЕДОВ

«Страшную картину, - пишет Волков, - представляла собой Урга после взятия ее Унгерном. Такими, наверное, должны были быть города, взятые Пугачевым. Разграбленные китайские лавки зияли разбитыми дверьми и окнами, трупы гамин-китайцев вперемешку с обезглавленными замученными евреями, их женами и детьми, пожирались дикими монгольскими собаками. Тела казненных не выдавались родственникам, а впоследствии выбрасывались на свалку по берегу речки Сельбы. Можно было видеть разжиревших собак, обгладывающих занесенную ими на улицы города руку или ногу казненного. В отдельных домах засели китайские солдаты и, не ожидая пощады, дорого продавали свою жизнь. Пьяные, дикого вида казаки в шелковых халатах поверх изодранного полушубка или шинели брали приступом эти дома или сжигали их вместе с засевшими там китайцами».

Утром 6 февраля Першин, избранный делегатом от русской колонии, и представитель мусульманской общины купец Сулейманов отправились в ставку барона с официальным визитом. Возле ямыней на площади Поклонений уже толпились просители, но китайские лавки и магазины оставались закрытыми. Если требовалось что-то срочно купить, по особой

рекомендации можно было пройти лишь с черного хода, через усадьбу. Улицы были пустынные, зато Маймачен по контрасту поражал шумом и странным обликом прохожих: это были унгерновцы в самых невероятных костюмах. «А лица! - восклицает Першин. - Боже мой, каких только физиономий тут не было! Смешение племен и рас, и всяческих помесей, начиная с великороссов-сибиряков и кончая монголами, бурятами, татарами, киргизами...»

Не меньшее впечатление произвела на него и резиденция барона. В Маймачене имелось немало зданий относительно современных, но Унгерн с его полнейшим равнодушием к быту расположился в китайском доме средней руки, к тому же разграбленном. Штаб и приемная, где толпилось множество монгольских князей, лам, русских офицеров, «не представляли и намека на какой-нибудь комфорт». Комнаты были «нестерпимо грязны», стекла в окнах заменяла наклеенная на решетчатые переплеты рам драная бумага, сквозь которую «свободно проникал уличный холод». Чугунная печка дымила, но не грела. Все помещение, занимаемое штабом, состояло из двух комнат, не считая приемной. Никакой канцелярии Першин не заметил. Из мебели был только китайский кан, т. е. нары, снизу подогреваемые жаровней с углями, «первобытный стол», скамья и табурет. На нем сидел полковник Ивановский и ел «какую-то подозрительную лапшу с пампушками». Одна щека у него была раздута флюсом, что, видимо, и навело Першина на мысль именно его просить быть ходатаем за доктора Гауэра <«Десятки людей, - пишет Першин, - должны признательностью помянуть Ивановского, который очень многим в Урге спас жизнь, пользуясь для этого всякими случаями, часто рискованными для него самого».>.

Вторая, дальняя, комната считалась кабинетом Унгерна. Такая же грязная, холодная, неудобная, она с грозной наглядностью демонстрировала характер хозяина. Сама обстановка порождала чувство беспомощности перед новоявленным властелином Монголии, столь непохожим на ее прежних владык.

Когда Перший с Сулеймановым вошли и отрекомендовались, барон приветствовал их «быстрым кивком», но сесть не предложил. Впрочем, садиться все равно было не на что. Единственный стул был придвинут к столу, на кото-ром не лежало никаких бумаг. Унгерн стоял возле стола в своем обычном одеянии - коротком, «довольно замызганном» халате с Георгиевским крестом в петлице и мягкими генеральскими погонами на плечах. «Если бы барон был одет в хороший модный костюм, - отметил Першин, - выбрит и причесан, то вся его стройная породистая фигура с врожденно-сдержанными манерами была бы вполне уместна в какой-нибудь фешенебельной гостиной среди изящного общества».

В том, что Унгерн, как и положено диктатору со спартанскими замашками, отличается крайним немногословием, Першин убедился уже при первой встрече. Его робкая попытка вступить за евреев была пресечена одним словом, а когда он попробовал завести разговор об арестованном докторе-буряте Цыбиктарове, барон ограничился двумя словами: «Он умер...» На этом тема тоже была исчерпана. Между тем смерть любимого всеми Цыбиктарова произвела удручающее впечатление на ургинцев, которые еще не привыкли в самой случайности жертв террора видеть некую закономерность. Цыбиктаров был чистейший тип русского интеллигента восточной крови - эмоционального идеалиста, пьющего и нервно-альтруистичного. Его жена-еврейка и четыре дочери-подростка прозябали в вечной нищете, поскольку весь свой заработок врача при российском консульстве отец семейства тратил на содержание больницы, где лечилась ургинская беднота всех наций и религий, а оставшиеся деньги пропивал. Как всякий интеллигент из провинции, до которой в предреволюционные годы не успели дойти модные консервативные веяния, Цыбиктаров оставался человеком умеренно левых убеждений. В общем угаре после Февральской революции он ненадолго включился в общественную деятельность, вскоре отошел от нее, но теперь ему припомнили какую-то речь, произнесенную на собрании три года назад, привезли в Маймачен и прямо во дворе штаба дивизии зарубили топором. Его жену и дочерей не

тронули только потому, что за них вступился сотник Балсанов, родственник Цыбиктарова и любимец Унгерна.

И еще две казни этих дней поразили жителей Урги тем сильнее, что жертвами стали не большевики, а люди вполне благонамеренные, к тому же занимавшие высокое положение в русской колонии. Священник консульской церкви Парняков, основатель приюта для монгольских сирот, филантроп и бессребреник, не побоявшийся в первую ночь погрома крестить еврейского ребенка, был убит не то как отец известного иркутского большевика, не то за публичные выступления против осевших в Урге белых офицеров и солдат, которые уже самой своей массой грозили нарушить хрупкий баланс между китайскими властями в Монголии и правительством Дальне-Восточной республики. Бывшего кяхтинского пограничного комиссара, полковника Хитрово, расстреляли за то, что зимой 1920 года он пригласил китайские войска войти в Троицкосавск, чтобы прекратить страшную резню, перед уходом из города устроенную семеновцами в местной тюрьме. Теперь Хитрово поплатился за свою антигосударственную гуманность.

Но об этих двух смертях Першин и Сулейманов еще не знали. Главная, по сути дела, просьба, с которой они прибыли к Унгерну, заключалась в следующем: позволить организовать «из благонадежных русских жителей Урги» добровольную дружину для защиты от мародерства. В этом им было отказано. Унгерн заявил, что уже назначил коменданта и тот присмотрит за порядком. Фамилия названа не была, но учитывая, что эту должность занял полковник Сипайло, слова Унгерна можно истолковать как издевку. Смысл их проявился в течение ближайших дней.

Леонид Сипайло, или, как он называл себя сам - Сипайлов, считался комендантом Урги, хотя на самом деле совмещал обязанности начальника контрразведки и столичного полицмейстера. Ему было в то время сорок лет, он окончил классическую гимназию в Томске, но почему-то работал сначала судовым механиком, потом - телеграфистом. Вообще, прошлое его темно: то ли он связан был с уголовным миром, то ли с полицией, а может быть, числился своим и тут и там. Постоянно именуя себя «русским офицером», этот человек в армии никогда не служил, на фронте не был, хотя через два года, представ перед китайским судом, утверждал, будто «контужен в голову, а по русским законам контуженные не подлежат судебной ответственности». По-видимому, первый свой офицерский чин Сипайло получил в семеновской контрразведке, где за несколько месяцев поднялся до полковника - там это было делом обычным. Он хозяйничал в одном из одиннадцати забайкальских «застенок смерти» в читинском особняке, принадлежавшем когда-то Бадмаеву, - и заслужил такую всеобщую ненависть, что, по слухам, Семенов отдал тайный приказ убить его. Но Сипайло удалось бежать из Читы. Он прибил к Унгерну и с тех пор стал неизменным спутником барона, его вторым «я», которое было связано с первым не только по соображениям утилитарной необходимости (Першин, например, считал, что Сипайло нужен Унгерну, как ЧК нужна большевикам), но какими-то гораздо более прочными узами, чьи корни уходят в патологию души обоих.

По мнению Волкова, Сипайло снискал расположение барона тем, что к месту и не к месту повторял: «Мне скрыться негде. Если прогонит „дедушка" (Унгерн. - Л. Ю.), одна дорога - пуля в лоб...» Действительно, петля грозила ему везде - у белых, у красных, у китайцев, а Унгерн ценил таких людей. Но на месте Сипайло неизбежно должен был оказаться кто-то другой, если бы не подвернулся он.

Сипайло - известный в истории тип палача при тиране, какими были Сеян при Тиберии, Малюта Скуратов при Грозном. Ряд легко продолжить. В народном сознании подобные режимы имеют тенденцию отделяться от имени своего создателя. Последний начинает олицетворять лишь власть, а некий человек, состоящий при нем, персонифицирует в себе ужас этой власти. Хозяин воплощает цель, слуга - средства ее достижения, одновременно

становясь чем-то вроде стивенсоновского мистера Хайда, т. е. злом в чистом виде. При Семенове такой фигурой отчасти был сам Унгерн, но когда он приобрел права сюзерена, рядом с ним эту функцию принял на себя Сипайло.

Нередко Унгерн избивал его, не стесняясь присутствием солдат, офицеров и жителей Урги. При этом зрители испытывали сходное с катарсисом чувство благодарности к барону, переживали момент иллюзорного освобождения, как бы обещающий истинное, когда все пойдет по-другому. Хотя после таких экзекуций ничего не менялось, каждая пробуждала надежду, что приходит конец могуществу этого сифилитика, страдающего манией преследования и перед сном заглядывающего во все углы. Унгерн презирал Сипайло, но нуждался в нем и как политик, и просто как всякий отягощенный грехами человек нуждается в себе подобном, однако несравненно худшем, чем он сам, дабы ощущать себя не исключением, а нормой.

Мемуаристы описывают Сипайло монстром отталкивающей наружности, физически слабым, с вечно трясущимися руками, передергиваемым судорогой лицом и странно приплюснутой головой. Посвященную ему главу в своей книге Оссендовский назвал «Человек с головой как седло». Сипайло еще в Чите усвоил классическое правило Гражданской войны: работа контрразведки оценивается числом ее жертв. Но помимо всех расчетов, его тяга к убийству была чисто патологической. Если на какое-то время подвалы комендантства оказывались пусты, он тосковал и нервничал. «Как кокаинист, - замечает Волков, - лишенный кокаина». При этом Сипайло гордился своей славой убийцы, охотно и с удовольствием рассказывал о подробностях казней, о поведении людей перед смертью. Посылая походную аптеку в отряд атамана Кайгородова, он мог, например, с улыбкой добавить: «Скажите, от известного душителя Урги и Забайкалья...» Сипайло был душителем в прямом, а не в переносном смысле слова. Исполнявших обязанности палачей неопытных монголов он учил пользоваться разными видами веревок - в зависимости от того, должен человек умереть сразу или помучиться перед смертью, и со сладострастием подвергал удушению изнасилованных им женщин. В их числе оказалась и племянница атамана Семенова, семнадцатилетняя Дуня Рыбак. После того как ее муж, еврей-коммерсант, был убит, Сипайло взял Дуню к себе в прислуги, спал с ней, наслаждаясь тем, что держит в наложницах родственницу недавно еще всесильного диктатора Забайкалья. Если слухи справедливы и Семенов на самом деле хотел от него избавиться, для Сипайло это было извращенной формой мести. Через несколько недель он лично задушил несчастную девушку и специально позвал офицеров, чтобы показать им труп. Этим убийством Сипайло заведомо не преследовал никаких целей, кроме единственной: ужаснуть всех своим не имеющим пределов могуществом, перед которым даже родственная близость жертвы с самим Семеновым ничего не значит.

Сипайло был большой волокита, преследовал жен ушедших в поход офицеров - вплоть до выставления караула под их окнами, но одновременно, подыгрывая Унгерну, изображал себя поборником нравственности. Когда однажды барон «в сильных выражениях» высказался против проституции и чуть было не выпорол доктора Клингенберга за то, что в дивизии полным-полно венерических заболеваний, Сипайло тут же на практике воплотил идеи своего хозяина, приказав давить двух девушек-проституток.

В плену, спокойно признаваясь почти во всем, Унгерн наотрез отказался признать факт патологического сладострастия своего ближайшего помощника. Разговоры о его насилиях над женщинами он назвал «сплетнями», сказав, будто никогда ни о чем таком не слышал. Признаться, что ему известно об этом, Унгерну было труднее, чем в любой совершенной им самим жестокости. Варварски-дикие казни не бросали тень на его репутацию воителя и героя. каким он видел себя сам и кем хотел предстать перед врагами. Сожжение преступника на костре укладывалось в этот образ, попустительство изнасилованиям - нет.

Но отчасти сказанное им на допросе было правдой. Унгерн знал о Сипайло многое, однако не все. О многих расправах и казнях он узнавал задним числом. Вторая после взятия Урги полоса убийств прокатилась по столице в марте, когда сам барон находился в походе против китайцев. Он, по словам Першина, «никого не щадил, если находил виновным, но о нем все же многое преувеличивают - Унгерн не мог входить во все подробности, у него не было для этого времени». Энергия барона прежде всего обращалась на дела сугубо военные. «Бог его знает, когда он отдыхает и спит, - говорил о нем начальник штаба» дивизии Ивановский. - Днем - в мастерских, на учениях, а ночью объезжает караулы, причем норовит захватить в самые захолустные и дальние. Да еще по ночам требует докладов...»

О том, как сам Унгерн относился к совершаемым по его приказу расправам, существовали разные мнения. Одни писали, что он с неизменным спокойствием присутствовал при порках и расстрелах, но тот же Першин вспоминал иное; «Мне лично шоферы барона не раз рассказывали, что когда ему приходилось наткнуться на какую-то жестокую экзекуцию и он слышал стоны наказуемых, то приказывал скорее проезжать мимо, чтобы не видеть и не слышать страданий виновных». Волков при всей его ненависти к Унгерну, тоже подтверждает, что тот обычно не посещал подвалов комендантства, где хозяйничал Сипайло со своими подручными. Но добавляет, что барону докладывали об убийствах «обыкновенно в юмористической, цинической форме». Тем самым смерть превращалась в нечто заурядное, чуть ли не пошлое в своей обыденности. В таком виде ее проще было считать делом необходимым, но несущественным.

Сипайло лишь проводил в жизнь разработанную Унгерном изуверскую систему истребления «вредных элементов», и все-таки для палача, пусть придворного и доверенного, он проявлял чрезмерную, пожалуй, самостоятельность. Имитируя рабскую зависимость от барона, Сипайло вел и собственную политику, иначе ему не было бы нужды прибегать к ее важнейшему на Востоке инструменту - яду. Загадочная смерть некоторых лиц в Урге приписывалась опять же Сипайло. Неслучайно пирог, присланный им Оссендовскому, один из сидевших за столом офицеров немедленно отправил в помойное ведро, пояснив, что подобные подарки от этого человека лучше не принимать. Объяснение особой близости между Унгерном и Сипайло лежит, видимо, в той сфере, где психопатология переплетена с политикой большого масштаба. В смутные времена такой субстрат соединяет людей неразрывно. С одной стороны, Сипайло, служивший в семеновской контрразведке, был живым досье на атамана; с другой - его связывали какие-то темные отношения с японцами, в частности, с генералом Судзуки, командующим недавно еще расквартированной в Забайкалье японской армией. Во всяком случае, когда после разгрома Унгерна китайцы схватили Сипайло в Хайларе и предали суду, именно Судзуки пытался выволить его из тюрьмы. Возможно, Сипайло был при Унгерне «глазом Токио», и в его обязанности входило следить за тем, чтобы агенты союзников не оказали бы излишнего влияния на непредсказуемого барона. Иначе трудно объяснить, почему Сипайло грозился уничтожить не только всех живущих в Монголии евреев, большевиков, эсеров, но и американцев.

Сипайло был столичным комендантом, а комендантскую команду возглавлял капитан Безродный. Одиноким беженец, неизвестно откуда взявшийся, он, по словам Волкова, в Урге слез с коня в драном полушубке, а спустя три дня щеголял в новеньком обмундировании и жил в квартире с великолепной, вплоть до попугая в клетке, обстановкой. Непосредственно обязанности палача исполнял некий Панков, который до революции служил в жандармах, а после падения Колчака сотрудничал с ургинскими большевиками. Многие чины комендантской команды были связаны с Центросоюзом - проэсеровской кооперативной организацией, закупувавшей в Монголии скот для Советской России. Ее служащих Унгерн считал красными шпионами и расстреливал едва ли не через одного. Эти люди имели основания бояться новой власти, так что Сипайло мог рассчитывать на их преданность лично

ему, а не Унгерну.

Особое место во всей этой палаческой иерархии занимал Евгений Бурдуковский. Забайкальский гуран-полукровка, он был денщиком барона, который произвел его в хорунжий. Вся Урга знала его просто как «Женю». Этот человек состоял при Унгерне порученцем и экзекутором. «Так, наверное, выглядел сказочный Змей Горыныч, - пишет о нем Волков. - Хриплый голос, рябое скуластое лицо, узкие глазщели, широкий рот, проглатывающий за раз десяток котлет и четверть водки, монгольская остроконечная желтая шапка с висящими ушами, монгольский халат, косая сажень в плечах и громадный ташур в руке».

Ташур - полуторааршинная трость, один конец которой обматывался ремнем. Монголы использовали ташур вместо нагайки для лошадей, но в Азиатской дивизии он стал своеобразным начальническим жезлом, знаком сана и власти. Большинство офицеров и сам Унгерн почти никогда с ним не расставались. Ташур был обязательной принадлежностью парадной формы, и он же в руках опытного экзекутора превращался в ужасное орудие пытки. При том искусстве, каким обладал Бурдуковский, человек после пяти ударов лишался сознания.

Ходили слухи, будто «Женя», зная слабость своего хозяина, подкупил известную в Урге гадалку, полубурятку-полуцыганку, и та предсказала Унгерну, что он будет жить до тех пор, куда жив Бурдуковский. Этим он обезопасил себя и от смерти по приказу барона, подвластного диким приступам гнева, и от вражеской пули. Всем в дивизии приказано было беречь его как зеницу ока. В боях, когда Унгерн скакал впереди и сам принимал участие в рубке, «Женю»отсылали в обоз. Там он спокойно отлеживался до конца сражения.

Об этом Волкову рассказывал полковник Лихачев и божился, что так оно и есть. Точно такую же историю с предсказанием слышал и Оссендовский, только ее героем выступал уже не Бурдуковский, а Сипайло. В конечном счете не важно, кто из них оказался хитрее. Неважно даже, правда это или нет. Если что-то и было, то сама история, переходя из уст в уста, превратилась в легенду. Ее популярность объяснялась, видимо, тем, что офицерам Азиатской дивизии хотелось разделить Унгерна и служивших ему палачей, от которых он и рад бы избавиться, но не может: они привязали его к себе обманом. Тем самым подсознательно, может быть, рассказчики стремились оправдать и Унгерна, и самих себя, оказавшихся в одной компании с такими чудовищами, как Сипайло и Бурдуковский.

КОРОНАЦИЯ БОГДО-ГЭГЕНА

После взятия Урги офицеры Азиатской дивизии были возведены Богдо-гэгеном в ранг монгольских чиновников по прежней, в самом Китае после революции упраздненной, циньской системе. Им выдали жалованье из казны, а некоторым - и классические шапочки с шариками разных цветов, соответствующими тому или иному из шести чиновничьих классов <Первому, высшему, классу, полагался красный коралловый шарик; второму - красный с орнаментом; третьему - голубой прозрачный; четвертому - синий непрозрачный; пятому - прозрачный бесцветный; шестому - белый фарфоровый.>. Полковники, войсковые старшины, есаулы, хорунжий превратились в туслахчи, дзакиракчи, меренов, дзаланов, дзанги и хундуев. Никто из них, разумеется, кроме монгольских и бурятских сподвижников барона, всерьез к этой маскарадной титулатуре не относился, но сам Унгерн свое новое звание и подобающие ему привилегии принял без всякой иронии.

Резухин получил титул цин-вана, т. е. князя 1-й степени или сиятельного князя, и звание «Одобренный батор, командующий»; Джамбалон тоже стал цин-ваном со званием «Истинно усердный»; Лувсан-Цэвен - цин-ваном и «Высочайше благословенным командующим». Самому Унгерну помимо титула цин-вана был присвоен и наивысший, доступный лишь

чингизидам по крови - ханский, со званием «Возродивший государство великий батор, командующий». Отныне он обладал правом на те же символы власти, что и правители четырех аймаков Халхи: мог носить желтый халат-курму и желтые сапоги, иметь того же священного цвета поводья на лошади, ездить в зеленом паланкине и вдевать в шапку трехочковое павлинье перо <Резухин, Джамбалон и Лувсан-Цэвен тоже получили право на желтую курму, но поводья им разрешалось иметь не желтые, а коричневые.>. Этот полученный из казнохранилища экзотический костюм был знаком сана, который Унгерну отнюдь не казался эфемерным.

Ваном - князем 2-й степени - он стал еще полтора года назад, после женитьбы на Елене Павловне, а красно-вишневый монгольский халат начал носить еще раньше. Когда Унгерн попал в плен, его на первом же допросе спросили, почему он так одевался: не для того ли, чтобы привлечь симпатии монголов? Барон ответил, что подобных намерений не имел и «костюм монгольского князя, шелковый халат, носил с целью на далеком расстоянии быть видным войску» <Слова типа «армия», «дивизия», современные и эмоционально нейтральные, Унгерн практически не употреблял.>. Объяснение кажется невероятным. Так мог бы сказать средневековый полководец, а не бывший семеновский начдив. Конечно, были и другие причины, но из многих Унгерн сознательно выбрал одну. В глазах врагов он хотел предстать таким, каким видел себя сам - воином, а не ловким политиком. В свою очередь, победители показали себя опытными режиссерами и, чтобы усилить чисто театральный эффект от публичного судебного процесса над пленным бароном, перед переполненным залом усадили его на скамью подсудимых в этом же, к тому времени изрядно поистрепаншемся в походах желтом княжеском халате.

Но накануне коронации он был еще новым и блестящим. Как и прежний, вишневый, Унгерн преобразил его в некий русско-восточный мундир и носил с генеральскими погонами, португеей и Георгиевским крестом <Сверху зимой Унгерн надевал что придется, как все в дивизии. Есть фотография, где он запечатлен в какой-то вполне гражданской меховой куртке и такой же шапке с низким козырьком.>.

В таком виде он и присутствовал на коронационной церемонии.

Год с лишним назад Сүй Шичен вынудил Богдо-гэгена подписать отречение от престола. Теперь, после взятия Урги, длительными гаданиями в резиденции его брата и государственного оракула - Чойджин-ламы, было установлено, что ближайшим счастливым днем для коронации является 15-й день 1-го весеннего месяца по лунному календарю, т. е. 26 февраля 1921 года <Со времен Хубилая, перенявшего этот календарь у китайцев, монголы отмечали наступление Нового года в первое весеннее полнолуние.>. К этому дню в столицу съехались тысячи монголов из самых отдаленных кочевий, прибыли делегации провинциальных монастырей, почти все аймачные и хошунные князья Халхи с бесчисленной челядью. Но праздничную атмосферу омрачали продолжавшиеся убийства евреев и пленных «гаминов». Трупы валялись прямо на улицах, что монголов приводило в ужас. Монгольские обычаи запрещали проливать кровь там, откуда видны храмы, субурганы, дворцы «живого Будды»или вершины Богдо-ула. Редкие казни совершались обычно в долине реки Улясутай, где сопки заслоняли вид на столичные святыни. Богдо-гэген передал Унгерну, что отменит коронацию и не въедет в город до тех пор, пока не прекратятся убийства и не будут убраны трупы.Его пожелание было исполнено, команда Сипайло получила недельный отдых. Тела вывезли, улицы очистили.

Из всех русских мемуаристов относительно подробно описал коронационные торжества лишь есаул Макеев. Он сам был их участником, и в его рассказе чувствуется благоговение перед величием исторической минуты, которую он когда-то давно, в молодости, имел счастье пережить на правах творца истории, а не ее безгласной жертвы.

Накануне, рассказывает Макеев, лучшим частям Азиатской дивизии, расквартированным

в Маймачене - в четырех верстах от столицы, - отдан был приказ: к трем часам ночи «подседлаться», надеть новую форму и в полном вооружении, «при оркестре музыки», затемно выступить в Ургу, чтобы на рассвете быть уже в городе. Там следовало построиться шпалерами от Святых ворот Зимней резиденции Богдо-гэгена и до «главной кумирни», т. е. до храма Майдари.

Только что пошитая в ургинских швальнях новая форма состояла из темно-синего монгольского тырлыка <Род полушубка, поверху обшитого материей.> вместо шинели, фуражки с шелковым верхом и висевшего за плечами башлыка, изнутри тоже шелкового. Башлыки, как и донца фуражек, различались цветом: у Татарской сотни - зеленые, у тибетцев - желтые, у штаба - алые. Различались и трафареты на погонах, но все они были серебряные. Каждый всадник имел винтовку за плечами, шашку на поясе и ташур в руке.

Едва начало светать, унгерновцы вместе с отрядами монгольских князей выстроились вдоль полутораверстной дороги, ведущей от Зеленого дворца на берегу Толы к площади Поклонений. Здесь еще с вечера собрались многотысячные толпы монголов; заборы и крыши домов были усеяны зрителями.

Наконец около десяти часов утра из дворца показались «конные вестники» в парчовых одеждах. Сидя в седлах богато украшенных коней, они трубили в трубы и раковины. «Войска замерли, - пишет Макеев, - тысячи людей превратились в каменные изваяния». Вслед за глашатаями двинулась процессия лам, за ней «храпящие лошади» везли колесницу в виде пирамиды из трех толстых раскрашенных бревен. В центре ее, венчая это сооружение, поднималась деревянная «мачта» с огромным монгольским флагом. Изготовленный из твердой парчи, он «ослепительно блестел на солнце золотыми нитями». Золотом был выткан первый знак созданного двести лет назад Ундур-гэгеном Дзанабадзаром алфавита «Соёмбо» - старинный национальный символ монголов. В 1911 году эта идеограмма, чьи элементы (языки огня, треугольники, рыбы и пр.) истолковывались по-разному, была переосмыслена как эмблема независимости Халхи.

За колесницей с флагом показалась позолоченная, китайского типа, открытая коляска. В ней сидел сам Богдо-гэген. Его лицо было неподвижно, глаза слепца скрыты темными очками. Впереди и по бокам от него скакали князья в пышных одеждах, в конусообразных шапочках с перьями и чиновничьи шариками, но сзади, сразу же за коляской, ехал лишь один всадник «на прекрасном степняке с желтыми поводьями». Макеев был поражен, впервые он увидел Унгерна в полном парадном облачении цин-вана - вплоть до «шапочки с пером». То, что барон следовал непосредственно за Богдо-гэгеном, подчеркивало его особое положение по сравнению со всеми остальными участниками церемонии - в обычаях многих народов наиболее почетным считается место не впереди, а позади центрального лица процессии.

Разумеется, в те минуты, когда Унгерн шагом ехал вслед за «живым Буддой» по дороге от Святых ворот Зеленого дворца, его внимание было отвлечено на мелочи, поглощено сиюминутными впечатлениями и заботами. Но несомненно, что этот день он воспринимал как счастливейший в своей жизни, как момент собственного триумфа. Взятие Урги было для него только ступенью на пути к главной цели - реставрации монархии на Востоке и в России. Богдо-гэген стал первым, кому Унгерн вернул отнятый престол, теперь на очереди было восстановление законных прав Романовых и Циней.

«За последние годы, - позднее писал Унгерн одному из князей Внутренней Монголии, - оставались во всем мире условно два царя - в Англии и в Японии. Теперь Небо как будто смилостивилось над грешными людьми, и опять возродились цари в Греции, Болгарии и Венгрии, и 3-го февраля 1921 года восстановлен Его Святейшество Богдо-хан <Богдо-хан - титул Богдо-гэгена как светского монарха. Здесь имеется в виду не дата коронации, а день освобождения Урги.>. Это последнее событие быстро разнеслось во все концы Среднего

царства и заставило радостно затрепетать сердца всех честных его людей и видеть в нем новое проявление небесной благодати. Начало в Срединном царстве сделано, не надо останавливаться на полдороге. Нужно трудиться...»И еще в том же письме: «Я знаю, что лишь восстановление царей спасет испорченное Западом человечество. Как земля не может быть без Неба, так и государства не могут жить без царей».

Монархическая идея была для Унгерна тем, что Достоевский определял как «идею-чувство». Сам будучи страшным порождением гражданской смуты, паразитирующим на разлагающихся государственных структурах России и Китая, Унгерн, надо отдать ему должное, не стремился продлить выгодную для него анархию, царившую в русско-китайском пограничье, и не фальшивил, когда писал генералу Чжан Кунью: «Лично мне ничего не надо. Я рад умереть за восстановление монархии хотя бы и не своего государства, а другого». В письме к еще одному корреспонденту он счел необходимым подробнее остановиться на причинах своего желания видеть Китай непременно под властью Циней - желания, странного для русского генерала: «Вас не должно удивлять, что я ратую о деле восстановления царя в Срединном царстве. По моему мнению, каждый честный воин должен стоять за честь и добро, а носители этой чести - цари. Кроме того, ежели у соседних государств не будет царей, то они будут взаимно подтачивать и приносить вред одно другому...»

Унгерн был монархистом в принципе - не российским, не китайским, не монгольским. Свою миссию он видел в спасении всего человечества и не раз говорил допрашивавшим его красным командирам, которые с недоверием воспринимали такие заявления, что не считает себя русским патриотом. Точно так же русский патриотизм был чужд Ленину, Троцкому и прочим засевшим в Кремле злейшим врагам Унгерна. Их интернациональным замыслам он сознательно противопоставлял идею не национальную, как большинство белых вождей, а всемирную, точнее - континентальную, евразийскую: возрождение монархий от Атлантики до Тихого океана. Подобно коммунистической, эта идея была тотальна не только в географическом плане. Свержением законных династий объяснялись все бедствия, а единственная их причина предполагала и единственный способ исцеления - возврат к средневековому порядку мироустройства, когда божественная природа власти никем не ставилась под сомнение. Теократия казалась Унгерну идеальной формой монархии. «Самое наивысшее воплощение идеи царизма, - писал он, - это соединение божества с человеческой властью, как был Богдыхан в Китае, Богдо-хан в Халхе и в старые времена - русские цари».

При этом Унгерн говорил о Богдо-гэгене без всякого пиетета, на допросах называя его просто «хутухтой»и добавляя, что «хутухта любит выпить, у него еще имеется старое шампанское». В глазах барона, тогда уже абсолютного трезвенника, это был крупный недостаток вообще, для монарха - тем более. Но пороки того или иного воплощения «идеи царизма»не могли, разумеется, поколебать саму идею.

Существеннейший признак всякой утопии - радикальный разрыв с настоящим во имя будущего или прошлого, но в обоих случаях достаточно отдаленного. И Унгерн, и его главные противники мыслили глобальными категориями пространства и времени, а мышление такого масштаба чаще всего свойственно людям, не укорененным в социальной, национальной или культурной среде, маргиналам, изгоям, неудачникам с больной психикой, лишенным простых человеческих связей и не способным на них, поверхностно образованным, зато обладающим виртуозной способностью собственной ненавистью связывать причины со следствиями, а свои суеверия принимать и выдавать за прозрения. Догматизм таких людей - всего лишь форма истерии, их псевдогосударственная деятельность - разновидность бунта против общества, идеи вселенского порядка - род наркотика, позволяющего переступить, не замечая, те кажущиеся ничтожными по сравнению с высотой цели нравственные барьеры, перед которыми в годы Гражданской войны в нерешительности останавливались носители более скромных по размаху идеологий, будь то эсеры или

строители единой и неделимой России.

Но было и различие: кремлевские теоретики писали статьи и произносили речи на конференциях, предоставляя действовать другим, едва ли способным на том же философском уровне объяснить, за что они воюют, а Унгерн сам, с шашкой в руке, проводил свои принципы в жизнь. Емельян Ярославский издевался над «примитивным монархизмом» и «скудным белогвардейским антуражем» барона, хотя сам был мыслителем ничуть не более тонким. Просто степень разработанности любой революционной системы всегда прямо пропорциональна дистанции, отделяющей ее создателей от поля не теоретического, а настоящего боя.

«Я смотрю так, - на одном из допросов излагал Унгерн свои воззрения на роль монарха и аристократии, - царь должен быть первым демократом в государстве. Он должен стоять вне классов, должен быть равнодействующей между существующими в государстве классовыми группировками. Обычный взгляд на аристократию тоже неправильный. Она всегда была в некотором роде оппозиционной. История нам показывает, что именно аристократия по большей части убивала царей. Другое дело буржуазия. Она способна только сосать соки из государства, и она-то довела страну до того, что теперь произошло. Царь должен опираться на аристократию и крестьянство».

Доводы отчасти справедливы, но ни в коей мере не помогают понять, каким образом вполне расхожая, набранная из газетных блоков умозрительная схема претворилась в ту чудовищную энергию, которая двигала Унгерном в последние месяцы жизни. «Идея монархизма, - незадолго до расстрела говорил он, - главное, что толкало меня на путь борьбы». Нет оснований сомневаться в его искренности. В том виде, в каком Унгерн излагал эту идею, она банальна, но убеждения, заставляющие людей идти на смерть, редко отличаются оригинальностью. Аргументированностью - еще реже. Сила таких идей в их простоте, возникающей не в результате концентрации учения наподобие символа веры, а напротив, являющейся как откровение, в изначальной нерасчлененности и невыразимости. Источник своей веры Унгерн тоже называл неоднократно - Библия. Правда, Священное Писание он знал плохо, но это и неважно. Непокоримая убежденность в истинности монархической идеи сочеталась в нем со столь же твердой уверенностью, что лишь он единственный знает истину во всей ее полноте. «Из настоящих монархистов на свете остался один я», - говорил он Емельяну Ярославскому, который был общественным обвинителем на процессе в Новониколаевске. Рассуждения о монархии как «равнодействующей» силе в государстве - это не более чем попытка перевести откровение на язык профанов. По протоколам заметно, как Унгерн, державшийся на допросах с исключительным спокойствием, даже равнодушием, начинает волноваться, едва разговор касается этой важнейшей для него темы. Его речь становится возбужденной, обретает ритмичность. Ключевое слово, как заклинание, повторяется по нескольку раз. Секретарь следственной комиссии записывает: «Он верит, что приходит время возвращения монархии. До сих пор все шло на убыль, а теперь должно идти на прибыль, и повсюду будет монархия, монархия, монархия».

Так говорить и чувствовать мог лишь человек, сознающий и свою личную ответственность, свою особую роль в этом предначертанном свыше историческом процессе. Сам процесс закономерен, следовательно, не могло быть случайностью появление его, Унгерна, именно среди монголов, которых он ценил как стихийных монархистов и противопоставлял едва ли не всем остальным народам.

Еще в 1919 году один из дербетских князей говорил русскому консулу в Кобдо: «Раньше, до войны, вы, русские, были вот какие! - и развел руками. - А теперь нет у вас Цаган-хана (Белого царя. - Л. Ю.), и вы стали вот какие маленькие, вроде нас...» Наверняка, подобные высказывания приходилось слышать и Унгерну. Точно так же, как сам барон, монголы были

уверены, что все обрушившиеся на Россию несчастья происходят от того, что «мо орос» плохие русские, убили Цаган-Хагана. Но есть и хорошие русские - «сэйн орос», которые пришли, чтобы защитить Богдо-гэгена от плохих китайцев, тоже хотя и не убивших, но изгнавших своего императора. А если вспомнить, что после Екатерины II все Романовы считались перерожденцами Дара-Эхэ, можно очертить то пространство, где монархизм Унгерна соединялся с буддизмом, а его панмонгольские планы, включавшие в себя расчленение России, ничуть не противоречили идее реставрации Романовых.

Унгерн воспринимал Монголию как хранительницу священных истин, как плацдарм для борьбы с разлагающим влиянием Запада на Востоке, и день 26 февраля 1921 года, когда Богдо-гэген среди всеобщего ликования торжественно вступал на поднятый из праха престол, должен был казаться барону великим днем: наконец-то благодаря его усилиям колесо истории сделало первый оборот вспять, к золотому веку человечества. Не имело значения, что произошло это на краю света, за пределами цивилизованного мира, в городе, о чьем существовании большинство европейцев попросту не подозревало.

С приближением Богдо-гэгена стоявшие вдоль дороги монголы и буряты опускались на одно колено, Унгерн медленно ехал мимо застывших в благоговейном молчании коленопреклоненных толп. На некотором расстоянии вслед за ним, замыкая шествие, следовали несколько офицеров Азиатской дивизии во главе с Резухиным, тоже одетым в костюм монгольского князя, и цэрики отряда личной гвардии Богдо-гэгена. Они были в красных тырлыках с желтыми нарукавными повязками, на которых чернел священный знак «суувастик».

Когда золоченая коляска «живого Будды» была уже на подступах к въездной арке перед площадью Поклонений, раздалась команда: «На караул!» Казаки вскинули шашки к плечу. Оркестр заиграл «встречу», валторнам и трубам отозвались храмовые башкуры - «дудки», как пишет Макеев. Они «подхватили, рыдая, плача и торжествуя, отгоняя от Богдо злых духов». Сопровождаемый Унгерном, высшими ламами, князьями и свитой, Богдо-гэген вошел в храм Майдари. Там до четырех часов дня служили молебен, гудели двухсаженные трубы-бурэ, чьи звуки символизировали рев небесных слонов, как трели башкуров - щебет райской птицы Гаруды. Затем светская часть коронационной церемонии была продолжена в Шара-Ордо - Златоверхом дворце. Вечером в бесчисленных юртах, усеявших берег Толы, начались пиры, в Маймачене стреляли из пушек. Праздник продлился несколько дней, и впервые унгерновцы пьянствовали открыто, не боясь репрессий. В эти дни им было позволено все.

НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙНА

Заняв Ургу, Унгерн торжествовал не только военный успех, но и окончательное возвращение к жизни из небытия последних месяцев. Но первая эйфория скоро прошла, радость победы сменилась новыми опасениями.

Го Сунлин с трехтысячным отрядом еще накануне штурма бежал на восток, остальные войска под командой Чу Лицзяна двинулись на север, к русской границе. При них находился и Чен И со своими чиновниками. Часть китайцев из Урги ушла с отступающей армией; кроме того, по пути в нее вливались китайские поселенцы. Страхась расправы, они бросали фанзы и вместе с семьями присоединялись к солдатам Чу Лицзяна. Вся эта многотысячная масса, никем не преследуемая, докатилась до границы и вступила в расположенный несколькими верстами южнее Кяхты так называемый Кяхтинский Маймачен - старинный город, через который когда-то шла вся чайная торговля между Россией и Срединной Империей. Здесь Чу Лицзян и Чен И собирались начать переговоры с правительством Дальне-Восточной республики. Они уповали на принцип «враг моего врага - мой друг» и рассчитывали, что им будет позволено переправить войска по железной дороге через Забайкалье в Маньчжурию.

Но этим надеждам не суждено было осуществиться.

Сообщая, что китайцы отступили на север, но с красными «не сошлись», Унгерн писал своему старому знакомому, генералу Чжан Кунью, губернатору провинции Хейлуцзян: «Произошли какие-то недоразумения из-за грабежей, и теперь они повернули к западу. По-видимому, пойдут в Улясутай, а затем на юг, в Синьцзян».

Сведения в общем верны, хотя грабежами дело не ограничилось: китайская солдатня устроила жуткую резню в Кяхтинском Маймачене. Убивали всех русских, не щадя ни женщин, ни детей. По слухам, погибло до трехсот человек. После случившегося ни о каких переговорах не могло быть и речи. Да и Москва, очевидно, запретила местным властям сотрудничать с «гаминами», чтобы не дискредитировать себя в глазах монголов. Правда, часть беженцев (среди них - Чен И) была пропущена через границу. Уже в первых числах марта набитые ими эшелоны один за другим шли через Читу в Маньчжурию. Какие-то отряды скрылись в лесах, но большинство солдат, перемешавшихся с беженской массой, двинулись не к Улясутаю, как предполагал Унгерн, а обратно к Урге. Оказавшись меж двух огней, Чу Лицзян решил взять реванш и вернуть себе монгольскую столицу. Теперь он понимал, что силы Унгерна ничтожны. Ему казалось, что можно будет воспользоваться численным перевесом и настроением солдат, ясно сознававших, что всюду на тысячеверстных пространствах пустынной и враждебной страны их ждет голод, что новое поражение грозит им смертью и спасение можно найти только в победе.

Не то Чу Лицзян поначалу действительно двинулся к Улясутаю, не то лишь сделал вид, будто идет на запад, но когда его армия внезапно обнаружилась на подступах к Урге, для Унгерна это было полнейшей неожиданностью. Тут же с отборными сотнями он выступил навстречу китайцам, однако второпях, не выслав разведки, ухитрился разминуться с громадным вражеским войском. Каким образом это произошло, можно лишь гадать. Унгерн все дальше уходил в пустоту, тем временем Чу Лицзян объявился на Улясутайском тракте, совсем близко от столицы. Теперь остановить его было некому. Когда это выяснилось, вдогонку за бароном полетели гонцы, но надежда на то, что он успеет вернуться и защитить город, была слабая. Китайцы находились гораздо ближе. Положение казалось безнадежным, в Урге началась паника.

Против Чу Лицзяна были брошены все способные носить оружие русские и монголы. Неизвестно, сколько человек удалось поставить под ружье, но общую численность своих войск в боях под Ургой сам Унгерн определял в 66 сотен или приблизительно в пять тысяч бойцов. Это был апогей его военного могущества, больше ему никогда уже не удастся собрать такую армию. Впрочем, его руководство всей операцией было весьма относительным. Главные бои, решившие судьбу столицы, которые Волков охарактеризовал как «бои отчаяния», прошли без участия барона. Пока он то ли возвращался назад, то ли с Кяхтинского тракта выходил на Улясутайский, возглавляемое колчаковскими офицерами русско-монгольское ополчение преградило китайцам дорогу к Урге. Близ уртона Цаган-Цэген разыгралось ожесточенное сражение - крупнейшее на территории Монголии за последние двести лет и почти не известное историкам. На небольшом пространстве, грудь в грудь, как в средневековых битвах, сошлось более пятнадцати тысяч человек. Артиллерии у обеих сторон было немного, да и та в степи оказалась практически бесполезна. Пушки не поспевали за стремительными передвижениями конных отрядов. Лук со стрелами порой заменял монголам ружье. Вдобавок Азиатская дивизия испытывала в то время трудности с патронами. Правда, ургинский инженер Лисовский сумел отчасти поправить положение: он предложил Унгерну изобретенный им способ лить пули из стекла. Барон с радостью ухватился за это предложение. Первые опыты оказались удачными, и в боях на Улясутайском тракте некоторые из ополченцев стреляли по врагу стеклянными пулями.

На помощь призваны были и сверхъестественные силы. В Урге служили молебны, а

какой-то лама, поднявшись на вершину сопки над местом сражения, размахивал шелковым хадаком, кружился в священном танце и творил заклинания, нейтрализуя злых духов и при поддержке добрых отвоевая победу, которая стала концом более чем двухсотлетнего владычества Пекина в Халхе.

Эта битва, где Унгерн впервые столкнулся с «гаминами» в открытом бою, дала ему основания говорить позднее, что китайский солдат стоит много выше китайского офицера. Солдаты Чу Лицзяна и вооруженные поселенцы были уверены, что русские отомстят за маймаченскую резню, монголы защищали «живого Будду» и святыни столицы, русские - оставшихся в Урге близких, которых в случае поражения ждала участь обитателей Кяхтинского Маймачена. «И вот, - пишет Волков, - китайцы по пяти раз кряду бросаются в атаки, рядом с трупами китайских солдат находят тела их жен-монголок, сражавшихся бок о бок с мужьями <Чтобы ассимилировать соседние народы, Пекин издавна запрещал китайцам селиться в Застенном Китае. В Монголии, как и везде, китайские поселенцы женились на туземных женщинах, их дети вырастали китайцами.>. Монголы, в обычных условиях легко поддающиеся панике, разряжают, как на учении, винтовки. На русского всадника приходится иногда от десяти до пятнадцати китайцев».

Вскоре Чу Лицзян, видимо, выпускает из рук нити управления боем. Сражение распадается на ряд беспорядочных стычек. Наконец подходит Унгерн со своими сотнями, и его появление решает исход битвы.

Осендовский, спустя два месяца проезжавший по этим местам, вспоминал: «Большинство трупов предали земле, но еще до сих пор среди остатков брошенной амуниции валялось около полутора тысяч непогребенных со страшными ранами от сабельных ударов. Монголы старались объехать стороной это поле ужаса и смерти, и здесь было полное раздолье для волков и одичавших собак».

Сопровождавшие Осендовского казаки рассказали ему, что, когда во время боя барон по обыкновению сам поскакал в атаку, китайцы узнали его и открыли по нему прицельный Огонь. Потом в седле, седельных сумах, сбруе, халате и сапогах Унгерна обнаружили следы будто бы семидесяти пуль, но он не был даже ранен. «Этим чудом, - замечает Осендовский, - мои собеседники объясняли громадное влияние своего начальника на монголов».

Победой Унгерн был обязан не столько собственному полководческому искусству, сколько мужеству ополченцев и распрям китайских генералов. Единого плана действий у них не было. Пока одни рвались к Урге, другие пытались уйти на восток, а третьи вели переговоры о сдаче. Подробный ход событий восстановить невозможно. По сути дела, сражение близ уртона Цаган-Цэген, определившее будущее Монголии на десятилетия вперед, остается белым пятном в ее истории.

Ясно только, что китайцы были разгромлены, окружены и после трехдневных боев прислали парламентаров, соглашаясь на капитуляцию. Унгерн ее принял, на следующее утро была назначена сдача оружия. Однако утром на месте переговоров оказался лишь отряд в тысячу человек. Остальные - чуть ли не десять тысяч, непонятным образом бежали. Как им это удалось, неизвестно, позднее ходили упорные слухи, что не обошлось без помощи самого Унгерна. Вероятно, ему не хотелось излишним триумфом вызывать ответную непримиримость Пекина; кроме того, такое количество пленных стало бы для него тяжелой обузой. Преследование шло вяло. Не пройдя и двухсот верст, Унгерн вернулся в столицу. Он надеялся, что китайцы покинут Монголию, но этого не случилось: часть армии Чу Лицзяна остановилась на Калганском тракте, неподалеку от границы с Китаем. Туда же, видимо, вернулась из Калгана кавалерия Го Сунлина и еще какие-то пограничные части. Эта группировка на юго-востоке Монголии создавала новую опасность для Урги.

В плену, рассказывая о своих отношениях с Богдо-гэгеном, Унгерн сказал, что один из визитов нанес ему перед тем, как выступить на «Калганский фронт». Едва ли слово

«фронт»подходит для того, чтобы обозначить им погоню за бегущим, наголову разбитым противником. Скорее всего, китайцы рассчитывали укрепиться в этом районе, и тогда Унгерн, получив благословение «живого Будды», вновь покинул столицу. Теперь Азиатская дивизия двинулась на восток. В конце марта возле местечка Чойрин-Сумэ (по-русски - Чойры) вблизи китайской границы произошло последнее крупное сражение этой неизвестной войны, и здешнее «поле ужаса и смерти»еще много лет спустя белело костями летом, а зимой покрывалось полузаметенными снегом бугорками и холмиками.

Сам Чу Лицзян и Го Сунлин с кавалерией успели уйти в Китай, но пехота была вырезана почти поголовно. Рассказывали, что погибло более четырех тысяч китайцев. Унгерну достались огромные трофеи: артиллерия, винтовки, миллионы патронов. Одних верблюдов, навьюченных добычей, захватили свыше двух сотен. Пятнадцатитысячная армия, которую полтора года назад привел в Монголию Сюй Шичен, больше не существовала, что в Пекине восприняли как национальную катастрофу. Телами павших «гаминов»была выслана степь от Чойры и до самой границы, где Унгерн и остановился. До Пекина отсюда было верст шестьсот, ближе, чем до Урги.

Имя Унгерна появилось на первых полосах пекинских газет. Будто бы там даже всерьез опасались, что воспользовавшись моментом, он продолжит победный марш на восток, перейдет Великую Китайскую стену и обрушит своих диких всадников на столицу бывшего Срединного царства. Ходили слухи, что в Пекине в эти дни было беспокойно. Впрочем, это, вероятнее всего, именно слухи, которыми русские эмигранты тешили свое постоянно ущемляемое китайцами национальное самолюбие.

Настоящей паники в столице, наверняка, не было, тем не менее Пекин очень болезненно отнесся к совершенно неожиданному разгрому, а затем и уничтожению войск Чу Лицзяна и Го Сунлина. Монголия была не просто китайской колонией, а ее утрата - не только потерей одной из провинций. Китайцы традиционно осознали свою историю как циклическую, с вечно повторяющимися эпизодами противостояния Поднебесной Империи и варваров, северных кочевников, где один и тот же тысячелетний враг лишь меняет имена, оборачиваясь то хунну, то маньчжурами или монголами. Хотя геополитическая ситуация давно изменилась, Монголию по-прежнему продолжали считать ключом к овладению всем Китаем, и Унгерн легко вписался в эту традицию, на новом историческом витке олицетворяя собой древнюю угрозу, связанную с именами Чингисхана и Хубилая.

Сам он, однако, при всех своих полубезумных идеях трезво оценивал собственные военные возможности. Переходить границу Ургерн не собирался. Он прекрасно понимал, что такая авантюра обречена заранее. Поход на Пекин с целью реставрации свергнутых Циней планировался им, но в будущем, после создания центрально-азиатской федерации кочевых народов.

В начале апреля 1921 года, оставив у восточных рубежей Халхи три-четыре сотни монголов под командой князя Наин-вана и опередив остальную армию, Унгерн на автомобиле возвращается в Ургу. Он еще не знает, что Калганский фронт станет его последним фронтом борьбы с китайцами.

Беженцы из Монголии принесли в Китай известия об ургинских погромах и зверских убийствах пленных, о сожженных поселках, разграбленных факториях, банках и складах с товарами. Подробности были ужасны, общественное мнение требовало возмездия. Купечество настаивало на возмещении убытков, генералы соперничали между собой за право вернуть под власть Пекина мятежную провинцию. Когда первое потрясение миновало, это стало казаться делом относительно несложным. Скоро выяснилось, что силы Унгерна невелики, а японцы - открыто, во всяком случае - вмешиваться в монгольские дела не намерены.

Уже к середине апреля в Тяньцзине собралась правительственная конференция. На ней с тревогой отмечалась близость унгерновских отрядов к Калгану и даже опасность, угрожающая самому Пекину. В результате генерал-инспектор Маньчжурии Чжан Цзолин получил неограниченные, почти диктаторские, полномочия и три миллиона долларов для снаряжения экспедиции против Унгерна. Его авангарды вступили в Калган, однако дальше не двинулись. Он гораздо больше интересовался внутрикитайской ситуацией, к тому же его медлительность, видимо, поощрялась Токио. Скорее всего, японцы, издавна связанные и с ним, и с бароном <Еще в августе 1920 года Унгерн писал Семенову: «Япоши строят свои планы... на мне и. на Чжан Цзолине, стремятся подружить нас».>, рассчитывали, что в конце концов Унгерн добровольно подчинится Чжан Цзолину и тем самым укрепит их собственные позиции в регионе. Наверняка, сделать это советовали барону и состоявшие при нем японские офицеры. Но следовать их советам он отнюдь не собирался. Возможно, именно тогда, как пишет Волков, наступило внезапное «разочарование» Унгерна в «японских войнах», которых он удалил от себя и раскидал по разным частям. Кое-кто из них, по его словам, бежал на восток, других он, видимо, сам отпустил. Осенью, во время первого похода к столице, их в Азиатской дивизии насчитывалось около семидесяти человек, а спустя полгода - два-три десятка. Да и те, если верить Унгерну, поступили к нему в Урге «по найму». Возможно, он и в самом деле их попросту мобилизовал, как мобилизовывал и русских, и китайцев.

Под предлогом готовящейся экспедиции Чжан Цзолин собирал деньги с китайских торговых фирм, заинтересованных в скорейшей победе над бароном, усиливал свою армию, но не трогался с места. Полученный им титул «высокого комиссара по умиротворению Монголии» открывал перед ним широкий спектр возможностей, среди которых собственно война с Унгерном занимала едва ли не последнее место. Он надеялся уладить дело миром.

Весной есаул Погодаев, унгерновский агент на станции Маньчжурия, сообщал своему шефу, что доверенное лицо Чжан Цзолина, полковник Лям Пань, «усиленно» интересуется следующим вопросом: если бы Чжан Цзолин «попросил» Унгерна «выйти из Урги», то каков был бы ответ? На этот счет можно не сомневаться, ответ был бы однозначно отрицательным. Уходить из Монголии барон не собирался, хотя одновременно предпринимал попытки как-то договориться с Чжан Цзолином. Он даже готов был подчиниться ему, но на двух условиях: первое - сохранение Богдо-гэгена на монгольском престоле; второе - совместная борьба за восстановление Поднебесной Империи.

Планы Унгерна не были столь уж бесосновательны. При мукденском дворе Чжан Цзолина нашел приют последний император Пу И, упорно поговаривали о его планах реставрации свергнутой династии. Оба диктатора - многолетний маньчжурский и новоявленный монгольский, старательно ищут пути, на которых можно прийти к соглашению. Воевать не хочет ни тот, ни другой. В письме к ближайшему сподвижнику Чжан Цзолина, губернатору провинции Хейлуцзян генералу Чжан Кунью барон пишет, что в борьбе за восстановление Циней вождем должен стать «высокий Чжан Цзолин», и тут же прозрачно намекает, что ищет себе покровителя: «Я, к сожалению, в настоящее время без хозяина, Семенов меня бросил». Но само слово «хозяин» не стоит истолковывать буквально. Скорее, речь здесь идет об отношениях вассала и сюзерена: Чжан Цзолин представляет собой Китай, Унгерн - Монголию, которой отводится подчиненное, но автономное место в будущей имперской иерархии. Такой подход никак не устраивал Чжан Цзолина. В игре, где ставкой была власть над Китаем или, по крайней мере, над его северными провинциями, генерал-инспектор Маньчжурии держал про запас циньскую карту, пряча ее в рукаве, но не желал выкладывать этот козырь в партии со случайным партнером. К тому же тут для него был вопрос не идеологии, а политики. Он и не подумал бы идти на сговор с Унгерном ради такой фикции, как идейная близость. Ни о каком союзе с ним не могло быть и речи. В подобном случае

Чжан Цзолин мог быть обвинен в предательстве национальных интересов.

Однако начинать карательную экспедицию он тоже не спешил. Слишком зыбкой была ситуация в самом Китае, чтобы ввязываться в эту войну, которая может и не принести скорых лавров. Судьба армии Чу Лицзяна была еще у всех перед глазами. Чжан Цзолин, вероятно, знал, что положение Унгерна в Монголии становится все менее прочным, выжидал и не торопился.

Удобный момент настал, когда в мае 1921 года Азиатская дивизия выступила из Урги в Забайкалье. В июне Чжан Цзолин торжественно перенес свою ставку на станцию Маньчжурия и готовился отдать войскам приказ войти в Монголию, но его опередила Москва: спустя две недели в Ургу вошли Нейман, Щетинкин и Сухэ-Батор.

«Из только что полученных случайно газет, - сообщал Унгерн все тому же Чжан Кунью, - я вижу, что против меня ведется сильная агитация из-за войны якобы с китайским государством. Думаю, что зная меня, Вы не можете предположить, чтобы я взялся за такое глупое дело...»

Унгерн постоянно подчеркивал, что воюет не с Китаем, а исключительно с республиканцами - «гаминами», которых он называл «учениками» русских большевиков. В боях под Ургой им отдан был приказ сохранять жизнь всем китайцам, не обрезавшим себе косы - символ покорности маньчжурской династии. В его примитивно-манихейском восприятии мира добро не только резко отделялось от зла, но и легко распознавалось по каким-то чисто внешним признакам. В данном случае коса трактовалась как свидетельство монархических убеждений ее владельца.

Унгерн писал Чжан Кунью: «Не могу не думать с глубоким сожалением, что многие китайцы могут винить меня в пролитии китайской крови. Но я полагаю, что честный воин обязан уничтожать революционеров, к какой бы нации они ни принадлежали, ибо они есть не что иное как нечистые духи в человеческом образе, заставляющие первым делом уничтожать царей, а потом идти брат на брата, сын на отца, и внося в жизнь человеческую одно зло».

Но идеологическими аргументами Унгерн не ограничивался. С одной стороны, он предлагал Чжан Кунью третью часть дохода от продажи в Маньчжурии монгольской добычи, с другой - пытался убедить своего корреспондента в том, что интересы Китая в Монголии ничуть не пострадали: истребление в Урге «главных купцов - жидов» пойдет на пользу китайской торговле, которая отныне раз и навсегда будет избавлена от опаснейших конкурентов. Как всегда и везде, идея, призванная быть связующим раствором, замешивается на деньгах и на крови.

Но действительно, когда отбушевал трехдневный погром после взятия Урги, Унгерн принял китайские фирмы под свою защиту. Многие офицеры расселились в домах богатых китайцев. Там их бесплатно кормили, одевали, снабжали табаком и рисовой водкой, видя в этих постояльцах гарантию собственной безопасности. Но те, кто «брал не по чину», карались беспощадно. Одного из таких облагавших квартирантов Унгерн приказал повесить прямо на воротах усадьбы - к неопишуемому ужасу хозяина, никак не ожидавшего, что его жалоба возымеет такие последствия. Унгерн демонстративно оказывал покровительство китайскому купеческому обществу, что, впрочем, не мешало ему, если являлась нужда в деньгах, конфисковывать имущество своих подопечных под любым предлогом - укрывательство «гаминов» и пр. Вообще, к живущим в Монголии купцам, безразлично китайским или русским, он относился с подозрением и, объясняя причину своей к ним нелюбви, говорил, что «честному человеку и у себя на родине можно хорошо прожить».

Вернувшись в Ургу после боев на Калганском тракте, Унгерн обнаружил здесь около семи сотен пленных китайских солдат и офицеров, пригнанных с запада, из-под Улясутая, чахарами Баяр-гуна. Всем им сохранили жизнь. Из них барон отобрал сорок человек маньчжур и корейцев для своей личной охраны (в телохранителях удобнее было иметь

людей, национальной принадлежностью не связанных с основной воинской массой), остальных свели в отдельный дивизион, который, видимо, по замыслу Унгерна впоследствии должен был стать ядром китайской монархической армии. На первых порах он опекал этот дивизион, не пожалел даже двух пудов «ямбового серебра» для кокард и трафаретов на погонах. Изображенная на них, лично Унгерном не то придуманная, не то лишь одобренная, эмблема дивизиона представляла собой, по словам Волкова, «фантастическое соединение дракона с двуглавым орлом». Это символизировало единство судеб двух рухнувших, но подлежащих возрождению великих империй.

СВЕТ С ВОСТОКА

В числе тех, кто в Иркутске допрашивал пленного барона, был Борисов, представитель Коминтерна в Монголии. Он особенно интересовался тем, знал ли Богдо-гэген о планах Унгерна создать федерацию кочевых народов Центральной Азии. Унгерн ответил, что с хутухтой как человеком «мелочным и неспособным воспринимать широкие идеи» он об этом не говорил. Может быть, конкретного разговора и вправду не было, но скорее всего, и сам Богдо-гэген, и его приближенные знали о замыслах барона, столь же грандиозных, сколь и опасных для хрупкой независимости Халхи, зажатой между двумя гигантами - Китаем и Россией.

Идея воссоздания державы Чингисхана, должной противостоять западной культуре, мировой революции и влиянию еврейства, была центральным пунктом политической программы Унгерна. «Это государство, - говорил он Оссендовскому, - должно состоять из отдельных автономных племенных единиц и находиться под моральным и законодательным руководством Китая, страны со старейшей и высшей культурой. В этот союз азиатских народов должны войти китайцы, монголы, тибетцы, афганцы, племена Туркестана, татары, буряты, киргизы и калмыки» <Под «татарами» надо понимать башкир, под «киргизами» - казахов.>. Целих объединения - создать военный и нравственно-философский «оплот против революции».

В 20-х годах эстляндские кузены Унгерна с понятным интересом читали и пересылали друг другу книгу Оссендовского, но относились к ней несерьезно. Они отказывались верить, что их родственник при всем своем сумасбродстве мог вынашивать подобные планы. Все это казалось экзотикой, рассчитанной на сенсацию и могущей ввести в заблуждение наивных американцев, но уж никак не ревельскую родню Роберта-Николая-Максимилиана Унгерн-Штернберга. Эти люди помнили его гимназистом, кадетом, офицером, дуэлянтом, авантюристом и пьяницей, в лучшем случае - угрюмым фантазером, но в образе Чингисхана представить не могли. К тому же Оссендовский, безжалостно беллетризуя реальность, давал поводы усомниться в своей правдивости. Под его пером Унгерн излагает эти планы во время ночной бешеной гонки на автомобиле по окрестностям Урги, отвлекаясь на реплики типа: «Это волки! Волки досыта накормлены нашим мясом и мясом наших врагов...»

Еще менее достоверным должен был казаться другой монолог барона на ту же тему. Согласно Оссендовскому, он произнес его тоже ночью, сразу же после того, как гадалка предсказала ему скорую смерть. Когда два буряты вынесли «бесчувственное тело» пророчицы, в трансе потерявшей сознание, Унгерн, «что-то бормоча», начал ходить по юрте, наконец остановился и, обращаясь к Оссендовскому, быстро заговорил: «Умру... Я умру... Но это ничего... Ничего!... Дело уже начато и не умрет. Я знаю пути, по которым пойдет оно. Племена потомков Чингисхана проснулись. Ничто не потушит огня, вспыхнувшего в сердцах монголов. В Азии образуется громадное государство от Тихого океана и до Волги!»

У родственников Унгерна эти места в книге Оссендовского должны были вызывать естественное раздражение. Им хотелось видеть его обычным белым генералом с обычной

разумной идеологией, чтобы гордиться этим родством, а не считать своего кузена или племянника не то японским агентом, не то сумасшедшим, исповедующим идеи не менее дикие, чем те, что начертали на знаменах его враги. Многие в эмиграции не верили Оссендовскому, но по разным причинам. Одним казалось, что он, пытаясь обелить Унгерна, сознательно романтизирует и усложняет образ «дегенеративного» барона, другие не желали расставаться с мифами о героях борьбы за потерянную родину, которым прощалось все, только не планы расчленения России и полное отсутствие патриотизма. Но рассказы Оссендовского почти буквально подтверждаются признаниями самого Унгерна. Сделанные на допросах в плену, они были погребены в архивах и остались неизвестны эмигрантским историкам.

Протоколист одного из допросов записывает: «Идеей фикс Унгерна является создание громадного среднеазиатского (центральноазиатского. - Л. Ю.) кочевого государства от Амура до Каспийского моря. С выходом в Монголию он намеревался осуществить этот свой план. При создании этого государства в основу он клал ту идею, что желтая раса должна воспрянуть и победить белую расу. По его мнению, существует не „желтая опасность“, а „белая“, поскольку белая раса своей культурой вносит разложение в человечество. Желтую расу он считает более жизненной и более способной к государственному строительству, и победу желтых над белыми считает желательной и неизбежной».

А месяцем раньше, рассуждая о необходимости сплотить «в одно целое» Внутреннюю Монголию и Халху, Унгерн писал своему пекинскому агенту Грегори: «Цель союза двоякая; с одной стороны, создать ядро, вокруг которого могли бы сплотиться; все народы монгольского корня; с другой - оборона военная и моральная от растлевающего влияния Запада, одержимого безумием революции и упадком нравственности во всех ее душевных и телесных проявлениях».

Заметим, что и сказанное Унгерном на допросе, и написанное им в письме к Грегори местами дословно совпадает с текстом Оссендовского, который, видимо, и в самом деле пользовался дневниковыми записями. Но из этого следует еще один вывод: свои заветные мечты Унгерн выражал одними и теми же словами. Такое свойственно людям с навязчивыми идеями. Сама идея кажется настолько значимой, что может существовать лишь в единственном словесном воплощении, нерасторжимо слитом с ее сутью, как магическая формула или откровение боговдохновенных книг.

Политическая программа Унгерна покоилась на идеологии, выведившей его далеко за рамки Белого движения. Она близка японскому паназиатизму или, по Владимиру Соловьеву, панмонголизму, но не тождественна ему. Доктрина «Азия для азиатов» предполагала ликвидацию на континенте европейского влияния и последующую гегемонию Токио от Индии, до Монголии, а Унгерн возлагал надежды именно на кочевников, которые, по его искреннему убеждению, сохранили утраченные остальным человечеством, включая отчасти самих японцев, изначальные духовные ценности и потому должны стать опорой будущего миропорядка.

Когда Унгерн говорил о «желтой культуре», которая «образовалась три тысячи лет назад и до сих пор сохраняется в неприкосновенности», он имел в виду не столько традиционную культуру Китая и Японии, сколько неподвижную, в течение столетий подчиненную лишь смене годовых циклов, стихию кочевой жизни. Ее нормы уходили в глубочайшую древность, что, казалось, непреложно свидетельствует об их божественном происхождении. Как писал Унгерн князю Найдан-вану, оперируя не христианскими и не буддийскими, а скорее, конфуцианскими понятиями, только на Востоке блюдутся еще «великие начала добра и чести, ниспосланные самим Небом». Кочевой образ жизни был для Унгерна идеалом отнюдь не отвлеченным. Он не рассыпался при столкновении с действительностью, напротив - из нее и возник. Харачины, хадхасцы, чахары не разочаровали барона, поклонника Данте и

Достоевского, не оттолкнули своей первобытной грубостью. В его системе ценностей грамотность или гигиенические навыки значили несравненно меньше, нежели воинственность, религиозность, простодушная честность и уважение к аристократии. Наконец, важно; было, что во всем мире, одни только монголы остались верны не просто монархии»но высшей из ее форм - теократии.

Унгерн знал их язык, обычаи, носил монгольское платье. Он не фальшивил, когда заявлял, что «вообще весь уклад восточного быта чрезвычайно ему во всех подробностях симпатичен». В Урге, где имелось немало домов европейского типа, Унгерн предпочел жить в юрте, поставленной во дворе одной из китайских усадеб. Там он ел, спал, принимал наиболее близких ему людей. Если тут и присутствовал элемент политического расчета, то не в такой степени, как казалось его врагам. .Разумеется, Унгерн и чисто по-актерски играл выбранную им для себя роль, но это была роль действующего лица исторической драмы, а не участника маскарада. Сам он, пусть не вполне осознанно, должен был ощущать свой туземный стиль жизни чем-то вроде аскезы, помогающей постичь смысл бытия.

При всем своем отвращении к западной цивилизации Унгерн так же не похож на бегущего от нее Поля Гогена, как Монголия не похожа на райские берега Таити. В его бунте нет ничего от эстетики. «Барон Унгерн, - пишет Волков, - давнишний враг всего, что он объединяет в презрительном слове „литература“. Он не выявил нам печатно свою идеологию. Но все имевшие дело с ним сходятся в одном: барон никогда не доводит мысль до конца, его беседы - нелепые скачки, невероятное перепрыгивание с предмета на предмет. Объяснение всего этого кроется в недоступных извилинах его мозга».

В плену Унгерна спросили однажды, не приходила ли ему мысль «изложить свои идеи в виде сочинения». Он ответил, что никогда не пытался перенести их на бумагу в таком виде, хотя и «считает себя на это способным». Самонадеянности тут нет. Писал Унгерн лучше, чем говорил (насколько можно судить по протоколам). Жизнь в «узковоенной среде»сделала его речь грубой, лексику - близкой к солдатскому жаргону. В письмах это сглажено, там есть претензия на стиль. Но во всех случаях перед нами не система идей, а скорее, их сумма, где слагаемые легко меняются местами. В протоколах допросов Унгерна встречаются пометы типа «затрудняется объяснить», когда ему предлагалось расшифровать какой-то из употребляемых им символов. Сами слова, которыми он оперировал, кажутся не столько понятиями, сколько образными сгустками мифологизированной реальности.

Идеология Унгерна построена по принципу славянофильской, но с той существенной разницей, что место России, призванной спасти человечество, заняла Монголия, православие заменил буддизм, а свою относительно скромную миссию российские самодержцы уступили Циням с их грядущим панконтинентальным мессианством <Именно в этом смысле следует понимать слова Унгерна о том, что «спасение мира должно произойти из Китая».>. Если прибавить сюда поход «диких народов»на Запад, то этим исчерпывается круг его идей, которые, по словам Волкова, заставляли даже «близких друзей говорить о сумасшествии барона». И все-таки безумие Унгерна измерялось лишь верой в возможность осуществления этих планов, уверенностью в собственной роли при воплощении их в жизнь, а вовсе не самими идеями. Их в то время высказывали многие вполне нормальные люди.

В 1921 году, когда Унгерн, сидя в Урге, собирал войска для похода на Россию и Китай, на другом конце континента, в Софии, несколько его ровесников, молодых русских историков, выпустили книгу статей под знаменательным названием: «Исход к Востоку». Это был первый клич нарождающегося евразийства, политической философии, созданной «кочевниками Европы»русскими эмигрантами.

Для Трубецкого, Савицкого, Сувчинского и их единомышленников имя Чингисхана значило не меньше, чем для Унгерна. Они тоже опасались триумфального шествия нивелирующей культуры Запада и предсказывали всемирное антиевропейское движение,

пусть с Россией в авангарде, а не с Монголией и Китаем. Точно так же, как Унгерн, они отрекались от либерализма отцов, предвидели наступление эпохи «нового средневековья», когда народы будут управлять не учреждениями, а идеями, надеялись на появление великих «народоводителей» и не верили, что сумеречная во всем, кроме эмпирической науки и техники, европейская цивилизация сумеет выдвинуть идеологию, способную соперничать с коммунистической. Очень похоже рассуждал и Унгерн; в одном из своих писем он утверждал, что Запад обречен, ибо в борьбе с революцией «не вводит в круг действия идей, вопросов морального свойства». И сам Унгерн, и евразийцы были убеждены, что они такими всеобъемлющими идеями обладают. Но в одном случае это была сложнейшая историософская теория, разрабатываемая десятками интеллектуалов, а в другом - хаос деклараций, сведенных в подобие доктрины самой жизнью человека, их провозгласившего.

Главным для Унгерна и евразийцев было географически-буквальное прочтение евангельского «свет с востока»: с заглавной буквы они читали не первое слово, а последнее. Хотя западная граница «Востока» очерчивалась ими различно, в обоих случаях ядром его должна была стать держава Чингис-хана под новым названием. В этом пространстве встречались евразийский «исход к Востоку» и унгерновский «поход на Запад». Здесь становился безразличен цвет знамени, осеняющего оба эти движения. Для евразийцев, как и для Семенова, это мог быть красный флаг, для Унгерна - буддийская хоругвь.

Если в манифестах евразийцев провозглашалось, что по типу организации их объединение «ближе всего стоит к религиозному ордену», то Унгерн мечтал о создании «ордена военных буддистов», как Сталин - о превращении большевистской партии в «орден меченосцев», а Гиммлер - о возрождении немецких рыцарских орденов. Образ носился в воздухе, сближая всех тех, кто по-разному и с разными целями стремился воссоздать средневековые структуры в их религиозно-духовной или грубо социальной форме. И хотя Унгерн был яростным противником большевиков, его деятельность в Монголии напоминает и фашистские эксперименты, и первые коммунистические опыты, к которым, кстати сказать, евразийцы относились достаточно терпимо <Кое-какие частные идеи евразийцев Унгерн осуществил на практике. Если один из них, Малевский-Малевич, считал, например, что будущая евразийская армия должна состоять из национальных частей, причем в ней будут употребляться «язык командования (русский) и командный язык (национальности войскового формирования)», то в Азиатской дивизии так оно и обстояло на деле.>

Наконец, последнее, что роднит ургинского диктатора с хозяевами Московского Кремля и пражскими или парижскими евразийцами, - это сознание, что старый мир рухнул навсегда, возврата не будет, начинается новая эра не только национальной, но и всемирной истории. Для Унгерна одна катастрофа, гибельная, наступила; другая, спасительная, еще грядет. Себя он считал призванным ускорить ее приход. Уже в плену он сожалел, что в своем последнем приказе по дивизии не изложил «самого главного - относительно движения желтой расы». Унгерн даже уверен был, что «об этом говорится где-то в Священном Писании», но не знал, где именно. По его словам, он просил отыскать это место, но «найти ему не могли». Тем не менее он не сомневался в существовании такого пророчества. Суть его будто бы состояла в следующем: «Желтая раса должна двинуться на белую - частью на кораблях, частью на огненных телегах. Желтая раса соберется вкуче. Будет бой, в конце концов желтая осилит» <Очевидно, Унгерн имел в виду библейский миф о Гоге и Магоге (Иезек., 38-39), трансформированный в его воображении до полной неузнаваемости. Он вообще всегда все путал, но сама мысль о том, будто в Библии говорится о желтой и белой расе, свидетельствует, что Оссендовский все-таки сильно преувеличивал эрудицию барона. Культурный человек на подобные ошибки просто не способен.>

На фундаменте этой идеологии, которую Унгерну, как он говорил, «некогда было обдумать», тем более изложить «в виде сочинения», он построил конкретную программу

действий.

Она включала в себя пять последовательных этапов:

1. Взятие Урги и освобождение от китайцев всей Халхи.
2. Объединение под главенством Богдо-гэгена остальных земель, населенных народами «монгольского корня».
3. Создание центральноазиатской федерации (наряду с «Великой Монголией» первыми ее членами предполагались Тибет и Синьцзян).
4. Реставрация в Китае династии Цинь, которая «так много сделала для монголов и покрыла себя неувядающей славой».
5. В союзе с Японией поход объединенных сил «желтой расы» на Россию и далее на запад с целью восстановления монархий во всем мире.

Правда, способы и сроки осуществления двух последних пунктов этой программы Унгерн представлял себе смутно. Это был идеал, ориентир скорее духовный, чем политический. Но создание центральноазиатского государства он считал делом ближайшего будущего. Впрочем, его деятельность в этом направлении сводилась, главным образом, к писанию писем. Как всякий человек, одержимый какой-то идеей, он верил, что достаточно лишь внятно изложить ее, чтобы она завладела умами. Этих писем Унгерн разослал множество, а задумал, вероятно, еще больше. По его словам, он таким способом собирался «привлечь к своим планам внимание широких масс желтой расы» <Терминология вполне революционная, какой, в общем-то, была и сама идея.>. Некоторых адресатов он сам назвал на допросах: Пекинское правительство, Чжаи Цзолин, казахские ханы на Алтае, дербетские князья, тибетский Далай-лама. Сюда следует прибавить Семенова, который со свойственным ему здравомыслием к идеям бывшего соратника «отнесся отрицательно», агентов Унгерна в Пекине и в Маньчжурии, генерала Чжан Кунью, ургинских министров, князей Внутренней Монголии, лидера казахской партии «Алаш» Букейханова и, наконец, последнего императора маньчжурской династии, двенадцатилетнего Пу И. Вся эта грандиозная эпистолярно-пропагандистская акция была предпринята Унгерном в апреле - мае 1921 года, после победы на Калганском тракте. Никаких результатов она не дала. Несколько писем удалось перехватить красным, другие, видимо, пропали в пути. Да и те, что все-таки добрались до адресатов, не возымели на них ни малейшего действия. Никто из корреспондентов Унгерна не мог всерьез отнестись к его предложениям. В плену он сам признавался: «Ответов ни от кого не получил».

ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ ИЛИ «КНЯЗЬ ВЕЛИКИЙ»?

«Люди стали корыстны, наглы, лживы, - писал Унгерн князю Цэндэ-гуну, - утратили веру и потеряли истину, и не стало царей, а вместе с ними на стало и счастья...» Как все подобные места в его письмах, этот отрывок ритмизован в стиле мнимо-священных текстов и напоминает проповеди Заратустры у Ницше, которого Унгерн, видимо, в свое время прилежно читал. Такими рассуждениями пестрят все его послания, но это завершается странной фразой, вырвавшейся из-под пера как бы произвольно, как бы с мыслью о собственной печальной судьбе: «И даже люди, ищущие смерти, не могут найти ее».

Пассаж загадочен и заставляет в очередной раз усомниться в психической вменяемости автора, если не вспомнить, что это всего лишь перефразированный стих из «Откровения Иоанна Богослова»: «В те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее; пожелают умереть, но смерть убежит от них» (Откр., IX, 6).

Тот факт, что Цэндэ-гун, разумеется, Библию не читал, для Унгерна не важен. Он мыслит и пишет в привычной системе образов, не задумываясь над тем, как их воспримут его корреспонденты. Эсхатологические настроения были для него ненаигранными и

естественными. Ему в высшей степени присуще осознание современности как преддверия решающей битвы между светлыми и темными силами, и слова «Интернационала» о «последнем и решительном бое» могли казаться Унгерну доказательством того, что и враги его думают точно так же.

Весной 1921 года в ургинской типографии была отпечатана какая-то брошюра, содержащая исключительно выборки из Священного Писания. По замечанию Волкова, она представляла собой «плод коллективного творчества, причем сам Унгерн принимал большое участие». Кто были его соавторы, неизвестно, Оссендовский в то время еще не появился в Урге, но, очевидно, кого-то из них Унгерн и просил отыскать в Библии то место, где говорится о походе белой расы на желтую. «Основная мысль брошюры непонятна, - пишет Волков. - Быть может, желание доказать на основании Священного Писания близкий конец мира или тождество большевизма с Антихристом». В годы Гражданской войны такие попытки предпринимались многими, но наверняка замысел Унгерна шел дальше этих несомненных для него положений. Можно предположить, что в библейских пророчествах он прежде всего хотел найти подтверждение своему монархическому и паназиатскому взгляду на мир - задача почти невозможная, требующая или сознательной подтасовки, или параноической одержимости, когда доминантная идея настолько сильна и так прочно сцементирована с жизнью ее создателя, что легко вбирает в себя самый разнородный материал.

«В буддийских и христианских книгах, - говорил Унгерн, - предсказывается время, когда вспыхнет война между добрыми и злыми духами». Оссендовский, передающий эти его слова, ничуть, похоже, не преувеличивает: Унгерн сам писал Чжан Кунью, что революционеры всех наций «есть не что иное как нечистые духи в человеческом образе». Конечно, тут заметен публицистический нажим; тем не менее борьба, которую он вел с «гаминами», русскими большевиками и «красными монголами», казалась ему лишь частным случаем вечного сражения между «плюсами и минусами», как он выразился однажды на допросе. Дословно и в кавычках приведя это выражение, протоколист тут же записывает: «Точное значение терминов „плюс" и „минус" Унгерн не объяснил, придавая им религиозно-мистическо-политическое значение».

Объяснить действительно нелегко: слишком многое сходилось в этих словах. «Плюсы», скажем, это и буддизм, и китайское «Небо», и воля таинственных обитателей пещер Агарты, и направляемые ею монголы, которым Унгерн отводил примерно ту же роль, какая в марксизме признавалась за пролетариатом - роль могильщика старого мира. Этот мир должен рухнуть при столкновении Востока с Западом, после чего обновится лицо земли; Правда, сама постисторическая эпоха виделась ему как бы в тумане, заполнившем пространство между ее опорными идеологическими конструкциями, но в грандиозной космогонической битве «двух враждебных рас», желтой и белой, первая несла в себе божественное начало, вторая - дьявольское. Как все творцы такого рода концепций, никаких промежуточных элементов Унгерн не допускал. Возможность их существования напрочь исключалась мистическим магнетизмом обоих полюсов.

Уже не на допросе, а на судебном заседании в Новониколаевске кто-то из членов трибунала почему-то решил спросить Унгерна: «Скажите, каково ваше отношение к коммунизму?» Непонятно, с какой целью был задан этот вопрос и на какой ответ рассчитывал спрашивающий. Но услышал он явно не то, что хотел услышать. «По моему мнению, - сказал Унгерн, - Интернационал возник в Вавилоне три тысячи лет назад...» Ответ абсолютно; серьезен; ирония ему всегда была не свойственна как проявление упаднического западного мироощущения и просто в силу характера. Конечно, он имел в виду строительство Вавилонской башни, но и не только. В христианской традиции Вавилон - символ сатанинского начала, «мать всякого блуда и всех ужасов на земле», родина апокалиптической

«вавилонской блудницы». Там был зачат Интернационал, и в точности на ту же самую временную дистанцию - в три тысячи лет - Унгерн относил в прошлое и возникновение «желтой культуры», которая с тех пор «сохраняется в неприкосновенности». Несущественно, откуда взялась именно эта цифра. Важнее другое: две полярные силы были, следовательно, сотворены одновременно, и теперь их трехтысячелетнее тайное противостояние вылилось в открытый бой. Самого себя Унгерн ощущал и пророком, и первой зарницей близящейся грозы.

Может быть, в упоминаемой Волковым брошюре содержался и следующий стих из Апокалипсиса: «Шестый Ангел вылил чашу свою в великую реку Евфрат: и высохла в ней вода, чтобы готов был путь царям от восхода солнечного»(Откр., XVI, 12). Если так, то цари, грядущие в востока, толковались Унгерном как Цини сих всемирной миссией. Но и сама маньчжурская династия была для него лишь прологом иного, не от мира сего, царства.

Рассказав о том, как желтая раса двинется на белую - «на кораблях и огненных телегах», как «будет бой, и желтая осилит», - Унгерн заключает: «Потом будет Михаил». Кажется, речь идет о великом князе Михаиле Александровиче Романове. Именно так отнеслись к словам барона те, кто его допрашивал. Для этого у них имелись все основания. Во-первых, на трехцветном российском знамени Азиатской дивизии золотом выткано было: «Михаил II» <Первым считался Михаил Феодорович, основатель династии.>. Во-вторых, в знаменитом «Приказе № 15», который Унгерн издал перед выступлением из Урги на север, говорилось: «В народе мы видим разочарование, недоверие к людям. Ему нужны имена, имена всем известные, дорогие и чтимые. Такое имя одно - законный хозяин Земли Русской Император Всероссийский Михаил Александрович, видевший шатанье народное и словами своего Высочайшего Манифеста мудро воздержавшийся от осуществления своих державных прав до времени опаматования и выздоровления народа русского».

В начале 1918 года великий князь Михаил Александрович Романов, младший брат Николая II, был выслан из Петрограда на Урал, в Пермь, где его тайно вывезли из гостиницы за город и убили. Но официально было объявлено, что ему удалось бежать. В его чудесное спасение охотно поверили, и, казалось, организаторы убийства могли быть довольны: версию о побеге мало кто подвергал сомнению. Но здесь их подстерегал сюрприз, какого эти люди с их плоским рационализмом никак не ожидали. Они принимали в расчет все, кроме иррациональности народного сознания, и не предвидели, что ими же порожденный призрак способен начать новую, уже не подвластную им жизнь.

Гибель и рассеяние императорской фамилии сделали самозванчество массовым. Якобы уцелевшие дети государя объявлялись то в Омске, то в Париже (один из лжецесаревичей, некий Алексей Пуцятю, при Семенове сидевший в читинской тюрьме, позднее стал членом РКП(б) и занимал какую-то видную должность в политуправлении Народно-Революционной армии ДВР). Все они рано или поздно подвергались разоблачению, а Михаил Александрович так ни разу и не появился во плоти. Но что он жив и где-то скрывается, в белой Сибири были уверены чуть ли не все - от генерала Сахарова до рядовых казаков, от министров Омского правительства, на банкетах пивших его здоровье, . до городских обывателей. Михаил Александрович стал чем-то вроде национального мессии, чье возвращение из небытия будет означать торжество прежнего, разрушенного революцией миропорядка. Лишь после разгрома Колчака вера в его скорое пришествие начала слабеть, и фельетонист одной из читинских газет мог позволить себе даже поиронизировать на эту тему. Герой фельетона сидит дома, вдруг вбегает взволнованная квартирная хозяйка и кричит с порога: «Идите скорей на базар, вся первая необходимость в цене упала. Должно, Михаил Александрович близко!»

Но полностью эта вера исчезнуть не могла, она по сути своей была религиозной и в доказательствах не нуждалась. Ее фундаментом стало библейское пророчество Даниила: «И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа твоего; и наступит

время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди, до сего времени»(Дан., XII, 1). В русской истории это пророчество фигурировало не впервые. О нем вспоминали еще в начале XVII века, когда Великая Сму́та завершилась избранием на царство Михаила Феодоровича Романова <В православной Сербии, например, пророчество Даниила всплыло в конце прошлого столетия, после убийства князя Михаила Обреновича, а в России о нем последний раз вспомнили в 1984 году, когда генеральным секретарем ЦК КПСС стал Михаил Горбачев.>. Три столетия спустя, подкрепленное исторической параллелью, оно опять приобрело популярность в связи с загадочным исчезновением Михаила Александровича. О нем знали многие, но Унгерн единственный возвел его в ранг официальной идеологии: соответствующие места из Священного Писания воспроизведены в его «Приказе № 15». Цитате предшествовало обращение к офицерам и солдатам Азиатской дивизии: «Народами завладел социализм, лживо проповедующий мир, злейший и вечный враг мира на земле, т. к. смысл социализма - борьба. Нужен мир - высший дар Неба. Ждет от нас подвига в борьбе за мир и Тот, о ком говорит Св. Пророк Даниил, предсказавший жестокое время гибели носителей разврата и нечестия и пришествие дней мира».

Видения Даниила, казалось, предсказывали картины Гражданской войны в России, и Унгерн соотносил их со своим взглядом на современность. Здесь он был похож на уральских крестьян из секты «михайловцев», которые почти через полвека после смерти Михаила Александровича продолжали верить в его скорое воскресение. Но, в отличие от этих обитателей потаенных таежных скитов на севере Прикамья, Унгерн не терял надежды на то, что великий князь еще может появиться и во плоти. Такую надежду ему подарил Оссендовский.

Их первая встреча состоялась в самом начале мая 1921 года в примонастырском поселке Ван-Хурэ, расположенном на тракте между Улясутаем и Ургой. Унгерн прибыл сюда на свидание с Резухиным и Казагранди и остановился в юрте Рибо - тот был тогда врачом 2-й бригады. В эту юрту и велено было явиться Оссендовскому <Правдивость его рассказа подтверждает Рибо в своих записках.>. Будучи наслышан о страшном бароне, он на всякий случай сунул за обшлаг рукава ампулу с цианистым калием, чтобы отравиться, если Унгерн прикажет его казнить, как только что по подозрению в шпионаже был зарублен полковник Филиппов, спутник и товарищ Оссендовского.

У входа в юрту стоял адъютант Резухина, капитан Веселовский. За поясом у него был заткнут револьвер без кобуры, в руке он держал обнаженную шашку, которой зарубил Филиппова. Лужа крови еще не впиталась в землю перед юртой.

«Не успел я переступить порог, - вспоминает Оссендовский, - как навстречу мне кинулась какая-то фигура в красном монгольском халате. Человек встряхнул мою руку нервным пожатием и так же быстро отскочил обратно, растянувшись на кровати у противоположной стены. „Кто вы такой? - истерически крикнул он, впиваясь в меня глазами. - Тут повсюду шныряют большевистские шпионы и агитаторы!“. Между тем Веселовский неслышно вошел в юрту и

остановился за спиной у Оссендовского. Шашку он по-прежнему держал в руке, не вкладывая ее в ножны и ожидая, видимо, что с этим посетителем приказано будет поступить так же, как с предыдущим. Но барон внезапно сменил гнев на милость. Как пишет сам Оссендовский, он уцелел только благодаря привычке к самообладанию. Отчасти это могло быть и так, однако, скорее всего, он вовремя успел напомнить барону о каких-то своих заслугах в борьбе с красными или связях с известными Унгерну лицами. Возможно, он состоял в свойстве с начальником штаба Азиатской дивизии Ивановским: вторая жена Оссендовского носила ту же фамилию. Как бы то ни было, Унгерн извинился за нелюбезный прием и даже отдал Оссендовскому для дальнейшего путешествия своего белого верблюда.

Следующая их встреча произошла уже в Урге. Проезжая по улице, барон заметил

Оссендовского, пригласил его сесть в автомобиль и привез к себе в юрту. Там гость осмелился напомнить хозяину, что в Ван-Хурэ тот обещал помочь ему добраться до какого-нибудь порта на тихоокеанском побережье. На это Унгерн ответил по-французски: «Через десять дней я начну действия против большевиков в Забайкалье. Очень прошу вас до той поры остаться при мне. Я столько лет вынужден находиться вне культурного общества, всегда один со своими мыслями. Я бы охотно поделился ими...» Оссендовский, естественно, согласился и, по словам Першина, «напоследок сделался чем-то вроде советника при Унгерне и усиленно подогревал его оккультизм». Но, рассказывая барону о могущественных владыках Агарты и сочувственно выслушивая его монологи о «проклятии революции», предсказанном еще Данте и Леонардо да Винчи, Оссендовский преследовал цель сугубо практическую - вырваться из Урги в Китай, к очагам цивилизации, к морю, к железной дороге. Об этом тогда мечтали все русские беженцы в Монголии, но Унгерн под страхом смерти никому не разрешал покидать столицу.

Собственно говоря, Оссендовский в своей книге и не скрывает этих планов. Он лишь ни словом не обмолвился о том, каким способом удалось ему добиться желаемого. Между тем он был столь же фантастическим, как сама фигура ургинского диктатора, как жизнь, в которой только такой способ и мог оказаться действенным.

Оссендовский рассказывает, что Унгерн, выступая в поход на север, сдержал обещание и отправил его на восток вместе с караваном, идущим к китайской границе. Через двенадцать дней пути караван без приключений достиг Хайлара - видимо, пограничные посты были подкуплены. Там Оссендовский сел в поезд и с комфортом, отбыл в Пекин, откуда затем перебрался в Америку. Поговаривали, однако, что из Урги он выехал тоже с достаточным комфортом - в автомобиле с личным шофером Унгерна, с несколькими конвойными казаками и крупной суммой денег. Першин слышал, что барон дал ему какое-то «важное задание», хотя и не знал, какое именно. Покров таинственности над этим поручением и вообще над причинами странной привязанности, которую Унгерн питал к этому человеку, приоткрывает Бурдуков - тот самый русский колонист, восемь лет назад сопровождавший барона в поездке от Улясутая до Кобдо. Как пишет Бурдуков, Оссендовский с присущим ему даром убеждения сумел внушить Унгерну, будто он один знает место, где скрывается Михаил Александрович, обещал доставить его в Монголию, конечно же, получил деньги на расходы, связанные с выполнением этой ответственной миссии. По-видимому, Оссендовский должен был действовать в комплоте с пекинским агентом барона, Грегори. Отсылая ему свои инструкции, Унгерн писал: „Верьте «профессору!»“

Тем самым Оссендовский сумел увернуться от другого, куда более опасного поручения, которое собирался дать ему барон. Служивший при штабе Азиатской дивизии поляк Гижицкий сообщает, что в то время Унгерн хотел отправить кого-нибудь послом к Далай-ламе и в конце концов остановил свой выбор на Оссендовском. Само собой, такая перспектива его ничуть не прельщала.

Оссендовский виртуозно сыграл на слабых струнах своего покровителя. Впрочем, обмануть Унгерна было нетрудно. Маниакальная подозрительность уживалась в нем с доверчивостью. Это свойственно людям с сознанием своей свыше предопределенной миссии: они уверены, что обмануть их невозможно. Презирая большинство своих соратников, Унгерн время от времени приближал к себе кого-нибудь из них, кто, как ему казалось, был исключением из общего правила. В последние месяцы жизни барона его фавориты сменялись, как в калейдоскопе. Почти все они проходили один и тот же путь от демонстративной близости до неизбежной опалы и даже казни. Обманутых ожиданий Унгерн не прощал никому. Вероятно, и Оссендовскому была уготована та же судьба, просто за десять дней барон не успел в нем разочароваться. Ему тоже предстояло пасть под бременем возложенных на него и не оправдавшихся надежд. Но его расчет оказался точен, да и план,

суливший свободу и богатство, строился не на пустом месте: ходили упорные слухи, будто Михаил Александрович, бежав из России, после долгих скитаний нашел приют в Шанхае, в доме заводчика Путилова. Назывались и другие китайские адреса - Пекин, Тяньцзин. Маршрут Оссендовского пролегал именно в этом направлении. Деньги, полученные им в Урге, дали ему редкую для русского беженца возможность безбедно начать новую жизнь.

Но сам великий князь Михаил Романов и грядущий спаситель мира - «Михаил, князь великий», чье пришествие предрекал пророк Даниил, для Унгерна не сливались воедино. Первый был фигурой национального масштаба, второй - сакральной и всемирной. Их предполагаемое тождество декларировалось только в пропагандистских целях, Унгерн в него не верил. На допросе он прямо, заявил, что под библейским Михаилом вовсе не подразумевал Михаила Романова и что «Михаил, указанный в Священном Писании, ему неизвестен».

Но кое-какие догадки на этот счет можно высказать.

«Великий Дух Мира, - в беседе с Оссендовским говорил Унгерн, вообще склонный оперировать безличными деистическими формулировками, - поставил у порога нашей жизни „карму“, которая не знает ни злобы, ни милости. Расчет будет произведен сполна, и результатом будет голод, разрушение, гибель культуры, славы, чести и духа, гибель государств и народов среди бесчисленных страданий. Я вижу эти ужасные картины развала человеческого общества...»

В ряду тех, кто все это предсказывал, Унгерн вместе с Иоанном Богословом, Данте, Гёте и Достоевским упомянул тибетского Таши-ламу, он же - Панчен-лама, второе лицо в ламаистской иерархии. В отличие от Далай-ламы, обладавшего и правами светского владыки, Таши-лама был авторитетом исключительно духовным. Но здесь он не имел себе равных. Его резиденция Таши-Лунпо считалась центром изучения тантрийской доктрины Калачакра и связанного с ней культа Шамбалы. По традиции всем Таши-ламам приписывалось мистическое участие в делах этой скрытой от смертных таинственной страны и знание ведущих в нее путей. Самый известный из путеводителей в Шамбалу составил Таши-лама III, живший в XVIII веке. В 1915 году в Мюнхене тибетолог Грюнведель опубликовал перевод этого сочинения, но маловероятно, чтобы Унгернего читал. Кое-что он, видимо, слышал у Шамбале и раньше, остальное почерпнул из рассказов своих монгольских соратников и советников.

Считалось, что ханы Шамбалы властвуют по сто лет, и Таши-лама III разработал теорию, согласно которой он сам в одном из своих будущих перерождений станет последним, 25-м ханом Шамбалы под именем Ригдан-Данбо (по-монгольски - Ригден-Джапо) и начнет священную «северную войну» с неверными-лало. Это произойдет на восьмом году его правления, по европейскому летоисчислению - в 2335 году (правда, насчет сроков существовали разные мнения). Вначале будут побеждать лало, но конечная победа останется за буддистами и воинством Шамбалы, «желтая религия» распространится по всей земле, после чего сойдет в мир ламаистский мессия - Будда Майтрейя, владыка будущего.

Именно это предсказание имели в виду миссионеры Гюк и Габе, и его же Владимир Соловьев преобразил в свое мрачное пророчество о завоевании Европы народами желтой расы. Эта легенда волновала и Николая Рериха, который старательно записывал рассказы о том, что «Шамбала идет», и даже подарил революционному Монгольскому правительству свою картину с изображением Ригдан-Данбо. В торжестве русской революции Рериху хотелось видеть предвестье скорого пришествия Майтрейи. Но если для него большевики были чем-то вроде не сознающих свое истинное предназначение агентов Шамбалы, то Унгерн усматривал в них ее главных противников. В его представлениях светлая Шамбала сливалась, видимо, с подземным царством Агарты, чьи властители в конце времен пошлют на землю неведомый народ. Унгерн был убежден, что этот народ - монголы. Он всегда ценил их чрезвычайно высоко, а состоявшие при нем ламы могли рассказать ему то, что Оссендовский

слышал от настоятеля одного из монастырей - Нарабанчи-хутухты.

Излагая свое видение, тот говорил: «Вблизи Каракорума и на берегах Убса-Нора вижу я Огромные многоцветные лагеря, стада скота, табуны лошадей и синие юрты предводителей. Над ними развеваются старые стяги Чингисхана... Я не слышу шума возбужденной толпы, певцы не поют монотонных песен гор, степей и пустынь. Молодые всадники не радуются бегу быстрых коней. Бесчисленные толпы стариков, женщин и детей стоят одиноко, покинутые, а небо на севере и на западе (т. е. там, где простираются земли лало. - Л. Ю.) всюду, где только видит глаз, покрыто красным заревом. Слышен рев и треск огня и дикий шум борьбы. Кто ведет этих воинов, проливающих свою и, чужую кровь под багровым небом?»

Очевидно, Унгерн надеялся, что этим человеком будет он сам. Да и не он один так думал. В Монголии долго сохранялся слух о том, будто перед последним походом на север Богдо-гэген подарил барону рубиновый перстень со свастикой, принадлежавший якобы самому Чингисхану.

Революцию в России Унгерн считал началом конца всей европейской цивилизации, которая будет окончательно разрушена апокалиптическим столкновением двух рас, причем, как он говорил, «собравшихся вкупе». Затем, после победы „желтой расы“, и должен явиться Михаил. Но саму эту победу Унгерн соотносил с буддийской экспансией на запад. По его словам, покорение кочевниками Сибири возможно лишь при условии «проникновения буддизма в среду русских». Предполагалось, надо думать, и его дальнейшее триумфальное шествие. У красных командиров такие высказывания барона могли вызвать лишь дополнительные сомнения в его здравом рассудке. «Заражен мистицизмом, - характеризуется он в протоколе одного из допросов, - и придает большое значение в судьбе народов буддизму».

Нет, кажется, никакой логики в том, что библейский Михаил должен почему-то появиться на развалинах поглощенных «желтым потопом», обращенных в «желтую веру» России и Европы. Но противоречие исчезает, и вся картина обретает совершенно иной смысл, если на место «Михаила, князя великого», подставить не Михаила Александровича Романова, а Будду Майтрею, в монгольском произношении - Майдари. В китайской же транскрипции - Милэ, имя буддийского мессии и вовсе приближалось по звучанию к имени спасителя в пророчестве Даниила.

О существовании этого чрезвычайно почитаемого монголами божества Унгерн, безусловно, знал, наверняка бывал в храме Майдари-сум, где стояло его гигантское позолоченное изваяние, и весной 1921 года мог наблюдать в Урге ежегодный праздник «Круговращение Майдари»: в этот день статую «добротного Будды» торжественно везут на зеленой колеснице в окружении тысячных толп, и ламы вырывают друг у друга оглобли, ибо тот, кому посчастливится хоть несколько шагов провезти Майдари, впоследствии возродится для вечной жизни в его будущем царстве.

Едва ли Унгерну были известны все подробности его пребывания на небе «Тушита» - в мире богов на вершине горы Сумеру, где ныне он находится в чине бодисатвы. Но достаточно было знать главное: Майдари должен появиться на земле, когда после победы Шамбалы «колесо учения» Будды прокатится по всему миру и народы объединятся под скипетром единого праведного властителя-чакравартина, какими в прошлом были Чингисхан и Хубилай. Затем наступит вселенское царство Майдари - последний и бесконечный период всемирной истории, своего рода постистория. Именно поэтому из всех божеств ламаистского пантеона один Майдари изображался сидящим на троне по-европейски, с ногами не поджатыми под себя, а спущенными вниз - в знак готовности сойти на землю. Но эту позу Унгерн вполне мог счесть и свидетельством его западного происхождения, вернее - какого-то особого, синкретического. Люди такого склада легко строят глобальные концепции, опираясь

на сугубо внешнее и частное.

Но торжеству воинов Ригдан-Данбо и пришествию Майдари должны предшествовать обычные перед концом света бедствия: эпидемии, войны, повреждение нравов, физическое вырождение человека и животных - словом, все то, что предсказывал пророк Даниил накануне явления Михаила и что Унгерн в годы Гражданской войны видел вокруг себя в настоящем или предвидел в ближайшем будущем.

Он, возможно, так со всей определенностью и не сформулировал для себя тезис о том, что Михаил и Майдари есть лишь два имени одной сущности, но мир его идей вообще зыбок и расплывчат. Здесь все плавает в бессловесном тумане, колеблется, подразумевается. Во всяком случае, он вполне способен был считать себя предтечей грядущего мессии. Если это так, тогда все разнородные и трудносовместимые элементы его доморощенной эсхатологии уже не кажутся противоречащими друг другу. Реставрация европейских монарших домов и династии Цинь становится прологом всемирной монархии теократического толка, а вера в Священное Писание не исключает уверенности, что распад прогнившего, охваченного революционным безумием Запада будет сопровождаться триумфом буддизма, ускорить который должна центральноазиатская федерация кочевых народов. В таком случае система взглядов Унгерна обретает ту завершенность, цельность и абсолютную самодостаточность, какие свойственны порождениям параноического мышления.

И очень может быть, что все эти видения «ужасных картин развала человеческого общества» вставали перед ним в моменты галлюцинаций, вызванных кокаином или опиумом.

КРОВЬ НА ЛОТОСЕ

Однажды глубокой ночью Унгерн привез Оссендовского к монастырю Гандан. Автомобиль с шофером они оставили у ворот и в темноте, сквозь лабиринты узких проходов между кумирнями, юртами и двориками с трудом выбрались к вершине холма, к храму Мижид Жанрайсиг. «У входа, - пишет Оссендовский, - горел единственный фонарь. Обитые железом и бронзой тяжелые двери были заперты, но Унгерн ударил в висевший рядом большой гонг, и со всех сторон сбежались перепуганные монахи. Увидев страшного барона, все пали ниц, не смея поднять головы. „Встаньте! - сказал им генерал. - И впустите нас в храм..." Как и в большинстве ламаистских храмов, тут висели все те же многоцветные флаги с молитвами, символическими знаками и рисунками, с потолка спускались шелковые ленты с изображениями богов и богинь. По обеим сторонам алтаря стояли низкие красные скамейки для лам и хора. Мерцающие лампы бросали обманчивый свет на золотые и серебряные сосуды и подсвечники, стоявшие на алтаре, позади которого висел тяжелый желтый шелковый занавес с тибетскими письменами. Когда ламы отдернули этот занавес, то в полумраке, едва освещаемая лампадой, показалась золоченая статуя сидящего на лотосе Будды... Согласно ритуалу барон ударил в гонг, чтобы обратить внимание бога на свою молитву, и бросил пригоршню монет в большую бронзовую чашу. Затем этот потомок крестоносцев, прочитавший всех философов Запада, закрыл лицо руками и стал молиться. На кисти его левой руки я заметил черные буддийские четки...» Когда минут через десять они вышли наружу, Унгерн сказал: «Я не люблю этого храма. Он новый и сооружен недавно, после того, как ослеп „живой Будда". Прошло слишком мало времени, чтобы на лице Бога запечатлелись все слезы печали, надежды и благодарности молящихся».

Действительно, Мижид Жанрайсиг был построен лишь в 1914 году; Унгерн не чувствовал в нем мистической тайны, да и в остальном все очень похоже на правду - вплоть до четок на запястье. Сомнительно, чтобы Унгерн прочел «всех философов Запада», - в таком случае он должен был и говорить, и писать несколько иначе, но если бы он распахнул халат, Оссендовский мог бы заметить то, что позднее видел Алешин: висевшие на шее у барона

шнурки с амулетами и ладанками-гау.

В его свиту входило до десятка лам, он посещал буддийские монастыри и при хроническом безденежье жертвовал им крупные суммы, чем раздражал своих соратников <Впрочем, характер барона проявлялся даже в сфере этих, чрезвычайно важных для него отношений, и в Гусиноозерском дацане он приказал выпороть поголовно всех лам «за грабеж обоза».>. Того же Оссендовского, например, Унгерн уверял, что когда Джалханцзы-лама, премьер-министр ургинского правительства, взволнован или погружен в свои мысли, «его голова излучает сияние».

Но был ли Унгерн настоящим буддистом или только любопытствующим и суеверным профаном? Оставался ли при этом христианином?

Последний вопрос отчасти лишен смысла. От других религий буддизм отличается исключительной веротерпимостью, и, как замечает один из его исследователей, «истинный буддист легко может быть одновременно лютеранином, методистом, пресвитерианцем, кальвинистом, синтоистом, может исповедовать католицизм или даосизм, являться последователем Магомета или Моисея». Для Унгерна это было тем проще, что хотя он и объявил себя «человеком, верующим в Бога и Евангелие и практикующим молитву», но отрицал свою принадлежность к какой-то определенной конфессии, говоря, что «верит в Бога как протестант, по-своему».

В жизни он придерживался старого принципа: Бог один, веры разные. В Азиатской дивизии заведен был ежевечерний ритуал: на заходе солнца выстраивались все сотни, сформированные по национальному признаку, и каждая хором читала свои молитвы. По словам есаула Макеева, это было «прекрасное и величественное зрелище». При всем том в дивизии не было ни походной церкви, ни священника. Унгерн, по-видимому, считал, что между настоящим воином и Богом нет и не может быть никаких посредников и что молитва, пропетая в воинском строю, вернее достигает небес, нежели произнесенная в храме любой религии.

Будучи по рождению лютеранином, Унгерн никогда не выказывал особенного религиозного усердия, но формально сохранял верность религии предков и в православие не переходил. Ему важно было сознавать себя звеном в семейной цепи, поэтому свой интерес к буддизму он стремился представить как исконно семейный, наследственный. «Буддизм был вывезен из Индии нашим дедом (имеется в виду прапрадед. - Л. Ю.), - говорил Унгерн, - к этому учению примкнул мой отец, а затем и я». Но стать буддистом в Мадрасе, где побывал Отто-Рейнгольд-Людвиг Унгерн-Штернберг, в XVIII веке было почти так же сложно, как в Ревеле. К тому времени учение Будды давно ушло на север, в самой Индии исчезнув до полного забвения. Унгерн или намеренно смешивал буддизм с индуизмом, или неясно представлял себе различия между ними. Гораздо вероятнее, что для его отца, доктора философии Лейпцигского университета, источником интереса к буддизму стал Шопенгауэр, которого вполне мог читать и сын. Все остальное - семейная легенда или фантазия самого Унгерна. Разница между Кришной и царевичем Гаутамой для него была несущественна. В Индии он точно так же склонился бы к индуизму, как в Монголии - к ламаизму: его привлекал сам дух восточных религий с их экзотическими культами, отрицанием ценности человеческого «я», верой в переселение душ и мрачным фатализмом <«Признал себя фаталистом и сильно верит в судьбу», - записал об Унгерне один из тех, кто допрашивал его в плену. «Глубокий фатализм привел его к буддизму», - подтверждает эти слова современник барона, знакомый с ним по Харбину.>. Вырождение Запада он неизбежно должен был связывать с тем, что вся новоевропейская цивилизация строилась на прямо противоположных принципах. Власть эгоистического разума привела к революционному безумию, и наоборот: жизнь, проникнутая кажущимся безумием безличной восточной мистики, сумела сохранить устойчивость и упорядоченность своих форм. Ближайший тому пример - Монголия.

«Считает себя призванным к борьбе за справедливость и нравственное начало, основанное на учении Евангелия», - так характеризуется пленный барон в протоколе одного из допросов. И тут же: «Придает большое значение в судьбе народов буддизму». Противоречия здесь нет. Унгерн полагал себя призванным к тому, чтобы обратить человечество лицом вспять, к изначальным божественным заветам, от которых давно отступило западное христианство. В таком взгляде на вещи он вовсе не был одинок. У него имелись двойники среди тех, кого он считал злейшими своими врагами.

В ноябре 1919 года выходявшая в Берлине газета «Русский голос» опубликовала очерк А. Керальника «Аракеса-сан», излагающий историю некоего Алексея К. <Совпадение инициалов наводит на мысль, что герой есть второе «я» автора.>, буддиста и большевистского агитатора. Первый раз автор увидел его незадолго до революции, в Японии, в главном буддийском храме Киото: «В глубине храма, у алтаря, на котором сверкал огромный голый Будда, женоподобный и круглый, бонза гнусавым голосом читал молитву. Восточные курения, усыпляющий речитатив бонзы и монотонное причитывание японцев навели на меня странное полусонное состояние... Когда я очнулся, в храме было пусто, молящиеся разошлись. Лишь серебряная лампада над головой Будды освещала алтарь, отбрасывая тени на стены и на пол. Внезапно одна из теней ожила. Высокий человек встал на колени и припал головой к ногам Будды. И вдруг я услышал: „Отче наш...“ Я продолжил: „Иже еси на небеси“. Тогда человек бросился ко мне: „И вы, брат мой, пришли к нему? Он - конец и начало, он - истина!“ На мгновение он обнял меня, затем повернулся и торопливо ушел. Я вышел вслед за ним...» Стоявший возле храма рикша объяснил, что это «Аракеса-сан», т. е. Алексей, русский, женатый на японке и живущий в Киото.

Следующая встреча произошла весной 1918 года в Петрограде. На этот раз автор увидел своего героя в ином образе: Аракеса-сан выступал с речью перед группой рабочих возле цирка «Модерн» на Каменноостровском проспекте. «Я прислушался, - рассказывает Керальник. - Это была не большевистская речь, а какая-то проповедь потустороннего духовного столпничества. Все разрушить, что половинчато, сорвать все ткани и покровы - ткани слов, покровы лжи. Парламент - ложь, собственность - ложь. Жизнь общая, первоисточная - истина общая. Надо быть правдивым до конца. История - сплошная ложь. Буржуазия хочет ее увековечить, прикрепить нас к ней...» А через несколько дней в советских газетах появилось сообщение, что «товарищ комиссар Алексей К.», служивший в продотряде, «убит крестьянами при очередном восстании».

Если даже сама эта фигура вымышлена, то тенденция угадана точно: вынужденные или добровольные попытки примирить социалистические идеи с учением Будды предпринимались в то время многими.

В 1926 году в Урге, уже ставшей Улан-Батором, Николай Рерих выпустил брошюру под названием «Основы буддизма». Анонимное предисловие к ней было, как указывает автор, «дано высоким лицом буддийского мира», но не исключено, что за этим «лицом», как и за приславшими письмо Ленину гималайскими «Махатмами», скрывается сам Николай Константинович. В предисловии сказано, что Гаутама-Будда «дал миру законченное учение коммунизма» и многозначительно сообщается: «Знаем, как ценил Ленин истинный буддизм». В основном тексте брошюры говорится, что «силы, которыми обладает Будда, не чудесны» и его мощь «согласуется с вечным порядком вещей». Но предисловие преображает эти бесспорные, в общем-то, истины: система ленинских «заветов» объявляется восходящей к учению Будды, а через него - к неизменным основам мироздания.

Об этом же выраженном в буддизме «вечном порядке» говорил и Унгерн, хотя понимал его иначе. Для него революция была удалением от истины Востока, а для буддиста-продотрядовца - приближением к ней, как и для Рериха. Если из пассажей предисловия к его брошюре убрать слово «коммунизм», заменив его на «монархизм», а

вместо Ленина подставить китайского императора из династии Цинь, то текст вполне мог принадлежать Унгерну.

Классический буддизм - религия без бога, и он это понимал. Видел он и формальное сходство между ламаизмом как стержнем всей жизни кочевников и социализмом, претендующим на ту же роль. Когда в плену его спросили, как он относится к коммунизму, Унгерн ответил: «Это своего рода религия. Не обязательно, чтобы был бог. Если вы знакомы с восточными религиями, они представляют собой правила, регламентирующие порядок жизни и государственное устройство <В беседе с писателем Заварзиным барон высказал аналогичную мысль, но в качестве примера «восточной религии» привел конфуцианство.>. То, что основал Ленин, есть религия». Отсюда и осмысление Унгерном своей войны с большевиками как религиозной с обеих сторон. «Я не согласен, - говорил он, - что в большинстве случаев люди воюют якобы за свою „истерзанную родину". Нет, воевать можно только с религиями!»

Унгерн, видимо, полагал, что в этой борьбе христианство уже доказало свою неспособность успешно противостоять сатанинской псевдорелигии. Оставалось уповать на буддизм, который принесут в Сибирь монголы и, может быть, японцы. Рассчитанный, как говорил Унгерн, «на несколько лет», но оттого не менее фантастический план обращения сибирских мужиков в лоно учения Будды не должен был казаться ему несбыточным уже по одному тому, что религию того же толка, лишь с обратным знаком, они приняли без особого сопротивления, поддержав не белых, а красных.

Осенью 1913 года, когда Унгерн во время своего первого путешествия в Монголию жил в Кобдо, на западе Халхи шла борьба между монголами и алтайскими казаками, приходившими из китайской провинции Шара-Сумэ. Они нападали на кочевья, угоняли скот. В постоянных стычках самое деятельное участие принимал отряд Джа-ламы. Его приближенные рассказывали Бурдукову следующий эпизод: «После боя киргизы (казахи. - Л. Ю.) разбежались, оставив несколько человек раненых. Один, очевидно тяжело раненный, статный и красивый молодой киргиз сидел гордо, опершись спиной о камень, и спокойно смотрел на скачущих к нему монголов, раскрыв грудь от одежды. Первый из подъехавших всадников пронзил его копьем. Киргиз немного наклонился вперед, но не застонал. Джа-лама приказал другому сойти с коня и пронзить его саблей. И это не вызвало у него стоны. Джа-лама велел расплатать киргизу грудь, вырвать сердце и поднести к его же глазам. Киргиз и тут не потерял угасающей воли, глаза отвел в сторону и, не взглянув на свое сердце, не издав ни звука, тихо свалился».

Джа-лама распорядился целиком снять с мертвого кожу и засолить ее для сохранения. Позднее, при его аресте, эту кожу нашли, сфотографировали и будто бы даже увезли в Россию как свидетельство варварской, преступной жестокости Джа-ламы. Его свирепость не подлежит сомнению, однако в данном случае она ни при чем. Даже люди, ненавидевшие Джа-ламу, признавали сугубо религиозные мотивы этого поступка. Они говорили Бурдукову, что при совершении некоторых обрядов в храмах расстилается белое полотно, вырезанное в виде человеческой кожи и символизирующее злого духа - мангыса. В старину для таких обрядов использовались натуральные кожи настоящих мангысов, но теперь они имеются только в Лхассе, больше их нигде нет, сам Богдо-гэген вынужден довольствоваться имитациями. Как считали собеседники Бурдукова, беспримерная сила духа, проявленная молодым казаком перед лицом смерти, выдавала в нем великого батыра, но батыра, который связан с темным, демоническим началом мира, т. е. мангыса. Следовательно, его кожа годилась для богослужений. Помимо прочего, она могла стать дополнительным аргументом в пользу Джа-ламы, соперничавшего с Богдо-гогэном за духовную власть над Халхой.

Многие русские в Кобдо задавались вопросом, как подобное изуверство сочетается с милосердным учением Будды. Но для Унгерна, который, наверняка, слышал об этой коже, а

возможно, и видел ее собственными глазами, такой проблемы не существовало ни тогда, ни потом. Он, видимо, не усматривал здесь противоречия. Ламаизм был для него не столько религией и уж тем более не философской доктриной, сколько чем-то вроде разновидности магии, особо эффективным способом воздействия на сверхприродные силы и одновременно опытом каждодневной жизни вблизи этих сил. Подобный интерес был вполне в традициях рода Унгерн-Штернбергов. Содранная с убитого казаха кожа, храмовые духовые инструменты из человеческих костей или из того же материала изготовленные зерна ламских четок должны были казаться ему явлением одного порядка с кровавой атрибутикой «черной мессы» тамплиеров. «Габала» - используемый при некоторых церемониях священный храмовый сосуд из опиленного по параллели глазной орбиты и оправленного в серебро человеческого черепа <«Габала» изготавливалась из черепа девственника, умершего естественной смертью и не убившего ни одного живого существа. В нее наливалась кровь жертвенных животных для призывания грозных дхармапала.> - могла напомнить и эмблему розенкрейцеров, и традиционный череп на столе алхимика - например, в замке барона Вильгельма Унгерн-Штернберга по прозвищу «Брат Сатаны». «Всю мою жизнь я посвятил войне и изучению буддизма», - с явным пережимом утверждал Унгерн. Сомнительно, чтобы его сильно привлекала классическая буддийская философия. Зато должен был интриговать тантризм - мистическое учение о том, что любой цели, даже нирваны, можно достичь с помощью тайных заклинаний, позволяющих вступить в прямой контакт с богами. Среди окружавших Унгерна лам были астрологи, гадатели, предсказатели, но не богословы. В походах они жили в отдельной палатке, стоявшей рядом с палаткой самого барона, и он каждый вечер уединялся с ними для долгих бесед и гаданий. Они толковали знамения, указывали счастливые числа, назначали сроки военных операций и даже маршруты движения войск, ориентируясь по звездам или по трещинам на брошенной в огонь бараньей лопатке. Все их советы Унгерн принимал как глас божий и выполнял неукоснительно.

Перед последним наступлением в Забайкалье эти «невежественные грязные кривоногие пифии», как Рибо характеризует лам из свиты барона, предсказали Унгерну неудачу, если в расположении войск будет убита хоть одна змея. Между тем лагерь дивизии находился на низком, заболоченном берегу Селенги, прибрежные заросли буквально кишели гадюками. Ежедневно кто-нибудь страдал отих укусов. Смертных случаев, правда, не было, но воспаление переходило в лихорадку с высокой температурой, а иногда заканчивалось временным параличом конечностей. На лошадей яд действовал сильнее, многие умирали. При всем том Унгерн под страхом порки запретил убивать змей. Вдобавок игнорируя многочисленные просьбы, он отказывался переправить дивизию на противоположный, высокий берег Селенги, где змей было несравненно меньше. Причина этого странного упрямства заключалась в том, что место для лагеря ему тоже определили ламы.

Незадолго до выступления из Урги, у себя в штабе разговаривая с Першиным о возможности каких-то рискованных торговых операций по поставке в Маньчжурию шерсти и кож из Кобдоского округа, Унгерн внезапно, как всегда, перевел разговор на другую тему. «Я слышал, - сказал он, - что вы изучаете буддизм, дружите с Маньчжушри-ламою, Не сообщите ли мне что-нибудь интересное в этом отношении? Очень этим интересуюсь и хочу знать...»

Рассказать «что-нибудь» Першин мог бы без труда, но он прекрасно понимал, какого рода сведения нужны барону, который прежде всего интересовался тантрийской магией. «Вы, наверное, осведомлены, - ответил Першин, - буддизмом как философией я не занимаюсь, т. к. не имею для этого настоящей подготовки. Тем более мало мне знакома его оккультная сторона. Я интересуюсь только иконографией буддизма. Для занятий всесторонних я не знаю языков - ни санскрита, ни других, без чего изучение его немислимо. Местные же изурухайчины - простые ворожеи, гадатели. Им нельзя верить. Маньчжушри-лама действительно ученый буддист, но он гаданиями не занимается. Если же вы пожелаете

ознакомиться с буддийской иконографией, а она представляет большой интерес, то можете вместе со мною посетить один или два храма. И я, что знаю, расскажу вам относительно изображений будд, бодисатв, хубилганов и пр. Я бы и теперь мог в общих чертах кое-что рассказать, если бы не было так поздно (разговор происходил около двух часов ночи. - Л. Ю.). Я всегда в вашем распоряжении, и когда будет у вас время, с удовольствием поделюсь тем, что знаю».

Предложением Першина барон так и не воспользовался. Его интересовали не иконы, не изваяния, а нечто совсем иное, не доступное глазу. Монголия представлялась ему гигантским историческим заповедником, где люди еще сохраняют навыки общения с потусторонним миром, утраченные Западом со времен средневековья.

По-видимому, что-то подобное Унгерн предполагал и в самом себе. Как ламы-предсказатели, из которых главным был Чойджин-лама - государственный оракул, при медитации или в священном трансе умели находить врагов веры, распознавая их под любым обликом, так Унгерн свято верил, что владеет даром с одного взгляда отличать убежденных большевиков от их случайных и невольных пособников. .

Оссендовский однажды стал свидетелем того, как Унгерн решал судьбу захваченных на границе и доставленных в Ургу шестерых красноармейцев. Когда их привели к его юрте, доложив об этом, барон мгновенно преобразился. Только что он вел с Оссендовским задумчивую беседу, а теперь «глаза его сверкали, все лицо передергивалось». Очевидно, ему казалось, что в приступе священной ярости он обретает способность читать в душах. Выйдя из юрты и остановившись перед выстроенными в ряд пленными, он некоторое время, стоял неподвижно, не произнося ни слова, затем так же молча отошел в сторону и сел на ступеньку соседней фанзы. Ни одного вопроса так и не было задано. В полной тишине прошло еще несколько минут. Наконец Унгерн поднялся. Теперь лицо его было решительным, выражение сосредоточенности исчезло. Касаясь ташуром плеча каждого из пленных, он разделил их на две группы: в первой оказалось четверо, во второй - двое. Последних барон велел обыскать, и, к удивлению всех присутствующих, у них нашли «документы, доказывающие, что они - коммунисты-комиссары». Этих двоих Унгерн велел насмерть забить палками, остальных отправил служить в обоз.

Так изображает дело Оссендовский. Но Рибо, тоже наблюдавший нечто похожее, считает, что никакой особенной прозорливостью Унгерн не обладал, что эта претензия - еще один признак его психического расстройств и маниакальной веры в собственную избранность. В жизни это оборачивалось кровавым абсурдом.

Рибо рассказывает, как после штурма Гусиноозерского дацана в Забайкалье, когда в плен попало свыше четырехсот красноармейцев, барон приказал выстроить их в шеренгу и медленно пошел вдоль нее, никого ни о чем не спрашивая, лишь пристально вглядываясь в глаза каждому. Было это упражнением в физиогномике или психологическим экспериментом, или, замирая перед кем-то из пленных, Унгерн ожидал некоей подсказки свыше, сказать трудно. Как бы то ни было, около сотни человек он суверенностью отнес к разряду «коммунистов и красных добровольцев». Их тут же расстреляли, а оставшимся разрешили пополнить ряды Азиатской дивизии. Однако позднее эти счастливчики рассказывали, что их убитые товарищи, как и они сами, были насильно мобилизованными крестьянами Иркутской и Томской губерний. Просто им не повезло, хотя они ровно ничем не отличались от тех, кого Унгерн почему-то счел заслуживающими снисхождения и оставил в живых.

В отличие от ислама и христианства, буддизм никогда не прибегал к огню и мечу, никому силой не навязывал своих догматов. Идея Унгерна о создании «ордена военных буддистов» - по аналогии с Тевтонским или Орденом Меченосцев, - абсолютно чужда «желтой религии». Джа-лама с маузером на боку был не правилом, а вопиющим исключением. Дамские уставы запрещали проповедовать учение тому, кто едет на коне, на слоне, на телеге, кто держит

палку или топор, а также надевшим панцирь и взявшим меч. Мысль о том, что сам проповедник будет в седле и при оружии, вообще исключалась. О таком запрете не стоило и говорить. Но все это, разумеется, в теории, к тому же толкуемой буквально. Как только Унгерн сходил с коня и вкладывал в ножны шашку или откладывал свой ташур, ничто уже не мешало состоявшим при бароне ламам вести с ним беседы о восьмеричном пути.

По сравнению с буддизмом Хинаяны ламаизм обладал двойственной природой. С одной стороны, столпом учения по-прежнему оставалась основополагающая заповедь Гаутамы-Будды «шади все живое», с другой - едва ли не на первое место вышел архаический культ «Восьми Ужасных», т. е. восьми главных дхармапала (докшитов), призванных карать врагов буддизма <Эти восемь: Махагала, Цаган-Махагала, Эрлик-хан, Охин-Тэнгри, Дурбэн-Нигурту, Намсарай, Чжамсаран и Памба.>. Из-за веры в переселение душ монгольские ламы не били паразитов даже на себе, что ничуть не помешало одному из низших лам-чойджинов, перешедшему на сторону красных, после захвата Улясуата в победном экстазе съесть вырванное из груди соратника Унгерна, есаула Ванданова, еще трепещущее сердце. Согласно легенде, Цзонхава, основатель «желтой религии», в диспуте победил красношапочного Далай-ламу не потому, что нашел неопровержимые богословские аргументы, а совсем по иной причине: почувствовав укус комара, Далай-лама в пылу спора прихлопнул его, чем и продемонстрировал свою несостоятельность. Но при этом «Восемь Ужасных» почитались в Монголии с несравненно большей страстью, чем краткие, погруженные в созерцание Будды и бодисатвы. Хотя докшиты стояли на страже светлого начала мира, изображались и воображались они так, что могли вызвать только страх.

Перед началом богослужения в честь одного из них - Чжамсарана, участвующим в церемонии хуваракам-послушникам предлагалась следующая схема медитации. Прежде всего они должны были представить все пространство мира пустым, затем в этой пустоте - безграничное волнующееся море из человеческой и лошадиной крови с поднимающейся над волнами четырехгранной медной горой; на вершине ее - ковер, лотос, солнце, трупы коня и человека, а на них - Чжамсаран, коронованный пятью черепами. В правой руке, испускающей пламя, он держит меч, упираясь им в небо; этим мечом он «посекает жизнь нарушающих обеты». На его левой руке висит лук со стрелами, в пальцах он сжимает сердце и почки врагов веры. Его рот «страшно открыт», четыре острых клыка обнажены, брови и усы пламенеют, как «огонь при конце мира». Рядом с ним восседает на бешеном волке бурхан Амийн-Эцэн с сетью в руке, которой он улавливает грешников. Другие спутники Чжамсарана, небесные меченосцы и палачи - ильдучи и ярлачи, облаченные в кожи мертвецов и шкуры лошадей, держат в зубах печень, легкие и сердце врагов буддизма, лижут их кости и высасывают из них мозг.

Чжамсаран, по-монгольски - Бег-Цзе, считался богом войны и лошадей, и очень возможно, что именно к нему, а не к Махагале, монголы возводили родословную души Унгерна. «Бог Войны» - это самое известное из его прозвищ.

Но в любом случае для него, по-видимому, настоящим откровением должен был стать тот факт, что на страже человеколюбивого учения Будды стоят божества типа Чжамсарана и Махагалы. Устрашающего облика, беспощадные и мстительные, они не имели аналогов среди христианских святых. Святой Георгий на русских иконах сохраняет на лице выражение отрешенного спокойствия даже в тот момент, когда поражает дракона. Архангела Михаила, архистратига небесных сил, при всей его воинственности трудно представить в диадеме из отрубленных голов, сжимающим в зубах окровавленные внутренности противников христианства. Пусть даже подобные физиологические детали были только символами борьбы чисто духовной, сам этот метафорический язык, принципиально отличный от христианского, должен был волновать Унгерна. Больное воображение позволяло ему не замечать границы между символом и реальностью, а природная жестокость, переведенная на этот язык,

приобретала черты религиозного подвижничества. Не одна лишь склонность к мистике, как думали друзья барона, и не голый политический расчет, как порой утверждали его враги, заставили Унгерна заинтересоваться буддизмом. Само существование «Восьми Ужасных» в лоне учения о четырех благородных истинах он мог воспринимать как оправдание крайних мер по отношению к врагам всякой религии, а не только буддизма. В способность христианства спасти мир от революционного наваждения Унгерн не верил уже потому хотя бы, что в его пантеоне не нашлось места для таких фигур, с которыми он, вероятно, соотносил самого себя. В этой точке его интерес к ламаизму сливался с идеалами «нового средневековья». Ведь если в средневековой Европе с ее грубостью, дикостью и первобытной свирепостью люди, тем не менее, постоянно ощущали рядом с собой присутствие божества, то, следовательно, между Богом и человеком стоит не варварство последнего, не проливаемая им кровь, а напротив, гуманность и прогресс.

Не столь уж большая дистанция отделяет Унгерна от красного чойджина съевшего сердце есаула Ванданова. Оба они принадлежат одному миру. На духовной окраине ламаизма, который сам есть периферия буддийской вселенной, в монгольских степях, где кочевники тем же самым способом - вырезая сердце, забивают овец, метафора понимается буквально и окрашивается настоящей кровью, а служение божеству приобретает формы жертвоприношения. Иногда кажется, что в расправах барона с евреями, китайскими республиканцами и заподозренными в большевизме сибирскими мужиками заметны следы каких-то кровавых ритуалов, присущих культу дхармапала. Точнее - варварским, искаженным представлениям Унгерна об этом культе. Разрубленные на куски трупы жертв ургинского погрома напоминают о настенной росписи в главном храме столичной резиденции Чойджин-ламы, где изображены иссеченные тела врагов веры, их отделенные от туловища синеющие головы, вывернутые языки, букетами висящие сердца и внутренности. Не случайно, видимо, рассказывая, как в селе Булуктай несколько крестьян по приказу Унгерна были заперты в амбаре и сожжены заживо, один из мемуаристов, не слишком хорошо разбиравшийся в том, что представляет собой буддизм, замечает: «Во время этой массовой экзекуции барон молился своему Будде». Утверждение сомнительно, тем не менее доказывает, что находились люди, склонные связывать демоническую жестокость Унгерна с его изменой христианству. Двоеверие почти всегда приравнивается к вероотступничеству, ибо человек при этом разрывает свои кровно-родственные отношения с божеством и заменяет их рациональными, основанными на сознательном выборе.

Если сам Унгерн, как записано в протоколе допроса, «свою жестокость и террор в отношении людей» не считал «противоречащими учению Евангелия», то тем более они не вступали в противоречие с примитивно понятым буддизмом в его монгольской разновидности. Сложнейшую религиозную систему Унгерн свел к тому элементарному уровню, на котором она легко вписалась в его идеологию.

Казалось бы, такую операцию на живом теле учения способен произвести лишь пришелец, представитель иной культуры. Но и Джа-лама, прошедший все ступени монастырского послушничества, мог толковать религиозные доктрины с той же прагматичностью. Когда Бурдуков однажды поинтересовался у него, как, будучи буддийским монахом, он может носить оружие, сражаться и убивать, Джа-лама ответил: «Эта истина („щадя все живое". - Л. Ю.) для тех, кто стремится к совершенству, но не для совершенных. Как человек, взошедший на гору, должен спуститься вниз, так и совершенные должны стремиться вниз, в мир - служить на благо других, принимать на себя грехи других. Если совершенный знает, что какой-то человек может погубить тысячу себе подобных и причинить бедствие народу, такого человека он может убить, чтобы спасти тысячу и избавить от бедствия народ. Убийством он очистит душу грешника, приняв его грехи на

себя...»

Учение о бодисатвах, отказавшихся от нирваны, дабы служить людям, в этом монологе Джа-ламы демагогически преобразено. Его «совершенство» состоит, оказывается, в том, что он готов пожертвовать личным спасением во имя всеобщего. Здесь разница между Джа-ламой и Унгерном невелика: первый говорил о «народе», второй - о «человечестве». Такая постановка классического вопроса о цели и средствах свойственна режимам псевдорелигиозного толка. В них тиран стремится представить собственную власть как своего рода жертву: то, что для других - грех, для него - подвиг самоотречения.

Нищенствующие монгольские ламы, отправляясь в паломничество к святыням Тибета, на время пути слагали с себя сан, чтобы по дороге иметь право охотиться и добывать себе пропитание, а затем, пройдя через Гоби, вновь принимали монашеские обеты. Джа-лама, как «совершенный», в подобных ухищрениях не нуждался. Он воплощал собой то темное праисторическое начало, которое таится в ядре всех мировых религий и в эпохи катаклизмов прорывается, как лава, сквозь их хрупкую скорлупу. Джа-лама откровенно практиковал человеческие жертвоприношения, о чем применительно к Унгерну можно строить лишь достаточно зыбкие догадки. Внушенная, казалось бы, свыше огромность собственных замыслов должна была привести их обоих к убеждению или, по крайней мере, к ощущению, что они служат неким тайным властителям мира. Вера в их существование была основой и тибетской мистики, и западного оккультизма.

Современники видели в Джа-ламе не более чем авантюриста, но история XX столетия сделала судьбу этого человека символически многозначной. Нищенствующий монах, объявивший себя реинкарнацией умершего почти двести лет назад джунгарского князя Амурсаны, затем грозный противник Пекина, не скрывавший, впрочем, и своих антирусских настроений <Служивший в Монголии полковник Сокольниковский в своих записках приводит характерную угрозу Джа-ламы: «Вы, русские, что? Камыш! Подожду, и вас не останется здесь, как нет и китайцев!»>, в 1914 году он был арестован близ Кобдо и увезен в Россию. Сначала Джа-лама сидел в томской тюрьме, оттуда его перевели в Якутию, из якутской ссылки - опять в тюрьму, на этот раз астраханскую. После Февральской революции он вышел на свободу, вновь объявился на северо-западе Халхи, где два года воевал с китайцами, но не подчинялся ни Унгерну, ни Богдо-гэгэну и его заместителям. Как и Унгерна, монголы считали Джа-ламу существом сверхъестественным, а его свирепость тоже объяснялась тем, что он - воплощение Махагалы. Незаурядные и с должным театральным эффектом используемые экстрасенсорные способности, знание приемов тибетской магии - все заставляло видеть в нем выходца из некоего параллельного мира: не то из царства Агарты, не то из таинственной, расположенной где-то в Гималаях обители Вечной Жизни, доступ в которую открыт лишь наиболее выдающимся хубилганам. Считалось, что побывавшие там узнают друг друга по особому способу разделявания сухожилий в мясе животных, но этот знак скрыт от простых смертных.

Когда Монголию заняли красные, Джа-лама с отрядом воинов и данников ушел в Южную Гоби, в горы Шацзюньшаня, Там он попытался основать собственное государство - миниатюрную теократию, призванную стать зародышем будущей великой империи, которая, как мечталось и Унгерну, раскинется от Гималаев до Туркестана. Такие, во всяком случае, ходили слухи. Джа-лама грабил караваны, пленники обращались в рабов. Их руками на вершине каменистого холма он воздвиг неприступную крепость со стенами и башнями - Тенпей-бейшин <Тенпей - тибетская транскрипция имени Джа-ламы; «бейшин» - дом, дворец.>. Это сооружение представляло собой фантазмагорическую смесь элементов тибетской, китайской и мусульманской архитектуры, но его хозяин, подобно Унгерну, предпочитал жить в юрте. Окруженный пустыней, горами, крепостными стенами и защищавшими его не менее надежно, чем стены, мрачными легендами, Джа-лама чувствовал

себя в безопасности. Никто не решался не только штурмовать его замок, но даже приближаться к нему. Так продолжалось около двух лет, пока Джа-лама не был убит офицером монгольской революционной армии, проникшим к нему под видом странствующего ламы. После его смерти подошедшие цэрики захватили крепость без единого выстрела.

Отрубленную голову владыки Тенпей-бейшина увезли в Улясутай и выставили на базарной площади, дабы все убедились, что он действительно мертв. Иначе, казалось, неизбежно должны были возникнуть слухи о его чудесном спасении, как раньше возникли они после казни Унгерна. Затем в большой бутылки с формалином голову отослали в Ургу. Там она переходила из рук в руки, из канцелярии в канцелярию, пока непонятным образом не затерялась. Это было последнее из сотворенных Джа-ламой чудес. Но исчезновение его отрубленной головы уже ничем не грозило новым властителям Халки. Если бы Джа-лама не был, помимо прочего, реинкарнацией Амурсаны, народное сознание нашло бы способ воскресить его, вместить его дух в какое-нибудь тело. Но теперь, когда с севера явились красные, миф о «северном спасителе» был обречен на забвение. Вместе с ним умер и Джа-лама <Недавно И. И. Ломакина обнаружила голову Джа-ламы в коллекции Музея антропологии и этнографии в Санкт-Петербурге. Изначально мумифицированная по-монгольски, просоленная и подкопченная, с дырой от пики, на которой она торчала над базарной площадью Улясутая, она числится экспонатом № 3394. Оказывается, в 1925 году монголовед Казакевич нелегально вывез ее из Урги в запломбированном ящике, с официальной бумагой из советского посольства, разрешавшей провоз без таможенного досмотра. По приезде в Ленинград Казакевич сдал голову Джа-ламы в музей, где ее оприходовали как «Голову монгола», но с какой целью была проведена вся эта авантюрная операция, неясно. Впрочем, скорее всего, никаких целей вообще не было, кроме «научных», которые в те годы трактовались весьма широко, служили оправданием разного рода сомнительных проектов типа описанного Булгаковым в «Роковых яйцах» и за которыми, как правило, не стояло ровным счетом ничего.>.

Шестью годами позже по Южной Гоби вблизи его бывшей столицы проходила экспедиция Рерихов, и Юрий Рерих с несколькими спутниками осмотрел легендарный Тенпей-бейшин. Замок был совершенно пуст и уже начал разрушаться.

Эта крепость была заложена не раньше осени 1921 года, когда на западе Халхи начались столкновения между бежавшими сюда из Синьцзяна остатками армии генерала Бакича и вторгшимися с севера отрядами Карла Некундэ (Байкалова). Именно тогда Джа-лама и ушел в Гоби. Подобно беглому унгерновскому есаулу Тапхаеву, он, видимо, надеялся, что в конце концов «красные и белые дьяволы истребят друг друга», после чего наступит его звездный час. До этого ареной его деятельности был Кобдоский округ, а Унгерн ни разу не выезжал на запад Монголии дальше Ван-Хурэ. Нет никаких известий, что в эти месяцы они где-то встречались, разве что барон отправил Джа-ламе одно из тех писем, которые он рассылал с гонцами всем сколько-нибудь заметным азиатским лидерам от Барги до Казахстана. Тем не менее сходство между этими двумя воплощениями Махагалы было замечено многими и позднее породило романтическую легенду об их своего рода посмертном свидании. В 1935 году в харбинском журнале «Луч Азии» ее изложил некто Борис С., но вряд ли она целиком была продуктом его собственной фантазии. Вероятно, автор использовал тот слой эмигрантской мифологии, в котором Унгерн был центральной фигурой: его имя, как главная опорная колонна, поддерживало всю конструкцию этого призрачного мира.

История вложена в уста персонажа как бы реального - это маньчжурский зверопромышленник, в прошлом офицер Азиатской дивизии Петр Сальников. Вместе с женой-монголкой он принимает гостей, в том числе автора, и за ужином рассказывает им феерический эпизод из своей жизни.

Завязка следующая: после того, как Унгерн, выданный монголами, попал в плен к красным, Сальников, который в это время с небольшим отрядом находился вблизи Урги, решил вести своих людей на восток, в Маньчжурию. Но им не повезло. В бою погиб весь отряд, а сам Сальников, раненый, был придавлен крупом убитого коня, и победители его не заметили. Он потерял сознание и очнулся уже ночью, почувствовав, что его куда-то несут, затем везут. Кто? Куда? Ответа пока нет, рассказчик по воле автора строит свою историю по канонам авантюрного жанра.

Далее - временной пробоел, отточие. Проходит несколько недель. Унгерн уже казнен; где находится Сальников, по-прежнему неизвестно; тем временем в монгольской степи объявляется расстрелянный барон. Его видят то в одном улусе, то в другом. Обычно под вечер, в сумерках, в полном одиночестве он медленно проезжает верхом возле юрт, не обращая внимания на потрясенных кочевников, иногда направляет своего черного коня к кострам, где греются пастухи, в ужасе падающие ниц при его появлении, присаживается к огню, потом вновь садится в седло и молча пропадает в ночи. Слух о воскресшем Боге Войны мгновенно облетает всю Монголию, достигает столицы (здесь автор не погрешил против истины: в степи слухи распространяются со скоростью телеграфа). Очевидцы, среди которых немало тех, кто совсем недавно служил в войсках Унгерна, клянутся, что это, несомненно, сам барон, в точности такой, как прежде, лишь с необыкновенно белым потусторонним лицом.

Спустя какое-то время в Урге, в расквартированных там красномонгольских частях происходит несколько загадочных убийств. Они следуют одно за другим, с промежутками в два-три дня. Все убитые - монголы, все так или иначе участвовали в пленении Унгерна, и все гибнут одинаковой смертью: ночью их закалывают кинжалом, причем всякий раз на рукояти остается записка: «Предателю от ожившей жертвы». Комиссар Монголо-Советской дивизии Моисей Коленковский <Лицо реальное, хотя в действительности Коленковский был всего лишь водителем одного из броневиков, которые в августе 1921 года в бою под Ново-Дмитриевкой заставили Унгерна отступить.> смеется над суеверным страхом своих подопечных. В воскресающих мертвецов он, разумеется, не верит и пытается найти убийц, но в итоге тоже погибает: его находят мертвым в постели. Само собой, на рукояти оставленного в теле кинжала вошедшие читают записку все с теми же роковыми словами. Это заключительный аккорд. Мечь свершилась, отныне призрак барона исчезает навсегда.

Теперь наконец выясняется, что Сальникова подобрали люди Джа-ламы и увезли в Тенпей-бейшин. Там Джа-лама заметил, что этот офицер внешне очень похож на Унгерна. Те же опущенные вниз усы, тот же тип лица, которое, будучи натерто мукой, приобрело оттенок мертвенной бледности. Идея принадлежала Джа-ламе, его цэрики и отомстили предателям, а сам Сальников сыграл роль привидения. Выполнив свою миссию, он вернулся в Тенпей-бейшин, где его ждала прекрасная дочь Джа-ламы. Она ухаживала за ним, раненым; они полюбили друг друга. Под легким пером харбинского литератора миф оборачивается комедией масок. Вся история кончается идиллически: с благословения страшного хозяина Гоби герой, оказывается, увез девушку в Харбин, она приняла православие и стала его верной женой.

В рассказе Бориса С. мечь Джа-ламы объясняется тем, что и он, и Унгерн - враги красных. Но есть еще нечто, объединяющее этих двоих: оба они были едва ли не единственными заметными фигурами, для кого кровь на лепестках буддийского лотоса казалась чем-то вполне ему соприродным и естественным.

РЕЖИМ

Однажды Алешин наблюдал, как сподвижник Унгерна, хошунный князь Дугор-Мерен

наказывает своих провинившихся подданных.

«Дверь юрты, - пишет он, - открыла чья-то невидимая рука, и мы увидели снаружи небольшую группу людей. Дугор-Мерен по-прежнему спокойно восседал на своей подушке. Тот же самый человек, который недавно докладывал ему (о всаднике-монголе, загнавшем коня. - Л. Ю.), вновь на коленях вполз в юрту, держа руки так, словно готовился что-то получить. Когда он приблизился к Дугор-Мерену, князь торжественно положил ему в протянутые руки черный лакированный ящичек, и человек также на коленях, пятась задом, пополз обратно. У входа в юрту он сел на землю, открыл ящичек, достал оттуда какую-то завернутую в материю вещь и начал медленно разворачивать ее. Вначале он снял слой синего шелка, потом - красного и, наконец, желтого. На свет явилась бамбуковая палка. Отполированная, она блестела, как некий священный предмет. По внутренней ее стороне, которой наносится удар, тянулась вырезанная полая бороздка...» Князь наблюдал за экзекуцией не сходя с места, сквозь дверь юрты. Провинившегося разложили на земле прямо перед входом, он получил всего пять ударов, но спина его была в крови. Затем экзекутор на коленях вполз в княжескую юрту, «вытер бамбук, тщательно отполировав его халатом жертвы, и вновь медленно завернул палку сначала в желтый, после - в красный и синий шелк; ящичек был закрыт и с прежними церемониями возвращен Дугор-Мерену».

В Азиатской дивизии «бамбуки» были березовые или камышовые, их не хранили в лакированных пеналах, не обматывали в строгой последовательности шелками разных цветов - от нейтрального синего до священного желтого, непосредственно покрывающего этот атрибут сана и власти, но пороли с восточной жестокостью и изобретательностью. Экзекуторы вроде Бурдуковского владели монгольским способом порки, при котором на спине у человека мясо отстает от костей, но сам он остается жив. Дезертиров и пленных забивали насмерть. Традиционная власть казачьей нагайки, скрещенная с азиатским палаческим искусством, породила химеру небывалого в русской военной истории унгерновского режима.

Помимо порки самым распространенным наказанием было «сажание на крышу». Неизвестно, кто подсказал Унгерну этот экзотический способ карать виновных, но только не монголы. По-видимому, он однажды употребил его в приступе вдохновения, вызванном очередным припадком ярости, а затем ввел в систему.

«Любопытную картину, - вспоминает Макеев, - представляла в то время Урга. В районах расположения воинских частей тут и там по крышам домов разгуливали, стояли и сидели офицеры. Некоторые просиживали там по месяцу...»

Это наказание было дисциплинарным и применялось почти исключительно к офицерам. Сидение на крыше заменяло собой пребывание на гауптвахте. Правом приговаривать к нему в дивизии обладали только двое: сам Унгерн и Резухин. Макеев жертвует правдой во имя живописности - на самом деле в качестве офицерской гауптвахты использовалась главным образом крыша здания штаба дивизии. Першин не раз видел на ней «десятки людей, ровно стаю голубей». Они «жалась друг к другу, кутались в халаты, чтобы как-то спастись от холода, а скользкая и крутая крыша усугубляла их мучения». Одежд не полагалось, пищу раз в день подтягивали в корзине на веревке. «Это наказание, - замечает Першин, - считалось серьезным и страшило многих». Некоторых приговаривали к сидению без пищи и воды. Последнее было не так страшно, воду заменял снег, а еду разрешалось покупать на собственные деньги. От голода не умер никто, но мороз и пронзительный ветер, от которого негде укрыться, делали свое дело. Многие заболели воспалением легких, отмораживали руки и ноги, а сотник Балсанов, опальный любимец Унгерна, умер от полученной на крыше пневмонии. Пьяных, водворяемых на крышу, привязывали к трубе. Бежать никто не решался - это уже считалось дезертирством. Все были парализованы страхом перед «дедушкой», и единственным человеком, кто ночью осмелился слезть с крыши и удариться в бега, стал не

офицер, а обвиненный в каких-то финансовых махинациях старшина мусульманской общины Сулейманов, вместе с которым вскоре после штурма столицы Першин посетил маймаченскую ставку барона,

В походе вместо крыш использовались деревья. Во время привалов наказанные просиживали на ветвях по несколько часов, а то и с вечера до утра. Если лагерь разбивали надолго, деревья вокруг всегда были усеяны скрючившимися фигурками. «Однажды, - не без умиления перед причудами барона вспоминает Макеев, - на кустах оказался весь штаб дивизии. Сидеть было тяжело, в мягкую часть впивались сучья, ветер покачивал ветки, а перед глазами был шумный лагерь, откуда кучки людей с любопытством наблюдали новую позицию, занятую штабом». В степи, где не было ни деревьев, ни кустарника, провинившихся зимой сажали на лед, летом ставили без оружия в тысяче шагов от лагеря. Все эти меры воздействия, включая порку, Унгерн признавал нормальными, говорил о них спокойно и в плену, на допросе, сравнил себя с Николаем I и Фридрихом Великим - тоже сторонниками палочной дисциплины. Но прихотливая фантазия барона во всем, что касалось казней и экзекуций, их разнообразие, классификация, индивидуальные наказания, специально придумываемые для того или иного человека - от перетягивания на веревке через ледяную реку до повешения и сожжения на костре, - вызывает в памяти не прусского короля с его шпицрутенами под барабанный бой, а нечто совсем иное. Недаром современники барона, описывая установленные им порядки, прибегают к слову «эксперимент». Бессребреник, не имеющий ничего, кроме смены белья и запасных сапог, Унгерн стремился улучшить человеческую природу в соответствии со своими о ней представлениями. Первым материалом для этих опытов стали солдаты и офицеры Азиатской дивизии. На них он экспериментировал со свирепой бескомпромиссностью изгоя, который мыслит масштабами несуществующих, воображаемых империй, но сам стоит вне всяких государственных структур.

Рассеянные по всей Монголии бывшие солдаты и офицеры Колчака с энтузиазмом встретили появление Унгерна под Ургой. Но восторги быстро прошли. Надежды сменились разочарованием, разочарование - отвращением и отчаянием. Позднее, оказавшись в Харбине, среди соотечественников, скорбевших о разгроме и казни барона, эти люди наперекор общественному мнению утверждали: «Мы, белые, должны радоваться его гибели!»

Волков пишет: «Тысяча с небольшим русских и монголов побеждают тринадцатитысячную, хорошо вооруженную китайскую армию, захватывают громадные запасы продовольствия и вооружения, берут столицу Монголии, где сосредоточены сотни белых, для которых возвращение на родину возможно только с оружием в руках. Впереди - родина, здесь - страна, в несколько раз превышающая площадью Францию. Ее население боготворит имя русского, степи изобилуют скакунами, баранами, быками. А что нужно всаднику-партизану? Конь, трава, мясо. Успех казался и был возможен. Необыкновенный подъем охватывает белых. Но Унгерн, вождь нарождающегося движения, в корне задушил его».

Милюков назвал четырехмесячное пребывание Унгерна в Урге «самой удручающей страницей в истории Белого движения». Чтобы так сказать, у него были все основания. Он мог бы доказать это с фактами в руках, ибо в течение многих лет вырезал из газет и хранил в своем архиве воспоминания об ургинском бароне. Очевидно, Милюков, либерал и западник, интересовался тем, до каких пределов могут пойти в своем антибольшевистском экстазе генералы крайне правого толка.

Но Унгерн был не просто правым и не только, как считали современники, логическим завершением «уродливого явления атаманизма». Парадокс в том, что его идеология зеркально повторяет марксистскую: те же наднациональные планы при ненависти к буржуазному Западу и презрению к России, та же ставка на некую мистически

идеализируемую силу, которая из ничего должна стать всем и построить новый мир на развалинах старого; только в одном случае это пролетарии, в другом - кочевники центральноазиатских степей.

Соответственно схожими были и средства. «Как ни странно, - замечает Волков, - .многое, очень многое перенял Унгерн у своих смертельных врагов. Но все перенятое преломляется им сквозь призму собственного „я". Большевики брали заложниками семьи, и у Унгерна семья - жена, дети, родители, родственники - отвечает за преступление одного из ее членов <Сам Унгерн говорил, что убийство членов семьи за преступление, совершенное ее главой, «это не террор, а обычай Востока».>. Как большевики, Унгерн не признает торговли, промышленности. Все должно сосредоточиваться в его интендантстве. Мужчины должны служить в отряде, женщины - во всевозможных швальнях, прачечных и т. д. Все переводятся на паек. Унгерн блестяще усвоил большевистский принцип: кто работает, тот ест. Причем работой считается только служба в его отряде, „в армии". Все прочее неслужилое гражданское население является ненужным досадным придатком, который уничтожить, к сожалению, невозможно».

Полностью запретить частную торговлю Унгерн не решился, но, подобно якобинцам, в интересах ургинской бедноты и собственных солдат установил твердый максимум цен на продовольствие и предметы первой необходимости. Цену на товары определили настолько низкую, что торговля практически прекратилась. Никто не хотел торговать себе в убыток. Зато некоторые из соратников барона, пользуясь всеобщим страхом, который внушало одно его имя, закупали партии товаров по твердым ценам, а затем перепродавали по более высоким. Спекуляция процветала, как при большевиках, считалась таким же смертельным преступлением и точно так же была неискоренима.

Если в Красной Армии при командирах состояли военспецы из кадровых военных, то и Унгерн практиковал аналогичную систему. Полками командовали преданные ему люди, заурядные палачи, а помощниками к ним назначались опытные колчаковские офицеры. Они руководили боевыми операциями под бдительным присмотром своих начальников, не умевших даже читать Штабные карты. Есаул Хоботов, в прошлом извозчик, имел в помощниках георгиевского кавалера и старого фронтовика полковника Костерина, бывший шофер Линьков - подполковника Генерального штаба Островского и т. д. Все они были окружены шпионами, следившими за каждым их шагом.

Вообще доносительство развито было необычайно. Как всегда в такого рода режимах, появились доносчики почти профессиональные. Тем более, что ремесло это сулило немалый доход. В Урге действовало древнее правило, известное еще со времен римских проскрипций: доносчик получал третью часть имущества казненного по его доносу. Остальное конфисковывалось в пользу дивизионного интендантства. Нарушившие это незыблемое, как все неписанные законы, правило карались также смертью. Когда ургинский оптик Тагильцев, друг расстрелянного владельца кузницы Виноградова, по просьбе жены покойного спрятал у себя какие-то принадлежавшие ему ценности, то и сам был повешен.

Появились охотники за богатыми людьми. Чтобы подвести их под расстрел и получить свою долю имущества, применялся, например, следующий способ: уламывали торговца продать что-либо по ценам выше максимума и сообщали об этом в штаб дивизии или Сипайло. Приставленные к ургинским коммерсантам соглядатаи ловили их на запрещенных торговых операциях, просто на неосторожно оброненном слове. Такие приемы открывали простор для вымогательства, позволяли пополнять казну и поощрялись если не лично Унгерном, то его приближенными. Причем они, разумеется, брали с непосредственного доносителя свою долю. Известный всей Монголии скупщик пушнины Носков, доверенное лицо богатейшей лондонской фирмы Бидермана, был обвинен самим Сипайло, который в результате получил 15 тысяч китайских долларов отчислений с конфискованного имущества

Носкова и фирмы.

На европейском пушном рынке Бидерман считался «королем сурка». Носков начал у него службу извозчиком и дослужился до главного резидента. Это был маленький, шупленький человечек, фанатически преданный своему далекому английскому хозяину, не знавший других интересов кроме интересов фирмы. За прижимистость и склонность к обману монголы называли его «орус шорт» - «русский черт», ибо Носков имел привычку постоянно чертыхаться. Под этим именем его знала вся Урга. В столичной телефонной книге так и значилось: «Орус шорт, так называемый Носков». Каждый день рано утром, в любую погоду он появлялся на Захадыре, скупал за бесценок все, что можно купить у монголов, безбожно при этом торгуясь и ругаясь. Весь базар был у него в руках. О нем говорили: «После Носкова на рынке не пообедаешь!»

Когда в Азиатской дивизии кончились деньги, Носкова сделали дойной коровой. У него постоянно требовали якобы займы. Он давал, понимая, что отказать нельзя, но однажды сорвался и принародно сказал все, что думает о бароне и его компании. Тут же он был арестован. Сипайло предъявил ему обвинение в большевизме, предложив откупиться пятьюдесятью тысячами долларов. Носков заявил, что наличных денег у него нет. Тогда приступили к пыткам. Его подвешивали за пальцы к потолку, жгли раскаленным железом, изрубали «бамбуками» так, что мясо клочьями свисало со спины, но в шуплом теле этого человека жил могучий дух русского купца и первопроходца: свидетели рассказывали, что под палками он продолжал нещадно ругать и своих палачей, и самого Унгерна. Где спрятаны деньги, Носков не сказал, хотя эти деньги принадлежали не ему, а Бидерману, который не вынес бы и сотой доли мучений, доставшихся его верному слуге. Сипайло так ничего и не добился. На восьмой день пыток Носков сошел с ума и был застрелен. Труп выбросили на свалку возле берега Сельбы. Когда жена попросила разрешения забрать и похоронить тело, Сипайло ответил: «Хочешь валяться рядом - бери!»

Пушнину со складов конфисковали и продали по дешевке, но на дома, принадлежавшие Носкову и фирме, покупателей не находилось. Их силой навязали ургинским коммерсантам. Отказаться от покупки - значило подписать себе смертный приговор. Ходили слухи, что в число этих покупателей Унгерн включил и Сипайло, таким образом наказав его за неудачу с Носковым.

Но сам барон историю преступления и гибели несчастного «орус шорта» излагал иначе. Он, приписывая себе самые благородные побуждения, во время поездки на автомобиле по окрестностям Урги рассказывал Оссендовскому:

«Тут стояла юрта богатого монгола, поставщика русского купца Носкова. Носков этот был ужасный человек и заслуженно носил прозвище „черт“. По проискам Носкова китайские власти секли беспощадно его должников-монголов и сажали их в тюрьмы. Так был разорен и монгол, о котором я говорю. Когда же у него отобрали все, что он имел, этот монгол перебрался отсюда миль за тридцать, но Носков разыскал его и там, и опять захватил у него остатки имущества и скота, обрекая его и семью его на голодную смерть. Когда я занял Ургу, ко мне пришел этот монгол в сопровождении еще тридцати разоренных Носковым людей; они требовали его смерти. Я повесил „черта“».

Вероятно, в этом есть доля истины. Тогда вся история кажется типично революционной: безжалостный вымогатель, каким скорее всего и был Носков, становится героем и жертвой, а защитник угнетенных - вымогателем и убийцей. Тем самым в очередной раз доказывается, что нет ничего дальше от справедливости, чем простая смена ролей.

Но уж никакой заботой о монголах Унгерн не мог бы оправдать совершенное по его приказу убийство боготворимого кочевниками ветеринара Гея, который был заподозрен в том, что прячет у себя денежную кассу Центросоюза (донос оказался ложным), и зарублен в сопках вместе с женой, тещей и тремя маленькими детьми. Только маниакальным

убеждением Унгерна в виновности всех и каждого можно объяснить тот факт, что, как считали современники, при нем погибла примерно десятая часть русского населения Урги. Это сотни человек, не считая евреев и китайцев.

Но среди всех этих зверских, в большинстве своем бессмысленных, убийств было одно, в котором Унгерн, спокойно возлагая на себя кровь сотен людей, не пожелал бы признаться никому - ни друзьям, ни врагам. Речь идет о загадочной смерти старого генерала Ефтина, першинского квартиранта, в первые дни после взятия столицы укрывшего у себя зубного врача Гауэра. Это был единственный в Монголии русский генерал, получивший свои эполеты отнюдь не от Семенова и даже не от Колчака. До революции он служил в Петербурге, позднее занимал какую-то высокую должность в Ставке Верховного Главнокомандования в Омске. С одной стороны, Ефтин рвался принять участие в походе на Забайкалье, причем претендовал на главенствующую роль; с другой - не боялся, видимо, порицать политику барона. Несколько раз Унгерн пытался спровадить его на восток, в Маньчжурию, но не сумел. Тогда он решил убрать старого генерала тем же способом, каким четыре года спустя Сталин устранил Фрунзе.

Ефтина мучили камни в мочевом пузыре, и доктор Клингенберг, близкий Унгерну человек, уговорил старика лечь на операцию. Впоследствии ходили упорные слухи, что он нарочно «забыл» выпустить мочу из пузыря перед тем, как сделать разрез. В результате Ефтин умер от заражения крови. Трудно судить, насколько правдива эта версия, но основания для нее были <Справедливости ради заметим, что по другим данным Ефтин все-таки выезжал в Хайлар, откуда то ли вернулся в Ургу, то ли нет.>. Во-первых, Клингенберг, как рассказывали, однажды уже исполнил схожее поручение барона: отравил тяжело раненных, чтобы избавить их от предсмертных мучений, а дивизию, находившуюся тогда в походе, - от лишней обузы. Во-вторых, полковнику Зезину, бывшему начальнику штаба у Ефтина, не разрешили присутствовать при операции, как он о том просил. Более того: Зезин, заподозривший, очевидно, что-то неладное, после смерти Ефтина был отправлен служить в Тибетскую сотню, расквартированную в Маймачене. Ему велели доставить туда запечатанный пакет, в котором он привез собственный смертный приговор (эта чисто восточная форма казни широко практиковалась в Азиатской дивизии),

За все четыре месяца, что Унгерн властвовал в Урге, там не было создано даже подобия какого-то суда. Приказы о расстрелах, экзекуциях, конфискациях отдавались главным образом устные. За пределами столицы отряды Тап-хаева, Губанова, Хоботова, Безродного действовали уже вообще вне всяких, пусть самых изуверских, принципов. Здесь убивали не только ради добычи, но и для устрашения, для самоутверждения, для куража, от отчаяния, из природного садизма, во хмелю, с похмелья и просто по привычке, без причин. Красноярский казак, атаман Казанцев, разгромив один из монастырей и вырезав поголовно всех лам, не пощадил даже стоявших перед ним на коленях мальчиков-послушников <<«До сих пор в ушах звучат их раздирающие вопли о пощаде, - через восемь лет вспоминал свидетель этой бойни. - Упали на колени, протягивая руки с искаженными ужасом смерти лицами, говоря: „Нойон, нойон!“ Но „нойон“ был неумолим. Сверкнули клинки... и все было кончено. Дикая расправа свершилась перед глазами всего отряда. И люди, привыкшие к виду крови, испытавшие весь ужас мировой и гражданской войны, были смущены. Одни отвернулись, другие уставились в землю. Все молчали, но у всех была одна мысль: надо положить конец этому кошмару».>, а есаул Хоботов по пути к русской границе отдавал своим подчиненным письменные распоряжения вроде следующего (орфография сохраняется): «вешай всех твой Хобо».

ВЛАСТЬ И БЕССИЛИЕ: ПОЧВА КОЛЕБЛЕТСЯ

Сразу после изгнания китайских войск в Урге было образовано правительство Халхи. Его

главой считался сам Богдо-гэгэн, а премьер-министром стал Джал-ханцзы-лама - один из высших лам и единственный среди них чингизид по происхождению, имевший право носить на шапке золотой «вачир», т. е. символическое изображение перуна, поражающего врагов веры, наследственный знак династии тушету-ханов. При Сюй Шичене он отсиживался в монастыре и не запятнал себя сотрудничеством с китайцами. Занявший должность его заместителя знаменитый богослов Маньчжушри-лама пользовался огромным авторитетом, но в политике разбирался плохо и нечасто покидал свою обитель на вершине Богдо-ула. Всеми делами в министерствах заправляли чиновники старой циньской выучки. Унгерн хотел бы стать при Богдо-гэгене чем-то вроде сёгуна при средневековых японских императорах, но чиновничество сознавало всю опасность для себя подобных планов и сопротивлялось им по-своему. Здесь Унгерну пришлось проявить несвойственные ему качества дипломата.

«На монгол я особенно не жал, - говорил он, - и в их работу старался не вмешиваться. Помогал лишь советами, ибо они очень медлительны в своих действиях, и если ищешь пользы дела, то их приходится всегда раскачивать». В действительности его советы часто принимали форму приказов. Атмосферу, царившую в столице после вступления в нее Азиатской дивизии, передает Першин: «Богдо-гэгэн обособился в своем дворце, вся остальная Урга жила и дышала только Унгерном».

Но барон должен был смириться с тем, что некоторые русские, в чьей лояльности к его режиму он имел основания сомневаться, сохранили свои позиции. Как и прежде, продолжал исполнять обязанности советника при правительстве Богдо-гэгена барон Витте - «Холзын-нойон», то есть «лысый господин», как называли его монголы (у кочевников лысина ассоциируется с мудростью). Свои разговор с главой конторы Центросоюза, эсером Лавровым, Унгерн начал словом «пытки», а закончил предложением помочь монголам в их финансовой неразберихе. Он настолько нуждался в профессиональном опыте этих людей, что вынужден был прислушиваться к их просьбам за арестованных русских и даже евреев. Волков пишет, что почти все оставшиеся в живых ургинские евреи уцелели благодаря заступничеству Лаврова и Витте.

Уже к весне эти двое организовали выпуск первых монгольских денег. «Эти банкноты, - вспоминает Першин, - являли собой печальное зрелище. Напоминали они лубочные картинки, вышедшие из самой захудалой типографии. Но монголам льстило, что на деньгах изображены их домашние животные: баран, бык, лошадь и верблюд» «Новое революционное правительство изъяло их из обращения, но полностью оплатило серебром.»

Связав свою судьбу с Монголией, Унгерн заботился о ее финансах, торговле, армии. Планировалось создание национального банка, чеканка монеты. В Урге была учреждена военная школа. Предпринимались попытки возобновить добычу угля в Налайхинских коях. Но все было подчинено главной цели - снабжению Азиатской дивизии, а для содержания такой воинской массы Монголия была мало приспособлена. При всех своих благих намерениях барон стал тяжким бременем для истощенной двухлетней смуты нищей страны. Плата за освобождение от китайцев оказалась непомерно велика.

Во время бесконечных экспедиций безжалостно уничтожался конский запас. «Легендарная быстрота» переходов Унгерна зачастую объяснялась тем, что его отряды пользовались подменными лошадьми на уртонах, а то и просто двигались по пути от табуна к табуноу <«Вообразите, - пишет Волков, несколько, впрочем, сгущая краски, - сколько будет искалечено, загнано лошадей, если, допустим, отряд в 300 всадников выедет таким образом из Урги хотя бы на Буир-Нор (32 уртона). Ведь им надо выставить 9600 лошадей!».>

Люди тоже перемалывались колесами унгерновской военной машины. Когда барон с огромным трудом сумел добиться от правительства указа о мобилизации, она вылилась в «бессистемное хватание на улицах первых попавшихся» - тех, кто приехал в Ургу по торговым делам или поклониться столичным святыням. Они, само собой, бежали, и

повешенные за попытку дезертирства исчислялись десятками. Служба в смешанных русско-туземных частях для монголов была сущей каторгой. Их били все, кому не лень, даже пищу они получали худшую, чем казаки.

Чем дальше от столицы действовали «бароновцы», тем больше их отряды становились похожи просто на разбойничьи шайки. Они разоряли кочевья, грабили караваны, и на этом фоне совершенно меркнут попытки Унгерна реформировать монгольские финансы или установить электрическое освещение на главных улицах Урги. Оссендовский, приписывая ему роль европейского цивилизатора, утверждает, что барон приказал прорыть вдоль улиц сточные канавы, провел телефонную связь, возводил мосты, строил ветеринарные лаборатории, школы и больницы. На самом деле он лишь кое-где наскоро восстанавливал разрушенное. Единственным заметным новшеством были, пожалуй, устроенные в Урге мастерские - швейные, сапожные, шорные. В невиданных для Монголии масштабах здесь шилось обмундирование русско-восточного образца, изготавливались ремни, пуговицы, трафареты для погон, конская сбруя, знамена. В перспективе эти казенные швальни должны были, видимо, обслуживать не только Азиатскую дивизию, но и «объединенные силы желтой расы».

В апреле 1921 года, после победы под Чойрин-Сумэ, Унгерн чувствовал себя уверенно, как никогда, но подпочвенные воды уже начали размывать фундамент его власти.

Месяцем раньше в Кяхте возникло Монгольское революционное правительство: его создали эмигранты под эгидой Москвы. Премьером стал Бодо, бывший преподаватель школы переводчиков и толмачей при русском консульстве, а военным министром и главкомом - Сухэ-Батор, двадцатисемилетний выпускник ургинской офицерской школы. По словам современника, это был человек «беззаветно любящий свой несчастный народ», храбрый, «чистый сердцем, с неподкупной совестью», но «сущий ребенок в политике». Никаких определенных политических взглядов Сухэ-Батор не имел, остальные члены правительства были националистами и панмонголистами с примесью либерального просветительства. Когда приехавший в Кяхту коминтерновский деятель Борисов предложил им после победы над Унгерном сместить Богдо-гэгена и учредить социалистическую республику, ему прямо заявили, что Халха должна оставаться монархией, пусть ограниченной, а если русские большевики думают иначе, то придется обойтись без их услуг. В итоге Кремль со своей обычной прагматичностью согласился и на монархию.

В марте цэрики Сухэ-Батора отбили у китайцев Кяхтинский Маймачен. Город немедленно получил новое имя - Алтан-Булак, т. е. «золотой ключ». Точно так же Петр I, отобрав у шведов Орешек-Ноттебург, переименовал его в Шлиссельбург - «ключ-город». Там это был ключ к Прибалтике, здесь - ко всей Монголии.

Кое-где на севере и на западе Халхи появились «красномонгольские» кочевья. Агитация в пользу нового правительства была тем успешнее, чем больше скота угоняли в столицу для прокормления Азиатской дивизии, чем шире проводилась мобилизация. Заодно вспомнили о том, что белый цвет - цвет несчастья и траура. Восточная цветовая символика делала идеологию доступной, почти зримой.

Унгерн диктует столичным чиновникам циркулярные пропагандистские письма, но одновременно уповает и на другие, более привычные методы. Он просит князя Найдан-вана «выгнать» к Урге бежавших из России бурят числом около 600 юрт. «Они, - пишет Унгерн, - совершенно развращены большевиками и распространяют их подлое учение. Я тут их кончу, а стада отберу для войск».

Эти бурятские беженцы понятия не имели, разумеется, о «подлом учении» Маркса. Они лишь стремились втиснуться в строго упорядоченную систему халхинских кочевий и надеялись это сделать с помощью русских большевиков.

На их поддержку рассчитывают и некоторые из князей - те, кто недоволен всевластием лам, окружающих Богдо-гэгена, или вообще зависимостью от Урги и казенными повинностями. Кто-то обижен центральным правительством, как Максаржав, другие начинают сознавать, что «белые дьяволы» обречены, будущее - за «дьяволами красными». Князя Тушетухановского аймака во главе с Беликсай-гуном открыто провозглашают на своей территории «революционный строй», едва ли, впрочем, понимая, что это такое.

Большевики ловко используют и старые феодальные распри, и легенды, которые теперь обращаются против Унгерна. Многие уверены, что во всех бедствиях, обрушившихся на Монголию, виноват барон: под Улясутаем его люди сдвинули с места некий камень и выпустили на свободу придавленных им злых духов. Их загнал туда один из прежних Богдо-гэгенов, но «бароновцы» то ли своротили этот камень, то ли совершили возле него убийство, чем разрушили заклатье; духи разлетелись по Монголии, всюду сея смерть и разрушение.

Циркуляры, декларации, партийные съезды - все это лишь видимая, надводная часть айсберга. Настоящая борьба идет в глубине, там, где марксистские лозунги ничего не значат. Люди выбирают свой путь по ориентирам, существующим в течение столетий. Отныне уже не Унгерну, а его врагам выгоден миф о «северном спасителе», и ставка делается не только на Сухэ-Батора, но и на Хас-Батора, который, как некогда Джа-лама, объявил себя воплощением Амурсаны. Неизвестно, откуда он взялся - скорее всего, тоже из калмыцких степей, - но в Советской России все власти обязаны были оказывать ему всяческое содействие вплоть до предоставления особых вагонов на железной дороге. С необычайным почетом принятый дербетскими князьями, старыми противниками Урги, Хас-Батор приступил к формированию отрядов под стягами революционного буддизма - красными, но не со звездой, а с черным знаком «суувастик».

Кажется, в эту войну втягивается весь ламаистский мир. Эскадрон единокровных и единовенных калмыков, с Северного Кавказа переброшенный к границам Халхи, становится ударной силой Сухэ-Батора, как Тибетская сотня, присланная барону Далай-ламой, была самой надежной из его частей. Опять вспоминают о благословенной Шамбале, то и дело появляются побывавшие там не то визионеры, не то жулики; какой-то неизвестно откуда взявшийся бродячий лама под Ургой торжественно вбивает в землю колья, огораживая пространство, где будет построен храм - нечто вроде официального представительства Шамбалы в этом мире. Наступившие смутные времена доказывают, что пришествие Майдари не за горами. В том же 1921 году в монастыре Таши-Лунпо, тибетской резиденции Таши-ламы, воздвигнуто гигантское изваяние этого буддийского мессии; при этом объявлено, что его царствование начнется уже через пятнадцать лет. Но, как обычно, в атмосфере невротического ожидания будущего оживают самые темные инстинкты, и вновь, как девять лет назад, когда при осаде Кобдо из тьмы столетий выплыла память о человеческих жертвоприношениях, взятый в плен казачий вахмистр своей кровью освящает монгольское знамя, на сей раз - красное. Словно бы нарочно для того, чтобы проникнуть в Халху, двадцатый век принимает обличье давно минувшей эпохи, и мы в очередной раз убеждаемся, что разница между ними не столь уж велика.

«Красномонгольские» части Унгерн, по его словам, «за противника не считал», да и к советским войскам, с которыми ему никогда не доводилось воевать, относился немногим серьезнее. К тому же он не верил, что красные решатся на прямую интервенцию. Ему казалось, что, пока белые владеют Приморьем, Москва не осмелится вступить в открытый военный конфликт с Пекином, неизбежный, по его мнению, при вторжении в Монголию. Что касается Чжан Цзолина, Унгерн полагал, что в конце концов тот придет к мысли о необходимости союза с ним для совместной борьбы с южнокитайскими революционерами.

Барон был плохим политиком, но в данном случае его расчеты имели под собой кое-какие

основания. Угроза с востока и северная опасность временно могли нейтрализовать друг друга. Пока что ни китайские, ни советские войска не пытались перейти границы Халхи, тем не менее Унгерн чувствовал себя беспокойно. Почва под ним начала колебаться в самой Урге. В зените могущества он столкнулся с вечной проблемой всех завоевателей, которую двумя столетиями раньше Карл XII выразил шекспировским по своей экспрессии жестом.

Однажды шведский король, гоняясь за королем польским, вынужден был прекратить погоню из-за недостатка продовольствия. Тогда в ярости он упал с коня на землю, вырвал клоч травы, сунул ее в рот и начал жевать. Когда его спросили, зачем он это делает, Карл будто бы воскликнул: «О, если бы я мог научить моих солдат питаться травой! Я был бы властелином мира...»

Подобные чувства испытывал, видимо, и Унгерн.

По его словам, жалованье своим офицерам и солдатам он платил, «когда деньги были», но кормить их нужно было всегда. Каждому всаднику выдавался так называемый «чингисхановский паек». В переводе на русские весовые единицы это составляло четыре фунта мяса в сутки. В месяц Азиатской дивизии требовалось около 2000 быков. Только в ургинское отделение дивизионного интендантства их ежедневно пригоняли по 60 - голов. А еще овцы, лошади, мука, фураж. Официально суточное содержание всадника с конем обходилось по местным ценам в один китайский доллар, а фактически и того больше. Но и при таком расчете три с лишним тысячи солдат и офицеров Унгерна требовали ежемесячно около ста тысяч долларов. Пусть даже какую-то часть платил он сам, все равно для более чем скромного бюджета Монголии это была колоссальная цифра.

После взятия Урги правительство Богдо-гэгена обязалось бесплатно снабжать освободителей «живого Будды». Но сроки, наверняка, оговорены не были, никому тогда и в голову не приходило, что Унгерн останется здесь надолго. Исполнять свои обязательства монголам становилось все тяжелее. Эта повинность оказалась непосильной. Мера благодарности давно была исчерпана, между тем барон продолжал сидеть в столице. Терпение хозяев начало иссякать. О его ближайших планах никто не знал, но ясно было одно: уходить из Монголии он не собирается. Положение усугублялось тем, что, собственно говоря, идти ему было некуда, кроме как в Тибет, и, возможно, монголы уже в то время начали подталкивать его на этот путь, который он выберет позднее.

На одном из допросов Унгерна спросили: «Почему вы потеряли авторитет в Урге? Он ответил без затей: «Кормиться надо было. Это трудно выразить... Если бы я мог прокормиться сам или на них (т. е. на мародеров. - Л. Ю.) шапки-невидимки надеть...»

Это идея примерно одного порядка с мечтой Карла XII о том, чтобы научить своих солдат питаться травой.

Опасным сигналом для Унгерна стал следующий инцидент. В столичное интендантство пригнали гурт в три сотни бычьих голов, но у быков обнаружилась чума. Их погнали на прививку за 30 верст от Урги. Это означало, что в течение двух недель (срок прививки, путь туда и обратно) дивизия должна остаться без мяса. Встревоженные интенданты бросились в министерство финансов и потребовали другой гурт. Им отказали в грубой до неприличия форме. Произошла ссора, наконец какой-то монгольский чиновник поставил вопрос ребром: «До каких пор русские будут сидеть у нас на шее?»

«Это было начало конца, - замечает Волков. - Азия говорит грубо и резко только в том случае, если чувствует за собой силу».

Расстрелы, казни, карательные экспедиции быстро ухудшили безоблачные поначалу отношения между Унгерном и монголами. Окруженный их растущей враждебностью и полным безразличием к его паназиатским проектам, он начинает сознавать двусмысленность своего положения. Чтобы из засидевшегося, хотя и званого, гостя превратиться в хозяина, следовало занять какое-то определенное место в государственной структуре Монголии. В

итоге Унгерн приходит к той же мысли, которая когда-то соблазняла Семенова, - к мысли стать чем-то вроде «главковерха» при Богдо-гэгене.

В конце апреля 1921 года барон отправляет ему пространное письмо. Оно не сохранилось, но смысл его передает Волков, читавший это письмо в бытность служащим Министерства внутренних дел в Урге. «В длинной последней бумаге своей к Богдо, - вспоминает он, - начинавшейся словами „Ваше Высокосвятейшество“, Унгерн подробно останавливается на той распушенности, которая царит якобы среди монгольского чиновничества, обвиняет министров, что они превыше всего ставят личное благополучие, а интересы родной страны отходят для них на задний план...»

Обличая их взяточничество и казнокрадство, Унгерн был не столь уж далек от истины. Вставленное Волковым словечко «якобы» тут совершенно неуместно. И все-таки гораздо больше, видимо, Унгерна раздражало то, что столичные туслахи и мейрены без всякой заинтересованности относятся к его планам объединить в одно целое Внешнюю и Внутреннюю Монголию, Синьцзян, Тибет и т. д. Как и члены Даурского правительства, эти люди не выказывали никакого энтузиазма при разговорах о всемирной миссии желтой расы и ничего не хотели делать для ее будущего величия. Гурт в триста быков заслонял им блистательные перспективы, ожидающие Монголию и угрожающие ей опасности. Впрочем, об этом Унгерн не пишет. Обличив нравы чиновничества, он делает вывод: поскольку все обстоит именно так, Богдо-гэгену следует «иметь вблизи себя безусловно честного, горячо любящего Монголию и ее народ человека», чтобы тот стал единственным советником «живого Будды». Таким человеком, продолжает Унгерн, может быть он сам со своим отрядом, который будет «верной, безукоризненной в своей стойкости опорой престола».

Но чиновничество, естественно, позаботилось о том, чтобы это предложение не возымело никаких последствий. Да и сам «живой Будда» понимал, что звезда барона неумолимо клонится к закату. Он даже не соизволил ответить на письмо своего спасителя, вернувшего ему свободу и престол. Так, во всяком случае, пишет Волков, утверждая, что об этом говорил ему Джамбалон, который, как всегда, играл роль посредника между Унгерном и Богдо-гэгеном. Причем, по словам Волкова, говорил «с большой иронией».

Гость предложил хозяину помочь ему навести порядок в доме, но ответом было многозначительное молчание. Нужно было срочно что-то предпринимать. В застоявшихся войсках уже появились первые признаки разложения. Одни мародерствуют, грабят кочевья; в Урге старые даурцы не стесняются захватывать яйца из-под наседок. Другие советуют Унгерну временно покинуть столицу и уйти на запад Халхи, в район Кобдо. Третьи, главным образом бывшие колчаковские офицеры, все настойчивее требуют вести их через Маньчжурию в Приморье, где собрались остатки каппелевцев. Получив очередной отказ, почти в полном составе дезертировала Офицерская сотня, любимое детище Унгерна. Тот воспринял это как чудовищное предательство. В погоню были высланы чахары князя Баяр-гуна с приказом не щадить никого из беглецов. Те направлялись на восток, но далеко им уйти не удалось. Чахары настигли их во время привала и привезли в Ургу тридцать восемь отрубленных голов, за каждую из которых Унгерн, как утверждают, заплатил по десять золотых импералов.

Ему, как многим в его положении, кажется, что поправить дело может небольшая победоносная война. Но с кем? И Пекин, и Москва, и даже Дальневосточная республика были чересчур серьезными противниками, чтобы схватиться с ними в одиночку.

Надежда пришла вместе с письмом от Семенова. Тот сообщал, что в мае при поддержке японцев открываются широкомасштабные действия против красных по всему фронту границы с Китаем: генерал Сычев двинется на запад с берегов Амура, генерал Савельев - из Уссурийска, генерал Глебов - из Гродеково под Владивостоком, а сам атаман из Маньчжурии выступит на Читу, Унгерну предлагалось принять участие в этой операции. Он должен был перерезать

Транссибирскую магистраль в районе Байкала и захватить Верхнеудинск.

Как выяснилось позднее, ни один из генералов, перечисленных Семеновым, включая его самого, не тронулся с места. Невольно напрашивается мысль, что весь этот план был полнейшей фикцией, и атаман опять, как осенью 1920 года, просто-напросто обманул своего старого приятеля. Какие-то совещания тогда и в самом деле проводились, какие-то планы строились, и доказать, разумеется, ничего нельзя. Тем не менее письмо Семенова, полученное Унгерном, как казалось ему, весьма кстати, вызывает сильнейшие подозрения. Очень похоже, что атаман писал его под диктовку своих японских советников. Цель была очевидна: прощупать силы красных, а заодно выманить строптивного барона из Монголии, чтобы очистить ее для Чжан Цзолина.

«Унгерн испытывал нужду буквально во всем, - пишет Першин, - но ни у кого не слышно было, чтобы он обращался за помощью к Семенову». Действительно, отношений между ними не было практически никаких. Более того, некоторые сподвижники барона, бежав из Урги, оседали при семеновском дворе. Унгерн говорил, что мог бы поддерживать связь с Семеновым по радио, но не хотел этого делать: «Сейчас же посыплются советы, приказания, указания. Все это не нужно. А что нужно - денег - все равно не дадут». Правда, несколько раз атаман присылал в Ургу курьеров с просьбами то не обижать бурятских беженцев, своих родственников по отцу, то не вмешиваться в дела Внутренней Монголии, дабы не раздражать китайцев. Однажды Семенов попросил переслать пакеты атаману Кайгородову в Кобдо и «кому-то еще», но Унгерн отправил их обратно с тем же нарочным, предложив с каждым пакетом присылать по 30 тысяч рублей за доставку. Этот жест, который сочинить невозможно, как нельзя лучше характеризует отношения между атаманом и бароном. Унгерн вел абсолютно самостоятельную политику, хотя по-прежнему носил на погонах литеры «А.С.» и время от времени, стремясь придать себе больший вес, объявлял, что подчиняется владельцу этих инициалов.

В протоколе одного из его допросов сказано: «Переход к активным действиям против Совроссии и ДВР Унгерн предпринял ввиду того, что в последнее время он со своим войском стал в тягость населению Монголии».

Это не преувеличение: все именно так и обстояло. Прочие мотивы были второстепенными. В той ситуации, в какой он оказался, Унгерн ухватился за предложение Семенова как за спасительную соломинку.

БАКИЧ, КАЙГОРОДОВ, КАЗАГРАНДИ

Смерч монгольских событий втягивает в себя сотни и тысячи русских изгнанников. Утончившиеся нити их судеб скручиваются, рвутся или, оставляя за собой кровавый след, через пустыни Джунгарии и хребты Алтая тянутся в Синьцзян, через пески Гоби - в Тибет и далее в Индию, через степи Восточной Монголии - в Китай.

Один из уцелевших - некто Константин Носков, однофамилец «орус шорта». В 1929 году он издал в Харбине книжечку под названием «Джян-джин» <Т. е. «цзянь-цзюнь» - генерал.> барон Унгерн, или Черный для белых русских в Монголии 1921-й год». На титульном листе помещена фотография автора - наголо обритая голова, молодое изможденное лицо с изуродованными глазницами. «Кто я в прошлом? - спрашивает он во вступлении к своим запискам. - Рыцарь индустрии, жрец ли богини Мельпомены, потомок Марса или Аполлона - все равно; в настоящем я большой слепой человек, потерявший зрение если не во имя каких-то общественных идеалов, то, во всяком случае, защищая женщин и детей от нападения диких орд...»

Он еще считает нужным оправдываться, что в кровавом кошмаре тех месяцев утратил «общественные идеалы».

Осенью 1921 года, когда после разгрома Унгерна остатки белых отрядов из Кобдо решили пробиваться на запад, в Синьцзян, в алтайских теснинах им преградили путь всадники Максаржава, к тому времени уже перешедшего на сторону красных.

«В роковую для меня ночь на 13-е ноября, - вспоминает Носков, - наши боевые части бросаются на монголов, которые заняли позицию на высоком скалистом гребне. Я помню ясно последнюю картину, запечатлевшуюся в моем мозгу. Дикое ущелье Ценкера. Наша сотня рассыпалась по каменистому крутому гребню. Впереди перед нами поднимается еще более высокий хребет, на нем - монголы. Отчетливо и резко звучат выстрелы в холодном воздухе осенней ночи, бессчетное число раз повторяет их горное эхо. Подобно спине сказочного дракона, мрачным черным силуэтом вырисовывается горный хребет на фоне яркого лунного неба. Яркие вспышки выстрелов там и сям прорезывают тяжелую зловещую громаду гор, поднимающихся перед нами. Откуда-то снизу, из погруженной в глубокий мрак долины, доносится глухое ворчание Ценкера. Вот что я видел в последний раз. Тяжело раненный в голову, в эту ночь я лишился зрения...»

Позднее Носков сумел добраться до Харбина. Там он выработал свою «медицинскую концепцию», согласно которой «любая слепота излечима». Суть в следующем: если жизненно важные органы человека находятся в состоянии абсолютного здоровья, то «разумные силы природы», действуя «от центра к периферии», постепенно устраняют все внешние повреждения организма. Через восемь лет после ранения, приведшего к слепоте. Носков был уверен, что у него уже идет процесс возрождения глазной роговицы.

«Но здесь-то, - продолжает он, - и начинается трагедия моей души. В настоящий момент я не имею тех благоприятных жизненных условий, которые необходимы мне для медленного движения из царства могильной тьмы к столь желанному свету. Я не могу поставить крест на моих идеях и отказаться от возможности снова быть зрячим. Отказ от всего этого равносителен добровольному уходу в четвертое измерение. Я должен вернуться к активной жизни, должен рассеять мучительную тьму, окутывающую меня и тысячи несчастных людей, которые, как я сейчас, бродят во мраке ночи. Я должен торопиться, я должен иметь средства, и вот с этой целью я подошел к настоящему изданию... Думаю, что тот доллар, который я хочу за свою книгу, не выведет никого из бюджета, а мне даст возможность придти к желанной победе. Я хочу, чтобы каждый проникся сознанием и подумал о том, что если здесь, на далекой чужбине, зачастую зрячие здоровые люди гнутся под давлением жестокой действительности и с трудом отстаивают свое право на жизнь, то как же трудно и тяжело отстаивать это право слепому человеку. Я жду, что читатель не будет строго судить меня за эту книгу и посоветует друзьям приобрести ее, помня, кому и на какое дело дает он свой доллар».

Книге предпослан портрет Унгерна, но о самом бароне в ней почти не говорится. Носков никогда с ним не встречался. Он жил на западе Халхи, где главными действующими лицами монгольской трагедии стали два других человека - генерал Бакич и атаман Кайгородов.

В начале 1920 года Оренбургская армия, в которой Бакич командовал корпусом, перешла китайскую границу и была интернирована в Синьцзяне, вблизи города Чугучак. Здесь построили лагерь из землянок, лагерные линейки назвали именами улиц Уральска и Оренбурга. После отъезда Анненкова и убийства Дутова командование армией перешло к Бакичу. От страшного голода весной следующего года умерли сотни людей, оставшиеся едва держались на ногах, все оружие было сдано, тем не менее власти смотрели на интернированных не без опаски. Два события усилили эти подозрения: появление в Чугучаке разбитых крестьян-повстанцев из Западной Сибири, которые разоружиться отказались, и падение Урги. Победы Унгерна эхом отозвались в Синьцзяне. Опасаясь развития событий по монгольскому варианту, китайцы тайно открыли границу красным. Правда, Бакич каким-то образом узнал об этом, и оренбуржцы вместе с семьями, но без подвод, почти без оружия и без продовольствия двинулись на восток, в Монголию. Перед уходом лагерь подожгли. Через

несколько часов его догорающие развалины были заняты красными.

Начался беспремерный переход через голодные, безводные степи Джунгарии. Третья часть всех ушедших из Чугучака погибла в пути, но остальных Бакич привел к Шара-Сумэ - последнему китайскому городу у границ Халхи - и захватил его после трехнедельной осады. Ворвавшись в город, люди искали только еду, «дорогие шелка, предметы роскоши бросались как ненужный хлам». Хватали все, что, казалось, можно употребить в пищу. Тонкие жертвенные свечи принимали за вермишель, мыло - за куски хлеба. Сальные свечи были изысканным лакомством.

Китайцы бежали, Бакичу достались кое-какие трофеи, и он начал готовиться к походу в Россию. Хотя вновь начался голод, в Шара-Сумэ были съедены все собаки, все кошки, но, по словам Носкова, «окружающая печальная действительность не обескураживала воинственного генерала». Слухи об Антонове, о крестьянских восстаниях в Сибири вселяли надежду на успех.

Часть оренбуржцев Бакич выслал дальше на восток: с гор Алтая они спустились на равнины Халхи. Очевидно, среди них появлялись эмиссары Унгерна, но переговоры ни к чему не привели. На допросе он подтвердил, что Бакич ему не подчинялся.

Дело тут не только в честолюбии старого генерала, хотя и оно несомненно. Унгерн с его бескомпромиссным монархизмом для Бакича был фигурой чересчур одиозной. Сам он попытался использовать те чисто эсеровские лозунги, которые волновали мужицкую стихию и за которые в Урге расстреливали без суда. Азиатская дивизия выступила в свой последний поход под знаменем с вышитым на нем именем Михаила II, а над штабом Оренбургской армии в Шара-Сумэ развевалось красное полотнище. Лишь в верхнем его углу, возле древка, был нашит крошечный трехцветный прямоугольник. Даже погоны хотели упразднить, но возмутилось офицерство. Бакичу пришлось оправдываться: «Погоны мы носим не для отдания чести, а чтобы отличать своих». Некое заискивание слышится в его объяснениях, рассчитанных на крестьян-повстанцев: «В наших рядах не редкость встретить полковника с одной, двумя или тремя нашивками, что означает, что полковник служит чуть ли не рядовым бойцом, а бывший пахарь командует им».

Унгерн вполне мог заставить полковника служить не только рядовым, но и пастухом, однако сентенция о «бывшем пахаре» для него была неприемлема. Он и Бакич были разными людьми. С одной стороны, Бакич кажется более прагматичным, с другой - способным отказаться от условностей во имя некоей высшей правды. Он, например, после окончательного разгрома его армии демонстративно отбросил револьвер и пошел впереди колонны с большим деревянным крестом в руках. Невозможно представить Унгерна делающим этот по-своему величественный жест смирения, который на фоне снежной монгольской степи отнюдь не кажется театральным.

Главные силы Бакича пришли в Монголию, когда Унгерн уже сидел в иркутской тюрьме. Но другие белые отряды появились на западе Халхи гораздо раньше. После падения Урги они как бы выкристаллизовались из аморфной массы беженцев, оказавшихся здесь после поражения Колчака. Самым крупным был отряд атамана Кайгородова.

Простой алтайский казак, есаул, он сумел собрать около двух с половиной сотен бойцов. Повиновались ему беспрекословно. Это был грубый, огромной физической силы человек, во хмелю способный прибить любого из своих офицеров, но обладавший врожденным чувством справедливости. Оно заставляло Кайгородова принимать под защиту бежавших из Урги евреев и не допускать насилий над монголами. Единственный из белых вождей в Халхе, он до конца сохранил с ними относительно мирные отношения.

«Мы, как песчинка в море, затеряны среди необъятной шири Монгольского государства», - так начинается один из его приказов. Между двумя песчинками - ургинской и той, которую ураганом революции занесло в Кобдо, где базировался отряд Кайгородова, пролегла тысяча

с лишним верст. Подчинившись Унгерну лишь формально и опротестовывая его приказы, атаман чувствовал себя в безопасности.

Кстати, как об Унгерне рассказывали, будто он командовал личным конвоем Николая II, так легенда назначала Кайгородова на ту же должность при Колчаке. Вытесненным на край света русским беженцам хотелось видеть в своих случайных вождах людей более значительных, чем те были на самом деле. Хотелось в их мимолетной власти различить отблеск легитимности, а победители охотно подхватывали такие легенды из желания преувеличить собственные заслуги. Трудно было устоять перед соблазном приписать себе честь победы над бывшим начальником императорского или адмиральского конвоя.

До Кобдо барон так и не дотянулся, но в Улясутае, расположенном на полтысячи верст ближе к Урге, сумел утвердить свою власть с помощью есаула Казанцева. Его отряд вошел в Азиатскую дивизию на правах отдельной боевой единицы. Казанцев был кряжистый рыжебородый енисейский казак, свирепый и честолюбивый. Унгерн подкупил его тем, что обещал после победы создать на юге Красноярской губернии особое Урянхайское казачье войско, а самого Казанцева сделать войсковым атаманом. Сидя в Улясутае, он примерял на себя эту роль и обсуждал с помощниками размеры душевого надела в будущем войске. Одновременно вместе с прибывшим из Урги ближайшим подручным Сипайло. Безродным, он очистил город от «вредных элементов». Погибли все евреи и все, в ком подозревали таковых. Из русского населения Улясутая погибло 42 человека - приблизительно каждый пятый. Мужей и жен связывали вместе и рубили по очереди. В числе прочих был зарублен капитан Зубов, чья главная вина состояла в том, что он приходился племянником «предателю России» Родзянко.

У Казанцева было человек полтораста казаков. Немного больше, но не казаков, а бывших колчаковских солдат и офицеров, насчитывал отряд полковника Казагранди. Своей базой он сделал поселок Ван-Хурэ на тракте между Улясутаем и Ургой. После Унгерна и Резухина этот человек показался доктору Рибо интеллигентным и порядочным, но Алешин, служивший под его началом, именуется его «кровавой бестией». Кто из этих двоих прав, судить трудно. Для того, чтобы в то время стать командиром партизанского отряда, нужно было обладать вполне определенными качествами, в число которых интеллигентность и порядочность не входили. Но, во всяком случае, массовых убийств за Казагранди никто не числил, кроме самого Унгерна: в плену тот утверждал, что у него с Казагранди были конфликты из-за жестокости последнего по отношению к китайским поселенцам.

На севере, в районе озера Косогол, действовала группа человек в семьдесят под командой вахмистра Шубина, в прошлом скупщика пушнины. Это был просто бандит. Барону он подчинился охотно, поскольку получил от него бидон серебра, оружие и обещание присвоить ему офицерский чин, о котором Шубин мечтал всю жизнь.

Все эти отряды Унгерн собирался использовать при наступлении в Забайкалье. Их количественная ничтожность его не смущала. Он был уверен, что стоит лишь перейти границу и вокруг них, как снежный ком, начнет нарастать масса повстанцев.

В конце апреля бригада Резухина была отправлена из Урги на север. В начале мая Резухин прискакал в Ван-Хурэ, и туда же на автомобиле прибыл Унгерн. Наступление было решено, оставалось разработать план операции. На совещании, которое состоялось в одной из госпитальных палаток, барон предложил Резухину и Казагранди изложить свои соображения.

Первый настаивал на том, чтобы Кайгородов, Казагранди, Казанцев и Шубин были бы подчинены непосредственно ему и вошли в его бригаду. Все вместе их отряды насчитывали до 700 человек, имели неплохое вооружение за счет ургинских трофеев и могли бы составить отдельную, третью бригаду Азиатской дивизии. Во главе этих объединенных сил Резухин хотел по западному берегу Селенги пересечь границу и двигаться к берегам Байкала. Самому Унгерну предлагалось по долине Орхона выйти к Троицкосавску и Кяхте, захватить их и

далее развивать наступление на Верхнеудинск.

Казагранди выдвинул другой план. Согласно ему, все мелкие отряды, Резухин со своей бригадой и сам Унгёрн должны были действовать порознь, хотя и согласованно. Кайгородову отводилось то направление, на которое он единственно мог согласиться - из Кобдо на Бийск, в его родной Алтай; Казанцев должен был идти в верховья Енисея и поднять енисейских казаков, а сам Казагранди вместе с Шубиным - начать действия на юге Иркутской губернии. В остальном план Резухина оставался без изменений. Но при обоих вариантах расчет строился на том, что будет колоссальный приток восставших крестьян и перебежчиков. Казагранди заверил Унгерна, что переход красноармейцев на его сторону - «пустяк». Да и сам барон был убежден, что Забайкалье «это как пороховой погреб», и нужна только искра.

После некоторых колебаний Унгёрн принял план Казагранди. Наутро он выехал обратно в Ургу, а бригада Резухина вскоре начала движение на север.

ПОД ЗНАКОМ ЦИФРЫ

Вернувшись в Ургу, Унгёрн в течение двух недель готовится к походу. Одновременно он задумывается об идеологическом обосновании этой акции. В итоге появляется знаменитый впоследствии программный «Приказ № 15». Отпечатанный в большом количестве экземпляров, он позднее не раз воспроизводился и в советских, и в эмигрантских изданиях. Одни называли его «мистическим», другие - «живодерским», третьи, как Рибо, были уверены, что этот странный и страшный документ является «продуктом помраченного сознания». В нем, несомненно, отразились идеи Унгерна, хотя непосредственное авторство принадлежало Ивановскому и Оссендовскому. Они трудились над ним в течение трех дней, поделив между собой параграфы чисто военного содержания и политические.

«Вы, кажется, воевали на своем веку порядочно и знаете, что этот приказ является совершенно необычным», - допрашивая Унгерна, констатирует один из членов следственной комиссии. «Думали ли вы, что он будет распространяться помимо ваших войск, попадет к населению?» - спрашивает другой. Утвердительный ответ не избавляет следователей от недоумений: «Вы знали состав населения: казаки и инородцы. Разбираться в такой отвлеченной философской штуке, как этот приказ, для них трудно...» Приводится еще несколько подобных соображений, призванных уличить Унгерна в нежелании раскрыть подлинные мотивы издания «Приказа № 15»; наконец барон, видимо, не выдерживает и отвечает коротко: «Судьба играет роль. Приказ остается бумагой».

На другом допросе он объяснил, что издал этот приказ с целью «придать большое значение походу», но особых надежд на него не возлагал, и вообще - «бумага все терпит». Сам же он надеялся не на приказ, а на «военное счастье, всегда ему сопутствовавшее и лишь теперь изменившее».

В преамбуле явственно ощущается опытная рука Оссендовского, который одно время служил в Осведомительном отделе у Колчака: «Россия создавалась постепенно, из малых народностей, спаянных единством веры, племенным родством, а впоследствии особенностью государственных начал. Пока не коснулись России в ней по ее составу и характеру не применимые принципы революционной культуры, она оставалась могущественной, крепко сплоченной Империей. Революционная буря с Запада глубоко расшатала государственный механизм, оторвав интеллигенцию от общего русла народной мысли и надежд...» И т. д. Весь этот клишированный набор аргументов, не потребовавший от Оссендовского большого вдохновения, по тону и содержанию ничуть не напоминает письма самого Унгерна. Его редаKTура здесь почти незаметна, если не считать раздела, где говорится о великом князе Михаиле Александровиче.

Затем идут параграфы, определяющие маршруты движения войск, способы создания

повстанческих отрядов, их тактику, порядок снабжения и пр. Автором этой части был Ивановский, начальник штаба дивизии. Писал он со знанием дела, как профессионал-штабист, но, будучи достаточно трезвым человеком, не верил, разумеется, что его разработки будут применены на практике. Успех похода казался ему крайне маловероятным, и он приложил все усилия, чтобы самому в этой аванюре не участвовать.

Но два пункта здесь выдают руку Оссендовского и подробные указания барона.

Это 9-й: «Комиссаров, коммунистов и евреев уничтожать вместе с семьями. Все имущество их конфисковывать».

И 10-й: «Суд над виновными м. б. или дисциплинарный, или в виде применения разнородных степеней смертной казни. В борьбе с преступными разрушителями и осквернителями России помнить, что по мере совершенного упадка нравов и полного душевного и телесного разврата нельзя руководствоваться старой оценкой. Мера наказания может быть лишь одна - смертная казнь разных степеней. Старые основы правосудия изменились. Нет „правды и милости“ <Подразумеваются известные слова Александра II: «Правда и милость да царствуют в судах».>. Теперь должны существовать «правда и безжалостная суровость». Зло, пришедшее на землю, чтобы уничтожить божественное начало в душе человека, должно быть вырвано с корнем...»

Завершается приказ пророчеством Даниила о «Михаиле, Князе Великом», и сроках его пришествия: «Со времени прекращения ежедневной жертвы и поставления мерзости запустения пройдет 1290 дней. Блажен, кто ожидает и достигнет 1335-ти дней» <В приказе приведена другая цифра: не 1335, как в Библии (Дан., XII, 12), а 1330. Скорее всего, это опечатка. Правда, последнюю цифру Унгерн повторил и на допросе, не желая, видимо, вдаваться в детали.>.

Далее между этими словами и подписью Унгерна лишь заключительный короткий призыв к «стойкости и подвигу».

Те, кто допрашивал пленного барона, поинтересовались, естественно, почему он не оборвал цитату раньше, для чего счел нужным привести в своем приказе эти две цифры. Унгерн ответил, что 1290 дней должны были пройти «с момента издания декрета о закрытии церковей до начала борьбы, а 1330 (так в тексте протокола. - Л. Ю.) до освобождения от большевиков».

Имеется в виду изданный 20 января (2 февраля) 1918 года Декрет об отделении церкви от государства. Но если считать с этого дня, то до выступления Азиатской дивизии из Урги на север, т. е. «до начала борьбы», прошло не 1290 дней, а приблизительно на три месяца меньше. Зато эти недостающие месяцы как раз появляются, если вести счет со времени Октябрьского переворота. В таком случае все совпадает практически день в день.

Сомнительно, чтобы Унгерн сам, с бумагой и карандашом в руке, занимался подобными кропотливыми подсчетами. На него это не похоже. По-видимому, кто-то подсказал ему возможность соотнести эти цифры с датой похода в Забайкалье, а он не стал вдаваться в подробности. Достаточно было того, что реальные сроки приближаются к указанным в Священном Писании.

Что касается второй цифры - , то Унгерн, может быть, знал, что, согласно предсказаниям, Ригдан-Данбо, последний хан Шамбалы, начнет священную «северную войну» с неверными в 2335 году. Странная схожесть этих двух сакральных чисел могла внушить Унгерну не только дополнительную уверенность в тождестве Майдари и библейского Михаила, но и тайную мысль о том, что его собственный поход, предпринятый в том же северном направлении, по которому должно двинуться войско Шамбалы, каким-то образом связан с началом новой эпохи всемирной истории.

Вообще, отношения Унгерна со временем складывались непросто. Его планы были настолько грандиозны, что вопрос о сроках их осуществления как бы не имел большого

смысла. Недели и месяцы мало что значили, все было погружено в вечность. Возникавшие в большом мозгу видения казались несовместимы с календарем. К тому же в Монголии он с европейского времяисчисления постепенно перешел на местное, восточное. Так проще было иметь дело с кочевниками. Три календаря - юлианский, григорианский и лунный, - наложившись друг на друга, создали окончательную путаницу в памяти Унгерна, и без того не блестящей во всем, что касалось имен, дат и т. д. На допросах он часто не мог назвать точные даты тех или иных относительно недавних событий. «Мне трудно восстановить, - признался он однажды, - я все лунными месяцами считал».

Восстановить хронологию своего похода ему было тем труднее, что у монголов и тибетцев счет дней в лунном месяце идет не по порядку. Обычно астрологи (а они состояли в свите Унгерна) заранее определяют неблагоприятные совпадения чисел с днями недели, и такие числа попросту исключаются. Скажем, после 1-го числа следует 3-е, поскольку 2-го в этом месяце быть не должно. Соответственно какое-нибудь число удваивается, и два дня в месяце фигурируют под одной и той же датой.

К этим астрологическим ухищрениям Унгерн, вне всякого сомнения, относился очень серьезно, как и к цифрам, упомянутым в его приказе. Будучи не в ладах с календарем, он жил в мире разного рода цифровых соответствий, чисел благоприятных и опасных, сулящих успех или неудачу. А в его положении успех означал жизнь, неудача - смерть.

Может быть, он действительно не придавал важного значения самому приказу, как говорил о том на допросах, но издание его было обставлено определенными условностями, о которых Унгерн предпочел умолчать. Во-первых, несмотря на то, что никаких общих письменных, тем более печатных, приказов по дивизии никогда раньше не издавалось, и этот - единственный, он почему-то получил порядковый номер «». Во-вторых, изданный 13 мая, приказ был помечен не 12-м и не 14-м, а 21-м мая 1921 года. Этот же день Унгерн выбрал для выступления из Урги на север, к русской границе. Выбор даты начала похода тоже не был случайным. Здесь опять сыграла свою роль та цифра, которой был помечен приказ - : по монгольскому календарю 21 мая приходилось на 15-й день IV луны. В 15-й день I луны был коронован Богдо-

гэген, и многие в дивизии знали, что число «»ламы определили как счастливое для барона <В монгольской астрологии все числа от 1 до 9 имеют цветовые эквиваленты. Единица, в частности, есть знак белого цвета, пятерка - желтого. Не настаивая на данном толковании, можно, тем не менее, заметить, что составленное из них число «»соединяет в себе два знаменательных для Унгерна цвета: он белый генерал и последователь «желтой религии».>. Всей этой цифирью как бы заклиналось будущее. Реальность подтасовывалась и приводилась в соответствие с указаниями потусторонних сил.

Накануне похода всем известная страсть Унгерна к гаданиям вспыхивает с новой силой. Любыми способами он пытается узнать, что ждет его по ту сторону границы. В письме к своему пекинскому агенту Грегори он просит, чтобы тот обратился к какому-то знакомому им обоим «предсказателю» - вероятно, китайцу или монголу; одновременно жена хорунжего Немчинова, находясь в Дзун-Модо, за 20 верст от Урги, то ли по картам, то ли еще каким-то способом гадает о судьбе, ожидающей барона, и ежедневно по телефону сообщает в столицу результаты своих гаданий. В штабе дивизии дежурные офицеры принимают от нее телефонограммы, а затем немедленно передают Унгерну. Перед тем как покинуть Ургу, он жертвует десять тысяч долларов столичному ламству - в благодарность за предсказания, и авансом - за совершение молебнов, должных привлечь к нему благосклонность богов.

Но цифры становятся неизменным итогом всех гадательных процедур. Вероятно, они казались Унгерну тем универсальным, как в пифагорействе, языком, на котором изъясняются незримые хозяева этого мира. При этом настоящим мистиком он не был. Общение с иным миром сводилось для него, главным образом к поступающим оттуда практическим

рекомендациям, имело прикладное значение.

Роковым для себя Унгерн считал число 130 - возможно, потому, что оно представляет собой удесятеренное 13.

Оссендовский рассказывает, как во время ночного посещения монастыря Гандан, выйдя из храма Мижид Жанрайсиг, барон повел его в «древнюю часовню пророчеств» - небольшое, «почерневшее от времени, похожее на башню здание с круглой гладкой крышей» и висевшей над входом медной доской, на которой были изображены знаки зодиака. «В часовне оказались два монаха, певшие молитву. Они не обратили на нас никакого внимания. Генерал подошел к ним. „Бросьте кости о числе дней моих!“ - сказал он. Монахи принесли две чаши с множеством мелких костей. Барон наблюдал, как они покатались по столу, и вместе с монахами стал подсчитывать. „Сто тридцать... Опять сто тридцать!“ . Он отошел к алтарю, у которого стояла старая индийская статуя Будды, и снова принялся молиться...»

Через несколько дней, тоже ночью (как многие тираны, Унгерн предпочитал ночной образ жизни), Джамбалон привел к нему в юрту известную в Урге гадалку - полубурятку-полуцыганку. Оссендовский находился здесь же и все видел: «Она медленно вынула из-за кушака мешочек и вытащила из него несколько маленьких плоских костей и горсть сухой травы. Потом, бросая время от времени траву в огонь, принялась шептать отрывистые непонятные слова. Юрта понемногу наполнялась благовонием. Я ясно чувствовал, как учащенно бьется у меня сердце и голова окутывается туманом. После того, как вся трава сгорела, она положила на жаровню кости (бараньи лопатки, по трещинам на которых производится гадание. - Л. Ю.) и долго переворачивала их бронзовыми щипцами. Когда кости почернели, она принялась их внимательно рассматривать. Вдруг лицо ее выразило страх и страдание. Она нервным движением сорвала с головы платок и забилась в судорогах, выкрикивая отрывистые фразы: „Я вижу... Я вижу Бога Войны... Его жизнь идет к концу... Ужасно!.. Какая-то тень... черная, как ночь... Тень!... Сто тридцать шагов остается еще... За ними тьма... Пустота... Я ничего не вижу... Бог Войны исчез...”

Гадалка появилась в юрте барона в ночь с 19 на 20 мая, и Оссендовский, включаясь в привычную для него игру (в его книге непременно сбываются все такого рода предсказания), замечает, что она оказалась права: Унгерн был казнен приблизительно через 130 дней.

На самом деле прошло несколько меньше - его расстреляли 15 сентября 1921 года. День смерти пришелся на число, которое он считал счастливым для себя. Впрочем, оно могло быть истолковано и так, если в смерти видеть не конец, а начало нового пути.

НАКАНУНЕ

В эти же дни Унгерн нанес прощальный визит Богдо-гэгену - «без определенной цели», как он говорил на допросе. Возможно, прямой политической цели у этого визита и не было. Скорее всего, ему хотелось при личном свидании проверить, так ли уж безнадежны перспективы дальнейших отношений с «живым Буддой».

Для чего-то Унгерн пригласил Оссендовского поехать вместе. Тот знал, что добиться такой аудиенции чрезвычайно трудно, и очень обрадовался «представившемуся случаю». На автомобиле прибыли к воротам Зимней резиденции на берегу Толы; отсюда ламы провели их в тронную залу Зеленого дворца - «большую палату, чьи жесткие прямые линии несколько смягчались полумраком». В глубине ее стоял трон, сейчас пустой. На сидении лежали желтые шелковые подушки, обивка спинки трона была красная, с золотой каймой. По обеим его сторонам тянулись ширмы с резными рамами из черного дерева, а перед тронном находился низкий длинный стол, за которым сидели «восемь благородных монголов». Это были министры и высшие князья Халхи, среди них - Джалханцзы-лама, премьер-министр. Он предложил Унгерну кресло рядом с собой, а Оссендовского усадили в стороне. Сев, барон

произнес короткую речь. Он сказал, что «в ближайшие дни покидает пределы Монголии и поэтому призывает министров самим защищать свободу, добытую им для потомков Чингисхана, ибо душа великого хана продолжает жить и требует от монголов, чтобы они снова стали народом могучим и самостоятельным, соединив в одно целое среднеазиатские государства, которыми некогда правил Чингисхан».

На министров речь Унгерна сильного впечатления, видимо, не произвела:

все это они уже слышали не раз. Джалханцзы-лама благословил барона, возложив на него руки, затем гостей проводили в рабочий кабинет Богдо-гэгена. Там их встретили два ламы-секретаря. Комната была обставлена просто: китайский лакированный столик с письменным прибором и шкатулкой, где хранились государственные печати, низкое кресло, бронзовая жаровня с железной трубой. За креслом - маленький алтарь с позолоченной статуей Будды. Пол устилал пушистый желтый ковер, на стенах виднелись изображения знака «суувастик», монгольские и тибетские надписи. Хозяина кабинета на месте не было, он молился в соседней комнате. Там, как объяснил секретарь, «происходила беседа между Буддой земным и Буддой небесным». Пришлось подождать около получаса. Наконец появился Богдо-гэген, одетый в простой желтый халат с черной каймой. Не видя, но чувствуя, что в комнате кто-то есть, он спросил у секретаря, кто это. «Хан дзянь-дзюнь, барон Унгерн, и с ним иностранец», - ответил секретарь. Оссендовский был представлен, хотя в дальнейшей беседе участия не принимал. Унгерн и Богдо-гэген о чем-то «говорили шепотом» - вероятно, по-монгольски <Относительно того, насколько Унгерн владел монгольским языком, существовали>разные мнения. Одни утверждали, что он говорил на нем чуть ли не свободно, другие - что едва мог прочесть вслух молитву «Ом мани падме хум». Надо думать, истина лежит где-то посередине.>. Переводчика не было. Вскоре барон поднялся и «склонился перед Богдо». Тот возложил руки ему на голову, произнес молитву, потом снял с себя «тяжелую иконку» и повесил ее на шею Унгерну, сказав: «Ты не умрешь, а возродишься в высшем образе живого существа. Помни об этом, возрожденный Бог Войны, хан благодарной Монголии!» Неизвестно, каким образом Оссендовский понял эти слова, но, как он пишет, ему «стало ясно, что живой Будда благословляет „кровоавого генерала" перед его смертью».

Чуть позднее, когда Азиатская дивизия уже двигалась к русской границе, в Цогчине и в храмах Гандана служили молебны о даровании барону победы, и ламы были искренни в своих молитвах. В победе Унгерна они видели единственный способ избавиться от него. От поражения ничего хорошего Монголии ждать не приходилось. В таком случае или он сам должен был вернуться обратно, или на смену ему придти красные. Богдо-гэген и его министры полагали, что при победе Унгерн навсегда останется в России.

Но как раз в этом-то они глубоко заблуждались. Унгерн вынашивал совсем иные планы. Оставаться на родине он вовсе не собирался.

Очевидно, перед походом его терзали дурные предчувствия и мысли о смерти, тем не менее Оссендовский сильно сгущает краски, когда пишет о якобы всецело владевшем им чувстве обреченности. Под его пером Унгерн, как герой античной трагедии, твердо идет навстречу року, хотя и сознает, что впереди его ждет неминуемая гибель. На самом деле при всех колебаниях и сомнениях он не переставал верить в успех. Правда, использовать его он хотел иначе, нежели предполагали и его собственные соратники, и Богдо-гэген, и монгольские князья и ламы.

За день до выступления из Урги, 20 мая, Унгерн писал в Пекин Грегори:

«Я начинаю движение на север и на днях открою военные действия против большевиков. Как только мне удастся дать сильный и решительный толчок всем отрядам и лицам, мечтающим о борьбе с коммунистами, и когда я увижу планомерность поднятого в России выступления, а во главе движения - преданных и честных людей, я перенесу свои действия на

Монголию и союзные с ней области для окончательного восстановления династии Цинов, которую я рассматриваю как единственное орудие в борьбе с мировой революцией...»

Сама победа над красными в Забайкалье была для Унгерна не целью, а средством. Главным по-прежнему оставался план возрождения империи Чингисхана и реставрации Циней. Затяжная война в Сибири, на Урале и на русских равнинах должна была продолжаться уже без него. На допросах он прямо говорил, что долго воевать в России не хотел, а своим походом собирался всего лишь «укрепить свое положение в Урге», где последнее время «нетвердо себя чувствовал». Именно поэтому Унгерн не предполагал ни создания какого-то правительства на отвоеванных территориях (по его словам, «правительство всегда найдется»), ни гражданских органов власти. Что касается общих принципов государственного строительства, их Унгерн мыслил просто: Россия должна принять за образец родоплеменной строй кочевников и «устроить внутреннюю жизнь по родам» <В машинописи - «по рекам», но это, скорее всего, ошибка, возникшая при перепечатке рукописного текста протокола. Возможно, впрочем, и другое прочтение - «по расам».>. В этом пункте утопия превращается в абсурд, но сохраняет свою безумную логику. Идеал рода как незыблемой ячейки общества вытекает из намерений Унгерна распространить в Сибири буддизм, который, как он сам утверждал, есть свод правил, «регламентирующих порядок жизни и государственное устройство».

За несколько дней до похода была проведена последняя мобилизация. Унгерн выскребал остатки способных носить оружие. На этот раз подошла очередь резидентов различных ургинских торговых фирм. Их собрали человек двести. Все были построены на главной улице, которую русские называли «Широкой». В сопровождении адъютанта Унгерн пошел вдоль строя, расспрашивая каждого о возрасте, занятиях, военных навыках и т. д. Адъютант делал пометки в блокноте, кого взять. Годных оказалось немного, не более полусотни.

О намеченном походе знали, и это вызвало новую волну дезертирства. Она поднялась вместе с весенним теплом, когда путь в Маньчжурию уже не казался таким страшным. Бежали те, кому было что терять и кто не разделял уверенности Унгерна в успехе предстоящей экспедиции. Одним из самых «громких» стал побег дивизионного адъютанта, поручика Ружанского. У него имелись две написанные карандашом записки барона, на которых Ружанский оставил подписи Унгерна, а все остальное стер и вписал новый текст. Теперь в одной записке предписывалось выдать ему крупную сумму денег, в другой - оказывать всяческое содействие в его командировке в Китай, в Хайлар. Затея Ружанского почти удалась. Он все рассчитал точно и, зная характер казначея дивизии Бочкарева, явился к нему поздно вечером. Осторожный Бочкарев, очень дороживший своей должностью, побоялся ночью беспокоить штаб и выдал деньги. Однако на другой день утром, терзаемый беспокойством, он сообщил о своих подозрениях Бурдуковскому. Тот пошел к Унгерну, подлог раскрылся; тут же снарядили погоню. На какой дороге искать беглеца, выяснили быстро: Ружанский не мог миновать расположенный неподалеку от Урги поселок Бревен-Хит. Там находился лазарет, при котором служила его жена. Супруги - оба молодые, красивые, из хороших семей - страстно любили друг друга, и на смертельный риск Ружанский пошел именно из-за жены. Сам он был студентом Петроградского политехникума, она окончила Смольный институт. Ружанская была посвящена в замысел мужа и ждала его прибытия, чтобы бежать дальше на восток. Но он в темноте заплутался, сбился с дороги; погоня появилась в Бревен-Хите на полтора часа раньше, чем преследуемый беглец. Первой арестовали ее, затем - его.

Кара была ужасна. Ружанскому перебили ноги - «чтобы не бежал», руки - «чтобы не крал», и повесили на вожжах в пролете китайских ворот. Несчастливая женщина была отдана казакам и вообще всем желающим. «Для характеристики нравов, - пишет Волков, - упомяну, что один из раненных офицеров, поручик Попов, хорошо знавший Ружанских, также не

выдержал и, покинув лазарет, прошел в юрту, где лежала полуобезумевшая женщина, дабы использовать свое право». Затем Ружанскую привели в чувство, заставили присутствовать при казни мужа, после чего тоже расстреляли. На расстрел Бурдуковский согнал всех служивших в лазарете женщин, чтобы они «могли в желательном смысле влиять на помышляющих о побеге мужей».

Смерть Ружанских стала мрачной прелюдией ко всему походу, и на фоне этой страшной казни мечты Унгерна о том, чтобы в России «устроить внутреннюю жизнь по родам», вызывают уже не улыбку, а совсем иные чувства.

Урга затаилась в страхе. Говорили, что перед уходом Унгерна будут перебиты оставшиеся в живых евреи, а также невольные свидетели преступлений барона (таковым мог считаться практически любой) и вообще все, кто не выказывал должного патриотического усердия. Курсировал и другой слух - о том, что это поручено Сипайло, который оставался комендантом города, что ему дан список лиц, подлежащих уничтожению после того, как войска покинут столицу. Почти каждый состоятельный, занимавший какую-то должность и просто образованный человек, в том числе Першин, был убежден, что в этом списке есть и его фамилия. Действительно, как только Азиатская дивизия ушла из Урги, по городу прокатилась последняя полоса репрессий. Полностью погибла семья еврея-коммерсанта Немецкого, были убиты несколько «маленьких», т. е. в небольших чинах офицеров, под разными предлогами сумевших избежать участия в походе. Среди них должен был оказаться и Волков, спасшийся буквально чудом. Но убийства прекратились так же внезапно, как начались. Многие ургинцы были уверены, что своим спасением они обязаны Джамбалону. Тот был тесно связан с правительством, с самим Богдо-гэгеном, и, будучи вдобавок начальником столичного гарнизона, быстро пресек попытки вернуться к террору первых недель после взятия Урги. В отсутствие Унгерна ссориться с монголами Сипайло не рискнул.

Итак, 21 мая Азиатская дивизия оставила столицу и двинулась на север. Для Першина это событие «прошло как-то незаметно», а Макеев утверждает, что проводить унгерновцев собрался чуть ли не весь город, многие женщины плакали, расставаясь со своими мужьями и кавалерами. Наверняка, было и такое. Сотни людей прожили здесь несколько месяцев, и отнюдь не все были извергами. Как всегда в такое время, любовные связи были эфемерными, но страстными. Люди тянулись к уюту, к старым - пусть только по наименованию, формам быта, и невенчаные пары часто считались мужем и женой. Свидетельств о разводе никто ни у кого не требовал, общего имущества нажить не успевали, зато редкие - в силу обстоятельств - свидания не давали угаснуть чувству.

Но большинство жителей Урги не испытывало, по-видимому, ни печали, ни радости избавления. Одни думали, что Унгерн еще вернется, другие предвидели, что его конец неизбежен, вопрос лишь в том, сколько времени продлится агония. В любом случае ничего хорошего для себя не ждали. Раздавленный трехмесячным владычеством безумного барона, город пребывал в некоем оцепенении. Из него словно бы ушла жизнь, и кто бы ни победил - Унгерн или красные, опустошенная, обезлюдившая Урга равнодушно готовилась встретить победителя и стать его жертвой.

В самой дивизии особого воодушевления не наблюдалось, однако чувства обреченности все-таки, пожалуй, не было. Унгерна ненавидели и боялись, но в его удачу еще продолжали верить. Соотношение сил в расчет никем не принималось. Взятие Урги, когда китайцы были побеждены вдесятеро меньшей по численности армией, показало бессмысленность подобных расчетов. Сама жизнь больше заставляла полагаться, как говорил Унгерн, на «случайность и судьбу». Время крови, дикости, всеобщего озверения было одновременно и эпохой чудес. Казалось, гири, склоняющие чаши весов то на одну, то на другую сторону, как бы не имеют постоянного веса, словно в разное время сила земного притяжения действует на них по-разному. Эта сила - сочувствие населения. Поэтому в считанные дни рушились режимы,

казавшиеся незыблемыми, рассеивались и переставали существовать многотысячные армии, горстки фанатиков поднимали мятежи и почему-то побеждали. Причиной успеха победители выставляли правоту собственных идей и насилия побежденных, но вера в чудо не умирала ни в тех, ни в других.

«С несколькими тысячами, - пишет Волков, - из которых едва одна треть русских, остальные же - только что взятые в плен полухунхузы, полусолдаты-китайцы, необученные монгольские всадники, разрозненные шайки грабителей - чахар, харачинов, баргутов, типа шайки знаменитого Баяр-гуна, - объявить войну всей России! Обладая жалкой артиллерией и боевым снаряжением, выступить против великолепно оборудованной в техническом отношении советской армии... Что это? Великий подвиг или безумие?»

Ни то и ни другое, сам же отвечает Волков на свой вопрос. Это - естественное продолжение Гражданской войны в России, воскрешение старых надежд при новом опыте.

Да, ставка сделана была на ту же иррациональную, как Божий промысел, народную стихию, но при полном непонимании того, что времена изменились, что Азиатская дивизия идет в иную страну, нежели та, которую она покинула полгода назад. Отныне там нет места чудесам, народ безмолвствует, и каждая гиря на весах истории весит ровно столько, сколько на ней написано.

ПУТЬ НА СЕВЕР

В плену Унгерн не без гордости говорил, что под началом у него служило «национальностей». Их них главные: русские, монголы всех племен, буряты, китайцы, тибетцы, татары, башкиры, чехи и японцы (последних к моменту похода оставалось человек тридцать). Сюда следует добавить корейцев и маньчжур, небольшие группы сербов и поляков, немцев и австрийцев из бывших военнопленных и даже будто бы двоих англичан, неизвестно каким образом попавших в Азиатскую дивизию.

Позднее победители барона из понятных соображений всячески стремились преувеличить его силы, и в итоге возникла фантастическая, но дожившая до наших дней цифра - около 10 500 человек. Впрочем, в ней отразилось не только тщеславие победителей, а еще и страх перед бешеным бароном, невозможность поверить, что с ничтожными силами он сумел причинить столько хлопот. Статистика тоже стала формой легенды о нем.

На самом деле у него было приблизительно втрое, а на главном направлении - вдвое меньше бойцов, чем проходило по сводкам 5-й армии. Общую численность своих войск перед наступлением на Кяхту-Троицкосавск сам Унгерн определял в 3300 сабель, включая сюда бригаду Резухина и отряд Казагранди.

Пехотных частей в дивизии не было, исключительно конница. Пулеметов насчитывалось десятка два, орудий - (а не 21, как указывалось в отчетах красных командиров). Это были горные пушки и «аргентинки». Снаряды имелись только «горные», к «аргентинкам» подходившие весьма относительно. Не ввинчиваясь в нарезы, они скользили по стволу, как ядра в старинных пушках, и при установке прицела на пять верст ложились в версте с небольшим. Винтовок и патронов хватало с избытком, но ни радиостанций, ни полевых телефонов не было. Походных кухонь и котлов не было тоже. Монголам выдавалось по три барана в месяц на человека, остальным - четыре фунта мяса в день и котелок муки на два дня. Из нее в золе пекли лепешки.

В «Приказе № 15» предписывалось всем офицерам и солдатам, состоящим на нестроевых должностях, перешить погоны и носить их не вдоль по плечу, а поперек. Этот странный пункт вызвал бурю возмущения, к Унгерну явилась депутация от обиженных, и в конце концов распоряжение о поперечных погонах было отменено. Но сама идея демонстрирует присущее Унгерну, как многим тиранам его склада, маниакальное стремление утвердить ранг

человека с помощью внешних символов. Он придавал огромное значение форме, знакам отличий, и в то же время в дивизии не было ни саперных, ни разведывательных, ни связных подразделений. Единственной спецкомандой были каратели Бурдуковского. Командиры или вообще не имели карт, или не умели по ним ориентироваться. Полагались, главным образом, на проводников. Штаб выполнял функции интендантства. Все приказы отдавались лично Унгерном и рассылались в устной форме с ординарцами. Сам он в походе попеременно шел то с одной частью, то с другой, чтобы, по его словам, «подтягивать людей».

В районе, куда направлялась дивизия, находились цэрики Сухэ-Батора, несколько партизанских отрядов и пехотная бригада войск ДВР в 700 штыков. Силы Советской России были гораздо значительнее. Здесь располагались части 5-й армии, из них самой крупной была 35-я дивизия. В ней на 19 тысяч едоков числилось около 8 тысяч строевых бойцов, 24 орудия и полторы сотни пулеметов. Среди прочих статистических параметров, характеризующих боеспособность дивизии был и такой: ее партийная прослойка составляла 13 процентов. Штаб армии находился в Иркутске, и командарм Матияевич на место боев так ни разу и не выезжал.

Но о том, с каким противником ему предстоит встретиться, Унгерн не имел ни малейшего понятия. Разведки по сути дела не было, люди шли в полную неизвестность.

Раньше барон воевал или с китайцами, или с партизанами и не многим отличавшимися от них войсками «буфера», т. е. Дальне-Восточной республики. О регулярных красноармейских частях он имел представления самые смутные. Ему казалось, что это банды мародеров, что вообще в России все обстоит так же, как на фронте при Керенском - «штабы в вагонах», не способные управлять ничем и никем, и такая же анархия, только еще хуже. «Я это первый раз вижу, - говорил Унгерн в плену, имея в виду организацию и боевые качества советских войск. - Я с „буфером" все время воевал. Получались белые газеты, но там говорится, что в Красноярске женщин по карточкам выдают, и тому подобные сведения». - «Вы этому верите?» - спросили у него. Он ответил уклончиво: «Все может быть».

Но в Забайкалье неплохо были осведомлены о том, что творилось в Урге, и не в последнюю очередь - из харбинских газет. По замечанию Унгерна, эти газеты «ненавидят его больше, чем красных». Китайские беженцы тоже немало о нем порассказали, как и дезертиры. В городах барона боялись, как огня, и на сочувствие крестьян рассчитывать не приходилось. Семеновщину в этих местах еще слишком хорошо помнили. В казачьих станицах и бурятских улусах к новой власти относились без всяких симпатий, но силу ее, в отличие от Унгерна, сознавали. Воевать с ней не хотел никто, тем более в самую страду. Планы поднять здесь всеобщее восстание были построены даже не на песке, а в воздухе. Унгерн шел за призраком, хотя этого же призрака в глубине души побаивались и его враги.

Правда, не в пример Азиатской дивизии, разведывательные службы в 5-й Армии имелись и не бездействовали. О приготовлениях и передвижениях Унгерна было известно. Тем не менее до последнего момента мало кто верил, что он первым посмеет перейти границу. В военном отношении такое предприятие казалось настолько безнадежным, что его попросту не принимали в расчет.

Дивизия шла на север несколькими колоннами, по речным долинам. В июне от тающих снегов разливаются и бушуют горные реки, на просевших, прогнивших за годы революции беспризорных мостах слани заливает водой по пояс человеку и до полубока лошади, но в конце мая пройти еще можно. В это время года преобразаются суровые хребты Северной Монголии. Ковер из белых анемонов покрывает южные склоны гор, на угрюмых гольцах расцветает лиловый ургуй. Ночи еще холодные, но в прибрежных падах уже вьют гнезда утки, а в степи вылезают из своих нор тарбаганы, любопытные, как все существа, обитающие под землей.

Унгерн на несколько дней задержался в долине реки Хары, где жили китайцы и

приученные ими к земледелию монголы. Там он пополнил запасы муки, тем временем согласно плану, разработанному в Ван-Хурэ, отряды Туба-нова и Казагранди первыми пересекли границу. Тубанов сделал это в районе Акши, Казагранди - на юго-востоке Иркутской губернии. Расстояние между этими крайними флангами составляло многие сотни верст, чтобы, по замыслу Унгерна, восстания вспыхнули сразу в разных местах. Заодно он надеялся дезориентировать красных и скрыть от них направление главного удара. Но наивная стратегия барона никого не ввела в заблуждение, к тому же оба отряда почти мгновенно были разбиты и отброшены обратно в Монголию.

Сам Унгерн еще только приближался к Кяхте, когда наступавший сотней верст западнее Резухин со своими двумя полками, китайским дивизионом и монголами, пройдя долиной реки Желтуры, перешел границу. Монголы, неожиданно для себя обнаружив, что их ведут на войну с Россией, заупрямились было, тогда каратели Безродного без долгих разговоров берут в сабли четырех ближайших всадников. Бунт подавлен, Резухин идет на север, но возле станицы Желтуринской ему преграждает путь командир 35-й дивизии, двадцатичетырехлетний латыш Константин Нейман. Он стянул сюда три пехотных полка с артиллерией, а на второй день сражения на помощь им подходит кавалерийский полк его тезки и ровесника, будущего маршала Рокоссовского. У него не то две, не то три с половиной сотни сабель, но всего под Желтуринской сосредоточивается до двух тысяч красноармейцев. Хотя у Резухина чуть не вдвое меньше, казаки мечтают прорваться к родным станицам и, как отмечают сводки, в бою «проявляют большое упорство». Красные обороняются не менее ожесточенно. Командиры находятся в строю, Нейман даже пытается охватить казачью конницу пешими цепями, но безуспешно. Предпринятая Резухиным конная атака тоже не удалась, под пулеметным огнем он отступает, затем ночью внезапно снимается и уходит на юг. Раненный в ногу Рокоссовский, оставшись в седле, устремляется в погоню, однако пехота за ним не поспевает. Оторвавшись от преследователей, проделав стремительный переход по монгольской территории, Резухин вновь появляется к северу от границы. Он действует по плану, утвержденному в Ван-Хурэ, и на этот раз наступление идет успешно: его здесь не ждали.

Тем временем чахарский князь Баяр-гун, поставленный Унгерном командовать всей монгольской конницей, подходит к Кяхтинскому Маймачену, он же - Алтан-Булак. Немного севернее, но уже по другую сторону границы, находилась Кяхта, за ней, еще севернее, - Троицкосавск. Их окраины сливались, по сути дела, это был один город, вытянутый вдоль тракта между Верхнеудинском и Ургой. Двести лет назад грек Савва Рагузинский, «пленец гнезда Петрова», решив заложить город на китайской границе, выбрал место для него на речке Кяхтинке, текущей не с юга на север, как все здешние реки, а в обратном направлении. По легенде, он сделал это специально для того, чтобы в случае войны китайцы не могли бы отравить речную воду. За последние столетия об азиатской опасности здесь успели позабыть, но сначала японцы, потом Чу Лицзянь, а теперь Унгерн вновь сделали ее реальной.

Баяр-гун шел в авангарде, главные силы Азиатской дивизии были еще на расстоянии двух дней пути от границы. Не дожидаясь их, воинственный чахарский князь решил овладеть Маймаченом без чьей-либо помощи. Он знал, что регулярных войск там нет, лишь три-четыре сотни цэриков Сухэ-Батора, а в их боеспособность мало кто верил. Сам Унгерн относился к ним в высшей степени пренебрежительно. Все примерно так и обстояло, но за одним исключением: «красномонгольские» части были усилены пулеметной командой и калмыцким эскадром. В преддверии грядущих революционных потрясений в Халхе калмыков, проявивших себя в боях с Деникиным, заблаговременно перебросили сюда за неимением в Красной Армии собственно монгольских формирований.

31 мая в Маймачене состоялся митинг: Сухэ-Батору вручают какую-то почетную саблю, его цэрики в строю присутствуют на этой торжественной церемонии, а спустя три дня чуть

ли не четвертая их часть без малейшего сопротивления переходит на сторону Баяр-гуна. На следующее утро, воодушевленный неожиданным успехом, он прямо среди бела дня бросается в атаку на Маймачен. Ядро его конницы составляют чахары, остальные - мобилизованные халхасцы, в том числе юноши и подростки из ургинской офицерской школы.

Между юго-восточной окраиной Маймачена и ближайшими сопками расстилалось гладкое поле шириной версты в две с половиной. На нем и разыгрались главные события дня. С бешеным воем, всегда наводившим ужас на китайских солдат, шестьсот всадников Баяр-гуна, раскинувшись по полю, карьером понеслись к Маймачену. Сам князь мчался в общем потоке. Им, видимо, владело упоение боем и собственным военным могуществом. С китайцами он воевал уже пятнадцать лет, начав борьбу с ними под знаменем легендарного Тогтохо, но командовать таким войском ему еще никогда не доводилось. Всякая осторожность была забыта, в азарте монголы проскакали мимо сидевшей в засаде пулеметной команды, которая, видимо, остереглась обнаруживать себя огнем. Редкие заслоны были смяты, но на окраине передовые всадники начали останавливаться, заметив, что в город входит вовремя подоспевшая из Троицкосавска пехота Сретенской бригады войск ДВР. В этот момент замешательства пулеметчики открыли по скучившейся коннице убийственный фланговый огонь. Потери были ужасны. Чахары немедленно обратились в бегство, и напрасно Баяр-гун метался по полю, пытаясь удержать бегущих, пока под ним не убило коня. Тяжело раненного князя хотел спасти его коновод, скакавший рядом с запасной лошадью в поводу, но сам был убит.

Теперь наступает черед Сухэ-Батора. Во главе своих немногочисленных цэриков, оправившихся от первого испуга, он бросается вперед. Обок с ним скачут «наличные члены Монгольского правительства, вооруженные кто ручной гранатой, как Бодо, кто маузером». Но им едва ли удалось пустить в ход это оружие. Чахары бегут, почти не оказывая сопротивления. Один из калмыков позднее вспоминал, как погнавшись за монголом с унтер-офицерскими погонами на халате, крикнул ему: «Стой, не то зарублю!» Тот с трудом остановил коня, прижался к гриве, с ужасом глядя на занесенную шашку, и преследователь опустил ее: он увидел перед собой залитое слезами детское лицо.

Попавший в плен Баяр-гун вскоре умер на койке кяхтинской больницы, его уцелевшие всадники рассеялись в окрестных лесах, и когда на другое утро, подходя к Кяхте, Унгерн узнал об этом, ему даже не на ком оказалось выместить ярость. Все карты были спутаны, его присутствие перестало быть тайной для противника.

Правда, дело еще можно было поправить. Части, занимавшие Маймачен и Кяхту, не могли противостоять Азиатской дивизии, но штурмовать город Унгерн не стал. Три дня он бездействовал. Его загадочная, спасительная для врага медлительность объяснялась просто: ламы не советовали ему до определенного числа пускать в ход пулеметы и артиллерию.

Между тем Нейман быстро движется к Кяхте с запада, его пехота переправляется через Селенгу. Сюда же спешит свирепая партизанская конница Щетинкина, который успел отбросить Казагранди назад в Монголию. Но первым с севера подходит комбриг Глазков с двумя стрелковыми полками и несколькими эскадронами. Утром 11 июня завязываются кавалерийские стычки, красные притворно отступают и заманивают Унгерна в сопки. В узкое дефиле втягивается вся дивизия с пушками и обозом. Свою ошибку барон понимает слишком поздно. Он еще мог отступить, но, как говорил на допросе, не сделал этого «принципиально». Два дня среди лесистых холмов к востоку от Кяхты продолжают жестокие и беспорядочные схватки, ход которых едва ли можно восстановить, хотя Унгерн позднее, объясняя свое поражение, и пытался ввести этот хаос в рамки какой-то якобы имевшейся у него логики боя. Наконец 13 июня, не обращая внимания на несчастливое число, Глазков переходит в наступление. Зажатая между сопками, перемешанная с обозными лошадьми,

подводами и верблюдами, конница Унгерн развернуться не может. Азиатская дивизия сгрудилась на небольшом пространстве и бессильна против стрелков на горных склонах. Под пулеметным огнем потери огромны, вскоре начинается паника, а затем и бегство. Как и Баяр-гун, с ташуром в руке Унгерн пытался остановить беглецов и был легко ранен в плечо. К ночи стрельба стихает, а утром, примерно в двадцати верстах от места сражения собрав остатки дивизии, барон обнаруживает, что она уменьшилась на несколько сот человек, потеряв весь обоз и вся артиллерия. «Магия бараньих лопаток, - замечает Алешин, сам участвовавший в этом бою, - была побеждена здравым смыслом большевиков».

От окончательного разгрома Унгерн спасла случайность. Глазков и Нейман пользовались старой, составленной еще в 1881 году сорокаверстной картой Монголии, схематичной и неточной. Судя по ней река Иро, в частности, текла в нескольких десятках верст восточнее, чем на самом деле. С этой картой в руках победители полагали, что Унгерн задержится при переправе, и момент был упущен. Оставив преследователей далеко позади, Унгерн форсировал Иро позднее.

Как всегда, приказано было переправляться вплавь, на спинах лошадей. Сотня за сотней бросается в воду, некоторые тонут. «Китайские воины» медлят в нерешительности. Наконец китайцам удалось разыскать лодки-долбленки, и они обратились к Унгерну с просьбой разрешить ими воспользоваться. Барон разрешил, но при условии, что каждый, кто предпочтет лодку спине своего коня, получит по десять «бамбуков». Большинство китайцев сочли это условие приемлемым. Они равнодушно ложились под палки, затем садились в лодки и спокойно гребли к противоположному берегу, сухие и в полной безопасности. Многие им завидовали, однако их примеру не последовали ни русские, ни монголы, хотя последние, как правило, не умеют плавать.

Спустя два-три дня дивизия, тем же манером переправившись через Орхон, разбивает лагерь вблизи монастыря Эрдени-Дзу. Здесь к Унгерну возвращается обычная самоуверенность. Разбитый противником, значительно уступавшим ему по численности, он произносит наполеоновскую фразу: «За пять лет русские не научились воевать. Если бы я так окружил красных, ни один ни ушел бы!»

К этому времени Резухин успел продвинуться довольно далеко в глубь Забайкалья, но его теснят со всех сторон. К тому же до него доходят слухи о первых неудачах барона. В итоге он поворачивает и, лавируя, идет обратно. Ему удалось сохранить оба орудия и весь обоз. В конце июня 1-я и 2-я бригады Азиатской дивизии встречаются в глубине Монголии, на Селенге: Унгерн выходит к ее правому берегу, Резухин - к левому.

ПОСЛЕДНИЙ ПОХОД

Первым начав боевые действия, Унгерн оказал своим злейшим врагам поистине бесценную услугу: он дал Москве долгожданный предлог для вторжения в Монголию. Год назад красные не рискнули это сделать, опасаясь втянуться в войну с Китаем, но своими победами под Ургой и на Калганском тракте барон сам же расчистил им путь в Халху. Теперь Пекину не оставалось ничего иного, как с грустью наблюдать за новым поворотом событий в отныне уже безвозвратно утраченной провинции.

Примерно в то время, когда Унгерн соединяется с Резухиным на Селенге, экспедиционный корпус 5-й армии под командованием Неймана, не встречая ни малейшего сопротивления, по Кяхтинскому тракту движется на юг. Навстречу выступает монгольский отряд человек в полтораста во главе с хорунжим Немчиновым, но по дороге, услышав о неисчислимых русских войсках с множеством «ухырбу» <Дословно - «бычье ружье». Это название закрепилось за артиллерией, поскольку в старину тяжелые пушки обычно перевозили на быках.>, монголы с простодушной хитростью кочевников заявили своему

командиру, что им срочно нужно идти в Ургу «на моление». Репрессии оказались бесполезны, отряд разбежался. В начале июля 1921 года Нейман и Сухэ-Батор вступают в Ургу, и начальник дворцовой стражи Богдо-гэгена, сообщая о готовности «живого Будды» признать революционное правительство, торжественно встречает их на расстоянии десяти верст от столицы, как в былые времена встречали пекинских наместников. Сухэ-Батор, осененный красным знаменем, сопровождаемый непрерывно трубящим трубачом, проезжает по середине главной улицы Урги - Широкой (это, как шутили русские колонисты, единственное, что о ней можно сказать хорошего), а по обеим сторонам улицы, вдоль домов, скромно тянется красная пехота: Нейман блюдет этикет.

После боев под Кяхтой проходит три недели. Унгерн никто не ищет, никто не гоняется за ним по горам и лесам Северной Монголии. Он предоставлен самому себе. Правда, несколько раз его лагерь на Селенге, неподалеку от монастыря Ахай-Гун, обстреливают мелкие партизанские отряды. Они ведут себя, как собаки, которые нашли логовище медведя и облаивают его. Но напрасно: охотника поблизости нет.

И Нейман в Урге, и Матиясевич в Иркутске, и Блюхер в Верхнеудинске, недавно сменивший Эйхе на посту главкома ДВР, уверены, что смертельно раненный медведь уже не сумеет зализать свои раны, опасаться нечего, не стоит тратить силы, чтобы добить издыхающего зверя. Но они глубоко заблуждаются. Унгерн успел реформировать дивизию, и она вновь представляет собой грозную силу. Часть монголов разбежалась, других он сам разогнал, но получил и пополнения из близлежащих хошунов. К тому же еще на реке Иро к нему перебежал какой-то «красномонгольский» отряд. Азиатская дивизия уменьшилась раза в полтора, однако ее боеспособность при этом не очень пострадала. Теперь в ней около двух с половиной тысяч бойцов, считая пехотную команду из пленных красноармейцев, которая уже хорошо зарекомендовала себя в боях. Из Ван-Хурэ прибыли обозы с провиантом и боеприпасами, у каждого всадника свыше двухсот патронов на винтовку. Дисциплина в лагере поддерживается железная, попытки дезертирства пресекаются с обычной жестокостью. Чуть ли не ежедневно устраиваются учебные тревоги, по которым конница в полной амуниции должна вплавь переправляться через Селенгу. После каждого такого «учения» монгольские части недосчитывались нескольких человек: пугаясь глубины, монголы часто хватались за головы лошадей, топили их и тонули сами. Так продолжалось до тех пор, пока разлившаяся от летнего паводка Селенга, как пишет Рибо, «не положила конец этим диким развлечениям сумасшедшего маньяка».

Теперь обе бригады дивизии сосредоточены на левом, западном берегу реки - сначала на открытом месте, затем, когда начались налеты красных аэропланов, в лесах. Но сам Унгерн упрямо остается на правом берегу Селенги. Для доклада ему командиры частей переправляются через реку на лодках и, лавируя между бесчисленными островками, высаживаются у подножия холма, на котором расположился барон со своим штабом, ламами-прорицателями и комендантской командой Бурдуковского.

Из Бангай-Хурэ, где год назад мирно учительствовал Алешин, вызван хошунный князь Панцук-гун: ему предложено то ли заменить Баяр-гуна в должности командира монгольского дивизиона, то ли просто провести мобилизацию в своем хошуне. Князь выражает сомнения в целесообразности дальнейшей войны и отказывается, тогда разъяренный Унгерн приказывает живым закопать его в землю. Бежавший из Иркутска студент-медик Энгельгардт-Езерский по доносу Сипайло обвинен в связях с красными и заживо сожжен в стоге сена. Бывалые унгерновцы давно привыкли к безумной свирепости своего начальника и циничной - Безродного и Бурдуковского, но какой-то молодой человек по фамилии Петровский, незадолго перед тем пришедший в Азиатскую дивизию, настолько потрясен этой чудовищной расправой, означавшей для него крушение всех идеалов, что в тот же день

бросается в Селенгу и тонет. «Простая душа, - с печальным сознанием собственной огрубелости замечает Алешин, рассказавший эту историю, - он предпочел смерть пребыванию в стане „белых рыцарей“.

Все в дивизии парализованы страхом, тем не менее уже в это время, видимо, среди бывших колчаковских офицеров, хорошо знавших друг-друга по службе у Дутова и Бакича, и близких им оренбургских казаков складываются зачатки той конспиративной организации, которая позднее привела к заговору и мятежу в Азиатской дивизии. Очевидно, это и имел в виду Рибо, когда писал, что «конец барона и всей его авантюры мог бы наступить гораздо раньше, если бы он не втянул дивизию в новые походы и сражения».

Поначалу, отступая не прямо к столице, а в базовый лагерь Резухина на Селенге, Унгерн рассчитывал ударить во фланг красным, когда те будут наступать на Ургу. Но он никак не предвидел, что все это случится так скоро. Новое революционное правительство уже издает первые указы, а Унгерн еще только получает известия о падении столицы. Перед ним опять встает все тот же вопрос: что делать? Нужно было куда-то идти, чтобы «войско» окончательно не разложилось. Но куда? Многие офицеры и мобилизованные в Урге русские колонисты оставили там семьи, жен. В «Приказе № 15» брать их с собой в поход строжайше запрещалось. Люди встревожены судьбой своих близких, оставшихся в столице, но на вопрос об этом одного из офицеров Унгерн отвечает, что «настоящий воин не должен иметь никаких близких», ибо тревога за них уменьшает храбрость. Многие надеются, что теперь, оказавшись в безвыходном положении, Унгерн наконец поведет их в Маньчжурию, но у него уже созрел другой план - как всегда, фантастический.

Примерно в это время Унгерн отправляет в Ургу какого-то монгола с пространственным письмом к Богдо-гэгену. В нем барон выражал ему соболезнования по поводу занятия столицы красными, предсказывал наступление черных дней для Монголии и «желтой религии» и предлагал хутухте бежать из Урги, чтобы поселиться в Улясутае, под надежной защитой тамошнего гарнизона. Одновременно Унгерн сообщал, что решил опять двинуться на север, в Забайкалье: там он поднимет восстание, русские вынуждены будут вернуться на родину, после чего не составит труда свергнуть Сухэ-Батора с его помощниками.

Письмо так и не попало в Ногон-сумэ - Зеленый дворец «живого Будды»:

гонца перехватили в пути. Впрочем, в любом случае хозяин дворца никуда бы не поехал. Рисковать уже не имело смысла. Ситуация изменилась бесповоротно, хотя Унгерну казалось, что история повторяется, что Богдо-гэген в плену у китайцев и он же в руках большевиков - это одно и то же, можно еще раз попытаться сделать его знаменем священной войны. Но сама идея идти на север, чтобы оттянуть силы красных из Халхи, показывает, что главным для Унгерна по-прежнему оставалась Монголия и связанные с ней замыслы. Движение в Россию было только средством, позволяющим сохранить за собой центральноазиатский плацдарм, которому он придавал мистическое значение.

Но этот план вторичного похода в Забайкалье возник не на пустом месте.

Вслед за дурными новостями из Урги в лагерь на Селенге доходят и обнадеживающие - о событиях в Приморье. Правда, первые вполне достоверны, а вторые искажены громадными расстояниями до совершенной неузнаваемости. Сведения о перевороте, 26 мая предпринятом во Владивостоке братьями Меркуловыми при поддержке Токио, в рассказах перебежчиков преобразуются в слухи о том, будто японцы начали новое наступление от Тихого океана на запад и уже вступили в Забайкалье. Унгерну кажется, что наконец-то исполнились обещания, данные ему Семеновым. Он опять зажигается призрачной надеждой встретить атамана где-нибудь на полпути между Верхнеудинском и Читой.

В ночь на 17 июля Азиатская дивизия вновь двинулась на север. Поначалу придерживаясь маршрута, по которому двумя месяцами раньше прошел Резухин, рассеивая по дороге мелкие отряды красных, Унгерн несколькими молниеносными по местным условиям переходами

выходит в долину реки Джиды. Для всех это было полнейшей неожиданностью; к Матиясевичу и Блюхеру из Монголии поступали вполне оптимистические донесения о том, что силы Унгерна уменьшились до нескольких сотен человек и продолжают таять. Его появление здесь было как гром среди ясного неба. Никто не допускал самой возможности, что он решится на заведомо безнадежное наступление, что с такой стремительностью сумеет пройти по диким горам, да еще с артиллерией и обозом.

«Каким образом вы проделали этот маршрут?» - не без уважения поинтересовались на допросе командиры 5-й армии. Унгерн ответил: «Тропы там есть. Вообще во всей Монголии есть тропы. Нет ни одной пади, где нельзя пройти, но это зависит от энергии».

Энергии ему было не занимать. Чтобы легче было идти по узким горным тропинкам, поклажу навьючили на лошадей. Число подвод Унгерн свел к минимуму. Там, где не проходили телеги и пушки, приходилось вырубать заросли по сторонам.

«Вы знали этот район?» - спросили Унгерна в плену. Он объяснил, что нет, не знал, лишь однажды проезжал на пароходе. Имеется в виду его первое путешествие в Монголию в 1913 году, когда он пароходом добирался от Верхнеудинска до Усть-Кяхты. Но память у него была сродни звериной. Он забывал имена, путал даты и при этом вполне мог помнить места, мельком виденные им восемь лет назад.

Во время маршей пехоту везли на телегах, артиллерию через разлившиеся реки переправляли первобытным способом: забивали несколько быков, ждали, пока туши раздуются под июльским солнцем, затем связывали их вместе и на этих чудовищных зловонных понтонах устанавливали орудия.

Основные силы красных ушли в Монголию; остановить Унгерна некому. Он стремительно движется на север и к концу июля выходит к берегам Гусиного озера. Во все стороны рассылаются вербовщики, но волонтеров нет, дивизия занимает пустые села. В лучшем случае там остаются женщины, дети и старики. Все способные носить оружие или мобилизованы, или скрываются в сопках. Первое время еще теплилась надежда на селенгинские станицы, где «живут самые верные казаки», но и там, как говорил Унгерн, «ни один человек не присоединился».

На восточном берегу вытянутого с севера-востока на юго-запад озера находился крупнейший монастырь Забайкалья - Гусиноозерский дацан, резиденция Хамбо-ламы, главы буддийской церкви в России. Здесь укрепились два стрелковых батальона 232-го полка с четырьмя орудиями. Приказав обозу и госпитальным подводам с ранеными двигаться по дороге прямо на виду у красных, чтобы отвлечь артиллерийский огонь от боевых сотен, Унгерн неожиданно бросает вперед скрытую за холмами конницу. Она врывается в дацан прежде, чем противник успеет развернуть орудия. В течение часа идет рукопашный бой среди юрт и храмов. Прижатые к берегу комиссары и военспецы смерть предпочитают плену, самоубийство - страшным пыткам с неминуемым концом. На Унгерна это производит впечатление. Ничего подобного он раньше не видел. Позднее, отвечая на вопрос о том, как показал себя в боях «комсостав» красных, барон оценил поведение этих людей как «шикарное». Само слово кажется неуместным, почти кощунственным от налета юнкерского инфантилизма, подходящим для какой-то другой войны - идеальной, той, где рыцарственные офицеры стреляются, чтобы не унижить себя сдачей оружия столь же щепетильному противнику, где самоубийство - поступок человека чести, а не единственный способ избежать четвертования или поджаривания на костре. «Шикарно, - отвечает Унгерн. - Стреляются до последнего, а потом стреляют в себя». Он словно бы забывает о том, что командир батальона застрелился, войдя по горло в озеро, чтобы не надругались над трупом.

В дацане захвачено три пушки и четыреста пленных. Из них около сотни, «по глазам и лицам» определив якобы добровольцев, Унгерн приказывает расстрелять, остальные вступают в ряды победителей. Дивизия движется дальше и к началу августа достигает северной

оконечности Гусиного озера. До Верхнеудинска отсюда - верст семьдесят, два дневных перехода. Там начинается паника, город объявлен на осадном положении. Впрочем, Унгерн стремится прежде всего перерезать Транссибирскую магистраль. Его цель - станция Мысовая. Но туда ведет узкая долина, в сопках по обеим ее сторонам показывается вражеская пехота. Появляются аэропланы. Их поначалу встречают радостно, принимая за японские, однако иллюзии быстро рассеиваются: сверху летят бомбы и свинцовые стрелы - оружие, изобретенное французами семь лет назад, когда немецкие армии приближались к Парижу. Над скоплениями конницы летчики сотнями вытряхивают из ящиков эти тяжелые острые колышки длиной сантиметров двадцать. Такая стрела, падая с большой высоты, насквозь прошивает всадника вместе с конем.

Красные уже опомнились и теперь не спеша обкладывают Азиатскую дивизию со всех сторон. Из Монголии подходит Нейман, по пятам за бешеным бароном идет столь же неистовый Щетинкин со своими конными партизанами. С севера движутся шесть пехотных полков, отряд особого назначения. Кубанская дивизия в тысячу сабель, и еще новые части перебрасываются по железной дороге из Иркутска. Общая численность противостоящих Унгерну войск доходит до 15 тысяч. Соотношение сил примерно такое же, как при взятии Урги, но противник, в чем барон уже имел возможность убедиться, далеко не тот.

Состоящие при Унгерне ламы почему-то советуют ему идти вперед, на Мысовую. Они делают это с той же странной настойчивостью, с какой два месяца назад, под Кяхтой, рекомендовали подождать и не вступать в сражение. Невольно напрашивается мысль, что их рекомендации кем-то оплачены, что расписание счастливых и несчастливых чисел, сроков наступления и маршрутов под теми или иными созвездиями определено не астрологическими таблицами и не трещинами на бараньих лопатках, а секретными службами 5-й армии. Не случайно, может быть, часть этих монгольских и бурятских «пифий», которым барон всегда так безоглядно доверял, вскоре сбежала от него.

Но на сей раз их советы оставлены без внимания. Унгерн опасается попасть в западню. К тому же со слов перебежчиков, пленных и местных крестьян становится окончательно ясно, что он в Забайкалье один как перст, и в Чите нет ни Семенова, ни японцев. Лишь теперь, по его словам, он «пал духом». После недолгой растерянности Унгерн поворачивает и уже по западному берегу Гусиного озера стремительно идет на юг. Но Щетинкин повернул еще раньше, он стремится закрыть барону выход из долины Джиды. То же самое рассчитывают сделать и кавалеристы Кубанской дивизии. Возможно, им это и удалось бы, но азарт погони и накал ненависти был так велик, что столкнувшись по дороге, Щетинкин и кубанцы принимают друг друга за казаков Унгерна, завязывают бой и ведут его в течение трех с лишним часов.

Жара и ясное небо последних недель сменились густой облачностью. Аэропланы не летают, разведка затруднена. Искусно лавируя между охватывающими его крупными частями, огрызаясь и отгоняя мелкие, Унгерн рвется на юг, к границе. Все-таки возле села Ново-Дмитриевка он вынужден принять бой с преградившей ему путь пехотой. Конная атака опрокидывает стрелковые цепи, сам Унгерн, скакавший впереди, уже видел, как перепуганные артиллеристы рубят постромки орудий, но внезапно появившиеся бронемашины решили исход сражения не в его пользу. Тем не менее окружить Азиатскую дивизию так и не смогли. Загнанный в болота реки Айнек, где едва не увязли артиллерия и обоз, Унгерн вырывается на свободу, к середине августа достигает границы, дает отдых измученным коням и людям, затем падями, как всегда, вновь уходит в Монголию.

За ним остаются стравленные посева и покосы, его путь по Забайкалью отмечен вспышками занесенной сюда чумы, от которой до конца года пало свыше пяти тысяч голов скота. Из станиц, сел, бурятских улусов угнаны сотни лошадей, тысячи коров и овец. Из конюшен вывезены хомуты, дуги, седла; из лавок - мануфактура и деньги; из домов - медная

посуда. Мужики, мобилизованные с подводами, вернулись домой только глубокой осенью, кое-где сено докашивали еще в октябре. Под Кяхтой и западнее вдоль границы, где боевые действия шли в июне, сеяли поздно и собрали немного, а в районах Селенгинской операции Унгерна не успели запасти паров, сеять пришлось на старых жнивах, и засушливое лето 1922 года погубило не стойкие к засухе посевы. На круг по аймаку урожай вышел «сам-два», а местами не взяли даже и затраченных семян.

ЗАГОВОР

В плену Унгерн говорил, что ему «странно казалось намерение окружить его пешими частями». Действительно, все стрелы, нацеленные в него на штабных картах, или пролетели мимо, или упали раньше. Кольцо окружения так и не сомкнулось вокруг его конницы, поскольку никто толком не знал, где она в данный момент находится. Барон ушел в Монголию почти без потерь, если не считать перебежчиков и загнанных лошадей. При нем остался весь обоз и все шесть орудий, включая три захваченных в Гусиноозерском дацане. Убитых было немного, раненых везли всего лишь на четырех-пяти десятках подвод, составлявших ведомство доктора Рибо. Ни о каком разгроме Унгерна, как изображалось дело в официальных донесениях, не могло быть и речи. В дивизии по-прежнему насчитывалось около двух тысяч бойцов.

Теперь, когда преследователи остались далеко позади, можно было сбавить темп. Люди почувствовали себя спокойнее, оторвавшись от неумолимого врага, но одновременно перед всеми с новой силой встал роковой вопрос: куда идти? В общем-то, выбор был не богат и сводился к двум вариантам: или на запад, на соединение с Кайгородовым, отступившим обратно в Кобдо, или на восток, в Маньчжурию. Все в дивизии, в том числе бывшие красноармейцы, рассчитывали, что сама обстановка заставит барона склониться ко второму варианту. Это направление казалось единственно возможным, особенно после того, как стало известно о захвате красными складов дивизионного интендантства в Ван-Хурэ, об измене Максаржава и падении Улясутая.

Но Унгерн не устраивал ни один из этих двух вариантов - ни западный, ни восточный.

На запад он идти не хотел по разным причинам. Во-первых, помимо Кайгородова, которого еще предстояло подчинить, там был Бакич, которому в той или иной степени пришлось бы подчиниться; во-вторых, были китайцы, после взятия Шара-Сумэ тем же Бакичем не желавшие иметь с белыми никаких дел и постоянно призывавшие на помощь войска северного соседа. Синьцзян был закрыт, в успех нового похода на Россию - совместного с Оренбургской армией, Унгерн, видимо, уже не верил, имея забайкальский опыт. Он еще мог попытаться сделать своей базой Кобдо, но удержать его после падения Урги и Улясутая не было практически никаких шансов. Вообще сам факт, что Богдо-гэген поддержал правительство Сухэ-Батора, лишал всякой надежды на Монголию как на оплот борьбы с мировой революцией. Наследники Чингисхана оказались недостойны своей глобальной миссии. Большинство князей с необычайной легкостью переокрасилось в красный цвет, из друзей Унгерна превратившись в его безжалостных врагов. Максаржав, освобожденный им из китайской тюрьмы в Урге, предательски перешел на сторону большевиков, даже ламы, казалось, начисто позабыли, что еще совсем недавно провозгласили барона «Богом Войны», предтечей Майдари, воплощением не то Махагалы, не то Чжамсарана. Теперь «возродивший государство великий батор», хан и цин-ван, обладатель трехчкового павлиньего пера и желтых поводьев на лошади, спаситель «живого Будды», вернувший ему престол, изгнавший ненавистных «гаминов», стал просто неудачливым полководцем, вождем разбойничьей армии, которого победили другие русские генералы. Полгода назад Богдо-гэген писал Унгерну, что его слава «возвысилась наравне со священной

горой Сумбур-Улы» <Гора Сумеру, в ламаизме - столп мироздания, место обитания богов.>, но теперь ореол погас: никто еще не предвидел, что предостережения барона по поводу пришельцев с севера во многом окажутся пророческими.

Оставаться в Монголии не имело смысла, но еще меньше, чем на запад, хотелось ему идти на восток. В худшем случае там его ждала китайская тюрьма, суд и каторга, в лучшем - тюрьма русская, суд и расстрел. Если каппелевцы во Владивостоке не позволили Семенову даже сойти на берег с японского корабля, а когда он все-таки высадился, едва не арестовали его, то с Унгерном и подавно церемониться бы не стали. Он был слишком заметной фигурой, чтобы раствориться в массе беженцев или попытаться уехать за границу. При каком-то удачном стечении обстоятельств ему, может быть, и удалось бы сохранить жизнь и свободу, но уж никак не дивизию. При самом благоприятном исходе на востоке он обречен был стать частным лицом, прозябающим в нищете и неизвестности. Никаких личных средств Унгерн, по всей вероятности, не имел и не лукавил, когда говорил в плену, что он «беднее последнего мужика». Его личное имущество в Харбине и на станции Маньчжурия было пущено с молотка, чтобы возместить убытки пострадавших в Монголии еврейских коммерсантов и китайских купцов. Семей он не обзавелся, единственным его сокровищем была власть над двумя тысячами вооруженных людей, пока еще покорных ему, и этот свой капитал Унгерн собирался использовать с наибольшей для себя выгодой. О самих этих людях он думал меньше всего. Их желания, страдания и надежды в расчет не принимались.

В конце концов он выбрал не восточный и не западный, а третий вариант, возможность которого не приходила в голову никому даже из его ближайших соратников. Но решение пришло не сразу. Первое время бароном владело отчаяние. Он должен был что-то делать, но не знал, что именно, и когда внешняя угроза отодвинулась, всю свою ярость Унгерн обрушил на подчиненных. В эти дни он лютовал, как никогда прежде. Макеев пишет, что его боялись, «как сатаны, как чумы, как черной оспы». Людей расстреливали уже по одному подозрению в том, что они собираются дезертировать. В дивизии стали даже поговаривать, что барон потому так зверствует, что решил перейти к красным и таким образом зарабатывает их прощение.

Между тем дивизия продолжала двигаться на юго-запад. Монголы бежали в леса, страна казалась безжизненной. Стояла страшная жара. «Барон, - вспоминает Алешин, - свесив голову на грудь, молча скакал впереди своих войск... На его голой груди, на ярком желтом шнуре висели бесчисленные монгольские амулеты и талисманы. Он был похож на древнего обезьяноподобного человека; люди боялись даже смотреть на него».

Но такие приступы апатии сменялись припадками патологической энергии. Тогда Унгерн становился попросту невменяем. Почерневший от загара, исхудавший, он сумасшедшим галопом носился вдоль растянувшейся среди лесистых холмов колонны, избивая всякого, на ком останавливался его взгляд. Все, от недавнего красноармейца до заслуженного полковника, были равны перед генеральским ташуром. Начальник артиллерии полковник Дмитриев, командиры полков Хоботов и Марков ходили с перевязанными головами. Даже Резухина барон впервые избил, застав его спящим возле лагерного костра.

В районе реки Эгин-Гол, чтобы избежать окружения, прикрыть тылы, а заодно упорядочить растянувшиеся колонны, Унгерн опять разделил дивизию на две бригады. Резухин с двумя полками и китайским дивизионом должен был задержаться, а сам Унгерн с главными силами, артиллерией и госпиталем - наутро выступить и в дальнейшем двигаться впереди на расстоянии одного-двух переходов от резухинской бригады.

В ночь перед тем как дивизия разделилась, доктор Рибо, спавший у себя в палатке, был разбужен своим земляком и сослуживцем по армии Дутова, оренбургским казачьим офицером Иваном Маштакowym. Незадолго перед тем Унгерн, и теперь не оставивший привычки то и дело проникаться к кому-то внезапным горячим доверием, приблизил

Маштакова к себе. Тот был введен в небольшую группу офицеров, которые исполняли адъютантские обязанности, но назывались «штабом». Во главе этой группы стоял полковник Островский.

Как всегда, барон ошибся и на этот раз: новый фаворит отнюдь не платил ему взаимностью. Обладая некоторым опытом службы в Азиатской дивизии, он хорошо знал, что вслед за необъяснимой симпатией Унгерна непременно следует скорая и столь же беспричинная опала. Взволнованный, возбужденным шепотом Маштаков сообщил Рибо, что недавно стоял возле палатки, где находились Унгерн с Резухиным, и случайно подслушал их разговор. Суть его состояла в следующем: барон решил идти не в Маньчжурию и даже не на запад Халхи, а на юг, в Тибет. Он собирается пересечь пустыню Гоби, привести дивизию в Лхассу и поступить на военную службу к Далай-ламе. В ответ Резухин выразил осторожные сомнения в осуществимости этого плана. Он сказал, что без запасов продовольствия и без воды едва ли удастся пройти через Гоби. На это Унгерн заявил, что людские потери его не пугают и что его решение окончательное. Затем он напомнил Резухину, что и в Маньчжурии, и в Приморье им обоим появляться небезопасно.

Решение идти в Тибет - на первый взгляд, неожиданное - вытекало из всех устремлений Унгерна, было закономерным итогом его идеологии, ее практическим исходом. Если под натиском революционного безумия пала Монголия, исполнявшая роль внешней стены буддийского мира, нужно было, следовательно, перенести линию обороны в цитадель «желтой религии» - Тибет. Возможно, мысль об этом приходила Унгерну еще раньше, в мае, когда он хотел снарядить послом к Далай-ламе XIII единственного человека, который, казалось, мог по достоинству оценить его замыслы, - Оссендовского.

Есть и еще соображения в пользу данной версии. Приблизительно в это время из Азиатской дивизии куда-то пропала самая преданная Унгерну часть - Тибетская сотня. Не исключено, что он сам отослал «тубутов» на родину, дабы они там провели предварительные переговоры, а с ними отправил и письмо к Далай-ламе. Барон подтвердил в плену, что писал ему, надеясь, видимо, что тот с радостью примет его как борца за веру и врага китайских республиканцев - те после свержения Циней все активнее заявляли свои права на Тибет, который раньше подчинялся Пекину скорее формально. В ситуации, когда по Югу Китая все шире расплзалась «краснота», Азиатская дивизия могла бы пригодиться энергичному хозяину Поталы.

Расчет понятен, хотя неизвестно, что думал по этому поводу сам Далай-лама и его приближенные, получал ли Унгерн какие-то авансы от них. Вероятнее всего - нет. Новый план был такой же импровизацией, как все прочие, одним из многих возведенных им воздушных замков, для строительства которых Унгерну никогда не требовалось много материала. Но солдатам и офицерам этот план сулил беспримерные лишения, а то и смерть, не говоря уж о том, что люди должны были проститься с надеждой когда-нибудь увидеть своих близких, попасть на родину или хотя бы вернуться к нормальной жизни в той же Маньчжурии. Тибет лишь Унгерну казался землей обетованной, вместилищем тайной мудрости. Для казаков, бывших колчаковцев и мобилизованных в Урге колонистов это была дикая горная страна, где русскому человеку совершенно нечего делать. Ужас вызывала сама идея такой экспедиции. Она казалась полнейшим безумием. В августе-сентябре Гоби совершенно непроходима даже для крупных караванов на верблюдах, не то что для двух тысяч всадников, большинство которых было обречено на гибель в безводных каменистых равнинах Центральной Азии.

Итак, направление и цель дальнейшего похода Унгерн определил, не подозревая, что в ту же ночь его намерения перестали быть секретом.

Маштаков сказал Рибо, что он уже переговорил с несколькими надежными офицерами. Они постановили убить Унгерна, а командование передать Резухину - при условии, что тот

поведет дивизию на восток. Если Резухин откажется, ему придется разделить участь барона. В таком случае командование будет вручено одному из старых полковников на тех же условиях.

Маштаков сообщил также, что они, т. е. составившие заговор офицеры, уже бросили жребий, кому застрелить Унгерна, и жребий пал на него, на Маштакова. Ему предстояло сделать это сегодня же ночью, когда барон ляжет у себя в палатке после обычного вечернего «совещания» с ламами. Рибо решили поставить в известность для того, чтобы если начнется схватка с людьми Бурдуковского, он был бы в курсе дела и воспрепятствовал панике среди раненых. Как выяснилось, большинство командиров отдельных частей участвуют в заговоре. Унгерн мог рассчитывать только на монголов князя Биширли-тушегуна и комендантскую команду Бурдуковского.

«Там же и тогда же, - пишет Рибо, - в моей палатке, при свете умирающего лагерного костра Маштаков тщательно проверил свой „маузер“, пожал мне руку и скользнул во тьму так же бесшумно, как вошел. Разумеется, спать я больше не мог и начал ходить вдоль палаток и подвод, на которых раненые проводили ночь, напряженно прислушиваясь и стараясь различить звук выстрелов сквозь шум и плеск быстрого Эгин-Гола, бегущего по своему каменистому ложу. Примерно треть мили отделяла меня от палатки барона...»

Выстрелы, однако, так и не прозвучали. В эту ночь ничего не произошло, исполнение замысла пришлось отложить.

Позже Рибо узнал, что когда Маштаков подошел к палатке барона, она оказалась пуста. Унгерн все еще беседовал с ламами. Охрана получила приказ никого к нему не допускать. С этими своими прорицателями и советниками он уединялся каждый вечер, но на сей раз их обычное бдение затянулось почти до рассвета и не сводилось, видимо, к одним лишь гаданиям. Разговор мог идти о возможностях службы у Далай-ламы, о нем самом, о его отношениях с китайцами, англичанами и т. д. То ли Маштаков ушел сразу, то ли бродил около, пока лагерь не начал просыпаться, но, вероятно, он вызвал подозрения охраны и по распоряжению Унгерна был отослан из штаба обратно в свой полк. Теперь запросто появиться ночью возле палатки барона он уже не мог.

На следующий день, когда части возглавляемой Унгерном бригады уже без резухинских полков двигались дальше на юг, Рибо нагнали двое офицеров - начальник пулеметной команды полковник Эвфаритский и подпоручик Виноградов, артиллерист. Все трое давно знали друг друга, а Эвфаритский и Рибо вдобавок были еще и товарищами по оренбургской гимназии. В разговоре было подтверждено, что все рассказанное Маштаковым - правда: в дивизии созрел заговор против Унгерна. Начать должны офицеры, оставшиеся с Резухиным, а когда там произойдет переворот, части авангарда будут извещены немедленно. Одно лишь перечисление участвующих в заговоре командиров частей выглядело внушительно и вселяло надежду на успех: даже старые даурцы вроде Хоботова готовы были если не убить барона, то, во всяком случае, покинуть его и идти в Маньчжурию.

Чтобы попасть туда, нужно было переправляться на правый берег Селенги, но пока что шли по ее левому, западному, берегу. Конечной цели похода попрежнему никто не знал. Чем дальше уходили на юго-запад, тем сильнее становилось беспокойство. Даже те, кто не имел никакого отношения к заговору и понятия не имел о перспективах службы у Далай-ламы, начали подозревать, что барон собирается втянуть их в какую-то новую авантюру.

Прошло два дня. Гонцы от резухинских офицеров не появлялись, никто ничего не предпринимал. Передовая бригада продолжала быстро уходить на юго-запад. 19 августа миновали Джаргалантуйский дацан и вышли в широкую долину, с двух сторон окруженную поросшими лесом сопками. Это была точка примерно в двух сотнях верст к северо-западу от Ван-Хурэ и в четырех - к северо-востоку от Улясутая, в верховьях Селенги. До нее самой отсюда было верст пятнадцать. Здесь Унгерн приказал становиться на длительный привал.

Его тревожило, что от Резухина нет никаких вестей. Навстречу ему было выслано несколько всадников, но те проехать не сумели и вернулись назад, доложив, что возле дацана появились красные разьезды <Кроме Рибо, о событиях этих дней рассказывает еще и есаул Макеев. Только эти двое были их непосредственными участниками, остальные пользовались сообщениями третьих лиц и просто слухами. Макеев, как обычно, подает себя в самом выгодном освещении: он бескорыстен, отважен, по-рыцарски готов отстаивать свою честь даже в том случае, если на нее покушается не кто иной, как сам барон. Когда тот однажды замахнулся на него ташуром, Макеев будто бы сказал, положив руку на кобуру: «Ваше превосходительство, если вы меня ударите, я за себя не отвечаю!». Он ставит себя в центр событий, хотя на самом деле колчаковцы ему не доверяли как человеку Сипайло, носившему заслуженное прозвище «Макарка-душегуб».>.

Весь день 20 августа Унгерн совещался с ламами, а заговорщики украдкой собирались в соседнем лесу. Все нервничали и решали, что делать. В конце концов Унгерн решил на месте дожидаться подхода второй бригады, а Эвфаритский, вставший во главе заговора, - выступить на следующую ночь. Относительно того, убивать барона или просто уйти от него, мнения, видимо, разделились.

Впрочем, назавтра по-прежнему никто ничего не предпринимал. Все полагались на Эвфаритского, который сам колебался, и если бы не случай, дело вполне могло отложиться на неопределенное время.

Между тем в бригаде Резухина произошло следующее.

Когда заговорщики обратились к нему с предложением сместить Унгерна, принять командование на себя и через Селенгу вести обе бригады на восток, в этой ситуации Резухин последний раз проявил свою преданность барону. Капитану Безродному, который исполнял при нем те же обязанности, что Бурдуковский при Унгерне, приказано арестовать изменников. Приказ отдается перед строем бригады: лагерь уже свернут, люди сидят в седлах, готовые к выступлению. В ответ из рядов раздаются выстрелы. Раненный в ногу, Резухин падает, но тут же вскакивает с криком: «Ко мне, четвертая сотня!» Всадников-татар из этой сотни он считал самыми надежными, но они не спешат к нему на помощь. Ковыляя, он бежит в расположение китайского дивизиона. Китайцы отшатываются, однако татары все-таки окружают его. Резухина укладывают на землю и перевязывают. Правда, Безродный, быстро оценив обстановку, предпочитает вместе со своими людьми скрыться в лесу, но тем временем вокруг лежащего на земле Резухина собирается толпа, настроенная по отношению к нему более или менее лояльно. Момент критический, заговорщики в растерянности. Положение спасает простой оренбургский казак. Он пробивается сквозь толпу, приговаривая: «Ох, что же сделали с голубчиком! Что сделали с нашим генералом-батюшкой!» Все расступаются перед ним. Подойдя вплотную к Резухину, казак внезапно меняет тон: «Будет тебе пить нашу кровь! Пей теперь свою...» И выхватив наган, в упор простреливает генералу голову. Толпа в ужасе рассеивается. Все вскакивают на лошадей, но принявший командование полковник Костерин останавливает панику. Резухину выкапывают могилу, затем вся бригада поспешно движется к бродам на Селенге.

Костерин отправил к Эвфаритскому казака-татарина с известием о случившемся, но тот не сумел незаметно проскользнуть в лагерь. Вечером 21 августа его задержали часовые из Бурятского полка. На этот случай татарину заранее сочинили версию о том, что он будто бы заболел и направлен в госпиталь. Но поскольку гонец по-русски говорил плохо, а задержавшие его буряты - еще хуже, внятно изложить свою версию он не смог и был доставлен к Унгерну. Единственное, что ему удалось сделать, это уничтожить записку Костерина к Эвфаритскому.

Когда его поставили перед страшным бароном, татарин окончательно потерялся. Говорить о своей болезни он, видимо, не посмел или от страха начисто позабыл сочиненную

для него историю, а вместо этого, хотя и скрыв убийство Резухина, сказал, что у них ночью был бой, и он убежал. Очевидно, что-то в его рассказе Унгерну показалось подозрительным. Он велел Бурдуковскому посадить татарина под арест и наутро приступить к пыткам. Но командир 4-го полка Марков, участник заговора, присутствовавший при этой сцене, тут же известил обо всем Эвфаритского. Всем было ясно, что татарин пыток не вынесет. Нужно было действовать незамедлительно. Заговорщики собрались в госпитале у Рибо, и тут наконец явился второй гонец от Костерина, посланный на всякий случай вслед за первым. Узнав о том, что произошло в бригаде Резухина, решили выступить прямо сейчас. Обстановка этому благоприятствовала. Обычно Унгерн ставил свою палатку среди майханов монгольского дивизиона и команды Бурдуковского, но накануне монголы разбили лагерь южнее, отдельно от других частей. Тем проще казалось убить барона. Что касается комендантской команды, то ее бивак решили обстрелять из пушек сразу же после убийства Унгерна. Орудийные выстрелы должны были послужить сигналом к общему выступлению.

Около полуночи Эвфаритский с четырьмя офицерами и полудесятком казаков отправился к генеральской палатке, остальные разошлись по своим частям и начали поднимать людей. В любом случае - будет покушение на барона удачным или нет, решено было двигаться обратно, к дацану и бродам на Селенге. Костерин сообщил, что он с бригадой два дня будет ждать на ее правом берегу, потом уйдет.

«В чернильной темноте, - пишет Рибо, - мы стали быстро седлать и запрягать лошадей. Люди работали без огней, настороженно прислушиваясь, чтобы не пропустить звука судьбоносных выстрелов. Не менее часа прошло в ожидании. Я и лечившиеся у меня в госпитале раненые офицеры обсуждали, что мы будем делать, если наши планы провалятся, когда наконец до нас донеслись приглушенные звуки револьверной стрельбы, а затем раздались четыре орудийных выстрела. Их огонь прерывистым светом озарил темную лесную долину...» Это подпоручик Виноградов практически в упор, с расстояния в полверсты обстрелял лагерь Бурдуковского.

Теперь поднялась вся бригада, буквально в пять минут части начали стекаться к дороге. Лошади, пушки, обоз, подводы с ранеными, разноплеменные и разноязыкие всадники - все сгрудилось и перемешалось в немыслимой давке. Большинство не понимало, что случилось, куда их ведут, где барон. Людям казалось, что на лагерь неожиданно напали красные. В суматохе заговорщики растеряли друг друга. При этом сами они понятия не имели, убит Унгерн или нет. Эвфаритский куда-то пропал, его спутники тоже не показывались.

В конце концов кто-то из них все-таки появился и рассказал о том, что произошло.

Оказывается, когда заговорщики приблизились к генеральской палатке и позвали Унгерна, вместо него оттуда выглянул полковник Островский. Стало ясно, что барона там нет. Как обнаружилось чуть позже, он еще накануне поменялся палатками со своим штабом. То ли так вышло случайно, то ли он сделал это сознательно, чувствуя, что вокруг творится что-то неладное, но сам этот момент впоследствии окрасился в легендарные тона. Казалось, человек, подобный Унгерну, сроднившийся с мифом, с темными преданиями Азии, так именно и должен был поступить - как сказочный герой, который вместо себя кладет в постель полено, чтобы ночью злой великан ударил по нему топором, а утром предстает перед ним целый и невредимый. История его чудесного спасения постепенно обросла подробностями столь же яркими, сколь и фантастическими, хотя в действительности все обстояло достаточно прозаично.

Когда из палатки выглянул Островский, в темноте его приняли за Унгерна. Кто-то из подошедших выстрелил в него и от волнения промахнулся. Он хотел стрелять еще, но товарищи успели схватить его за руку. Они уже узнали Островского и страшно перепугались, ибо, выдав себя, не смогли убить барона. Его исчезновение грозило им арестом и мучительной смертью. Схожие чувства испытывали, видимо, те, кто в ночь на 12 марта 1801

года ворвались в спальню Павла I и увидели, что его постель пуста. Вообще, оба эти заговора - в центре Санкт-Петербурга и в глубине Монголии - при несоизмеримости масштабов напоминают друг о друге. Может быть, отчасти потому, что Унгерн во многом похож на Павла. С одной стороны, тяга к мистике, к утопии, к рыцарским идеалам, вырождающимся в режим казармы, и все это при очевидном истероидном синдроме всеобщего порядка; с другой - обычная российская неразбериха, нерешительность, огромное число участников заговора, из которых ни один толком не знает, что делать, постоянные колебания, сомнения относительно того, убивать тирана сразу или вначале предъявить ему ультиматум, и т. д. <Между прочим, прапрабабка Унгерна была родной сестрой Петра Палена, убийцы Павла I.>

К счастью, Унгерн обнаружился тут же. Он сидел с ламами в соседней палатке, высунулся из нее, услышав стрельбу, и был встречен залпом из нескольких револьверов. Заговорщики стреляли с дистанции в пять-шесть шагов, но, вероятно, были сильно не в себе: ни одна пуля не достигла цели. Унгерн даже не был ранен. Он по-звериному упал на четвереньки и юркнул в кусты. В кромешной тьме искать его там не имело ни малейшего смысла. Ему постреляли вдогонку - тоже без видимого успеха, затем заговорщики бросились догонять ушедшую бригаду.

В это время оставшиеся офицеры сумели успокоить людей. Части разобрались и, на ходу перестраиваясь в походный порядок, потянулись по направлению к Джаргалантуйскому дацану. Пройдя верст восемь, остановились. Невозможно было дальше двигаться в темноте по узкой дороге среди сопок. Решили подождать рассвета. В оцепление выставили сотню казаков и пулеметную команду - на тот случай, если Унгерн жив и с помощью монгольского дивизиона попытается переломить ход событий. Никто не знал, где он, всеми владело страшное возбуждение. Вдруг послышался стук копыт по каменистой дороге. Шепот пронесся по рядам: «Барон! Барон!»

Это и в самом деле был он. Незаметно объехав линию оцепления, Унгерн, как призрак, на своей любимой белой кобыле спустился по склону холма и направился к изменившему ему войску. Впотьмах он не видел, что за части находятся перед ним, и спрашивал: «Кто здесь? Какая сотня?» Наконец он узнал Очирова, командира Бурятского полка, и крикнул ему: «Очиров, куда ты идешь?» Затем, не дождавшись ответа, скомандовал: «Приказываю тебе вернуть полк в лагерь!» - «Я и мои люди не пойдем назад, - сказал Очиров. - Мы хотим идти на восток и защищать наши кочевья. Нам нечего делать в Тибете!» Унгерн начал уговаривать солдат вернуться и продолжать поход, говорил, что если они пойдут в Маньчжурию, будет голод, им придется глотать кости друг друга, что без него красные завтра же уничтожат их всех до последнего. Ответа не последовало. Барон поскакал дальше и, перемежая угрозы ругательствами, произнес ту же речь перед артиллеристами. Ответом тоже было угрюмое грозное молчание. Тогда Унгерн издала, наугад, стал выкрикивать имена тех, на чью верность он, видимо, особенно полагался: «Доктор, поворачивайте госпиталь и раненых!» Потом: «Рерих, я приказываю вам повернуть обоз!» <Старший брат Николая Рериха, Владимир Константинович, командовал обозом Азиатской дивизии.> Никто не отвечал ему, никто не двигался с места. Все замерли в странном и жутком оцепенении. Офицеры, окружавшие Рибо, достали револьверы, он сам вынул свой «кольт», но для того, чтобы выстрелить не в барона, а в себя, если Унгерну все-таки удастся вернуть дивизию в лагерь. Все заговорщики понимали, что в таком случае их ждет мучительная смерть. В этот момент Эвфаритский и несколько других участников заговора, полагая, что все кончено, вскочили на коней и скрылись в лесу. Совершенно один, без конвоя, Унгерн продолжал объезжать ряды недвижимо замерших сотен и команд, осыпая их проклятьями. Заговорщики сжимали в руках оружие, но выстрелить никто не решался. Вновь ожил неизбытый страх перед бароном. Вот-вот, казалось, автоматически сработает привычка повиноваться каждому его слову. Первым очнулся есаул Макеев, да и то лишь после того, как Унгерн в потемках

случайно толкнул его грудью лошади. Правда, сам Макеев об этом не упоминает, дабы не умалить собственных заслуг. Как бы то ни было, он пальнул в барона из «маузера», промахнулся, но этот выстрел разорвал заколдованный круг почти мистического страха. Тут же все, в том числе пулеметная команда, открыли огонь. Преследуемый градом пуль, ни одна из которых и на этот раз его не задела, Унгерн метнулся прочь. Белая кобыла стремительно взлетела на вершину холма и унесла своего седока назад, в долину, все еще погруженную в глубокий мрак.

Так описывает события той ночи Рибо, и сам Унгерн в плену излагал их весьма похоже, хотя всякий раз несколько по-разному. В протокольной записи его рассказа эта мрачно-эффектная сцена выглядит несравненно проще.

В кратком варианте дело происходило так. Услышав стрельбу возле соседней палатки, Унгерн подумал, что возле лагеря появились красные, вышел, спокойно сел на коня и поехал к войскам сделать соответствующие распоряжения. Внезапно по нему начали стрелять, но и тогда он не сразу догадался, что стреляют свои, что это бунт, хотя на всякий случай и спросил: «Что, вы бунтуете?» Ему ответили: «Нет, ничего...» Потом стали стрелять чаще, он сообразил, в чем тут дело, и ускакал к монгольскому дивизиону.

На другом допросе Унгерн рассказал все более обстоятельно: «Я лежал в своей палатке ночью. Ничего еще не знал про Резухина. Вдруг - стрельба. Уже было темно. Я выскочил. Кто-то еще крикнул: „Ваше превосходительство, берегитесь!“ А я думал, что красный разъезд. Подбежал к монголам и сказал, чтобы они собрали человек двадцать. Они вернулись и коня привели мне. Я сел и поехал, а войска уже не было на старом месте. Это мне показалось очень подозрительным. Я встретил казака и спросил, что он делает. Он сказал:

„Я должен палатки собрать“. - „А где войско?“ - „Дальше уходит“. Я проехал верст десять и вижу: одна сотня стоит лицом ко мне. Я все еще думал, где-нибудь красные. Я спросил: „А много красных?“ - „Не знаем“. Я поехал дальше, к артиллерии. Они стояли резервом. Я подъехал к Дмитриеву, командующему артиллерией, спросил: „Кто приказал двигаться?“ Он сказал: „Приказ из вашего штаба“. - „А кто посыльный?“ - „Не знаю“. Я поехал дальше, к 4-му полку, сказал, что на восток идти нельзя, что там будет голод, надо идти на запад. Когда я ехал мимо пулеметной команды, мне сказали, что офицеров нет. Это мне показалось странным. А когда я проехал весь полк, где раненые были, - ночью это было, слышу, стали стрелять. Я думал опять - разъезд. Проехал мимо. Вижу, пули все около меня. Тогда я понял, в чем дело, и поехал к монголам, но в ночной темноте я проскочил. Они огней не держали. В это время стало рассветать, я поехал к ним, а они уже ушли тоже, на запад. Я подъехал к князю и говорю, что войско плохое. Он говорит, что русские все вообще - плохой народ...»

Заметим, что в обоих вариантах рассказа отсутствует одна существенная деталь из записок Рибо: Унгерн не сообщает о том, что в него стреляли еще до того, как он сел на коня и поехал к своему «войску».

Как было на самом деле, понять уже невозможно.

Может быть, обстреляв палатку штаба, Эвфаритский с товарищами ретировались немедленно, и Унгерн, действительно, не сразу догадался, что происходит. Заговорщики вполне могли и приврать, рассказывая, как барон на четвереньках побежал от них в кусты. Такое приятно было и рассказать и послушать. Но точно так же мог утаить правду и Унгерн, которому, само собой, вовсе не хотелось в этом признаваться.

ОДИНОКИЙ ПЛЕННИК

В 1929 году Милюков, давно интересовавшийся Унгерном, в своей парижской газете «Последние новости» перепечатал из немецкой «Берлине? Тагеблатт» заметку под названием «Как погиб барон Унгерн-Штернберг». Автор - якобы со слов очевидца - рассказывает

следующую историю.

Отступив из Забайкалья, Азиатская дивизия «залегла» в «степной долине к югу от Байкала». Красные находились поблизости. Ни одна из сторон не рассчитывала на победу, и обе жестоко страдали от голода. Наконец к Унгерну явился парламентар. Он сказал, что большевики готовы начать переговоры и вышлют двоих комиссаров, если им будет гарантирована неприкосновенность. Эти двое останутся заложниками в лагере барона, а сам он должен прибыть в лагерь красных, где ему также гарантируется полнейшая неприкосновенность. Парламентар, бывший офицер, был старым сослуживцем Унгерна, и барон принял предложение. К тому же приехавшие в качестве заложников комиссары - Розенгольц и Флонимович, были значительными фигурами. Их тут же посадили под караул в одну из лагерных палаток. После совещания со своими офицерами, в числе которых был английский капитан Пэльгем, прибывший из Владивостока по поручению генерала Айронсайда, Унгерн дожидался, когда ему приведут коня, чтобы ехать к красным. Была ночь. «Видите эту звезду, господа? - спросил он, указывая на небо. - Это Альфа из созвездия Центавра. В здешних местах ее можно видеть только в мае» <Вся история отнесена почему-то к маю, а не к августу 1921 года.>. Далее в полном согласии с книгой Оссендовского автор заметки поясняет: «Астрономия была слабостью барона».

Пэльгем отговаривал его от этой затеи, но Унгерн не послушался и уехал. Через какое-то время поручику, охранявшему Розенгольца и Флонимовича, доставили приказ барона: «Комиссаров прогнать нагайками до линии огня красных». Под крики и смех казаки погнали их по степи до передовых постов противника, а затем отпустили. Первым заподозрив неладное, Пэльгем приказал вернуть комиссаров. Полсотни казаков бросились в погоню, но вернуть их не смогли, натолкнувшись на пулеметный огонь. Коварный план удался, избитые, но живые Розенгольц и Флонимович были уже вне пределов досягаемости. «Что же будет с его превосходительством?» - спросил охранявший комиссаров поручик. «Он теперь на пути к Альфа Центавра», - ответил Пэльгем.

Эта мифическая история, как и другая того же рода - будто на смотре барон был внезапно окружен, схвачен и увезен китайцами, мстившими ему за прежние поражения, не имеют ничего общего с действительностью. На самом деле все обстояло иначе. Хотя трудно понять в точности, как именно. После того, как возле Джаргалантуйского дацана белая кобыла унесла барона в темноту августовской ночи, никто из унгерновцев никогда больше не видел своего начальника. Что с ним случилось дальше, они не знали. Об этом знали захватившие его простые красноармейцы или партизаны Щетинкина, но у них барона сразу же отобрали представители командования 5-й армии. Те, кому он достался непосредственно, то ли погибли, преследуя остатки Азиатской дивизии, то ли оттерты были в сторону более высокими чинами, которые отослали их с глаз долой, чтобы никто не мешал случайность превратить в подвиг. Недаром в советских газетах начали появляться сообщения о том, будто бы вместе с бароном захвачено 900 его всадников и три боевых знамени.

Позднее такая информация больше не повторялась, но истина была уже сильно размыта слухами. В итоге победители толком не могли понять, откуда свалился на них этот драгоценный трофей, и на допросах долго и обстоятельно выпытывали у самого Унгерна, каким образом он попал к ним в плен.

Он объяснял всякий раз немного по-разному. В общем, если суммировать, обстояло приблизительно так: «обстрелянный своим войском», Унгерн направился в лагерь монгольского дивизиона, где стал уговаривать Сундуй-гуна помочь ему подавить мятеж. Монголы притворно согласились, поехали с ним «по старым следам», но потом внезапно накинулись на него, обезоружили и связали, хотя Унгерн был настороже и все время держал за пазухой руку с револьвером. Чтобы отвлечь его, Сундуй-гун то ли попросил у него спички, то ли предложил кисет с табаком, а кто-то из монголов сзади прыгнул барону на плечи и

вместе с ним упал с коня на землю.

Унгерна посадили на подводу и продолжали двигаться. Уже рассвело. Он заметил, что взяли неверное направление, и предупредил, что так можно нарваться на красных. Монголы на это никак не прореагировали. Заблудились они едва ли, но Унгерн упорно отказывался верить в их намерение выдать его красным. Ему приятнее, видимо, было думать, что все вышло по ошибке, случайно. Разумеется, предательство Сундуй-гуна он отрицать не мог, но степень измены могла быть различной.

Вскоре натолкнулись на конный разъезд 35-го полка. Красных было всего человек двадцать, но они поскакали в атаку лавой, с криками «ура», и монголы, в несколько раз превосходившие их по численности, немедленно побросали оружие. На Унгерна вначале никто не обращал внимания. Уже по дороге к лагерю кто-то из кавалеристов подъехал к нему и спросил, кто он такой. Услышав ответ, спрашивающий «растерялся от неожиданности». Затем, как записано в протоколе, «придя в себя, он бросился к остальным конвоирам, и все они сосредоточили свое внимание на пленном Унгерне».

За обтекаемыми протокольными формулировками проглядывает потрясение этих людей, вдруг обнаруживших, что сидящий на подводе тощий грязный человек в поношенном монгольском халате есть не кто иной, как сам «кровавый барон». Наверняка, они представляли его иначе - пожилым, вальяжным, холеным, в генеральском мундире. Рассказывали, будто, когда Унгерн сказал им, кто он такой, первая реакция была: «Врешь!»

Нейман и другие командиры 5-й армии очень интересовались, почему Унгерн не покончил с собой. Он ответил, что пытался сделать это дважды. Первый раз - в «момент пленения», когда монголы набросились на него. Унгерн тогда успел сунуть руку в карман, где всегда лежал яд, но ампула куда-то пропала - очевидно, незадолго до мятежа «была вытряхнута денщиком, пришивавшим к халату пуговицы». Потом, уже со связанными руками, он каким-то образом хотел удавиться конским поводом и тоже неудачно, повод оказался «слишком широким». В результате произошло то, чего Унгерн больше всего боялся: он не погиб в бою, как «восемнадцать поколений его предков», а живым попал в плен.

Но в эмиграции больше известна была другая версия этих событий, несколько отличная от той, которую изложил сам барон. Ее распространяли бывшие унгерновцы, в том числе Рибо, Макеев и Алешин. Источник их сведений один: рассказ двух русских офицеров, служивших в отряде Сундуй-гуна и нагнавших дивизию уже на правом берегу Селенги.

«После напрасной попытки заставить нас вернуться, - пишет Рибо, - барон поскакал обратно к монгольскому дивизиону. Измученный, он прилег в княжеской палатке, чтобы немного отдохнуть. Позже, с наступлением утра, монголы навалились на него спящего, связали и умчались на юг, оставив связанного барона в палатке. Спустя несколько часов его нашли красные разведчики».

Макеев украшает эту версию выразительными деталями: «Унгерн до рассвета метался по горам, наконец, совершенно измучившись, двинулся к опушке, где стояла группа монголов. Они начали стрелять, но он не обращал на это внимания, ибо пули не страшны „Богу Войны“». Когда он подъехал, монголы пали перед ним ниц и стали просить прощения. Унгерн выпил жбан воды, немного водки и уснул в палатке. Убить его монголы не решались. Они бесшумно вползли в палатку, накинули ему на голову тырлык, скрутили руки и ноги и, отдавая поклоны, исчезли. Вскоре на палатку натолкнулся конный разъезд красных. „Кто ты?“ - спросил командир. „Я - начальник Азиатской конной дивизии генерал-лейтенант барон Унгерн-Штернберг!“ - ответил связанный человек».

У Алешина эта же история рассказана еще более красочно: «Монголы не посмели убить Цаган-Бурхана, своего Бога Войны. К тому же они твердо верили, что не в силах это сделать: он не может быть убит. Разве они не получили только что верное тому доказательство? Не только русские казаки, но и целый полк бурят дал по барону несколько залпов, и каков

результат? Их пули не причинили вреда Цаган-Бурхану. Теперь несколько сотен монгольских всадников, простершись на земле, обсуждали ситуацию. Наконец, к измученному барону выслали храбрейших. Приблизившись к Богу Войны, они вежливо связали его и оставили там, где он лежал. Затем все монголы галопом помчались в разные стороны, чтобы дух Цаган-Бурхана не знал, кого преследовать... О чем думал барон в ту одинокую ночь? Страшная боль от впивающихся в тело веревок вместе с голодом, жаждой и холодом оживили, может быть, в его воспаленном мозгу воспоминания о тех, кого он сам заставлял так страдать. Смерть таилась во тьме, ибо окрестные леса кишели волками. Может быть, он вспоминал свору собственных волков, которых держал в Даурии и на растерзание которым бросал иных из своих пленников. Извиваясь в муках, он должен был пережить несколько смертей, пока не взошло солнце. Но вслед за утром наступил день, палящие лучи солнца безжалостно жгли его голову и язвили тело невероятной жаждой. Я представляю, как вновь и вновь он впадал в бред, и тогда ему мерещилось, что его живьем сжигают в стоге сена, как он сам приказывал поступать с другими людьми... Между тем небольшая группа красных разведчиков двигалась по долине. Вдалеке они увидели лежащего на земле человека. Он слабо стонал и ворочал головой из стороны в сторону, пытаясь избавиться от муравьев, облепивших ему лицо и поедавших его заживо. Красные подъехали ближе. Один из них спросил: „Ты кто?“ Барон пришел в себя и своим обычным громоподобным голосом ответил: „Я - барон Унгерн!“ При этих словах разведчики так резко дернули поводья, что их кони поднялись на дыбы. В следующее мгновение они отчаянным галопом в ужасе бросились прочь. Такова была слава барона...»

От раза к разу история становится все фантастичнее, но развивается в одном направлении. Вместе с мучениями барона, связанного, оставленного в палатке с обмотанным вокруг головы тырлыком или брошенного прямо в степи, растет и суеверный ужас перед ним: он окончательно превращается в мифологического героя. Целые полки стреляют в него и не могут убить, монголы кланяются ему даже связанному и страшатся мести его гневной души-сульдэ, а красноармейцы с страхе бегут при одном звуке имени этого человека, бессильно распростертого перед ними на земле. Именно таким хотели видеть Унгерна его бывшие соратники - униженным, страдающим, жалким, на себе испытавшим хотя бы ничтожную долю того, что пришлось вынести его жертвам, но одновременно и «Богом Войны», которого трепещут монголы, страшатся большевики и служить которому было кошмаром, преступлением против совести, несчастьем и при всем том - честью. Для тех, кто участвовал в последнем походе Азиатской дивизии на север, легенда о пленении Унгерна стала и возмездием ему, и формой самооправдания, и способом поставить на место надменных победителей, чья заслуга в том только и состояла, что им посчастливилось встретить своего грозного врага уже поверженным, а не взять его на поле боя, с оружием в руках.

На следующий день части Азиатской дивизии подошли к Селенге и начали переправу. Красная конница пыталась им помешать, но попала в ловушку в узком ущелье и отступила под огнем артиллерии и пулеметов с вершин соседних сопок. Правда, с бывшей бригадой Резухина соединиться не удалось, она перешла Селенгу много ниже по течению и сразу направилась на северо-восток. Те части, которыми до переворота командовал Унгерн, избрали более безопасный обходной маршрут: сбивая с толку преследователей, они сначала двинулись к юго-востоку, чтобы затем повернуть на север.

Тем временем захватившие Унгерна кавалеристы 35-го полка доставили его к Щетинкину. Оттуда связанного барона повезли в Троицкосавск, в штаб экспедиционного корпуса 5-й армии. К нему приставили большой конвой и по дороге очень опасались, что он бросится в воду при какой-нибудь переправе. Когда возле Усть-Кяхты барка из-за мелководья не могла причалить, Унгерна не развязали и комбат Перцев на закорках перенес

его на берег. При этом будто бы сказана была «историческая» фраза: «Последний раз, барон, сидишь ты на рабочей шее!»

В Троицкосавске его впервые допросили уже официально, с протоколом. Вначале Унгерн отказался отвечать на какие бы то ни было вопросы, но на следующий день передумал. Методы, которые он сам использовал, для того чтобы заставить пленных говорить, к нему, безусловно, не применялись. С ним обращались подчеркнуто вежливо, со своеобразным уважением, и это, видимо, произвело на него впечатление. Согласно выбранной роли он должен был молчать до конца, как если бы врагам досталось его мертвое тело, поэтому следовало найти какой-то предлог, оправдывающий и естественное любопытство, и понятное желание в последний раз поговорить о себе, о своих планах, идеях, «толкавших его на путь борьбы». Наконец, оправдание было найдено: Унгерн заявил, что будет отвечать, поскольку «войско ему изменило»; он, следовательно, не чувствует себя связанным никакими принципами и готов «отвечать откровенно».

Допрашивали его множество раз - в Троицкосавске, Верхнеудинске, Иркутске, Новониколаевске, и по многу раз спрашивали об одном и том же. Как правило, он отвечал терпеливо и «спокойно». С удовольствием рассказывал о том, как к нему переходили «красномонгольские» части, как хорошо сражались зачисленные в Азиатскую дивизию пленные красноармейцы. О репрессиях старался говорить кратко: да, нет, не помню. Ургинский террор объяснял необходимостью «избавиться от вредных элементов», но долго отказывался признать, что семьи коммунистов по его приказу расстреливались вплоть до детей. В конце концов ему пришлось признать, что и это было сделано с его ведома - «чтобы не оставлять хвостов».

В первые дни после пленения Унгерн искал смерти и мечтал о ней. «Что, бабам хотите меня показывать? - будто бы говорил он своим конвоирам. - Лучше бы здесь же и расстреляли, чем на показ водить!» Но позднее смирился и даже, вероятно, находил некоторое удовлетворение в том, что, по словам современника, с ним «носятся как с писаной торбой». Это не преувеличение. Рассказывали, что еще во время первых боев на монгольской границе по войскам был разослан приказ штаба армии, предписывающий в случае поимки Унгерна «беречь его как самую драгоценную вещь».

За три с половиной года Гражданской войны в Сибири красным не удалось пленить ни одного сколько-нибудь значительного белого генерала. Колчака выдали чехи, Зиневич в Красноярске сам отказался воевать <Позднее попали в плен генералы Бакич и Анатолий Пепеляев.>. На Южном фронте наблюдалась та же картина: все крупные военные деятели Белого движения или погибли, или ушли в эмиграцию. На всеобщее обозрение сумели выставить лишь выкопанное из могилы тело Корнилова. Унгерн, по сути дела, был единственным настоящим пленником с генеральскими эполетами. Причем считалось, что его захватили на поле боя. Подлинные обстоятельства, при которых он попал в плен, старались не афишировать. На суде об этом умалчивали, в газетах писали, что барон схвачен вместе со своим штабом и охраной, и не сообщали о том, что Азиатская дивизия почти в полном составе пробилась в Маньчжурию.

Еще недавно старых генералов, арестованных у себя дома, в чрезвычайках избивали и рубили шашками, но теперь времена изменились. Расстрелы без суда еще продолжались, однако их жертвами становились отныне люди безвестные. Такие, как Унгерн, должны были почувствовать на себе и продемонстрировать другим неумолимую справедливость революционного закона. Барона не только не оскорбляли, напротив - оказывали всяческие знаки внимания, тем самым подчеркивая могущество режима, которому нет нужды унижать побежденного врага. Более того, победителям хотелось поразить его блеском новой власти, разумностью построенного ею порядка. Этот пленник возвышал их в собственных глазах. Прежние победы Унгерна над китайцами доказывали силу тех, кто победил его теперь, его

зверства оттеняли их относительную мягкость. Но были и чувства чисто человеческие, понятные. Как профессионалы-военные они уважали в нем достойного и храброго противника и в то же время, будучи людьми молодыми, не прочь были пофорсить перед ним, пустить ему пыль в глаза.

Пленного барона хорошо кормили, приносили газеты, по железной дороге перевозили в отдельном пульмановском вагоне. Им гордились и не прятали, а наоборот - выставляли напоказ. В Иркутске, пишет Першин, его «всюду возили на автомобиле, точно хвастаясь, показывали ему ряд советских присутственных мест, где заведенная бюрократическая машина работала полным ходом». В общем-то, больше и нечем было его удивить. Унгерн будто бы «на все с любопытством смотрел», но не восхищался и, намекая на засилье евреев, выходя из такого рода учреждений, «резко и громко» говорил: «Чесноком сильно пахнет...»

Об этом с удовольствием рассказывали русские беженцы в Монголии и Китае, но писатель Владимир Заварзин, будущий автор романа «Два мира», а в то время редактор газеты «Красный стрелок» при политуправлении 5-й армии, лично присутствовал на одном из допросов Унгерна в Иркутске и нарисовал несколько иной его образ этих дней: «Он сидит в низком мягком кресле, закинув ногу на ногу. Курит папиросы, любезно предоставленные ему врагами. Отхлебывает чай из стакана в массивном подстаканнике... Ведь это совсем обиженный Богом и людьми человек! Забитый, улыбающийся кроткой виноватой улыбкой. Какой он жалкий! Но это только кажется. Это смерть, держащая его уже за отвороты княжеского халата. Это она своей близостью обратила волка в ягненка...»

Не случайно, подчеркивает Заварзин, упирая на символичность подмеченной им детали, усы Унгерна концами опущены вниз, а у того, кто ведет допрос, они «задорно топорщатся вверх». Все эти наштакоры и начпоармы полны витальной силы, а у барона «сухая тонкая рука скелета с длинными пальцами и плоскими желтыми ногтями с траурной каемочкой», он просительно тянется к коробке с дорогими папиросами, каких ему не доводилось курить, и на вопрос можно ли его сфотографировать, отвечает с любезностью едва ли не подобострастной: «Пожалуйста, пожалуйста, хоть со всех сторон».

Само собой, Заварзин увидел именно то, что хотел, а написал еще более того, что сумел увидеть. Впрочем, в наблюдательности ему отказать нельзя. По протоколам тоже заметно, что Унгерн испытывал не только понятную в его положении подавленность, но и своеобразное уважение к своим победителям, которые оказались вовсе не такими, какими он их себе представлял. За неожиданно джентльменское с собой обращение барон платил полной откровенностью, делал комплименты тем, кому сам же сулил «смертную казнь разных степеней», и в конце концов даже начал давать им советы относительно того, как лучше пересечь Гоби при неизбежном, по его мнению, походе Красной Армии на Северный Китай в союзе с революционным Южным. Заявив, что ему «теперь уже все равно, дело его кончено», Унгерн советовал идти через Гоби не летом, а зимой, причем двигаться «мелкими частями с большими дистанциями, чтобы лошади могли добывать себе достаточно корму, так как корма зимой там имеются, а воду вполне заменяет снег; летом же Гоби непроходима ввиду полного отсутствия воды».

Допрос, на который допустили Заварзина, был последним допросом Унгерна в Иркутске. В первых числах сентября его отправили в Новонико-лаевск, где должен был состояться судебный процесс.

СУД И КАЗНЬ

Советские газеты в это время об Унгерне вспоминают часто, но, в традициях новой прессы, информацию дают минимальную. В обычном, пока еще неказенном, а надрывно-пародийном стиле тех лет сообщается, что «железная метла пролетарской

революции поймала в свои твердые зубья одного из злейших врагов» и т. д. Заодно, путая Унгерна с его дальним родственником, проходившим по делу Мясоедова, утверждают, будто он еще в 1909 году был сослан в Сибирь как австрийский шпион.

Для большего пропагандистского эффекта его решили судить не в Иркутске, а в Новониколаевске, ставшем к тому времени официальной столицей Сибири. Здесь и был сформирован состав Чрезвычайного трибунала. Председателем стал старый большевик Опарин, начальник сибирского отдела Верховного трибунала при ВЦИКе, членами - местный партийно-профсоюзный деятель Кудрявцев, некие Габышев и Гуляев, наконец, знаменитый партизанский вождь Александр Кравченко, агроном и создатель возникавших в таежной глуши эфемерных крестьянских республик, основанных на началах всеобщей справедливости. Защитником назначили бывшего присяжного поверенного Боголюбова, общественным обвинителем - Емельяна Ярославского. В предстоящем спектакле ему отводилась одна из двух заглавных ролей, и выбор неслучайно пал на этого человека. Роль была вполне в его амплуа.

Партиец с большим стажем, уходящим, по тогдашним понятиям, во времена чуть ли не доисторические, коммунистический чиновник псевдогосударственного склада, ограниченный, но почему-то слывший интеллектуалом, сорокалетний говорун и демагог, способный свою эмоциональную подвижность выдавать за страсть. Ярославский, похоже, не без удовольствия согласился выступить в роли обвинителя, а то и выпросил ее сам. Тут можно было прогреметь на всю Россию, напомнить о себе как о вдохновенном полемисте, блестящем ораторе, чье место не в провинциальном Новониколаевске, а в Москве. Собственно говоря, отсюда началось восхождение Ярославского к должности главного государственного атеиста, записного борца с религиозным мракобесием. Трагедию последних дней пленного барона он с успехом использовал как ступень собственной карьеры.

В новониколаевской тюрьме Унгерн просидел недолго, не больше недели. Следствие здесь не велось, трибунал получил материалы предыдущих допросов. Свидетелей не приглашали. Это сочли излишним, поскольку подсудимый не скрывал своих преступлений. Его признаний было вполне достаточно для приговора, который мог быть только смертным.

Судебное заседание открылось ровно в полдень 15 сентября 1921 года, в здании театра в загородном саду «Сосновка». Сам театр известен был в городе под тем же названием. Входные билеты распространялись заранее, публику подбирали соответствующую, но желающих попасть на процесс было гораздо больше. Посмотреть на знаменитого барона хотелось всем. Многие рассчитывали увидеть его в тот момент, когда он будет входить в театр, поэтому с утра перед подъездом собралась толпа. В зале, по свидетельству репортера, преобладали мужчины, среди них - рабочие и красноармейцы, а в саду - женщины и обыватели. Разговоры об Унгерне сводились, главным образом, к одному вопросу: «Каков он из себя?»

Стенограмма процесса почти полностью была опубликована в местной газете «Советская Сибирь» (для того времени случай едва ли не уникальный), а оценочный, так сказать, репортаж, учитывая, что его будут читать и в Харбине, и в белом Приморье, написал Иван Майский, в недавнем прошлом меньшевик и член Самарского правительства, в скором будущем - советский посол в Лондоне.

«Узкое длинное помещение „Сосновки“, - пишет он, - залито темным, сдержанно-взволнованным морем людей. Скамьи набиты битком, стоят в проходах, в ложах и за ложами. Все войти не могут, за стенами шум, недовольный ропот. Душно и тесно. Лампы горят слабо...» Возбуждение зрителей понятно, ведь перед ними сейчас пройдет «не фарс, не скорбно-унылая пьеса Островского, а кусочек захватывающей исторической драмы». Декорации таковы: на сцене какой-то лозунг, стол под красным сукном. Члены трибунала должны сидеть лицом к публике. На авансцене, на выдвинутом в зал помосте, поставлена

скамья для подсудимого. Вокруг снуют люди с фотоаппаратами. Входит трибунал, все встают и снова усаживаются вместе со статистами на сцене. Тишина, затем вводят Унгерна.

Барон «высок и тонок», у него «белокурые волосы с хохолком вверх», рыжеватая бородка, большие усы. Одет в «желтый, сильно потертый и истрепанный халат с генеральскими погонями», который на нем «болтается». На груди Георгиевский крест <Этот крест всегда был на нем, и позднее рассказывали, будто в ночь перед казнью Унгерн изгрыз его зубами, чтобы после смерти никому не достался.>, на ногах - перевязанные ремнями монгольские ичиги. Унгерн садится на скамью и в течение всего заседания «смотрит больше вниз, глаз не поднимает даже в разговоре с обвинителем». На вопросы отвечает «достаточно искренне», говорит «тихо и кратко». Он выглядит «немного утомленным», но держится спокойно, только «руки все время засовывает в длинные рукава халата, точно ему холодно и неуютно». Вообще на нем лежит «отпечаток вялости», так что Майский «невольно»задается вопросом: «Как мог этот человек быть знаменем и вождем сотен и тысяч людей?» Но «моментами, когда он подымает лицо, нет-нет да и сверкнет такой взгляд, что как-то жутко становится». И тогда «получается впечатление, что перед вами костер, слегка прикрытый пеплом».

В 12 часов дня заседание открыто, председательствующий Опарин зачитывает обвинение из трех пунктов. Первый - действия под покровительством Токио, что выразилось в планах создания «центральноазиатского государства»и т. д.; второй - вооруженная борьба против Советской власти с целью реставрации Романовых; третий - террор и зверства.

ОПАРИН: Признаете себя виновным по данному обвинению?

УНГЕРН: Да, за исключением одного - в связи моей с Японией.

Он, безусловно, искренен. За несколько часов до смерти никакие политические резоны уже не властны над ним, но он хочет сам отвечать за дело своей жизни. Уходить из нее с клеймом японской марионетки для него унизительно.

Затем слово предоставляется Ярославскому, который тут же переводит процесс в принципиально иную плоскость. Политика ему как бы неинтересна. Его задача - показать Унгерна типичным представителем не просто дворянства, а именно дворянства прибалтийского, самой, по его словам, «эксплуататорской породы». Сам еврей. Ярославский пытается играть на русских национальных чувствах в их низменном варианте: в зале театра «Сосновка»он вызывает призрак остзейских баронов, которые всегда «сосали кровь из России», но одновременно предавали ее Германии, а теперь перекрасились в русских патриотов, потому что «лишились имений».

ЯРОСЛАВСКИЙ: Прошу вас более подробно рассказать о своем происхождении и связи между баронами Унгерн-Штернбсгами германскими и прибалтийскими.

УНГЕРН: Не знаю.

ЯРОСЛАВСКИЙ: У вас были большие имения в Прибалтийском крае и Эстляндии?

УНГЕРН: Да, в Эстляндии были, но сейчас, верно, нет.

Лично у него никаких имений никогда не было, разве что у отчима, но ему не важно, что таким ответом он облегчает Ярославскому его задачу. Унгерну все равно, он по привычке держится давным-давно, еще в юности выбранной им для себя, роли классического аристократа - землевладельца и воина.

ЯРОСЛАВСКИЙ: Сколько лет вы насчитываете своему роду?

УНГЕРН: Тысячу лет.

Имея в виду эту реплику, один из эмигрантских комментаторов процесса чуть позже напишет: «Тысячелетняя кровь имела для его палачей особый „букет", как старое вино». Замечание эффектно, хотя неверно по существу. Прежде всего интересовала не древность крови, а ее состав. Как сам Унгерн подчеркивал, что все главные большевики - евреи, так Ярославский не лишним считает напомнить, что в верхах Белого движения много

прибалтийских немцев.

ЯРОСЛАВСКИЙ: Чем отличился ваш род на русской службе?

УНГЕРН: Семьдесят два убитых на войне.

Ответ явно не дает желаемого результата, и Ярославский предпочитает оставить эту, как выясняется, опасную тему. Теперь он сосредоточивает внимание на нравственном облике барона - опять же как представителя определенного класса. У Ярославского имеется замечательный, по его мнению, документ - характеристика, которую четыре года назад подсудимому дал его тогдашний полковой командир барон Врангель. Там, в частности, говорится, что есаул Унгерн-Штернберг «в нравственном отношении имеет пороки - постоянное пьянство, и в состоянии опьянения способен на поступки, роняющие честь мундира». Имя Врангеля, правда, на суде не упомянуто (или, может быть, вычеркнуто из газетного отчета), но сам документ зачитывается вслух.

ЯРОСЛАВСКИЙ: Судились вы за пьянство?

УНГЕРН: Нет.

ЯРОСЛАВСКИЙ: А за что судились?

УНГЕРН: Избил комендантского адъютанта.

ЯРОСЛАВСКИЙ: За что?

УНГЕРН: Не предоставил квартиры.

ЯРОСЛАВСКИЙ: Вы часто избивали людей?

УНГЕРН: Мало, но бывало.

ЯРОСЛАВСКИЙ: Почему же вы избивали адъютанта? Неужели только за квартиру?

УНГЕРН: Не знаю. Ночью было.

Все это кажется диалогом из пьесы абсурда. В Забайкалье еще не остыли поля сражений, а здесь подробнейшим образом разбирается четырехлетней давности заурядная пьяная драка. Но наконец неизвестный адъютант оставлен в покое. Обвинитель, как и следовало ожидать, расспрашивает Унгерна о его родственнике-шпионе, затем следует несколько вопросов идеологического порядка, призванных выявить обскурантизм подсудимого, после чего председательствующий зачитывает отрывки из следственного материала - об экзекуциях и казнях.

Теперь Ярославскому предоставляется слово для обвинительной речи. В газете она занимает почти целую полосу, но ее нехитрый смысл при всей напыщенности может быть сведен к следующему: суд над Унгерном есть суд не над личностью, а «над целым классом общества - классом дворянства». От «эпохи крестовых походов с их ужасами», к которым прямо причастны предки подсудимого, Ярославский опять возвращается все к тому же комендантскому адъютанту: «Унгерн бьет его по лицу, потому что привык бить людей по лицу, потому что он барон Унгерн, и это положение позволяет ему бить людей по лицу...»

Его жестокость объясняется прежде всего двумя причинами: классовой психологией дворянства и религиозностью, которая в изложении Ярославского предстает как набор кровавых суеверий. Как иудеев обвиняли в человеческих жертвоприношениях, так и он предъявляет аналогичное обвинение своим врагам: «Они считают, что не только нужно установить некий ряд обрядов, они верят в какого-то бога, верят в то, что этот бог посылает им баранов и бурят, которых нужно вырезать, и что бог указывает им звезду, бог велит вырезать евреев и служащих Центросоюза, все это делается во имя бога и религии» <При этом Ярославский никак не подчеркивает сам тот факт, что с особым садизмом Унгерном истреблялись именно евреи. Вообще, во всей его обвинительной речи звучит единственная человеческая нота: «Лично Унгерн просто несчастный человек, вбивший себе в голову, что он спаситель и восстановитель монархов и на него возложена историческая миссия».>.

И вывод: «Приговор должен быть приговором над всеми дворянами, которые пытаются поднять свою руку против власти рабочих и крестьян!»

Затем выступает защитник - Боголюбов.

Начинает он с комплимента предыдущему оратору: «После великолепной и совершенно объективной речи обвинителя...» Тем не менее он позволяет себе сказать ту правду об Унгерне, которая устроителям процесса была отнюдь не нужна и которая, в общем-то, с тех пор так ни разу и не прозвучала.

«Серьезный противоборец России, - вольно пересказывает Боголюбов формулировки обвинения, - проводник захватнических планов Японии» и т. д. Но так ли это? Нет: «При внимательном изучении следственного материала мы должны снизить барона Унгерна до простого, мрачного искателя военных приключений, одинокого, забытого совершенно всеми даже за чертой капиталистического окружения».

Нужно отдать должное смелости Боголюбова. Он, пусть осторожно, подвергает сомнению выводы представительства ВЧК по Сибири, которое готовило обвинение.

И еще один выпад, на этот раз - в сторону Ярославского, объявившего Унгерна типичным представителем своего класса. Но разве может, спрашивает Боголюбов, хотя бы и прибалтийский барон, будучи нормальным человеком, «проявить такую бездну ужасов»? И продолжает: «Если мы, далекие от медицины и науки люди, присмотримся во время процесса, мы увидим, что помимо того, что сидит на скамье подсудимых представитель т. н. аристократии, плохой ее представитель, перед нами ненормальный, извращенный психически человек, которого общество в свое время не сумело изъять из обращения...»

Боголюбов предлагает два варианта приговора. Первый: «Было бы правильнее не лишать барона Унгерна жизни, заставить его в изолированном каземате вспоминать об ужасах, которые он творил». Увы, продолжающаяся «борьба с капиталистическим окружением» делает этот вариант сугубо предположительным.

Остается второй: «Для такого человека, как Унгерн, расстрел, мгновенная смерть, будет самым легким концом его мучений. Это будет похоже на то сострадание, какое мы оказываем больному животному, добывая его. В этом отношении барон Унгерн с радостью примет наше милосердие».

ОПАРИН: Гражданин Унгерн, вам предоставляется последнее слово.

УНГЕРН: Мне нечего сказать.

Перерыв: трибунал удаляется на совещание. Процесс продолжался пять часов. В 17.15 объявляется приговор. Унгерн признан виновным по всем трем пунктам обвинения, включая сотрудничество с Японией, и приговорен к смертной казни. Это конец: приговор окончательный, обжалованию и обжалованию не подлежит.

Расстреляли его в тот же день.

В одном ему повезло больше, чем Семенову, спустя четверть века повешенному на Лубянке. Ходили упорные слухи, будто Унгерну позволили умереть не в петле, которой грозили ему каппелевцы, и даже не от пули в затылок, а перед строем стрелкового взвода.

Но, может быть, это всего лишь слухи.

Зато известно, что когда весть о смерти барона пришла в Ургу, Богдо-гэген повелел служить молебны о нем во всех монастырях и храмах Монголии.

РАССЕЯННЫЕ И МЕРТВЫЕ

Незадолго до казни Унгерна или вскоре после нее, в середине сентября 1921 года, жестоко потрепанная красными бывшая бригада Резухина, от которой осталось человек двести, первой достигла границы на северо-востоке Халхи и сдалась китайским властям.

Главные силы дивизии после переправы через Селенгу возглавил полковник Островский. Предыдущей ночью заговорщики обстреляли его, приняв за Унгерна, а теперь он же и заменил барона. Эта группа обошла Ургу с юга и, выдержав несколько столкновений с

красномонгольскими отрядами, уменьшившись более чем наполовину, но сохранив пять орудий из шести, в начале октября вышла к границе в районе озера Буир-Нор вблизи Хайлара. Здесь полковник Костромин, который заменил заболевшего по дороге Островского, вступил в переговоры с представителем губернатора провинции Хейлуцзян. Одиноких беглецов и мелкие группы унгерновцев, пытавшихся пробраться в Маньчжурию, китайцы старательно вылавливали, убивали на месте или бросали в подземелье средневековой тюрьмы в Цицикаре, где многие так и остались навсегда, но остатки Азиатской дивизии все еще представляли собой грозную силу: около восьми сотен прекрасно вооруженных всадников с пулеметами и артиллерией. К тому же теперь, когда Монголию заняли советские войска, Чжан Цзолин видел в белых своих прямых союзников. После переговоров, получив гарантии безопасности, унгерновцы 6 октября вступили в Хайлар и сдали оружие при условии, что им будет обеспечен свободный проезд в Приморье. Китайцы с удовольствием выполнили это условие. Спустя две недели всех желающих продолжать войну с красными в России (из обеих групп - Костромина и Костерина - таких набралось около шестисот человек, т. е. немногим больше половины) специальным эшелоном из Хайлара отправили во Владивосток. Уже в ноябре они участвовали в наступлении каппелевцев на Хабаровск.

Еще позднее часть их вошла в русскую бригаду в армии Чжан Цзолина. Русские отряды, правда меньшие по численности, существовали и у других китайских генералов-дучжюней, поделивших между собой бывшую Поднебесную Империю, постоянно воевавших друг с другом, но при этом, согласно правилам этикета, доказывавшим, что лично друг к другу они не питают никаких недобрых чувств. Бывало, что пока их войска сражались, они мирно беседовали в стороне от поля боя, пили чай или играли в ма-цзян - китайские шашки. В этих войнах русские наемники особого боевого пыла обычно не выказывали, но полковник Костромин, командовавший ими в армии Чжан Цзолина, погиб в сражении с войсками У Пейфу под Шанхаем.

Несколько слов о тех, чьи судьбы так или иначе оказались переплетены с судьбой Унгерна.

В то время, когда остатки Азиатской дивизии вошли в Маньчжурию, на западе Халхи красные начали операции против отрядов Бакича и Кайгородова. Поздней осенью 1921 года, потеряв последнюю надежду вывести на восток свою гибнущую от голода и холода армию, Бакич сдался в плен, был увезен в Россию и расстрелян тихо, без той пропагандистской шумихи, которая сопровождала судебный процесс над бароном. Унгерн с его свирепостью, с его примитивно-монархическими идеями был настоящим подарком для большевиков, а Бакич сам воевал под красным флагом, выдвигал эсеровские лозунги, и такие, как Ярославский, отлично сознавали, что в этом случае публичный суд не принесет им никаких выгод.

Кайгородову посчастливилось избежать казни: той же осенью он с небольшим отрядом все-таки вернулся на родной Алтай и там погиб в одной из стычек.

Казагранди был убит по приказу Унгерна еще в июле-августе - барон обвинил его то ли в измене, то ли в похищении каких-то ценностей из отправленного в Ван-Хурэ обоза. Приговор привел в исполнение подполковник Сухарев, он же и принял командование отрядом вместо умершего под палками Казагранди. Эти полтора человека с невероятными лишениями добрались до восточных границ Монголии, но здесь китайцы отыгрались на них за все прежние поражения: отряд был окружен и почти полностью уничтожен. Сам Сухарев покончил с собой, перед тем застрелив жену и четырехлетнего сына.

Джамбалон успел бежать из Урги до того, как в нее вступил экспедиционный корпус Неймана, и по дороге был убит в перестрелке с красным разъездом.

Ивановский, начальник штаба дивизии, благополучно добрался до Хайлара, но барона

Витте схватили в пути. Дальнейшая его судьба неизвестна. Ходили слухи, что он был расстрелян. Другой заступник ургинских евреев - Лавров, создатель первых монгольских денег, сумел уехать в Харбин. Там он издал несколько книг, но об Унгерне не написал не слова.

Главные заговорщики - Эвфаритский, Львов и еще несколько офицеров, в ночь мятежа обстрелявших палатку барона, бесследно сгинули в монгольской степи. С той ночи никто их не видел и ничего не слышал о них.

Сипайло китайцы арестовали на границе, через год судили; он получил десять лет каторги, откуда, видимо, уже не вышел. Многие жалели, что этот палач так легко отделался, но другие утешали себя тем, что «китайская каторга - вещь пострашнее смерти».

Все ближайшие помощники Сипайло кончили плохо. Панков уже в Китае умер от пули одного из офицеров Азиатской дивизии: тот отомстил ему за прошлое. Безродного, который после убийства Резухина скрылся в лесу, поймали и расстреляли щетинкинцы. Бурдуковский и с ним одиннадцать человек из его команды погибли той же смертью, но их на острове посреди Селенги казнили сами унгерновцы. Когда Бурдуковского уводили на расстрел, он заметил поблизости Рибо и крикнул ему: «Доктор, куда нас ведут?» - «Туда, - будто бы ответил ему Рибо, - куда ты отправил столь многих...»

Рибо и есаул Макеев были в той части дивизии, которую Костромин и Островский привели в Хайлар. Оба они воевали с красными в Приморье, затем осели в Китае.

Алешин находился в отряде Сухарева (бывшем - Казагранди), но избежал гибели. На юге Монголии группа офицеров и казаков, полагая, что в Маньчжурию идти опасно, отделилась от Сухарева и двинулась по маршруту, изначально намеченному Унгерном - через Гоби в Тибет. Оттуда они хотели проникнуть в Индию, что некоторым из них в конце концов удалось. В числе этих счастливых был и Алешин. Из Индии он перебрался в Лондон, где спустя почти двадцать лет издал свои записки под названием «Азиатская одиссея».

В Нью-Йорке, в журнале «Азия», часть своих воспоминаний опубликовал самый страстный из врагов барона - Борис Волков. Для него это был большой успех, он прислал знакомым в Прагу вырезку с газетной рецензией. Волков писал о Монголии вечной, о том, что ни семь столетий, ни владычество Пекина не сумели изменить дух народа, «разжижить густую темную кровь Чингисхана». Но обозреватель газеты «Окленд Трибюн» в литературной колонке с грустью констатировал: «Фантастический мир; и все это теперь снесено и сжато двумя ветрами - красным вихрем, несущимся из Москвы, и раскаленным добела - откуда-то из Гобийских пустынь».

Першин после разгрома Унгерна еще три года прожил в Урге, победители его не тронули. Потом он уехал в Калган и через много лет умер там в нищете и одиночестве.

Еще один мемуарист - Бурдуков, знавший Унгерна дольше всех, со времени его первой поездки в Кобдо, из своей фактории на реке Хангельчик переселился на берега Невы, преподавал монголистику в университете, составил монгольско-русский словарь. Позже он был арестован и умер в тюрьме.

В 1937 году был расстрелян Константин Нейман, сын латышского крестьянина, юным комкором воплотивший в себе «красный вихрь» над Ургой.

Прочие победители барона ненадолго пережили его самого.

В 1922 году в Урге казнили Бодо, премьер-министра нового Монгольского правительства, который одним из первых начал понимать, чем грозит Халхе «революционный строй».

Еще год спустя, не дожив до тридцати лет, умер Сухэ-Батор, отважный и наивный воин священной Шамбалы.

В той же Урге, тогда уже Улан-Баторе, в 1927 году при темных обстоятельствах погиб Щетинкин. Его застрелили не то в пьяной драке, не то по секретному приказу тогдашнего начальника монгольского ОГПУ, знаменитого Блюмкина.

Легендарный вождь сибирских партизан Александр Кравченко через два года после процесса в Новониколаевске, где он был членом трибунала, добровольно сложил все дарованные ему новой властью чины и должности, вернулся в родное село и был убит бандитами на лесной дороге.

Лишь Ярославский, умело приспособиваясь к сильным мира сего, спокойно дожил до 1943 года и умер в постели. Все посвященные ему статьи в энциклопедиях и справочниках неизменно заканчиваются одной и той же фразой: «Урна с прахом в Кремлевской стене».

Неизвестно, как прожила свою жизнь маньчжурская принцесса Елена Павловна, в течение года носившая еще и титул баронессы Унгерн-Штернберг, но все эстляндские родственники барона постепенно покинули землю предков. Осенью 1939 года, после того, как Гитлер произнес в рейхстаге речь с призывом к прибалтийским немцам немедленно выехать в Германию, из таллиннского порта отплыли последние 32 представителя рода Унгерн-Штернбергов <В 50-х годах одного из них правительство ФРГ собиралось назначить послом в Москве, но Хрущев будто бы заявил: «Нет! Был у нас один Унгерн, и хватит».>

Наконец, ровно на три года пережил Унгерна человек, чья судьба осталась навсегда слита с судьбой эстляндского барона - Богдо-гэген Джебцун-Дамба-хутухта, он же Богдо-хан, «многими возведенный» монгольский хаган и «живой Будда». Он еще считался повелителем Халхи, давал аудиенции, восседая на «двойном» троне рядом с Эхе-Дагиней и безжизненными глазами слепца глядя на посетителей; к нему еще являлись на прием члены революционного правительства и подносили дары - тем меньшие, чем выше было положение дарителя, но в этом старце видели теперь только мумию прежнего священного величия. Он был даже не символом власти, а ее ширмой, обветшавшей до полной прозрачности и не способной скрыть то, что за ней происходит. Ему оставалось лишь превратиться в мумию настоящую, что и случилось в 1924 году. Старинное пророчество сбылось: восьмой Богдо-гэген оказался последним перерождением Даранаты. Его высушенное, покрытое золотой краской тело торжественно поместили в храме Мижид Жанрайсиг; там оно сохранялось несколько лет, а позднее, когда начались предсказанные Унгерном гонения на «желтую религию», превращенное в «шарил» тело последнего ургинского хутухты исчезло из столицы вместе с тысячами других изваяний.

В причудливом мире слухов и легенд, окружавших имя Унгерна после его казни, странно сбылось еще одно предсказание, задолго до встречи с бароном услышанное Оссендовским от Нарабанчи-хутухты: тот предрек ему смерть через десять дней после встречи с человеком по имени Унгерн. Об этом сам Оссендовский написал в одной из своих книг, забыв, что подобные пророчества имеют тенденцию сбываться совсем не так, как понимает их человек, к которому они обращены, ибо в определенный момент жизни память о них способна изменить саму жизнь.

Благополучно пережив десятый день после знакомства с бароном в Ван-Хурэ, Оссендовский уехал в Китай, затем - в Америку, позднее переселился в Варшаву, преподавал в военном училище химию, выпустил ряд книг, был хорошо известен в польских литературных и политических кругах. Умер он в январе 1945 года, в дни варшавского восстания, а лет через десять журналист Ягельский со слов друзей Оссендовского сообщил о том, что накануне смерти к нему приходил служивший тогда в СС двоюродный брат Унгерна. Иными словами, Нарабанчи-хутухта оказался прав: смерти Оссендовского предшествовала встреча с человеком, который, хотя и под другим обликом, носил все то же роковое для него имя.

Еще два десятилетия спустя Витольд Михаловский, автор книги «Завещание барона» выяснил, что Оссендовского посетил некий Доллердт, двоюродный племянник, а не брат Унгерна, сын одной из его кузин. Какую цель он при этом преследовал, осталось тайной: то ли надеялся выведать что-то о зарытых Унгерном сокровищах (молва упорно приписывала

Оссендовскому знанию места, где погребен клад барона), то ли предлагал ему стать членом Польского правительства, о создании которого подумывали в то время в Берлине, то ли просто хотел побеседовать с автором книги о своем знаменитом родственнике, чье имя было вознесено на пьедестал нацистской пропагандой. Правда, сам Доллердт, откликнувшись из Германии на публикации в польских газетах, настаивал на том, что встретиться с Оссендовским он так и не сумел, лишь говорил с его соседями, да и то как Доллердт, не называя девичьей фамилии своей матери, так что Оссендовский никак не мог связать его приход с предсказанием Нарабанчи-хутухты. С другой стороны, еще живые свидетели утверждали, что он с Оссендовским встречался, и тот, будучи совершенно здоровым человеком, наутро вдруг плохо себя почувствовал, был увезен в больницу, где и умер чуть ли не на десятый день, как было предсказано. Вообще, история это темная, но в любом случае невольно возникает ощущение, что Оссендовский пал жертвой собственных игр, которые он в реальности и на бумаге вел с Унгерном при жизни барона и после его смерти

СОКРОВИЩЕ ДРАКОНА

Сотни бывших унгерновцев рассеялись по Китаю, осели в Харбине, Хайларе, Пекине, Тяньцзине, Шанхае и принесли с собой слух о том, что незадолго до гибели барон где-то зарыл награбленные им несметные сокровища. Относительно того, где именно, мнения разделялись. Одни считали, что вблизи Ван-Хурэ, другие - что на Орхоне, возле монастыря Эрдени-Дзу, третьи называли район к югу от Хайлара, но в большинстве такого рода рассказов фигурировали разные места неподалеку от Урги.

Первым об этом сообщил не кто иной, как Сипайло.

Для многих было загадкой, почему он остался жив, когда китайцы схватили его на границе и опознали. За ним тянулась такая слава, что он должен был на месте пасть жертвой разъяренных «гаминов», чьих товарищей десятками убивали в ургинском комендантстве. Но, очевидно, Сипайло сумел спасти себе жизнь хитроумным способом героя авантюрного романа: он заявил, что знает место под Ургой, где Унгерн зарыл четыре ящика с золотом.

С тех пор число этих ящиков непрерывно росло, и в конце 20-х годов директор харбинской польской гимназии Гроховский писал уже о двадцати четырех ящиках, в каждом из которых было по три с половиной пуда только золотых монет, не считая других драгоценностей, и о принадлежавшем лично Унгерну сундуке весом в семь пудов.

Надо полагать, были люди, тщательно собиравшие и изучавшие такого рода сведения, которыми интересовались и китайцы, и сотрудники ОГПУ, и гитлеровская контрразведка. Источником этих сокровищ обычно считали кладовые двух маймаченских банков - Китайского и Пограничного, разграбленных при взятии Урги. Но могли помнить и о том, что еще в 1919 году Семенов назначил Унгерна главным руководителем работ на всех золотых приисках Нерчинского горного округа. Рассказывали, что, войдя в Монголию, барон за реквизируемый скот расплачивался золотыми монетами, что еще в Даурии он захватил кое-что из отправленной Колчаком на восток части золотого запаса России. Сам атаман задержал в Чите два «золотых» вагона, и, по слухам, к осени 1920 года у него еще оставалось около 1100 пудов. Это золото было и предметом вождельений, и объектом насмешек. Судя по газетам, его постоянно пересчитывают, перевешивают, но толком не могут ни взвесить, ни сосчитать. Его охраняют караулы, состоящие исключительно из генералов, но все равно оно теряется и расхищается, с ним бегут в Японию или получают по подложным документам сомнительные личности. Оно по сути своей анекдотично, аморфно, погружено в хаос умирающего режима. За него цепляются, как за обломки разбитого бурей корабля, и тонут вместе с ним. Это не государственное? достояние, каким золотой запас был у Колчака, его не окружает ореол былого величия Империи. Для большинства это просто средство спасения,

столь же неверное и зыбкое, как все прочие. Оно манит, но не пугает. Тайны в нем никакой нет, есть лишь большой секрет, о котором знают все.

Золото Унгерна связано с историями совсем другого рода. Оно не украдено, а завоевано, и хранится не в казначействе, а под землей или на дне реки, как сокровище Нибелунгов. На нем лежит кровь, и его блеск несет смерть. Его местонахождение - загадка, оно появляется внезапно, когда барон впадает в ярость или хочет умиловать чудовищных монгольских богов, возникает как награда за голову врага, как причина чьей-нибудь гибели, как сумасбродный по своей щедрости дар какому-нибудь монастырю.

Во время Гражданской войны и в последующие годы не только вокруг имени Унгерна возникали легенды о спрятанных сокровищах. Обычно их героями на востоке России становились те белые вожди, кто слабо связан был с омской государственностью, свирепые и эксцентричные казачьи атаманы. Ни либеральный Дутов, ни даже Бакич с его фантастической эпопеей не годились на роль хозяев подземного клада, но наверняка такие легенды существовали об Анненкове, а о золоте, закопанном близ Хабаровска атаманом Калмыковым, даже писали в газетах. Что касается Унгерна, он по всем параметрам был именно той фигурой, от которой естественно ожидать чего-то подобного. В награбленные им и погребенные под землей золото и серебро верили точно так же, как верят в сокровища майя, клады вест-индских пиратов или Емельяна Пугачева <В этой связи любопытно, что известный впоследствии чекист Глеб Бокий, будучи в ссылке на Урале, в Кунгуре, немало времени посвятил поискам пугачевского клада. Заметим в скобках, не углубляясь в тему: психология подпольщика-революционера в чем-то сродни психологии кладоискателя.>. Очень скоро на эту золотую жилу напали эмигрантские литераторы, и уже в феврале 1924 года харбинская газета «Свет» в полутора десятках номеров публикует приключенческую повесть «Клады Унгерна». Ее автор - Михаил Эйзенштадт, писавший под псевдонимом «Аргус», утверждает, что основой его сочинения послужили действительные события. Это история двух отважных кладоискателей, нищих эмигрантов, которые тайно пробрались в Монголию, попали в ГПУ, но сумели обмануть своих палачей. Повесть построена по законам жанра: две группы конкурентов ищут легендарное сокровище, в итоге ускользающее и от тех и от других. Надо думать, такие попытки и в самом деле предпринимались обеими сторонами. Об одной из них, вполне реальной, хотя ничуть не романтической, рассказывает Першин.

Примерно через год после казни барона кто-то из унгерновцев, живших в Китае, познакомился там с неким французом Персондье и назвал ему место под Ургой, где спрятан легендарный клад. Сам бывший соратник Унгерна в Монголию, естественно, поехать не мог. Роль посредника между ним и Персондье сыграл какой-то, по определению Першина, «компатриот», иными словами - «сменовеховец», который, видимо, стремился реабилитировать себя, оказав какую-нибудь услугу Советской России. Они вдвоем явились в советское полпредство в Пекине, и Персондье обещал заместителю полпреда по прибытии в Монголию указать местонахождение клада. При этом он оговорил свою будущую долю, включавшую в себя и долю его информатора. Остальное должны были получить не то большевики, не то монгольское правительство. Когда Персондье, сопровождаемый «компатриотом», прибыл в Ургу, от него стали требовать предварительных точных указаний.

Француз резонно настаивал на том, что сам поедет и сам найдет. Он начал подозревать, что его хотят надуть, и, очевидно, даже «компатриот», идеализировавший новых правителей России, не смог развеять подозрений своего компаньона. В конце концов чекисты сделали вид, будто согласны на его условия. К Персондье приставили следователя по фамилии Шлихт с охранником, и они втроем отправились на «мотокаре». По дороге Шлихт все-таки сумел усыпить бдительность француза, выпытал все подробности, затем ссадил его, не доезжая до места, а сам уехал. Персондье приказано было ждать там, где его высадили. Через какое-то

время коварный Шлихт вернулся за ним и сообщил, что сведения оказались ложными, никакого клада там нет. В результате француз ни с чем уехал обратно в Китай.

Першин был уверен, что с Персондье «разыграли комедию» и клад обманом заполучили большевики. Может быть, и вправду что-то удалось найти, хотя, вообще-то, легенды о сокровище Унгерна, по сути своей, были таковы, что исключали эту возможность в принципе.

Во-первых, в них обязательно присутствует классический средневековый мотив: тех, кто закапывает клад, убивают потом по приказу Унгерна. Он не доверяет никому, сам остается единственным хранителем тайны и уносит ее с собой в могилу.

Во-вторых, в этих легендах появляется сюжет совсем уж архаический - о сокровище, погребенном на дне реки, как «золото Рейна». Будто бы, отступив на юг после поражения под Кяхтой, барон распорядился бросить имевшееся у него золото и серебро в воды Орхона неподалеку от монастыря Эрдени-Дзу.

Причем в эту легенду вплеталась другая, гораздо более древняя. Согласно ей, когда напавшие на Халху джунгары дошли до Эрдени-Дзу, святой покровитель монастыря явился перед ними в окружении небесных львов; джунгары в страхе бежали, и часть их потонула в Орхоне. За такую заслугу китайский император возвел потопившую завоевателей реку в ранг туше-гуна - князя 5-й степени с жалованьем четыреста лан серебра в год. Ежегодно из Пекина приезжали чиновники и с соответствующими церемониями кидали деньги в Орхон, так что за два с половиной столетия на речном дне скопилось около 60 тысяч фунтов серебра. «Вместе с тем, что добавил к ним барон, - замечает Алешин, рассказавший эту историю, - река хранит настоящее сокровище».

Акция кажется бессмысленной, но легенда, помимо воли рассказчика, раскрывает заложенный в ней тайный смысл. Точно так же, как Унгерн, с награбленным золотом и серебром поступали викинги и другие варвары. Для них драгоценный металл, сохраняющий в себе сияние солнца и мерцание луны, прежде всего был ценностью не экономической, а сакральной. Клад предавали земле или воде вовсе не для того, чтобы когда-нибудь им воспользоваться. Ему надлежало остаться там навсегда. Сокровище воплощало в себе силу, храбрость, военное счастье хозяина, притягивало к нему благосклонность богов, будучи одновременно и жертвой. Жертвами становились и рабы, зарывшие его, а после убитые. Потаенное, оно надежнее оберегало того, кто им владел, пусть не обладая сокровищем физически. Мистическая связь была крепче. Напротив, кем-то найденное, оно сулило прежнему владельцу несчастье и гибель.

Скорее всего, сам Унгерн ни о чем таком не думал, да и вообще при мучившем его хроническом безденежье никакое золото нигде не зарывал и тем более не топил в Орхоне. Легенды такого рода больше говорят не о нем, а о времени, в котором они рождались. Коллективная память прочнее, глубже, но и темнее индивидуальной. В ее иррациональной стихии, где продолжает жить забытое каждым в отдельности, где застольный рассказ есть отзвук давних верований, возрожденных эпохой великого катаклизма, возникает миф о «золоте Орхона», о смертниках, зарывающих клад под Ургой, и за всем этим, как за многим другим в мифологии монгольской эпопеи, стоит неузнанное, смутное, но подсознательно знакомое современникам барона ощущение того, что человек не так уж сильно изменился за последнюю тысячу лет. В этих легендах - оживший древний ужас вечно повторяющейся истории.

ВОСКРЕСШИЙ МЕРТВЕЦ

Слухи о том, что Унгерн жив, появились почти сразу же после его казни. Условно их можно разделить на две группы. Первая базировалась на следующей версии: красные не

сумели захватить барона в плен, процесс над ним был искусной мистификацией, и в Новониколаевске судили его двойника. В основе второй группы слухов лежала идея менее экстравагантная: судили действительно Унгерна, но после суда ему удалось бежать.

Как только ДАЛЬТА - телеграфное агентство ДВР, распространило отчет о новониколаевском процессе, в одной из владивостокских газет появилась заметка под названием «Унгерн или двойник?» Автор ее, скрывшийся за псевдонимом П. Кр-сэ, лично знал Унгерна в Харбине и подробно перечисляет все то в этом отчете, что вызвало у него сомнения в подлинности самой фигуры подсудимого.

1. Описывается, что Унгерн высокого роста, с большими «казацкими» усами, с бородкой. «Ладно, - замечает П. Кр-сэ, - борода могла отрасти, но усы так быстро не растут, у него были интеллигентные усы. И он был среднего роста!»

2. На процессе Унгерн сказал, что до революции был войсковым старшиной, а от Семенова получил чин генерал-лейтенанта. Но правда такова: в 1917 году барон был есаулом, и Семенов произвел его только в генерал-майоры <Этот вопрос вообще темен. Похоже, что генерал-лейтенантом Унгерн объявил себя сам.>

3. «Что за чушь о создании срединной монгольской империи? Ведь Монголия была для Унгерна лишь базой для операций против ДВР!»

4. Почему барона судили не в Чите? Не потому ли, что там его многие знают в лицо?

Ответ на последний вопрос, резюмирует П. Кр-сэ, разрешает и все предыдущие недоумения. Очевидно, суд был фарсом, умелой инсценировкой, сам Унгерн благополучно ушел на запад Халхи, а перед трибуналом предстал загримированный под него актер или двойник. Ведь двойничество не столь уж редкое явление природы. Всем харбинцам, например, известен один железнодорожный служащий, который является буквально копией Николая II. Тем более не стоило труда найти человека, похожего на Унгерна: его внешность представляет собой «обычный интеллигентский тип, каких тысячи».

Эта версия рухнула под напором свидетельств самих же унгерновцев, появившихся вскоре в Приморье и Маньчжурии, но слухи о побеге проверке не поддавались и оказались куда более живучими. Рассказывали, будто сразу после окончания процесса в театре «Сосновка» барон симулировал психическую невменяемость, причем так натурально, что исполнение приговора решено было отложить. Такую форму поведения подсказали ему члены действовавшей в Новониколаевске подпольной белогвардейской организации. Унгерна, притворно впавшего в безумие, поместили в тюремную больницу, откуда он той же ночью бежал с помощью одного из членов этой организации, фельдшера Смольянинова (конкретная фамилия лишней раз убеждала в подлинности всей истории). Чтобы избежать скандала, администрация тюрьмы скрыла побег, вместо барона расстреляли какого-то очередного смертника, а самого Унгерна поймать так и не смогли <Во всяком случае, доказательством, что он был расстрелян, может служить его халат, до сих пор хранящийся в фондах Центрального музея Вооруженных Сил в Москве.>

Особый вариант этой версии изложен в рукописных воспоминаниях португалки Бьянки Тристао <Их разыскал немецкий кинорежиссер и историк Петер Садецки.>. Она была сестрой милосердия, одно время жила в Харбине и утверждает, что побег Унгерна организовал не кто иной, как сам Блюхер. Он же помог ему уехать из России. Как Борман и Берия, которых легенды объявляли спасшимися и переселяли в Южную Америку, барон будто бы обосновался в Бразилии, где прожил еще много лет после своей официальной смерти. В доказательство Тристао приложила к своим запискам фотографию: на ней мужчина, отдаленно похожий на Унгерна, ласкает ручную пуму.

Возможно, его имя возложил на себя кто-то из русских эмигрантов, причем извлекал из этого определенные выгоды. Во время Гражданской войны и позднее в России и в эмиграции самозванцев было множество; правда, чаще всего среди них встречались «дети» покойных

вождей, красных и белых. Унгерн тоже не избежал этой участи. В 30-х годах в Париже появлялся некий молодой человек, называвший себя его сыном. Трудно сказать, было это мошенничеством или нет, но, во всяком случае, явление Унгерна-младшего состоялось вполне в духе романтических легенд о бароне-мистике: юношу сопровождал какой-то загадочный латыш в костюме буддийского монаха.

Тогда же в Сибири, Маньчжурии и Монголии снова начали циркулировать слухи о чудесном спасении Унгерна. Исходный момент был тот же: побег, расстрел другого человека, двойничество, однако за десять лет, прошедших с его смерти, ситуация изменилась, время диктовало иной образ - не тот, каким барон виделся раньше, с близкого расстояния.

Вновь о нем вспомнили, как свидетельствует Першин, в то время, когда в эмиграции «всюду стали говорить о масонах», т. е. в конце 20-х - начале 30-х годов. Успели позабыться жуткие подробности расправы с ургинскими евреями, зато сама ненависть к еврейству пришла к времени и заставила воскресить барона именно сейчас. Соответственно из панмонголиста Унгерн превратился в русского патриота: рассказывали, будто он примкнул к тайной организации под названием «Сыны России», где-то скрывается и «ждет удобного момента». Позабылось его тысячетнее дворянство, стали говорить, что барон «опростился», отпустил бороду и т. д. Разумеется, никто уже не вспоминал о его приверженности буддизму или о планах возрождения империи Чингисхана. Теперь его жестокость объяснялась исключительно намерением «водворить порядок и дисциплину»; утверждали, что ему чуждо было не только «желание нажиться», но даже властолюбие, и у него не было никакого другого интереса, кроме «борьбы с большевизмом для спасения России». В этом есть своя правда, но правдой единственной она могла стать лишь после того, как развеялись порожденные нэпом иллюзии относительно природы и целей кремлевского режима. Один из его последних противоборцев, самый, может быть, беспощадный и неистовый, Унгерн отныне стал только героем. Истина социальная опять заслонила собой человеческую и неизбежно должна была переродиться в новый миф <Во Франции схожая легенда существовала о маршале Нее, в 1815 году расстрелянном за то, что присоединился к вернувшемуся с Эльбы императору. Ходили слухи, будто Ней спасся, но никому не приходило в голову делать его тайным борцом против режима Реставрации. Спасенный или воскрешенный, он ушел в частную жизнь.>.

Нечто похожее произошло с бароном и в Монголии.

«Кто путешествовал по Центральной Азии, - писал Александр Грайнер, - тот мог слышать заунывную песню, которую поют у костра проводники и пастухи. Она о том, как один храбрый воин освободил монголов, был предан русскими и взят в плен, и увезен в Россию, но когда-нибудь он еще вернется и все сделает для восстановления великой империи Чингисхана».

Тот же самый романтический мотив использовал и Арсений Несмелов:

«Я слышал,
В монгольских унылых улусах,
Ребенка качая при дымном огне,
Раскосая женщина в кольцах и бусах
Поет о бароне на черном коне...»

Эта песня, которую едва ли слышали Грайнер с Несмеловым, входила в состав эмигрантского мифа об Унгерне. Но действительно, память о нем не могла исчезнуть в монгольских и бурятский степях. Причем здесь не было нужды отрицать его гибель, придумывать истории о побеге, о фельдшере Смольянинове. Для буддиста казненный барон и без того мог возродиться в любой момент и под любым обликом. К лету 1921 года ореол, окружавший его имя, померк, затем вовсе угас, но, вероятно, опять вспыхнул позднее, когда в Монголии начали разрушать монастыри, расстреливать лам, топить в реках или увозить на

переплавку священные изваяния, когда прервались вековые связи с Тибетом и рухнули устои кочевой культуры, воздвигнутые, по словам Унгерна, «три тысячи лет назад». В это время барон вновь должен был стать тем, кем он был в момент битвы под Ургой: освободителем Халхи, спасителем Богдо-гэгена, защитником веры, перерождением Махагалы или «белым батором», который, согласно предсказаниям, явился в «год белой курицы» дабы вернуть монголам прежнее величие <Отметим, что посмертная судьба Унгерна странно перекликается с той жизнью, которую прожили после смерти два человека, по-разному с ним связанных, - умерший двести лет назад джунгарский хан Амурсана, чье имя возложил на себя Джа-лама, и расстрелянный в 1918 году великий князь Михаил Александрович Романов. Первый воплотился, второй будто бы избежал гибели. Одному предстояло спасти Монголию от китайцев, другому - Россию от большевиков. Унгерн соединил в себе призвание и форму существования их обоих. Для русских он был чудом спасшийся смертник, для монголов - обреченный воскреснуть мертвец.>. Тогда он пришел в образе русского генерала, но теперь может явиться в ином, еще более неожиданном и грозном облике, и хотя пастух Больжи из улуса Эрхирик объявил Мао Цзедуна лишь братом Унгерна, тут имелось в виду новое воплощение все того же «Бога Войны». Якобы кровные узы, связывающие даурского барона с «председателем Мао», были только способом выразить сверхъестественное родство в естественных категориях.

Что же касается воскресившей Унгерна русской легенды, она стала не более чем еще одним из мифов о нем, какие всегда складываются вокруг тех исторических фигур, чья сущность и жизненная задача не поддаются рациональному объяснению. Удобнее всего, разумеется, было счесть его просто сумасшедшим, но тогда тем труднее казалось понять, каким образом этот эксцентричный психопат мог стать азиатским владыкой и богом. Чтобы осмыслить метаморфозу, проще было объявить его выходцем из давно минувших эпох. В таком случае собственная растерянность перед загадкой этого феномена получала вполне приемлемое объяснение.

Иван Майский, наблюдавший Унгерна во время судебного процесса, писал: «Бывает и в наши дни, что по какой-то случайной игре природы рождаются люди, тело которых густо покрыто волосами. Эти люди напоминают о далеком прошлом человека, когда он, подобно зверю, жил в лесах и расщелинах гор. Такой человек с волосатым не телом, а душой - Унгерн. Он весь в прошлом и, слушая его слова и рассказы о нем, невольно удивляешься, как могло это странное существо появиться на свет в 1887 году <На самом деле - в 1885-м.> на одном из островов Эстляндского побережья».

Образ не бог весть какой оригинальный. Кажется, Майский не чужд желанию подчеркнуть устремленность в будущее тех, кто заказал ему этот репортаж. Но сравнения того же ряда использовали и бывшие соратники барона, и эмигрантские журналисты. Одни называли его «Аттилой XX века», «палеонтологическим типом», «первобытным чудовищем», другие - человеком, от которого «веет средневековьем», и «последним рыцарем». Это не просто красоты стиля, но и стиль эпохи, когда в Сибири, на Волге и в донских степях братья Гракхи сражались против Суворова, крестоносцы - против Разина и Пугачева, ратники Минина и Пожарского шли на санкюлотов Робеспьера, Жанна д'Арк - на Гришку Отрепьева, а «Город Солнца» Кампанеллы со всех сторон был окружен пылающей Вандеей. В этом хороводе личин и призраков, смутно проступающих из хаоса, Унгерн выделялся тем, что его балаганный наряд прирос к коже, а созданный им фантом налился живой кровью. Уникальный феномен судьбы этого человека с химерически слитыми чертами реликта и предтечи был порожден тем географическим пространством, где он попытался наложить на реальность отнюдь не ему одному присущее убеждение в том, что современная западная цивилизация должна пасть, как пал Древний Рим. Этот интеллигентский миф объединял Унгерна с его противниками, почти подсознательно чувствовавшими свое с ним кровное родство. Кто

выступит в роли разрушителя, новые гунны - монголы, или восставшие рабы - пролетарии, не суть важно. И Унгерн, и большевики с разных сторон взялись разрешить эту двуединую задачу. Задачником, откуда ее почерпнули, была вся европейская культура рубежа веков, от которой они отрекались так неистово и безоглядно, как отрекаются лишь от чего-то бесконечно родного. Когда Ленин в 1916 году писал, что капитализм вступил в свою высшую и последнюю стадию - империализм, что теперь начнется период постоянных войн между империалистическими государствами, произойдет «обнищание народных масс» и т. д., - такой взгляд на историю вытекал не столько из классического марксизма, сколько из эсхатологических настроений тогдашней интеллигенции. В принципе, все это не так уж сильно отличается от пророчеств Владимира Соловьева или от уверенности Унгерна в том, что современность - пролог вселенской катастрофы, преддверие тех времен, когда после ужасных войн, голода, гибели государств и народов обновится лицо земли. Безземельный эстляндский барон увидел себя Аттилой, как какой-нибудь аптекарский ученик - Спартак. Эти злейшие враги, прилежные читатели Ницше, фаталисты по Марксу или по Блаватской, были возвращены одной духовной почвой.

На ней же возрос фашизм и, видимо, не только происхождение, воинственность и ненависть к евреям сделали Унгерна одним из любимейших героев нацистской пропаганды: пьеса о нем годами не сходила со сцены немецких театров. Среди вождей Белого движения насчитывалось немало прибалтийских немцев, но такой чести не удостоились ни Врангель, ни Каппель. Эти двое, как многие иные генералы с немецкими фамилиями, были западниками, либералами и русскими патриотами, а Унгерн - ни тем, ни другим и ни третьим. Очевидно, после книги Оссендовского в нем усматривали нечто большее, чем просто борца с «еврейским интернационалом». А именно: арийца, который с мечом в руке вернулся на свою священную прародину, ведомый тайными силами и мистическим голосом крови. Здесь, в гобийской Туле, три тысячи лет назад впервые был начертан знак свастики - символ идеального миропорядка, чье скорое возрождение предвещал этот германец в монгольском халате.

Миф, породивший феномен Унгерна, видоизменялся, но продолжал поддерживать его посмертное существование.

В Советской России барон тоже превратился в видную фигуру казенной мифологии, хотя и с обратным знаком. Монархист и садист, он как бы принял правила игры, согласно которым истинный контрреволюционер должен быть именно таким, и за это ему было позволено остаться в истории с чертами отчасти романтическими - мрачными, но по контрасту оттеняющими светлый романтизм красных героев. Прочие враги Советской власти у себя на родине давно превратились в бесплотные тени, а Унгерн продолжал жить полнокровной жизнью мифологического персонажа. О нем сочиняли романы и ставили фильмы, в которых он то задумчиво бродит ночью среди скелетов убитых по его приказу людей, то, демонстрируя монголам свою к ним любовь, целуется с прокаженным или, будучи кадетом Морского корпуса, бросается в канал, чтобы спасти тонущего котенка.

Но и вне всякой идеологии память об Унгерне до сих пор жива. Дело тут не только в нас самих, привычно завороченных эстетикой демонизированного зла, в особенности если оно воплощалось в человеке с идеалами, было сопряжено с неограниченной властью и существовало в огромных, поражающих воображение масштабах. Сам по себе Унгерн принадлежит к породе воскресающих мертвецов, которые время от времени встают из могил, лишённые покоя после смерти и обреченные напоминать нам о том, что обстоятельства, их породившие, имеют продолжение в истории.

Впрочем, злодеев и вообще-то запоминают хорошо, в народной памяти они - долгожители. Это, видимо, надо принять как должное и смириться. В конце концов, здесь есть одно утешающее соображение: добро, следовательно, сопряжено человеку, естественно

для него, раз мы удивляемся ему меньше, чем злу, и забываем скорее.

ЭПИЛОГ

Я никогда не встречал людей, лично знавших Унгерна. Теперь таких, наверное, почти уже и не осталось, а те возможности, что у меня бывали раньше, я упустил.

Правда, мне рассказывали, что в тех русских селах, которые еще сохранились в Монголии, старики сразу откликаются на имя Унгерна. Чуть ли не каждый имеет или имел родственника, соседа, знакомого, когда-то выдавшего барона в Халхе, в Забайкалье или в Иркутске, уже плененного красными. У некоторых есть и собственные детские воспоминания: о сожженной деревне, о том, как рассказчик вместе с другими детьми бегал за околицу, где остановились на привал казаки, и те бросали на землю лепешки или серебряные монеты, но когда дети тянулись за ними, их били нагайками по рукам, а потом в стороне кто-то проехал на лошади, и все стали говорить: «Барон! Барон!»

Еще я знаю, что в Петербурге живет одна старая женщина, которая девочкой однажды видела его вблизи: она тогда жила с родителями в Урге, барон приезжал к ним помывться в бане.

Зато я своими глазами видел, даже держал в руках чашку, из которой он, может быть, пил. В Екатеринбургe, тогда еще Свердловске, мне показала ее поэтесса Майя Никулина. Чашка досталась ей от давно умершей прибалтийской немки, после войны высленной из Китая. Она умерла на Урале, но до этого четверть века прожила в Харбине, барон бывал там у нее в гостях и пил чай. Они знали друг друга еще по Ревелю. По ее словам, это был очень воспитанный и приятный молодой человек, а все, что о нем рассказывают нехорошего, выдумано большевиками.

Чашка была выставлена на стол. Я перевернул ее и посмотрел клеймо на донце. Может быть, Унгерн пил из нее. Может быть, из другой такой же. Сервиз был как минимум на шесть персон.

Лет десять назад я написал повесть об Унгерне. Одним из ее главных героев был выдуманный мною монгольский лама Найдан-Доржи, наставник барона в вопросах веры, в прошлом ширетуй буддийского храма на Елагином острове в Санкт-Петербурге. Повесть называлась «Песчаные всадники», в ней был такой эпизод (дело происходит в Новониколаевске спустя несколько дней после казни Унгерна):

«В полдень Найдан-Доржи вышел из тюрьмы на улицу. Было тепло, бабье лето. Еще в камере ему сказали, что расстрелянных зарывают на пустыре за городом, и объяснили, как идти, но он добрался туда лишь к вечеру. По дороге зашел на рынок, приобрел там зеркальце с ручкой и горсть конопляного семени.

Как везде, на закате здесь тоже подул ветер, остудил голову, чисто выбритую тюремным парикмахером. В домишках на окраине розовым закатным огнем полыхали окна. Пустырь служил и кладбищем и свалкой, кругом громоздились кучи мусора, поросшие лопухами и крапивой. Мусор был старый, почти опрятный. Свежий теперь вывозили редко, а еще реже довозили до этого места. Чаше сваливали где-нибудь по пути. Пахло чужой травой, чужой осенью, и все-таки запах тления витал над пустырем - кажущийся, может быть, проникающий в сознание не через ноздри, а через глаза, которые видят эти подсохшие глиняные комья над телом Цаган-Бурхана. Солдатик-бурят из конвойной команды рассказал, как найти его могилу. Найдан-Доржи думал увидеть хоть какой-нибудь бугорок, но увидел плоское, чуть более светлое, чем земля вокруг, пятно плохо утрамбованной глины с торчащим вместо креста черенком сломанной лопаты. Невдалеке валялся искалеченный венский стул, Найдан-Доржи добил его о землю и развел из обломков небольшой костерок.

Затем достал свое зеркальце, высыпал на него из кармана немного конопли. Осторожно водя по стеклу пальцем, как делают женщины, когда перебирают на столе крупу, он выложил из конопляных зернышек фигурку скорпиона и долго шептал над ней, пока все грехи тела, слова и мысли покойного не переселились в этого скорпиона, сотворенного на поверхности зеркала. Стекло под ним отражало небо с проступающими кое-где звездами. Стемнело, тогда Найдан-Доржи начал сбрасывать коноплю в огонь, но не всего скорпиона разом, а по частям: сначала левые лапки, потом правые, потом загнутый хвост и тулово. Он сбрасывал их осторожными ловкими щелчками, и грехи его ученика сгорали вместе с конопляным скорпионом, обращались в дым, рассыпались пеплом в этом костре на окраине Новониколаевска. Найдан-Доржи сел на землю и запел, раскачиваясь: „Ты, создание рода размышляющих, сын рода ушедших из жизни, послушай... Вот и спустился ты к своему началу... Плоть твоя подобна пене на воде, власть - туман, слава и поклонение - гости на ярмарке... Все собранное истощается... высокое падает... живое умирает... соединенное разъединяется... Все обманчиво и лишено сути... Не стремись к лишенному сути, ибо новое твое перерождение будет исполнено ужаса..."

Его ученик хотел покорить полмира, как Чингис, а теперь лежал в могильной глине, и наконец-то Найдан-Доржи, всегда знавший, как печально любое завершение, мог сказать ему об этом прямо.

„Пусть огонь победит деревья... вода победит пламя... ветер победит тучи... Боги да укрепятся истиной, истина да правит, а ложь да будет бессильна", - пел Найдан-Доржи. Он ждал, что вот сейчас одна звезда над ним вспыхнет ярче прочих - из сердца Будды исторгнется белый луч, ослепительно сияющий и полый внутри божественный тростник, растущий вершиной вниз, пронизет землю, и душа Цаган-Бурхана, покинув мертвое тело через правую ноздрю, с тихим свистом, который слышат лишь посвященные, втянется в сердцевину этого луча, умчится по нему к звездам, как пуля по ружейному стволу.

Найдан-Доржи смотрел вверх, но пусто было в небесах. Все сильнее дул ветер, догорал костер, клочья сухой травы проносились над его синеющими языками и пропадали во тьме».

Напоследок приведу слова, уже не мною сказанные об Унгерне спустя много лет после его смерти и не выражающие ровным счетом ничего, кроме, может быть, чувства, что этот человек все еще каким-то образом присутствует в мире:

«Истерик на коне, припадочный самодержец пустыни, теперь из мгlistой дали Востока он смотрит на нас своими выпученными глазами страшилища».

Смотрел тогда.

Смотрит и сейчас.

ПИСЬМА ДОКУМЕНТЫ ВОСПОМИНАНИЯ БИБЛИОГРАФИЯ

I

ПИСЬМА Р. Ф. УНГЕРН-ШТЕРНБЕРГА

1. П. П. Малиновскому <П. П. Малиновский - генерал, в предреволюционные годы был русским военным советником при правительстве Богдо-гэгена, который удостоил его титула «тумбаир-гуна», что значит «сердцу моему близкий князь». В Гражданской войне участия не принимал. В середине 20-х гг. в Ницце покончил с собой после крупного карточного проигрыша.>

17 сентября 1918 г. Даурия

Многоуважаемый Павел Петрович!

Благодарю Вас за Ваши два письма. Дышат они непоколебимою верою в успех. В последней моей поездке в Читу я эту веру потерял. Стыдно сознаться, но будьте уверены, что когда мы сговаривались, я не думал, что возврата к наклонной плоскости не будет. Пока время есть, меняйте краску. Пассивность и апатия некоторых лиц губят все. Может спасти неожиданная внешняя встряска <Надо полагать, Малиновский, несколько лет проживший в Урге, был вовлечен Унгерном в планы создания «Великой Монголии». Здесь, видимо, речь идет о том, что Семенов после занятия Читы на время потерял интерес к этим планам.>. Просить извинения, что затянул Вас в это дело, не стану все равно. Вам легче не станет. Если хотите, действуйте дальше, буду пока здесь всячески содействовать.

Здешнему князю <Вероятно, Фушенга - вождь харачинов.> нечего ехать; домашнего дипломата пошлю верхом туда. Надо мне Оглоблина <Лицо неизвестное.> видеть и поклон ему.

Преданный Вам Полковник Барон Унгерн.

Копия с письма была снята бывшим министром Омского правительства, эмигрантским историком И. И. Серебренниковым и хранится в его личном архиве (ГА РФ. ф. 5873, оп. 1, д. 8, лл. 8 - об.). Сопровождено пометой: «Кому адресовано, не знаю, полагаю, что князю Тумбаир-Малиновскому». Догадка верна, поскольку есть и другие письма Унгерна тому же адресату.

2. П. П. Малиновскому

11 ноября 1918 г. Даурия

Многоуважаемый Павел Петрович!

Прошу Вас устроить еще одно дело в Харбине. Поинтересуйтесь у Константина Попова <Лицо неизвестное.> подробностями программы международной конференции в Филадельфии, а также выясните, какие имеются возможности для посылки на нее делегатов. Нужно послать туда представителей Тибета, Бурятии и т. д., одним словом - Азии. Я думаю, что мирная конференция уже не будет иметь никакого смысла, если она откроется раньше, чем кончится война. Присутствие наших представителей на конференции может оказаться чрезвычайно плодотворным <Международная Мирная конференция открылась в январе 1919 г. в Париже. Семенов пытался направить на нее представителей «Великой Монголии».>. Послы от Бурятии в течение месяца, а послы от Тибета в течение двух месяцев будут готовы к отъезду. Об этом деле совершенно забыл, поэтому прошу ответить мне срочно, иначе буду сильно занят. Конечно, таким образом, чтобы никто не узнал, что мы тут и пальцем шевельнули! Далее, попробуйте заинтересовать Вашу супругу лозунгом: женщины всех стран, образовывайтесь! <Подчеркнуто Унгерном.> Ей следует написать письмо дуре Панкхурст <Панкхурст - известная суфражистка.>; поскольку на Западе женщины имеют равные права с мужчинами, они должны прийти на помощь своим сестрам на Востоке. Последние уже созрели для этого, но не имеют вождей. Вожди Новой России, как, например, Семенов, мечтают лишь о том, чтобы своих любовниц уравнивать в правах с «евнухами».

В Харбине нужно основать небольшую общину индусок, армянок, японок, китайнок, монголок, русских, полек, американок <По словам Михаловского, современный владелец этого письма наивно полагал, что оно написано тайнописью и содержит какую-то зашифрованную секретную информацию. Ему трудно было представить, что к годы Гражданской войны Унгерн в самом деле мог интересоваться вопросами женского образования на Востоке.>. Почетной председательницей должна быть госпожа Хорват или супруга посла в Пекине или в Токио. Газета должна объявлять об этом раз в месяц на разных языках. Благодарю за Вашу работу, которая отнимает у Вас день и ночь, боюсь, однако, что

не долго еще буду Вам досаждать. Политические дела занимают меня целиком.

Преданный Вам Полковник Барон Унгерн.

Письмо было найдено в Германии польским журналистом и историком В. С. Михаловским и опубликовано в его книге «Завещание барона» (Testament barona, W., 1977, s. 26). Свидетельствует как о склонности Унгерна к прожектёрству, так и о его давнем и неподдельном интересе к азиатским делам. Обратный перевод с польского.

3. Генералу Чжан Кунью <Чжан Кунью - военный губернатор провинции Хейлуцзян (Цицикарской), один из наиболее близких Чжан Цзолину генералов.>

2 марта 1921 г. Урга

Ваше Превосходительство!

Недавно через американца Гуптеля я имел смелость отнять Ваше драгоценное время, послав Вам извещение о событиях в Урге. Теперь, в дополнение к письму, довожу до сведения Вашего Превосходительства о дальнейшем. Войска Гау Су-линя и Чу Лиджяна ушли сначала на север, к красным, но, по-видимому, с ними не сошлись. Произошли какие-то недоразумения из-за грабежей, и теперь они повернули к западу. По-видимому, они пойдут на Улясутай, а затем на юг, в Синьцзян. В Урге образовалось Монгольское правительство, которое несомненно признает суверенитет Китая.

Из газет мне известно, что в Калгане беспорядки, но, к сожалению, не имею пока никаких подробных сведений оттуда. Во Внутренней Монголии, Синьцзяне и Алтайском округе, по-видимому, также начались беспорядки.

Надо использовать эти беспорядки, не теряя времени, направив их военное выступление не к бесцельной борьбе с китайскими войсками, а к восстановлению маньчжурского хана. В нем они видят великого и беспристрастного судью, защитника и покровителя всех народов Срединного Царства.

Необходимо действовать под общим руководством главы всего дела. Пока его нет, ничего не выйдет. Необходим вождь. Вождями могут быть только популярные лица, каковым в настоящее время является высокий Чжан Цзо-лин. Дать толчок к признанию народами этого вождя не представляет особой трудности <Выражение «дать толчок» Унгерн употреблял часто. Оно как нельзя лучше подходило для той роли, в которой он видел себя сам - роли человека, ускоряющего естественный, по его мнению, ход событий.>. Я, к сожалению, в настоящее время без хозяина. Семенов меня бросил, но у меня есть деньги и оружие. Вашему Превосходительству известна моя ненависть к революционерам, где бы они ни были, и потому понятна моя готовность помогать работе по восстановлению монархии под общим руководством вождя, генерала Чжан Цзолина.

Сейчас думать о восстановлении царей в Европе немыслимо из-за испорченности европейской науки и, вследствие этого, народов, обезумевших под идеями социализма. Пока возможно только начать восстановление Срединного Царства и народов, соприкасающихся с ним до Каспийского моря, и тогда только начать восстановление Российской монархии, если народ к тому времени образумится, а если нет, надо и его покорить.

Лично мне ничего не надо. Я рад умереть за восстановление монархии хотя бы и не своего государства, а другого. Я позволяю себе писать все это Вашему Превосходительству так откровенно и прямо, так как глубоко верю Вам и знаю, что Вы всем сердцем сочувствуете мне, искренне преданы нашему общему делу, а с Вашим большим просвещенным умом виднее возможность скорого осуществления великих монархических начал, ведущих народы к спасению и благу.

Еще раз имею смелость повторить, что я предлагаю свое подчинение высокому и почитаемому Чжан Цзолину <Унгерн предлагал подчиниться Чжан Цзолину на

неприемлемых для того условиях.>.

Взяв в Урге склад и оружие, прошу Ваше Превосходительство принять все мои запасы и интендантство в Хайларе себе и расходовать их по Вашему усмотрению <Унгерн вполне мог позволить себе этот широкий жест, поскольку большая часть вооружения из хайларских складов еще в конце 1920 г. была переправлена в Монголию с помощью генерала Мациевского.>.

Жду обнадеживающих известий от Вас, свидетельствую Вашему Превосходительству мою преданность и искренне желаю успеха.

Начальник Азиатской Конной Дивизии Генерал-Майор Унгерн.

P.S. Прошу Вас не верить полковнику Лауренсу <Лауренс (Лауренц) - бывший начальник гауптвахты в Даурии, любимец Унгерна, позднее заподозренный им в измене. Убит Бурдуковским в Сом-Бейсе.>. Он хотя и ранен, но бежал. Верьте сотникам Малецкому, Еремееву и Никитину из Маньчжурии.

Второй экземпляр этого письма, как и многих других писем Унгерна, был найден в Урге. Письмо почти целиком приведено в статье Сергеева «Унгерниада» («Народы Дальнего Востока», Иркутск, 1921, №5, с. 634 -). Недостающие места восстановлены по копии в английском переводе, хранящейся в архиве Гуверовского института в Стэнфорде, США (Hoover Institution on War, Revolution and Peace, CSUZXXS34-A, p. 1ft - 12).

4. Князю Цэндэ-гуну <Цэндэ-гун - один из князей Внутренней Монголии; имел чин генерала китайской армии.>

27 апреля 1921 г. Урга

Ваше Сиятельство!

Дальность расстояния и обстоятельства не позволяют увидеться с Вами, обменяться мыслями и позаимствовать мудрые советы Вашего Сиятельства. Приходится ограничиться лишь письмами, в которых трудно, конечно, охватить все вопросы, выдвигаемые жизнью. Ярче всех стоит вопрос о красной опасности.

Революционное учение начинает проникать в верный своим традициям Восток. Ваше Сиятельство своим глубоким умом понимает всю опасность этого разрушающего устои человечества учения и сознает, что путь к охранению от этого зла один - восстановление царей. Единственно, кто может сохранить правду, добро, честь и обычаи, так жестоко попираемые нечестивыми людьми - революционерами, это цари. Только они могут охранить религию и возвысить веру на земле. Но люди стали корыстны, наглы, лживы, утратили веру и потеряли истину, и не стало царей. А с ними не стало и счастья, и даже люди, ищущие смерти, не могут найти ее <Ср.: Откровение Иоанна Богослова, IX, 6.>. Но истина верна и непреложна, а правда всегда торжествует; и если начальники будут стремиться к истине ради нее, а не ради каких-либо своих личных интересов, то, действуя, они достигнут полного успеха, и Небо ниспошлет на землю царей. Самое наивысшее воплощение идеи царизма, это соединение божества с человеческой властью, как был Богдыхан в Китае, Богдо-хан в Халхе и в старые времена русские цари. За последние годы оставалось во всем мире условно два царя, это в Англии и в Японии. Теперь Небо как будто смилостивилось над грешными людьми, и вновь возродились цари в Греции, Болгарии и Венгрии, и 3-го февраля 1921 года восстановлен Его Святейшество Богдо-хан. Это последнее событие быстро разнеслось во все концы Срединного Царства и заставило радостно затрепетать сердца всех честных его людей и видеть в нем новое проявление Небесной благодати. Начало в Срединном Царстве сделано, не надо останавливаться на полдороге. Нужно трудиться и, путем объединения автономных Внутренней Монголии, Синьцзяна и Тибета в один крепкий федеративный союз, провести великое святое дело до конца и восстановить Цинскую династию.

По некоторым, хотя еще не вполне проверенным сведениям, я знаю, к тому же стремятся все монголы от Тарбагатайского и Илийского краев до Внутренней Монголии и Барги.

Вас не должно удивлять, что я ратую о деле восстановления царя в Срединном Царстве. По моему мнению, каждый честный воин должен стоять за честь и добро, а носители этой чести - цари. Кроме того, ежели у соседних государств не будет царей, то они будут взаимно подтачивать и приносить вред одно другому.

Я уже обо всем этом писал Югадзыр-хутухте <Югадзир-хутухта - влиятельный хубилган-перерожденец из Внутренней Монголии.>, но Вас, опытного и выдающегося дипломата, прошу снестись с Большой Узумчей и внутренними монголами, дав понять им, что теперь нельзя упускать время, а пришла пора действовать, и действовать решительно, ибо начало положено, Богдо-хан восстановлен и надо присоединяться <К 1921 г. ургинское правительство давно отказалось от замысла объединить все монгольские области под скипетром Богдо-гэгена. Правда, в 30-й день 2-й луны 11-го года «эры многими возведенного»(9 апреля 1921 г.) из канцелярии Министерства Внутренних дел в Урге вышел циркуляр, в котором эти планы все-таки фигурируют, но он носит явственные следы редактуры самого Унгерна и порой почти дословно воспроизводит соответствующие места из его собственных писем.>. Я был бы чрезвычайно счастлив, если бы Вы приехали и взяли на себя дипломатическую сторону всего этого дела. Тогда я заранее предчувствую успех.

Китай идет на уступки, ибо он поставлен в такое положение внутренними смутами и затруднениями в деньгах. Нельзя упустить время, так как второго такого случая не будет. Я знаю, что Вы помогаете в этом деле не из-за честолюбия, что такое чувство не может Вами руководить, что Вы - монархист. Я знаю, что Вы стоите и будете стоять за вечную правду, добро и благо людям, и верю, что само Небо с высоты смотрит на Вас, ждет от Вас борьбы за честь и святую религию, дабы ниспослать на Вас и Ваше потомство свои неисчислимые благодеяния на вечные времена.

Шлю Вашему Сиятельству мои наилучшие пожелания успеха в делах и льщу себя надеждою скоро повидаться с Вами.

Начальник Азиатской Конной Дивизии Генерал-Майор Барон Унгерн.

Письмо опубликовано Б. Шумяцким («Народы Дальнего Востока», Иркутск, 1921, №4, с. 555 -). Одно из тех писем, которые Унгерн рассылал «влиятельным лицам» по всей Центральной Азии, не будучи, как правило, с ними знаком. Никакого конкретного плана действий эти письма не содержали и представляли собой скорее программные агитационные воззвания самого общего порядка.

5. К. Грегори

<К. Грегори - агент Унгерна в Пекине. Вероятно, раньше состоял в штате русского посольства князя Кудашева, имел связи в китайских правительственных кругах. Когда одно время во главе военной экспедиции против Унгерна собирались назначить генерала Чжан Сюня, Грегори должен был занять при нем должность «советника» (так, во всяком случае, он сам сообщал в Ургу). Едва ли он всерьез относился к панмонгольским замыслам барона и его поручения выполнял, очевидно, прежде всего из меркантильных соображений. В 1927 г. опубликовал в США свои заметки о Монголии.>

20 мая 1921 г. Урга

Настоящим извещаю Вас о делах в Монголии. К настоящему моменту на территории, охваченной нашими действиями, не осталось китайских революционных войск. Основная их часть полностью разбита и уничтожена, остальные бродят вдалеке от столицы Монголии. Успешно ведется серьезная кампания по объединению Внутренней и Внешней Монголии и включению в Великую Монголию племен Западной и Восточной Монголии, и я убежден в

конечном триумфе Богдо-хана и моих усилий в этом направлении <На самом деле к этому времени Чжан Цзолин уже сумел добиться от князей Внутренней Монголии полной по отношению к себе лояльности. Большинство их обещало не оказывать поддержки Унгерну.>. В настоящее время главное внимание обращено на восточно-монгольские области, которые должны стать надежным оплотом против натиска революционного Китая, а затем будут приняты меры по присоединению Западной Монголии. По одобренному плану присоединяющиеся области не будут подчинены власти Совета Министров в Урге, но сохранят в целостности и неприкосновенности самостоятельность аймаков, свои законы и суды, свою административную структуру и обычаи, составляя лишь в военном и финансово-экономическом отношении единый союз, находящийся под благословением Богдо-хана. Цель союза двоякая: с одной стороны, создать ядро, вокруг которого могли бы сплотиться все народы монгольского корня; с другой - оборона военная и моральная от растлевающего влияния Запада, одержимого безумием революции и упадком нравственности во всех ее душевных и телесных проявлениях. Что касается Кобдо и Урянхая <Одно из названий Тувы.>, на этот счет я уверен. Обитатели этих районов, древние тубы и сойоты, готовы присоединиться к нам, испытав на себе ярмо Китайской Республики и тяжелую руку китайских революционеров и большевиков.

Следующий этап революционного движения в Азии, движения, идущего под лозунгом «Азия для азиатов», это создание Среднего Монгольского Царства, которое должно объединить все монгольские племена. Я уже установил сношения с киргизами, отправив письмо влиятельному вождю, бывшему члену Государственной Думы, очень образованному киргизскому патриоту и потомку наследственных ханов Букеевской Орды (от Иртыша до Волги) А. М. Букей-хану <А. Букей-хан (Букейханов) - лидер казахской партии «Алаш», кадет, председатель созданного в 1917 г. в Оренбурге правительства «Алаш-Орды».>. Вам необходимо таким же образом из Пекина действовать на Тибет, Китайский Туркестан и, в первую очередь, на Синьцзян. Вам следует найти таких влиятельных лиц в упомянутых областях, к которым Вы могли бы обратиться лично, избегая обращения к неизвестным нам партиям, партийным и государственным органам и лицам сомнительных политических убеждений; еще менее следует искать поддержки масс, так как это не только бесполезно, но даже вредно для нашего дела, ибо сразу раскроет наши планы и цели.

Необходимо во всех сношениях подчеркнуть необходимость спасения Китая от революционной смерти путем восстановления Маньчжурской династии, которая так много сделала для монголов и покрыла себя неувядающей славой. Нужно привлечь к этой работе китайских магометан. Хорошим поводом для переговоров послужат наши связи с киргизами, их единоверцами <Пример типичного для Унгерна прожектерства, когда на фундаменте двух только что отправленных писем (Букейханову и «старейшинам киргисского народа»), на которые даже еще не получено ответа, строится очередной воздушный замок.>. Здесь также нужны надежные и влиятельные лица, через которых Вы должны действовать. В этом направлении Вы должны развить энергичную деятельность на месте, находя их слабые места, чтобы влиять на них в смысле присоединения и держать меня в курсе дела.

Я начинаю движение на север и на днях открою военные действия против большевиков. Как только мне удастся дать сильный и решительный толчок всем отрядам и лицам, мечтающим о борьбе с коммунистами, и когда я увижу планомерность поднятого в России выступления, а во главе движения - преданных и честных людей, я перенесу свои действия на Монголию и союзные с ней области для восстановления Цинской династии, которую я рассматриваю как единственное орудие в борьбе с мировой революцией.

Будущее России, разбитой морально, духовно и экономически, ужасно и не поддается никакому прогнозу. Она единодушно восстанет против революционного духа. Этого нельзя теперь ожидать от западных держав. Там заботятся лишь об одном - как можно более

простыми способами защитить свои капиталы и собственность от захвата их революционными силами, не вводя в круг действия идей, вопросов морального свойства. Вывод один - революция восторжествует, и культура высшего продукта падет под напором грубой, жадной и невежественной черни, охваченной безумием революции и уничтожения и руководимой международным иудаизмом <В статье Сергеева (возможно, псевдоним главного редактора журнала «Народы Дальнего Востока» Б. Шумяцкого) последние слова опущены и вся цитата искажена. Коммунисты-евреи вообще старались обходить молчанием эту сторону взглядов Унгерна. Шумяцкий, например, допрашивая пленного барона в Иркутске, интересовался чем угодно, только не страшной гибелью своих соплеменников в Урге. Тема считалась неудобной. Выдать свой интерес к ней значило для коммунистов еврейского происхождения поставить под сомнение их объективность как выразителей исключительно классового мировоззрения.>.

Они проводят в жизнь философию своей религии - око за око, а принципы Талмуда, проповедующего терпимость ко всем и всяческим способам достижения цели, предоставляют евреям план и средство для их деятельности по разрушению наций и государств. Обсудите этот вопрос со старым философом и дайте мне знать его мнение <Лицо неизвестное.>. Обратите пристальное внимание на деятельность еврейских капиталистов, участвующих в нашей работе <Когда китайские власти запретили вывоз и ввоз товаров из Халхи и в Халху, с помощью еврейских коммерсантов агенты Унгерна вели торговые операции по сбыту в Китае продуктов монгольского экспорта и захваченной в Урге добычи.>. Я уверен, что скоро Вы столкнетесь в их лице с вездесущим, хотя очень часто и скрытым врагом. Пожалуйста, заставьте Фушана, участника той вагонной вечеринки с курением опиума <Можно счесть это подтверждением того, что Унгерн употреблял наркотики.>, прислать мне опытного монгольского дипломата, который мне жизненно необходим. Впрочем, я пишу ему об этом сам. Я хотел бы воспользоваться услугами Ц. Г. <Вероятно, речь идет о Цэнде-гуне.> Я также нуждаюсь в способном представителе соединенных китайских магомтан. Также необходимо, чтобы вышеупомянутый Фушан повлиял бы на богатых князей, генералов-монархистов и купцов с тем, чтобы приобрести типографию и наладить выпуск хорошей газеты, выступающей за восстановление монархии под скипетром Цинов. Вы, конечно же, понимаете все значение такого предприятия. Если Вам удастся получить доступ к беспроволочному телеграфу, вызывайте нашу станцию в 9 часов пополудни по харбинскому времени, «Ж.У.Т.», используя код «Восток», который я при сем прилагаю.

Генерал-Лейтенант Унгерн-Штернберг.

P.S. Не спите там, просыпайтесь! Что подельывает мой прорицатель? Все произошло, как он предсказывал. В этих краях они все говорят верно. Чахар, которого я послал к Вам и который остался у Семенова, оказался разбойником и негодяем. Не верьте ни одному его слову <Опасаясь распространения известий о его варварских акциях в Монголии, Унгерн неоднократно призывал своих адресатов «не верить» каким-то лицам. Кроме того, он пытался скрыть, что его дела далеко не так блестящи, како том говорится в письмах. В данном случае этот «чахар» мог, в частности, рассказать о том, что в конце марта 1921 г. входивший в состав Азиатской дивизии отряд чахарских всадников поднял мятеж, жестоко подавленный Резухиным.>. Верьте «профессору» <Речь идет о Ф. Оссендовском.>. Заставьте толстого генерала поработать <Кто имеет в виду, неизвестно.>.

Искренне Ваш Барон Унгерн.

Выдержки из этого письма напечатаны в статье Сергеева «Унгерниада»(с. 630 -). Полный текст дается в переводе с английского по копии из архива Гуверовского института (Hoover Institution on War, Revolution and Peace, CSUZXXS34-A, p. 5 -). Судя по стилю приводимых Сергеевым цитат, в оригинале письмо было написано по-немецки.

ПРИКАЗ РУССКИМ ОТРЯДАМ НА ТЕРРИТОРИИ СОВЕТСКОЙ СИБИРИ

№15

Мая 21 дня н <нового> ст <иля> 1921 г. г. Урга

Я - Начальник Азиатской Конной Дивизии, Генерал-Лейтенант Барон Унгерн, - сообщая к сведению всех русских отрядов, готовых к борьбе с красными в России, следующее:

§ 1. Россия создавалась постепенно, из малых отдельных частей, спаянных единством веры, племенным родством, а впоследствии особенностью государственных начал. Пока не коснулись России в ней по ее составу и характеру неприменимые принципы революционной культуры, Россия оставалась могущественной, крепко сплоченной Империей. Революционная буря с Запада глубоко расшатала государственный механизм, оторвав интеллигенцию от общего руслу народной мысли и надежд. Народ, руководимый интеллигенцией как общественно-политической, так и либерально-бюрократической, сохраняя в недрах своей души преданность Вере, Царю и Отечеству, начал сбиваться с прямого пути, указанного всем складом души и жизни народной, теряя прежнее, давнее величие и мощь страны, устои, перебрасываясь от бунта с царями-самозванцами к анархической революции и потерял самого себя. Революционная мысль, льстя самолюбию народному, не научила народ созиданию и самостоятельности, но приучила его к вымогательству, разгильдяйству и грабежу. 1905 год, а затем 1916 - 17 годы дали отвратительный, преступный урожай революционного посева - Россия быстро распалась. Потребовалось для разрушения многовековой работы только 3 месяца революционной свободы. Попытки задержать разрушительные инстинкты худшей части народа оказались запоздавшими. Пришли большевики, носители идеи уничтожения самобытных культур народных, и дело разрушения было доведено до конца. Россию надо строить заново, по частям. Но в народе мы видим разочарование, недоверие к людям. Ему нужны имена, имена всем известные, дорогие и чтимые. Такое имя лишь одно - законный хозяин Земли Русской ИМПЕРАТОР ВСЕРОССИЙСКИЙ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ, видевший шатанье народное и словами своего ВЫСОЧАЙШЕГО Манифеста мудро воздержавшийся от осуществления своих державных прав до времени опаматования и выздоровления народа русского.

§ 2. Силами моей дивизии совместно с монгольскими войсками свергнута в Монголии незаконная власть китайских революционеров-большевиков, уничтожены их вооруженные силы, оказана посильная помощь объединению Монголии и восстановлена власть ее законного державного главы, Богдо-Хана. Монголия по завершении указанных операций явилась естественным исходным пунктом для начавшегося выступления против Красной армии в советской Сибири. Русские отряды находятся во всех городах, курэ и шаби <Курэ (хурэ) - монастырь; шаби - монастырский поселок, заимка.> вдоль монгольско-русской границы. И, таким образом, наступление будет происходить по широкому фронту (см. п. 4 прик <аза>).

§ 3. В начале июня в Уссурийском крае выступает атаман Семенов, при поддержке японских войск или без этой поддержки.

§ 4. Я подчиняюсь атаману Семенову.

§ 5. Сомнений нет в успехе, т. к. он основан на строго продуманном и широком политическом плане.

По праву, переданному мне как военачальнику, не покладавшему оружия в борьбе с красными и ведущему ее на широком фронте, ПРИКАЗЫВАЮ начальникам отрядов, сформированных в Сибири для борьбы с Советом Народных Комиссаров:

1. Начальникам малых отрядов, существующих отдельно и готовящихся к борьбе, подчиняться одному командующему сектором, который и объединяет действия отдельных отрядов. Неподчинение повлечет за собой суровую кару.

Примечание. Отряды численностью до 150 человек, не считая нестроевых и семьи, при приближении на 40 верст к другим отрядам должны объединиться в своих действиях под общей командой единоличного начальника; отряды численностью 150 - 300 чел <овек> - в 100-верстном радиусе; отряды численностью в 300 - чел <овек> - в 200-верстном радиусе. Отрядам, не оставившим борьбы с красными и имеющим старую организацию, руководствоваться своими распорядителями.

2. Установить связь между боевыми единицами и действовать по общему плану, сообразуясь с временем и направлением начавшегося наступления (см. п. 4 прик <аза>).

3. При встрече действующих отрядов численностью более 1000 чел <овек> с отрядами одинаковой или большей численности, действующими против общего врага, подчинение переходит к начальнику, который вел непрерывную борьбу с советскими комиссарами на территории России, причем не считаться с чином, возрастом и образованием.

Примечание. Пункту 3-му настоящего приказа подчиняются и командующие секторами.

4. Выступление против красных в Сибири начать по следующим направлениям: а) Западное - ст. Маньчжурия; б) на Монденском направлении вдоль Яблонового хребта; в) вдоль реки Селенги; г) на Иркутск; д) вниз по р. Енисею из Урянхайского края; е) вниз по р. Иртышу. Конечными пунктами операции являются большие города, расположенные на магистрали Сибирской ж. д. Командующим отдельными секторами соображаться с этими направлениями

и руководствоваться: в Иркутском направлении директивами полк <овника> Казагранди, в Урянхайском - атамана Енис <ейского> Каз <ачьего> войска Казанцева, в Иртышском - есаула Кайгородова <Кайгородов приказ опротестовал.>

5. Командующие секторами назначают срок для общего выступления всех отрядов под своим руководством. Пока, за дальностью расстояния, я лишен возможности карать, а потому на ответственность командующих секторами и командиров отрядов возлагается прекращение всяких трений и разногласий в отрядах (рыба с головы тухнет). Помнить, что поколения будут благословлять или проклинать их имена.

6. Заявить бойцам, что позорно и безумно воевать лишь за освобождение своих собственных станиц, сел и деревень, не заботясь об освобождении больших районов и областей. Считать такое поведение сохранением преступного нейтралитета перед Родиной, что является государственной изменой. Такое преступление карать по всей строгости законов военного времени.

7. Подчиняться беспрекословно дисциплине, без которой все, как и раньше, развалится.

8. При мобилизации бойцов пользоваться боевой работой, по возможности, не далее 300 верст от места их постоянного жительства. После пополнения отрядов нужным по количеству имеющегося вооружения кадром новых бойцов, прежних, происходящих из освобожденных от красных местностей, отпускать по домам.

9. Комиссаров, коммунистов и евреев уничтожать вместе с семьями. Все имущество их конфисковывать.

10. Суд над виновными м <ожет> б <ыть> или дисциплинарный, или в виде применения разнородных степеней смертной казни. В борьбе с преступными разрушителями и осквернителями России помнить, что по мере совершенного упадка нравов в России и полного душевного и телесного разврата нельзя руководствоваться старой оценкой. Мера наказания может быть лишь одна - смертная казнь разных степеней. Старые основы правосудия изменились. Нет «правды и милости». Теперь должны существовать «правда и безжалостная суровость». Зло, пришедшее на землю, чтобы уничтожить Божественное

начало в душе человеческой, должно быть вырвано с корнем. Ярости народной против руководителей, преданных слуг красных учений, не ставить преград. Помнить, что перед народом стал вопрос «быть или не быть». Единоличным начальникам, карающим преступников, помнить об искоренении зла до конца и навсегда и о том, что справедливость в неуклонности суда <Приказ был написан начальником штаба Азиатской дивизии, полковником К. Ивановским вместе с Ф. Оссендовским, но в данном пункте ощущается авторство самого Унгерна. Об этом свидетельствуют обычные для него формулировки: «смертная казнь разных степеней», «полный душевный и телесный разврат», «слуги красных учений» и др.>.

11. На должности гражданского управления в освобожденных от красных местностях назначать лиц лишь по их значению и влиянию в данной местности и по их действительной пригодности для несения службы этого рода, не давая преимущества военным, не считаясь при назначении с бедственным состоянием и прежним служебным положением просителя.

12. За назначение несоответствующих и неспособных лиц ответственным является начальник, сделавший назначение.

13. Привлекать на свою сторону красные отряды, особенно из разряда мобилизованных, и рабочие батальоны.

14. Не рассчитывать на наших союзников-иностранцев, переносящих подобную же революционную борьбу, ни на кого бы то ни было. Помнить, что война питается войной и что плох военачальник, пытающийся купить оружие и снаряжение тогда, когда перед ним находится вооруженный противник, могущий снабдить боевыми средствами <Этот пункт, видимо, также написан Унгерном.>.

15. Продовольствие и др <угое> снабжение конфисковывать у тех жителей, у которых оно не было взято красными. У бежавших жителей брать продовольствие по мере надобности. Если поселок, занятый белыми, дает добровольцев и мобилизованных бойцов, он обязан дать своим людям продовольствие и другое (кроме боевого) снаряжение на 3 месяца, что и поступает в интендантскую часть отряда безвозвратно.

16. В случае переполнения отряда людьми, не имеющими вооружения, отправлять их на полевые работы непременно домой, в освобожденные области.

17. За отрядом не возить ни жен, ни семей, распределяя их на полное прокормление освобожденных от красных селений, не делая различий по чинам и сословиям и не оставляя при семьях денщиков.

18. Мне известно позорное стремление многих офицеров и солдат устраиваться при штабах на нестроевые должности, а также в тыловые войсковые части. Против этого необходимы самые неуклонные меры пресечения. В штабы и на нестроевые должности назначать, по возможности, лиц, действительно не способных к бою, каковым носить, в отличие от строевых офицеров и солдат, поперечные погоны. Организуемые по мере надобности тыловые войсковые части, необходимые для военных операций, должны существовать, но не следует переполнять их излишними чинами. Желательнее всего замещать должности в тыловых частях бежавшими от большевиков и пострадавшими от них поляками, иностранцами и инородцами, с их согласия. Местные жители отнюдь не должны назначаться на указанные должности.

Примечание. Строевыми считать только тех, кто непосредственно участвует в боях. Чины тыловых войсковых частей (интендантство, комендантская ч <асть>, саперная, служба связи, штабы и т. п.), хотя и имеющие вооружение, не считаются строевыми. В интендантство избегать назначать военных; по возможности назначать имеющих многолетний опыт доверенных фирм, а также бежавших купцов, лично ведших свои дела и показавших на опыте свой талант.

19. В случае необходимости отступления стягиваться в указанных выше направлениях

военных операций (п. 4 прик <аза>), в сторону ближайшего сектора, прикрывая собою его фланг.

Народами завладел социализм, лживо проповедывающий мир, злейший и вечный враг мира на земле, т. к. смысл социализма - борьба.

Нужен мир - высший дар Неба <Конфуцианское «небо» в этом приказе выглядит вполне экзотически и выдает руку Унгерна.>. Ждет от нас подвига в борьбе за мир и Тот, о Ком говорит Св. Пророк Даниил (гл. XI) <На самом деле не XI, а XII гл.>, предсказавший жестокое время гибели носителей разврата и нечестия и пришествие дней мира: «И восстанет в то время Михаил, Князь Великий, стоящий за сынов народа Твоего, и наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди, до сего времени, но спасутся в это время из народа Твоего все, которые найдены будут записанными в книге. Многие очистятся, убедятся и переплавлены будут в искушении, нечестивые же будут поступать нечестиво, и не уразумеет сего никто из нечестивых, а мудрые уразумеют. Со времени прекращения ежедневной жертвы и поставления мерзости запустения пройдет 1290 дней. Блажен, кто ожидает и достигнет 1330 дней» <Дан., XII, 1, 10 - . Последняя цифра ошибочна: должно быть 1335.>.

Твердо уповая на помощь Божию, отдаю настоящий приказ и призываю вас, офицеры и солдаты, к стойкости и подвигу.

Подлинный подписал: Начальник Азиатской Конной Дивизии.

Генерал-Лейтенант Унгерн.

С незначительными разночтениями «Приказ № 15» в отрывках и полностью неоднократно воспроизводился в советской и эмигрантской печати 20-х гг. Публикуется по: ГА РФ, ф. Varia, д. 392, л. 1 - .

III

ДОПРОС ВОЕННОПЛЕННОГО НАЧАЛЬНИКА АЗИАТСКОЙ КОННОЙ ДИВИЗИИ ГЕНЕРАЛА БАРОНА УНГЕРНА

Опрос производил 27 августа 1921 года в Штакоре Экспедиционного комкор т. Гайлит <Я. П. Гайлит (1894 -) - в 1918 г. командир 1-го отряда латышских стрелков, позднее начдив. В августе 1921 г. сменил К. А. Неймана (1897 -), отставленного за просчеты в Монгольской операции и недооценку сил Унгерна, на должности командира экспедиционного корпуса 5-й армии.> в присутствии бывшего комкора т. Неймана, начпоарма т. Бермана, наштакора т. Черемисинова и представителя Коминтерна при Монголправителстве т. Борисова.

1) Генерал-лейтенант барон Унгерн - х лет <В это время Унгерну было полных 35 лет.>, сын помещика Эстляндской губернии, участвовал добровольцем в русско-японской войне, образование получил в Морском кадетском корпусе и в Павловском военном училище, которое окончил в 1908 году. Вышел в казачьи войска, до войны служил в полку, которым командовал барон Врангель, за пьянство был предан последним суду. В русско-германскую войну служил во 2-й (армии. - Л. Ю.), за участие в походе в Восточную Пруссию получил орден Св. Георгия 4-й степени, который в настоящее время носит на груди.

2) На вопрос, может ли он отвечать откровенно, сказал: «Раз войско мне изменило, могу теперь отвечать вполне откровенно».

3) В плен попал совершенно неожиданно, подозревает заговор на себя одного из командиров полков, полковника Хоботова, вследствие какового заговора на него было произведено покушение. Вечером 21 августа лежал в своей палатке, услышал стрельбу, подумал, что какой-нибудь разъезд красных. Выйдя из палатки, отдал распоряжение выслать

разъезд, затем поехал вдоль расположения своих войск. Проезжая мимо пулеметной команды, вновь услышал выстрелы и по ним узнал, что это стреляют по нем, после чего поехал к своему монголдивизиону. Проехав с последним версты 3 - , был внезапно схвачен монголами и связан. Монголы повезли его, связанного, назад к отряду, по старым видным следам. Дорогой Унгерн заметил, что они взяли неверное направление, и сказал монголам, что они могут наткнуться на красных. Монголы не верили, и встретившийся затем разъезд в 20 всадников красноармейцев бросился на них лавой, с криками «ура» и требованием бросить оружие. Оружие было брошено, и весь отряд монгол со связанным Унгерном попал в плен. Узнав красных, монголы растерялись. Разъезд повел пленных с каким-то обозом. Один из красноармейцев спросил Унгерна, кто он такой, и, услышав ответ, растерялся от неожиданности. Придя в себя, бросился к остальным конвоирам, и все они сосредоточили свое внимание на пленном Унгерне.

4) Живым в плен попал вследствие того, что не успел лишить себя жизни. Пытался повеситься на поводе, но последний оказался слишком широким. Бывший с ним всегда яд за несколько дней перед тем был вытряхнут денщиком, пришивавшим к халату пуговицы. В минуту пленения сунул руку за пазуху халата, где был яд, но такового не оказалось.

5) Разложения своих войск и заговора против себя и Резухина совершенно не ожидал.

6) Численность своей дивизии определить точно не может, штаба у него не было, всю работу управления исполнял сам и знал свои войска только по числу сотен. Пулеметов действующих имел более 20, орудий горных 8, считая захваченные им в бою у дацана Гусинозерского. Весь его отряд состоял из 4-х полков Азиатской конной дивизии и монгольского дивизиона.

7) Разделение на 2 бригады в районе р. Эгин-Гол произошло само собой, для удобства управления в походе.

8) Последним намерением Унгерна было уйти на запад, но большинство его отряда, состоявшее из жителей востока, выражало недовольство предстоящим им походом, их влекло на восток. В этом, собственно, Унгерн и видит главную причину разложения своего войска..

9) На вопрос, действовал ли он в Монголии самостоятельно или в контакте с кем-нибудь и с кем именно, Унгерн ответил, что действовал вполне самостоятельно и связи в полном смысле слова ни с Семеновым, ни с японцами не имел. Хотя у него и была возможность установить связь с Семеновым, но он этого сам не хотел, т. к. Семенов никакой активной материальной помощи ему не давал, ограничиваясь одними советами.

10) Себя подчиненным Семенову не считал, признавал же Семенова официально лишь для того, чтобы оказать этим благоприятное воздействие на свои войска.

11) Имея в Урге радиостанцию, Унгерн получал информацию, перехватывая телеграммы и агитсообщения из Читы и Харбина.

12) По взятии Урги писал Семенову, но ответа от последнего не получил.

13) На вопрос, что побуждало его вести борьбу с Советской Россией и какие цели он преследовал в этой борьбе, Унгерн отвечал, что боролся за восстановление монархии. Идея монархизма - главное, что толкало его на путь борьбы. Он верит, что приходит время возвращения монархии. До сих пор шло на убыль, а теперь должно идти на прибыль, и повсюду будет монархия, монархия, монархия. Источник этой веры - Священное Писание, в котором, по его мнению, есть указания на то, что это время наступает именно теперь. Восток непременно должен столкнуться с Западом. Белая культура, приведшая европейские народы к революции, сопровождавшаяся веками всеобщей нивелировки, упадком аристократии и прочая, подлежит распаду и замене желтой, восточной культурой, образовавшейся 3000 лет назад и до сих пор сохранившейся в неприкосновенности. Основы аристократизма, вообще весь уклад восточного быта, чрезвычайно ему во всех подробностях симпатичны, от (религии? - Л.Ю.) до еды. Пресловутая «желтая опасность» не существует для Унгерна. Он

говорит, наоборот, о «белой опасности» европейской культуры с ее спутниками - революциями. Изложить свои идеи в виде сочинения Унгерн никогда не пытался, но считает себя на это способным.

14) Унгерн заявляет себя человеком, верующим в Бога и Евангелие и практикующим молитву. Предсказания Священного Писания, приведенные Унгерном в приказе его № 15, захваченном под Троицкосавском, он считает своими убеждениями. Приказ составлен Ивановским и Оссендовским.

15) Цель издания приказа № 15 - объединение отдельных мелких партий, оперирующих в пограничных районах Монголии. Кроме того, целью издания этого приказа было укрепление дисциплины в его войсках и внушение представления об организованности и объединенности его действий с другими противниками Советской власти. Особых надежд на этот приказ не возлагал.

16) Начав свои действия под Даурией, Унгерн отошел от нее под давлением партизанских частей Лебедева <Здесь и далее речь идет о событиях осени 1920 г.>.

17) После отхода от Даурии имел намерение через Акшу пройти в район Хингана, где и вести борьбу против партизан. Узнав, что Семенов из Читы вылетел, решил по этому плану не действовать <На самом деле в то время, когда Семенов из Даурии вылетел в Маньчжурию, Унгерн находился уже под Ургой.>, тем более, что имевшиеся в его строе пушки вследствие гористой местности в этом районе пройти не могли.

18) К этому времени в его отряде было до 800 русских казаков из 4-го отдела Забайкальского казачьего войска <Забайкальское казачье войско было разбито на четыре отдела: 1. Читинский; 2. Акшинский; 3. Нерчинский; 4. Нерчинско-Заводской. Фраза записана так, что допускает и другое толкование: из 4-х отделов.>.

19) Поход на Ургу был предпринят с целью восстановления в Монголии власти маньчжурского хана.

20) По занятии Урги Унгерн писал Кайгородову, Бакичу, Анненкову, имел намерение связаться с Семеновым, но из всего этого ничего не вышло. Кайгородов приказ Унгерна № 15 опротестовал.

21) Во время пребывания в Урге Унгерн был три раза у хутухты: первый раз по случаю взятия Урги, второй раз по случаю предстоящего похода на Чойры и последний раз без определенной цели. Хутухта любит выпить, у него еще имеется старое шампанское <Хутухта - Богдо-гэгэн Джебцзун-Дамба-хутухта.>.

22) Политического влияния в Монголии Унгерн, по его словам, не имел. Таковое сосредоточивается в руках хутухты. Однако, обладая войском, Унгерн, очевидно, имел в глазах хутухты известное значение <Унгерн сознательно преуменьшает свою роль в монгольских делах. С какой целью он это делает, не совсем понятно; догадок можно высказать множество, но, вероятно, главная причина такого камуфляжа лежит в области не политики, а психологии.>.

23) После совещания с хутухтой Унгерн лично руководил операцией на Чойры и Калган и разбил китайцев, дойдя вплоть до монгольской границы. Унгерн на автомобиле возвратился в Ургу из этой операции. Победенные китайцы отдали Унгерну много добычи - до 8000 винтовок, снаряды, патроны и прочая.

24) Деятельность в Урге полковника Сипайло, выражавшаяся в расстрелах, убийствах, конфискациях, была Унгерну известна, так же, как и его пьянство. О насилиях его над женщинами Унгерн не знает и считает эти слухи вздорными.

25) Отрицательное отношение Унгерна к ургинскому купечеству из русских основано на мысли, что это люди нехорошие, ибо хорошим людям и в России можно хорошо прожить.

26) Костюм монгольского князя - шелковый халат - носил, чтобы быть на далеком расстоянии видным войску. Привлечь этим костюмом симпатии монгольского населения

цели не имел. Хутухтой был пожалован Унгерну титул монгольского князя. Унгерн был женат на китайке, с которой в последнее время развелся.

27) На вопросы о побуждениях его к жестокости со своими подчиненными Унгерн отвечал, что он бывал жесток только с плохими офицерами и солдатами и что такое обращение вызывается требованиями дисциплины, как он ее понимает. «Я - сторонник палочной дисциплины, как Фридрих Великий, Николай I». Дисциплиной и держалось его войско. Теперь он не сомневается, что без него остатки его войск все разбегутся.

28) Переход к активным действиям против Советской России и ДВР Унгерн предпринял ввиду того, что в последнее время он со своим войском стал в тягость населению Монголии. Все интендантства и запасы перед началом операции отправил в Ван-Хурэ, имея в виду в случае неудачи двигаться на запад.

29) Резухин действовал на территории России по заранее выработанному плану. Общей задачей обоих отрядов являлось занятие плацдарма в виде треугольника, образуемого рекой Чикой, Селенгой и смежной с Совроссией территорией. Частной задачей Резухина были действия на территории Совроссии - приковать к ней войска 35-й дивизии и разбить их. Задачей же отряда Унгерна было уничтожение переправ на реке Чикой и Селенге, на вышеуказанном плацдарме. Выполнение этой операции приняло, однако, неожиданный оборот. Уничтожив переправы на р. Чикой, Унгерн с отрядом имел намерение продолжать выполнение задуманного плана и от поселка Усть-Киран и Кирана прошел было на Усть-Кяхту, но о месторасположении последней имел неверные сведения. По ним значилось, что Усть-Кяхта находится в 8-ми верстах от Усть-Кирана. Шедший впереди отряда 1-й полк наткнулся на части ДВР и вступил с ними в бой. Остальные части отряда участия в этом бою не принимали, т. к. не могли своевременно подойти из-за усталости лошадей. Когда остальные силы отряда были двинуты Унгерном в нужном направлении, то наткнулись здесь на части 103-й бригады, с которыми завязали бой, имея в виду выполнение первоначальной задачи. Унгерн мог бы не принять этого боя, но не сделал этого принципиально. В боях Унгерн принимал непосредственное участие, зачастую находясь в передовых цепях, и после Троицкосавска был ранен. После поражения под Троицкосавском части Унгерна отступили весьма поспешно и беспорядочно и были сильно расстроены. Резухин, действуя на Советской территории, на Селенгинск не пошел, т. к. части 35-й дивизии, расположенные по реке Джиде, угрожали его тылу. Отступление в пределы Монголии Резухин произвел в полном порядке и в бодром настроении.

30) Отойдя в район Ахай-гун, Резухин прислал Унгерну донесение и просил указаний о дальнейших действиях. Унгерн приказал ему оставаться на месте. Отойдя на линию реки Иро, Унгерн решил идти на соединение с Резухиным. К этому его побуждало, во-первых, то, что он предполагал, что красные будут наступать на Ургу, и в этом случае он займет фланговое положение; во-вторых, в прилегающей к Ургинскому тракту местности были плохие корма, и, в-третьих, соображение о необходимости единого непосредственного руководства всем отрядом.

31) Не видя в хутухте средства для упорядочения своего влияния на монгол, Унгерн, уходя из Ургинского района, не взял его с собой; и вообще он не нуждался в политической прочности своего положения в Монголии, надеясь исключительно на военное счастье, всегда ему сопутствовавшее и только теперь изменившее <Это неправда. Унгерн предпринимал попытки занять официальное место в политической структуре Монголии. Богдо-гэген ему тоже был нужен, и после отступления от Кяхты, в июле 1921 г., он писал хутухте, предлагая тому бежать из занятой красными Урги в Ван-Хурэ или Улясутай, под защиту Азиатской дивизии.>. Оставшиеся на Иро части в случае наступления красных на Ургу должны были идти также на соединение с Резухиным.

32) О нашем наступлении в ургинском направлении Унгерн узнал, когда был

сосредоточен на правом берегу реки Селенги и когда наши части достигли уже линии Ур. (урочища? - Л. Ю.) Мукутуй. О намерении красных войск, наступавших на Ургу, Унгерн не знал и предполагал целью наступления захват муки, имеющейся в большом количестве на Хара-Голе.

33) Дальнейшие действия Унгерна заключались в активности на русской территории. О политическом положении и настроении жителей он знал от беженцев, которые уверяли его, что стоит ему только появиться на русской территории, как немедленно же начнутся восстания против Советской власти. Унгерн надеялся, что при его появлении даже части Красной Армии будут переходить к нему.

34) Перебежчики, пленные и местные жители говорили также о движении японцев, о занятии ими Читы и походе на Верхнеудинск. Находясь на реке Селенге в районе Ахай-гуна, Унгерн выжидал подтверждения усиленных слухов о наступлении японцев.

35) Когда части 105-й бригады повели наступление на расположение войск Унгерна с фронта <Речь идет о Селенгинской операции.>, а полученные от пленных сведения о движении 104-й бригады во фланг давали ему основание ожидать выхода отряда Щетинкина в тыл, Унгерн отошел на 20 верст к устью пади Шабаргол. На вопрос, почему он не желал обороняться, Унгерн ответил: «Я не могу обороняться, у меня нервы не выдерживают». Атаковать же 105-ю бригаду ему не было возможности по условиям местности: с одной стороны река Селенга, с другой - скалы, занятые красными войсками.

36) Унгерн всегда был уверен, что мы с пехотой никогда не сумеем его изловить, и пехотных частей не боялся. Тыла или базы, к которой он был бы прикован, у него не было, ненужные обозы заранее были отправлены им на запад. «Я, - говорит Унгерн, - ни к чему не был привязан и всей своей кавалерийской массой мог воевать в любом направлении и в любое время». Ему странно было наше намерение окружить его пехотными частями.

37) Исходя из соображения перехода части экспедиционного корпуса к активным действиям в Монголии и продолжающегося якобы наступления японцев, Унгерн решил перейти на нашу территорию, имея целью соединение с японцами в районе Верхнеудинска. При этом он рассчитывал на поддержку населения Джидинской и Селенгинской долины. Во время пребывания Унгерна в улусах Боргойских прилетевший аэроплан был им определенно сочтен за японский. Жители Селенгинска утверждали, что на происходившем недавно митинге красные говорили, что Унгерн идет заодно с японцами и что его войска являются их боковым отрядом. Все это вместе взятое давало пищу уверенности Унгерна в наступлении японцев <Уже сам факт, что Унгерн не имел ни малейшего понятия о планах Токио и проявлял фантастическую даже в его положении неосведомленность, опровергает расхожее мнение, будто он действовал «по указке Японии».>. Убедившись по выходе в район Загустай - Нижний Убукун, что японцев нет и что в районе Верхнеудинска ждет отпор, Унгерн повернул обратно в Монголию, намереваясь пройти туда примерно через Желтуринскую. Встретившиеся Унгерну по пути части 105-й бригады не помешали бы ему уйти в Монголию, если бы не автобронеотряд, который в момент атаки и начавшегося перевеса на сторону Унгерна неожиданно спустился с горы и, подойдя вплотную, обстрелял конницу Унгерна пулеметным огнем <После неудачного для него сражения под Ново-Дмитриевкой 5 августа 1921 г. Унгерн вынужден был изменить свой первоначальный маршрут и уходить в Монголию другим путем.>. Монголы в панике бросились бежать в направлении реки Иро, задержать бегущих не представлялось никакой возможности. Пришлось невольно отступить по Иройской пади.

38) Повернув обратно в Монголию, Унгерн возымел намерение уйти через всю Монголию на юг, объясняя это решение тем, что убедился в необходимости дать здесь «пережить красное» и предупредить «красноту» на юге, где она только начинается <Южный Китай был уже охвачен «краснотой», и единственным местом на юге, где она «только

начинается», для Унгерна был Тибет. Только там можно было спокойно «пережить» все происходящее в Китае и России. Но прямо о своем намерении уйти в Лхассу, к Далай-ламе, Унгерн не упоминал ни на допросах, ни на суде.>. Зарождающуюся на юге «красноту» он видит в революции, совершившейся в Южном Китае, и борьбе его с Северным Китаем.

39) Присутствие в своем отряде японцев Унгерн объясняет добровольным их вступлением. Всего насчитывалось у него до 70 человек, из них большинство бежало. Оставшиеся, до 30 человек, до последнего времени находились в отряде.

40) На вопрос об организации своего питания объяснил, что пользовался «своим скотом», каковым он считает скот, взятый у Центросоюза. Скота у местных жителей не отбирал; кроме того, у него было 150 000 (рублей. - Л. Ю.) золотом.

41) На вопрос о причинах его ненависти к евреям отвечал, что считает их главными виновниками свершившейся русской революции.

42) Агентуры в нашем расположении Унгерн не имел.

43) Управлял своим войском единолично и непосредственно, путем отдачи приказаний лично им через ординарцев.

44) Расстрел в Ново-Дмитриевке двух семей, 9 человек с детьми, был совершен с его ведома и по его личному приказанию. Также по его личному приказанию была уничтожена семья в Капчеранской, о чем в штакоре сведений не было. О побуждениях к расстрелу детей Унгерн ответил буквально:

«Чтобы не оставлять хвостов».

45) Захваченные в дацане Гусиноозерском комсостав 232-го полка и политработники были расстреляны также по его личному приказанию. По его же приказанию был расстрелян попавший к нему в плен у Шабартуя помначштабрига 104 т. Каннабих.

46) В дацане Гусиноозерском за грабеж обоза Унгерн выпорол всех лам.

47) Полковник Архипов был повешен в районе Карнаковки за присвоение денег. Полковника Казагранди отдал приказ Сухареву расстрелять за то, что тот якобы служит и ему, и красным. О приведении этого распоряжения в исполнение не знал.

48) Унгерн считает неизбежным рано или поздно наш поход на Северный Китай в союзе с революционным Южным и, говоря, что ему теперь уже все равно, что дело его кончено, советует идти через Гоби не летом, а зимой при соблюдении следующих условий: лошади должны быть кованы, продвижение должно совершаться мелкими частями с большими дистанциями - для того, чтобы лошади могли добывать себе достаточно корму; что корма зимой там имеются, что воду вполне заменяет снег, летом же Гоби непроходима ввиду полного отсутствия воды <Эти советы свидетельствуют о том, что Унгерн всерьез обдумывал план похода в Тибет. Возможно, он собирался временно отступить на запад Халхи, чтобы идти через Гоби не летом, а зимой.>.

49) На все вопросы без исключения отвечает спокойно.

На опросе присутствовали и показания опрошенного Унгерна записывали: Начальник разведотделения штакора Экспедиционного Зайцев. Адьютант комкора Герасимович.

Документ представляет собой отредактированный и обобщенный текст протокольной записи первого официального допроса Унгерна в Троицкосавске. Печатается по копии: ГА РФ, ф. Varia, д. 392, л. 7 - . Некоторые уточнения внесены по исправленной копии: РГВА, ф. 16, д. 222, л. 20 - об.

IV

ИСТОРИЯ БАРОНА УНГЕРН-ШТЕРНБЕРГА, РАССКАЗАННАЯ ЕГО ШТАТНЫМ ВРАЧОМ

(Перевод с английского Н. М. Виноградовой.)

Размеры этой статьи не позволяют мне дать полное и исчерпывающее описание моего 9-месячного пребывания в войсках барона Унгерна со дня взятия им Урги и до той ночи, когда он бежал от своего отряда. Я вынужден ограничиться весьма кратким отчетом, практически простым перечислением событий, которые подготовили и предопределили неизбежный конец как самого барона, так и всего его дела.

Я был откомандирован из моего полка для работы в госпитале в Урге и вернулся в город 6 апреля 1921 г. Это произошло спустя несколько дней после того, как была ликвидирована угроза китайского наступления на Ургу. Потерпев перед этим неудачу при попытке через советские кордоны проникнуть в Забайкалье и далее в Маньчжурию, китайцы в приступе отчаяния бросились назад к столице Монголии. Примерно через неделю после моего возвращения в Ургу, когда я был занят в перевязочной госпиталя, туда неожиданно вошел барон Унгерн, только что вернувшийся из своего победоносного похода на Чойры. Его сопровождал главный врач Ф. Клингенберг <Ф. Клингенберг - врач из Перми, любимец Унгерна, выполнявший, по слухам, некоторые его секретные поручения. Во время первого похода на север был начальником госпиталя в бригаде, которой командовал непосредственно сам барон. Вскоре после поражения под Кяхтой на одном из привалов, ужиная, отказал раненому в медицинской помощи, за что был жестоко избит Унгерном. Под ударами ташура Клингенберг потерял сознание и, падая, сломал себе ногу. Его отправили в Ургу, оттуда он выехал на восток, но по дороге был убит хунхузами.>. Приветствовав меня веселым кивком, барон подошел ко мне и, не сводя с меня своего воспаленного взгляда, спросил:

- Это правда, что вы убежденный социалист?

- Нет, ваше превосходительство, это неправда, - ответил я, выдерживая его взгляд.

- Чем вы можете это подтвердить?

- В вашей дивизии служат несколько моих земляков, оренбургских казаков, которые давно знают меня. Им известно, что я делал на Урале после возвращения с фронта и каково мое отношение к крайним партиям и к большевизму. Тот факт, что я был личным врачом атамана Дутова и главным врачом штаба генерала Бакича после того, как он был интернирован в Китайском Туркестане, также достаточно характеризует мои политические взгляды. Я прибыл в Ургу согласно официальному разрешению генерала Бакича; я сопровождал в пути от Шара-Сумэ больного и престарелого генерала Комаровского, который вам хорошо известен и может проинформировать вас о характере моих политических пристрастий.

- В таком случае почему вы пытались облегчить участь бывшего комиссара Цветкова и доктора Цыганжапова, известных социалистов, которых я приказал прикончить?

Казалось, барон хотел заглянуть мне прямо в душу, сверля меня тяжелым взглядом и нервно постукивая по полу своим ташуром (длинной тростью). Я почувствовал, что моя жизнь висит на волоске, и решил на этом волоске удержаться.

- Живя в Урге перед тем, как вы заняли ее, - твердо отвечал я, - я неоднократно встречался и беседовал с Цветковым и Цыганжаповым. Из разговоров с ними я вынес уверенность, что оба они были врагами большевиков и искренне любили Россию. Естественно, когда я услышал об их аресте и о приговоре, который угрожал им как большевикам, я счел своим долгом сообщить полковнику Архипову и коменданту Безродному все, что я думаю об этих людях, и просить их доложить вам мои показания.

Барон на минуту задумался, наконец-то отведя глаза от моего лица.

- Ладно, - выдавил он в конце концов. - Я не очень-то доверяю Дутову и прочим из этой шайки. Все они кадеты и шли в одной упряжке с большевиками... Во всяком случае, - он внезапно сорвался на фальцет, - я не потерплю никакой преступной критики или пропаганды в моих войсках! Запомните это и знайте, что у меня повсюду глаза и уши! Через два дня вы отправитесь в Ван-Хурэ для организации санитарной службы и госпиталя в отряде полковника Казагранди!

Стукнув своим ташуром по полу, барон вышел так же стремительно, как и вошел.

В тот же день начальник штаба Унгерна и мой друг, бывший юрист К. И. Ивановский, сказал мне, что как он понял из нескольких касающихся меня замечаний барона, своими прямыми и точными ответами я на время спас себе жизнь.

После одиннадцатидневного, скучного и утомительного путешествия, затрудненного весенней распутицей, я наконец добрался до Ван-Хурэ с караваном из шести верблюдов, группой казаков и монголами-проводниками. Место представляло собой буддийский монастырь с окружавшим его довольно большим поселком русских колонистов и китайских купцов, которые торговали с монголами из близлежащих хошунов; одновременно это была резиденция хошунного князя. Здесь и находился полковник Казагранди со своим отрядом из 200 беженцев. Отряд существовал с весны 1920 г., когда Казагранди с горсточкой бежавших из Иркутска офицеров и кадетов организовал его и в течение нескольких месяцев не давал покоя советским властям, скрываясь в тайге к юго-востоку от Иркутска. Когда оставаться в тайге стало слишком тяжело и опасно, отряд, постоянно пополняемый все новыми беглецами из Восточной Сибири, перебазировался в окрестности озера Косогол. Позже, вынужденный уйти и оттуда, Казагранди двинулся дальше на юг, в глубь монгольской территории. Осень и зиму он в тяжелейших условиях провел в верховьях Эгин-Гола и Селенги. Лишь благодаря поддержке и помощи нескольких живших в этом районе русских колонистов отряд сумел выстоять и не погиб от голода и страшных зимних холодов. Наконец, в середине февраля 1921 г. Казагранди, продвигаясь со своим отрядом все дальше на юг, обосновался в Ван-Хурэ. Когда он услышал о взятии Урги бароном Унгерном, Казагранди решил установить с ним связь и позднее перешел под его начало в качестве командира отдельной части.

При первой встрече Казагранди произвел на меня впечатление интеллигентного, порядочного и образованного офицера. Он никогда раньше не встречался с Унгерном и горячо расспрашивал меня о том, что представляет собой барон как личность; его чрезвычайно беспокоило, насколько справедливы слухи о диком темпераменте барона и его невероятной жестокости. Зная, что угрожает мне за искренность, критику или неодобрение, я отвечал на вопросы весьма уклончиво и осторожно. Через несколько дней барон сам должен был прибыть в Ван-Хурэ, и я посоветовал Казагранди проявить терпение и дожидаться личной встречи с ним, чтобы получить представление о его характере. Казагранди не скрыл от меня, что правая рука Унгерна, старый друг и помощник барона генерал Резухин, вызывает у него сильнейшую антипатию. Резухин командовал одной из бригад (2-й и 3-й полки) дивизии, как раз той бригадой, которая только что отбила атаку китайцев на Ургу и подавила восстание чахаров в своих собственных рядах, а теперь через Ван-Хурэ выдвигалась в низовья Селенги, в район, расположенный примерно в восьмидесяти верстах от русской границы. Во время своего пребывания в Ван-Хурэ Резухин вел себя грубо и высокомерно, как всегда, и по отношению к Казагранди принял крайне пренебрежительный и начальственный тон. Выслушивая жалобы последнего, я мог лишь усмехнуться в душе, зная, что Резухин был только бледной тенью барона, хотя старательно подражал ему поступками и характером. Казагранди был очень удивлен, получив приказ, в котором ему предписывалось отправить из Ван-Хурэ в бригаду Резухина ветеринара Гея, известного старого члена сибирской кооперативной организации «Центросоюз». В тот момент я не посмел открыть Казагранди

истинный смысл этого. Оренбуржцы, мои земляки, входившие в группу казаков, специально посланных Резухиным в Ван-Хурэ, чтобы сопровождать в бригаду Гея с семьей, не утаили от меня полученный ими секретный приказ: Гей и его семья должны быть уничтожены на первом же привале после того, как они покинут Ван-Хурэ. Казаки были рады, что Казагранди временно задержал отъезд Гея, дожидаясь, когда барон и Резухин сами придут в Ван-Хурэ, а также учитывая болезнь одного из детей Гея. Казагранди и Гей были связаны длительными и тесными дружескими отношениями. Гей, человек добросердечный и враг большевиков, раньше снабжал мясом армию адмирала Колчака; когда отряд Казагранди из селенгинской тайги ушел в Монголию, Гей был в числе первых, кто доставлял им пищу, одежду и все необходимое. Его жена обшивала офицеров и ухаживала за больными. Гей больше чем кто бы то ни было помог отряду поселиться и обустроиться в Ван-Хурэ, поскольку пользовался уважением монгольских князей и имел на них большое влияние, в особенности на князя Ван-Хурэ. Позже я слышал от самого Резухина, что хотя и утверждалось, будто Гей понес наказание за «спекуляцию», на самом деле его смерть и смерть его семьи была нужна барону, чтобы завладеть скотом и деньгами «Центросоюза», которые будто бы находились у Гея и которые, как позднее было доказано, оказались несуществующими.

Вечером того же дня Казагранди попросил меня осмотреть заболевшую маленькую дочь Гея и дать заключение, сможет ли она вынести путешествие в тряской телеге за несколько сот верст. Мой визит не оставил у меня сомнений, что малышка страдает острым воспалением кишечника и нуждается в абсолютном покое на протяжении, по меньшей мере, двух или трех недель. Результаты осмотра я немедленно доложил Казагранди. При этом я уже не мог больше сдерживать чувства, испытываемые мною при мысли о той судьбе, которая ожидает эту чудесную семью, состоявшую из двух женщин - жены Гея и ее матери - и троих малолетних детей, и я забыл обо всех предосторожностях. Я не только сообщил Казагранди о том, с какой целью Гей и его семья вызваны в бригаду Резухина, но и рассказал обо всех ужасах, свидетелем которых я был со времени взятия Урги бароном Унгерном. Я рассказал Казагранди, что творилось в Урге в первые три или четыре дня после вступления в нее войск барона: десятки изнасилованных и замученных женщин, убитые дети, разрубленные на куски тела стариков; дымящиеся руины поселка Мандал, чьи жители были истреблены только за то, что не пожелали выставить добровольцев в войска барона при осаде им Урги. Я не скрыл от Казагранди, что помимо своей беспощадности и нечеловеческой жестокости барон еще и необыкновенно мстителен и никогда не забывает обиды; что причиной убийства полковника Хитрово, который до революции был пограничным правительственным комиссаром в Кяхте, человека старого и немощного, было исключительно то, что он осуждал зверства, учиненные Унгерном во время его пребывания в Даурии. Я объяснил, что отношение барона ко всем, кто не был с атаманом Семеновым во время Гражданской войны и не связан с забайкальскими застенками, отличается подозрительностью и оскорбительным недоверием. Для шайки преступников, дегенератов и мерзавцев, которых он взял из Даурии для участия в своей монгольской авантуре, слово «колчаковец» было уничижительным прозвищем, ругательством. Его помощники и прихвостни, начиная с Резухина, садиста Сипайло, прирожденного уголовника Безродного, и кончая главными палачами и мучителями Бурдуковским и Пермяковым, - все старались превзойти своего хозяина в жестокости и зверствах. Когда наш разговор подошел к концу, Казагранди выглядел очень расстроенным и взволнованным. Он признался, что испытывает теперь сильные сомнения относительно того, правильным ли было его решение связать свою судьбу и судьбу своего отряда с бароном; пока что он не видел никакого выхода из создавшейся ситуации. Все же он собирался принять все меры к тому, чтобы в дальнейшем свести к минимуму свою зависимость от Унгерна.

Для госпиталя мне отвели большой пустой дом, прежде занимаемый китайской лавкой, и я разместил там пятьдесят коек, половина которых сразу же была занята ранеными и больными из отрядов Резухина и Казагранди. Лично для меня поставили посреди двора большую юрту. В ней была железная печка, так как ночи стояли еще холодные, временами даже морозные.

Точно не помню, в первую ночь, проведенную мною в юрте, или на следующую Казагранди прислал мне записку с просьбой разрешить некоему лицу, которого я еще не видел в Ван-Хурэ, переночевать у меня. Незнакомец оказался немолодым человеком с глуховатым голосом, мягкими манерами и маленькой седой бородкой. Он представился как профессор Ф. Оссендовский. В то время я не мог предполагать, что даю пристанище будущему автору книги «Звери, люди и боги», которая вызвала такой большой интерес в Америке. Господин Оссендовский оказался весьма приятным и увлекательным собеседником, и за традиционным стаканом чая мы проговорили с ним большую часть ночи. Он рассказывал о трудностях и лишениях, перенесенных им со времени бегства от большевиков из Сибири и на пути через Урянхай к Улясутаю. Он упомянул о пережитых им в Улясутае ужасах и о своем намерении ехать в Ургу, чтобы затем выбраться на Дальний Восток, в Китай, и в конце концов в Польшу. Он сказал, что из всех попутчиков, вместе с ним выехавших из Улясутая, в Ван-Хурэ прибыл только капитан Филиппов, остальные по дороге были задержаны карательной экспедицией под командой Безродного, которого барон с чрезвычайными полномочиями отправил из Урги в Улясутай, чтобы чинить там суд и расправу. Если г. Оссендовский простит меня, я признаюсь, что не могу припомнить ни единого слова, касающегося его отряда, равно как и его попыток проникнуть в Тибет, о чем он столь красочно и подробно рассказал в своей книге. Что же касается его страха перед бароном и их последующей встречи, это я помню очень хорошо.

Г. Оссендовский намерен был остаться в моей юрте еще на одну ночь, но вместо него со мной поселился генерал Резухин, который поздно ночью совершенно неожиданно прискакал с Селенги. Я узнал от него, что он приехал повидаться с бароном, чье прибытие ожидалось в ближайшие два-три дня. Он также сказал мне, что решил ходатайствовать перед Унгерном о моем переводе в его собственную бригаду, поскольку Казагранди с его маленьким отрядом не так сильно нуждается во враче, как он сам. В приступе внезапной откровенности после нескольких глотков, сделанных им из фляжки, Резухин рассказал мне, что по прибытии барон проведет совещание с ним самим и Казагранди относительно предстоящего «похода на Россию» и начала широкомасштабной войны против советской власти. Немедленно после этого, услышав от меня, что Казагранди из-за болезни ребенка отсрочил отправку Гея с семьей в его части, Резухин впал в бешенство, осыпая проклятьями Казагранди и даже меня упрекая за согласие осмотреть больную малышку и дать заключение о ее состоянии. Он приказал вызвать начальника конвоя, прапорщика Гордеева, бывшего университетского студента, и когда тот вошел, набросился на него. Он кричал, что он, Резухин, его непосредственный начальник; что он, Резухин, является заместителем барона, и Гордеев не должен был слушать «какого-то» Казагранди, который ведет себя, как «сентиментальная девица из колчаковского пансиона»; что Гордеев будет сурово наказан за неисполнение приказа; что он повторяет свой приказ: немедленно увести Гея с семьей в сопки и поступить с ними, как было велено. Имуущество доктора Резухин распорядился пока не трогать.

Когда наступил вечер следующего дня, вечер Пасхи, в одном из пустовавших сараев по соседству с моим госпиталем адъютанты Резухина уже заняты были тем, что рылись в вещах убитого Гея, тщетно стараясь найти несуществующие деньги и драгоценности. К счастью, ограниченные размеры моих записок избавляют меня от изложения отвратительных подробностей этого ужасного убийства невинных детей и женщин, как они были переданы мне участниками дела.

Мне не известно содержание разговора, который утром того же дня состоялся между Резухиным и Казагранди, но во время Пасхальной Всенощной последний был очень бледен и казался взволнованным. Когда служба закончилась, Резухин, не обменявшись пасхальными поздравлениями с Казагранди, отклонил его приглашение прийти к нему домой на пасхальный ужин и подчеркнуто заявил, что собирается лечь спать.

На следующий день барон наконец прибыл в Ван-Хурэ. Я переселился в госпиталь, в то время как барон с Резухиным заняли мою юрту. Казагранди был первым, кого принял барон, и они оставались наедине в течение довольно долгого времени. Когда Казагранди в конце концов вышел, было уже сумеречно, и перед входом в юрту собралась небольшая кучка людей, ожидавших приема у барона. Среди них я заметил Оссендовского и Филиппова. Оссендовский был первым, кого позвали в юрту. Перед тем, как откинуть служивший дверью войлочный полог, он несколько раз торопливо осенил себя крестным знаменем. Минут через пятнадцать Оссендовский появился снова, повеселевший и бодрый, и в юрту пригласили капитана Филиппова. Все мы в госпитале, всего четырьмя шагами отделенном от войлочной стенки юрты, отчетливо слышали хриплый от ярости голос барона, переходящий в визг и обвинявший Филиппова во лжи; барон не верил ни слову из сказанного Филипповым; тот, конечно же, был большевистский агент и шпион, прибывший в Монголию с единственной целью разложить войска барона революционной пропагандой. Не прошло и пяти минут, как адъютант Резухина, капитан Веселовский с несколькими ординарцами связали Филиппову руки, отвели его в соседний огород и шашками изрубили в куски.

В ту же ночь в моей юрте между бароном, Резухиным и Казагранди состоялось совещание по выработке плана наступательной кампании против советских войск. Как впоследствии говорил мне сам Резухин, предложенный им план был отвергнут бароном. Резухин предложил, чтобы его бригада была увеличена за счет присоединения к ней отрядов Кайгородова из Кобдо, атамана Казанцева из Улясутая и Казагранди и доведена до численности дивизии, образовав тем самым ударную группу, которая будет выдвигаться по левому, западному берегу Селенги через Селенгинск на Мысовую. Сам барон со всеми силами, оставшимися под его командой в Урге, должен двигаться по западному берегу реки Орхон на Кяхту, Троицкосавск, Верхнеудинск и далее в Забайкалье. План Казагранди, в конце концов принятый бароном, состоял в том, что каждый из этих отрядов должен действовать самостоятельно: Кайгородов должен вести кампанию в районе Кобдо - Бийск и вдоль реки Катунь; Казанцеву предстояло через Урянхай выйти к верховьям Енисея и к Минусинску; Казагранди - занять поселок Модонкуль в верховьях Джиды и оттуда постепенно выходить к озеру Косогол и на дороги, ведущие к Иркутску. Резухин по рекам Желтура и Джиды и по западному берегу Селенги должен двигаться к Байкалу. Барону в плане Казагранди отводилось то же направление, что и в резухинском. Естественно, надежда на успех покоилась исключительно на уверенности вождей в том, что начнется повсеместное восстание населения против советской власти и будет огромный приток добровольцев. Как показало будущее, такая уверенность имела под собой все основания.

8 мая барон снова отбыл в Ургу, предварительно распорядившись выслать «карательную экспедицию» во главе с младшими казачьими офицерами М. и Т. в район озера Косогол. Там проживало несколько семей богатых русских поселенцев. «Карательная экспедиция» имела приказ перебить их и конфисковать их имущество, запасы продовольствия и ценности. Как позже я имел возможность убедиться, М. и Т. блестяще справились с этим поручением. Они уничтожили все богатое и зажиточное население в Дархате и Хотхыле. Они убили Шпигеля, пионера школьного дела в Монголии, хорошо известного во всем Хотхыльском хошуне, и всю его семью. Они не щадили ни женщин, ни детей. Правда, они не привезли с собой много добычи, потому что большую часть утаили и зарыли по дороге, надеясь через какое-то время вернуться туда и на этом разбогатеть.

Утром 9 мая Резухин тоже ускакал на Селенгу со своим отрядом, а спустя несколько часов я последовал за ним, передав госпиталь доктору Дезорцеву. 15 мая мы прибыли в лагерь резухинской бригады на Селенге, примерно в пятнадцати верстах вверх по течению от того места, где в нее впадает речка Баин-гол. Люди уже строили постоянный мост через Селенгу, который был закончен в течение нескольких ближайших дней. Так как мне предстояло быстро завершить формирование госпиталя и санитарных отрядов, я поинтересовался временем начала кампании. В ответ Резухин признался мне, что сам не знает. Это зависит, сказал он, от нескольких лам-прорицателей, без предварительного совета с которыми барон никогда не предпринимает никаких важных шагов и которые с ним неразлучны. Позже, когда барон присоединился к нам после своего поражения под Кяхтой, эти наглые, грязные, невежественные и кривоногие пифии служили мишенью насмешек, всяческих шуточек и доставляли много веселья всему отряду. Сам Резухин не слишком доверял их пророческим способностям и в интимном кругу не раз выражал сомнения в целесообразности их постоянного пребывания при бароне.

Наконец, 30 мая <Дата явно ошибочная.> от Унгерна пришла депеша с приказом немедленно выступать и действовать согласно намеченному для бригады плану. Мы получили также копии знаменитого «Приказа № 15», в котором указывались цели и задачи нашей борьбы с большевиками. Приказ был слишком длинен. Его основным лозунгом был старый: «За Веру, Царя и Отечество!» В параграфе 9 прямо говорилось: «Комиссаров, коммунистов и евреев уничтожать вместе с семьями; все их имущество конфисковывать». Нормальному человеку весь этот документ должен был казаться продуктом помраченного сознания извращенца, страдающего манией величия и возбужденного жаждой человеческой крови. Большинство из нас, «колчаковцев», восприняли приказ именно так. Даже Резухин был слегка смущен его содержанием.

На следующий день мы выступили по направлению к реке Желтуре и станции Желтуринской. 26 мая в Худаке мы неожиданно атаковали и разгромили отряд красных под командой бывшего есаула Щетинкина, который был выслан туда на разведку. Мы захватили десятки пленных - большинство их тут же изрубили шашками, штаб отряда и одно оружие. Самому Щетинкину с несколькими всадниками удалось проскользнуть у нас между пальцами и скрыться в тайге. Наши потери составили двое убитых и около десятка раненых. В двуколке, следовавшей за отрядом красных, мы обнаружили несколько галлонов самогона. Есаул Хоботов, который был произведен в полковники и назначен командиром 2-го полка за храбрость, проявленную им при взятии Худака, но который оставался абсолютно неграмотным, простым и грубым забайкальским казаком, решил отпраздновать нашу победу за счет запасов этой трофейной жидкости. Резухин, чью палатку отделял от моего госпиталя только узенький ручеек и несколько кустов дикой вишни, вызвал Хоботова к себе для доклада. Интуиция старого пьяницы с первого взгляда подсказала ему, что Хоботов не в состоянии докладывать о чем бы то ни было. Мы услышали дикую нецензурную брань, затем несколько ударов ташура по крепкой скуле командира 2-го полка и пятью минутами позже увидели смущенное, опухшее и окровавленное лицо Хоботова. Резухин подверг его обычному наказанию: виновный должен был забраться на стоявшую над ручьем высокую сосну и целую ночь провести на одной из ветвей, постоянно рискуя свалиться с высоты тридцати пяти или сорока футов и покалечиться. Но то, что произошло позже в эту ночь, было уже не акробатическим фарсом, а настоящей драмой. Кто-то донес, что староста соседней бурятской деревушки является тайным большевистским агентом и шпионом. Староста был схвачен и доставлен в штаб для допроса. Попытки сослаться на то, что его зять и два племянника служат добровольцами в одном из наших полков, не спасли его от неминуемой кары. По приказу Резухина он был подвергнут обычной пытке. Его били палками до тех пор, пока он не лишился сознания, и мы, находясь неподалеку, в течение

нескольких часов слышали душераздирающие крики и стоны. В долине, наполненной благоуханием цветущей дикой вишни, степных лилий, диких гиацинтов и шиповника, под теплым звездным небом майской ночи эти стоны и крики казались особенно ужасными и кошмарными. Никто в госпитале, включая раненых, не мог уснуть, и на лицах вокруг меня я видел и растерянность, и ужас, и бессильное негодование. Не сумев добиться от этого человека никакого признания, Резухин приказал положить его голым на тлеющие угли лагерного костра. Мы услышали нечеловеческий вопль и затем все стихло. Полубезумный замученный человек потерял сознание. Когда попытки снова привести его в чувство, обливая холодной водой, ни к чему не привели, Резухин велел своему адъютанту и палачу Веселовскому оттащить безжизненное тело подальше в кусты и там покончить с ним. Веселовский, уже устав, перепоручил это другому ординарцу и пошел в свою палатку спать. Рано утром часовые обнаружили, что обгоревшее, лишенное кожи тело ползет по дороге, и доложили об этом Резухину. Тот приказал прикончить и закопать старика, а Веселовский за неисполнение приказа три ночи до нашего выступления провел на той же самой сосне, где перед этим сидел Хоботов.

30 и 31 мая мы предприняли несколько безуспешных попыток захватить станицу Желтуринскую. Находившийся там красный гарнизон защищался очень храбро и умело, тем временем красная кавалерия внезапно бросилась в атаку и едва не взяла в плен самого Резухина со всем штабом, когда он управлял боем с вершины холма <Этой атакой командовал будущий маршал К. К. Рокоссовский (1896-), в то время командир 35-го кавполка. В бою был ранен, лечился в Кяхте, где, кстати, познакомился со своей будущей женой.>. Мы понесли довольно серьезные потери убитыми и ранеными. В ночь на 1 июня мы отступили от Желтуринской и разбили лагерь примерно в тридцати верстах от нее. Затем ночью, под проливным дождем, мы прошли около сорока верст и наконец вышли к селу Бочинскому на реке Джиде. Горсточка красных в окопах отчаянно обороняла подступы к селу, но наши части, имея огромный численный перевес, окружили их и уничтожили до последнего человека. Оборванные и полуголодные жители села на коленях встретили Резухина на площади перед оскверненной и закрытой церковью. На их приветствия Резухин ответил требованием немедленно выдать всех коммунистов и членов сельсовета. Услышав робкие объяснения, что все те, кто был связан с сельсоветом, скрылись при первых звуках боя, Резухин впал в бешенство. В ярости он начал с того, что велел повесить управляющего местной кооперативной лавкой, очень старого и больного на вид человека. Не раньше, чем вмешался полковник Костерин, объяснивший генералу, что тот ошибается, принимая лавку потребительской кооперации за советское учреждение, и после того, как люди в толпе торжественно поклялись, что старик никогда не был коммунистом, была снята петля, которую наши буряты уже накинули ему на шею. Село не могло выставить никаких добровольцев, поскольку все способные носить оружие либо были мобилизованы большевиками, либо до лучших времен отосланы в Мысовую и Читу. В тот же вечер после короткого боя мы заняли село Новые Энхоры, а спустя час красные бежали и из Старых Энхор. Здесь была схвачена учительница местной школы, коммунистка, по данным контрразведки. Резухин приказал зарубить ее, но перед смертью она была изнасилована почти всеми нашими контрразведчиками.

Перейдя вброд Джиду, мы провели ночь на ее западном берегу, в сопках, а утром были атакованы отрядом красных, которые еще не знали о взятии Энхор и направлялись туда. После недолгого боя красные были рассеяны нашей конницей, многие убиты, остальные бежали в сторону Желтуры. Когда стемнело, мы снялись с лагеря и, двигаясь вниз по течению Джиды, рано утром неожиданно появились перед спящими аванпостами противника. После жаркого боя мы захватили Дарастуйский дацан и высоты к западу и северу от него. Красные в беспорядке отступили к Сосновке, оставив в наших руках свыше

сотни пленных, около десятка пулеметов и много винтовок и подвод.

Прежде чем преследовать врага и продолжать наступление, Резухин устроил что-то вроде военного совета, на котором я тоже должен был присутствовать. В нем приняли участие командиры обоих полков, а также командир Монгольского дивизиона, командир Бурятской сотни и такие заместители полковых командиров, как полковники К. и О. <К. и О. - полковники Костерин и Островский.> Оба они были старыми боевыми офицерами. Один на Великой войне командовал полком, имел Георгиевский крест и несколько ранений и был образованным и опытным офицером. Он был приставлен заместителем к Хоботову, но по сути дела командовал полком. Такое положение вполне устраивало и Резухина, и самого Хоботова. Полковник О., тоже кадровый офицер, окончивший Академию Генерального Штаба, вернулся с войны в чине подполковника, занимал ответственный пост в армии Колчака; его назначили заместителем к командиру 3-го полка, бывшему сельскому приставу, теперь казачьему полковнику буряту Очирову. Оба эти офицера были мобилизованы Унгерном в Урге, куда они прибыли вместе со мной из армии генерала Бакича. С обоими меня связывала тесная дружба, продолжающаяся по сей день.

Резухин сообщил всем нам, собравшимся у него, что по его данным красные сконцентрировали крупные силы с мощной артиллерией в районе Сосновки; что вслед за нами движутся красные гарнизонные отряды, пришедшие с Желтуры и с верховьев Джиды; что он не имеет известий от барона, но, по словам бурят, присоединившихся к нам после переправы через Селенгу, тот встретился с трудностями. Согласно тем же слухам, Казагранди после успешного занятия Модонкуля был вскоре выбит оттуда красными и отступил далеко на юг, в глубь монгольской территории. Я доложил, что у нас ранено около 120 человек, многие из них - тяжело. Запряженные полудикими монгольскими лошадьми двуколки без рессор были единственным транспортным средством госпиталя, а так как мы двигались по горным дорогам, вообще не пригодным для каких бы то ни было повозок, воздух оглашался стонами и воплями раненых, чьи страдания от тряски по камням и рытвинам были слишком велики, чтобы заглушить их инъекциями наркотиков. Если раненые будут оставлены в таких условиях, большинство их неизбежно умрет. Поэтому я настаивал на эвакуации всех тяжелораненых в Ургу, где им будет обеспечен нормальный госпитальный уход. Резухин также спросил мнение собравшихся о том, что делать с захваченными в плен красными бойцами. Среди них, разумеется, не было командиров, потому что все командиры, начиная с взводных и выше, расстреливались, как правило, на месте. Мнение полковников К. и О. заключалось в том, что из этих пленных, которых было около двухсот, нужно сформировать пехотную команду и во время переходов перевозить ее на подводах. Резухин, хотя и не без труда, позволил убедить себя, что план достаточно разумен, чтобы ему последовать; он боялся, однако, вызвать гнев барона. Последний обычно предпочитал допускать пленных красных лишь к нестроевой службе: они служили санитарями, денщиками, обозными и т. д. Ближе к вечеру наш отряд выступил назад по той же дороге, по которой мы пришли. Однако Резухин, опасаясь, что нас могут атаковать сразу с фронта и с тыла, решил опять перейти вброд Джиду и продвигаться по ее правому берегу к Селенге и станице Цаган-Усуевской. Успешно переправившись через реку, которая была неглубокой в этом месте, мы прошли около четырех верст к востоку и из-за темной ночи и внезапно застигшей нас бури остановились на ночь у подножия сопок, отделявших нас от Селенги.

Рано утром на другой день, 8 июня, большой отряд красной пехоты, двигавшийся с Желтуры, появился на левом берегу Джиды и, заметив нас, обстрелял наш лагерь из артиллерии. Благодаря значительному расстоянию наши потери были невелики. Поспешно отступив к расположенным поблизости песчаным холмам, под вечер мы подошли к Цаган-Усуевской, где планировали заночевать. Вскоре, однако, нас атаковал крупный отряд советских войск, и мы вынуждены были ночью продолжать отходить дальше на юго-запад,

стараясь держаться параллельно течению Селенги, хотя большую часть времени были отрезаны от нее горами и непроходимыми таежными лесами. Красные преследовали нас неотступно. Тяготы отступления усугублялись отсутствием воды и невыносимой жарой, так как ближайшего леса мы достигли только спустя двадцать восемь часов после того, как покинули Цаган-Усуевскую. Не менее двадцати раненых умерло от истощения и от мучений, причиняемых им жаждой. Сотни лошадей, обессиленных настолько, что не могли двигаться, были оставлены красным. Но и последние, тоже, должно быть, до крайности изнуренные условиями, в которых им приходилось вести преследование, наконец прекратили давление на наши тылы и дали нам возможность спокойно отдыхать всю ночь и целый день 9 июня.

Вечером того же дня мы остановились в лесистых холмах примерно в пятнадцати верстах от Селенги, и я получил приказ подготовить тех раненых, которых я отберу, к переправе через реку и к дальнейшей эвакуации в Ургу, находившуюся на расстоянии около 400 верст. После обеда на следующий день, когда я докладывал Резухину, что раненые готовы к эвакуации, неподалеку послышалась ружейная и пулеметная стрельба, и пули запели вокруг нас свою безошибочно узнаваемую песню. Это был авангард красных, которые, подойдя к краю лесного оврага, вдоль которого мы разбили лагерь, окружили сотни 2-го полка и неожиданно атаковали их. Завязалась кровавая рукопашная схватка, в результате чего мы понесли довольно большие потери убитыми и ранеными, хотя красные были отброшены обратно в сопки. В числе раненых был полковник Костерин, который лично управлял пулеметом и огнем в упор опустошал ряды красных. Когда настала ночь, под прикрытием темноты и грозы, необычайно сильной даже для тех мест, мы двинулись по оврагу и вышли по нему в прибрежную долину Селенги. Здесь раненые, предназначенные к эвакуации, были, наконец, переправлены через реку. Во время переправы, проходившей на двух случайно найденных лодках, Резухин, придравшись к какому-то пустяку, набросился на одного из санитаров, которые сопровождали раненых, и жестоко его избил, серьезно повредив ему один глаз и выбив несколько зубов. В ответ на мою попытку вступить за избиваемого Резухин закричал, что в следующий раз, если я вмешаюсь в его действия, он меня пристрелит. В том состоянии физического и морального истощения, в котором тогда находилось большинство из нас, я, помню, пожалел, что угроза генерала не была приведена в исполнение незамедлительно.

Однако угроза Резухина произвела несколько иное впечатление на тех, кто был свидетелем этой сцены. В тот же день после обеда, когда наш отряд, прикрывшись неглубокими окопами со стороны сопки, откуда могли появиться красные, и с тыла окруженный Селенгой, спокойно стоял лагерем в долине, многие из офицеров и казаков, моих земляков по Оренбургскому казачьему округу, заходили в мою палатку, чтобы выразить мне свое сочувствие по поводу недавнего инцидента. Все они выражали искреннее возмущение и отвращение к той системе террора по отношению к противнику и грубого произвола и побоев по отношению к подчиненным, которую Резухин усвоил в подражание своему кумиру Унгерну. Оренбургские казаки заявили, что когда во время осады Урги они дезертировали из рядов Красной армии под Кяхтой (две сотни полностью) и пришли к Унгерну, они понятия не имели, что меняют одну тиранию на другую; что даже командиры Красной армии не позволяли себе бить казаков по лицу и унижать их человеческое достоинство, тогда как теперь они видят все это на протяжении месяцев.

Вечером 11 июня Резухин, действуя согласно своей теории о том, что красные не посмеют спуститься в долину и вступить в открытый бой, повел нас в глубь лесов, тянувшихся вдоль Селенги, и за соседние сопки, оставив небольшой отряд для наблюдения и прикрытия. 12 июня красные силами 310-го и 311-го пехотных полков спустились в долину и повели широкое наступление на те наши части, которые остались в окопах. Услышав сигналы тревоги, наши главные силы подошли к сопкам, в то время как те, кто находились в окопах,

покинули их и отошли к реке, думая соединиться там с главными силами. Одним из первых был ранен в плечо Резухин, вследствие чего передал командование полковнику Островскому. Выдерживая сильный артиллерийский, пулеметный и ружейный огонь, который мы вели с вершин сопки, красные продолжали упорно и методично продвигаться по долине, отражая фланговые атаки нашей конницы. Их передняя цепь залегла уже у самого подножья первой сопки, дожидаясь, когда соберется побольше людей, чтобы нанести нам решительный удар, и тогда полковник Островский решил использовать нашу пехоту, созданную из пленных красных. По команде «В атаку!» они с оглушительными криками «Ура!» и «За Россию!» сверху обрушились на красных, карабкавшихся по склону, сметая их в штыковом бою, и через десять минут цепи красных, смешавшись, побежали, преследуемые нашей конницей и уничтожаемые нашей шрапнелью. Но их правый фланг под прикрытием эскадрона красной кавалерии отступал медленно. Тотчас этот эскадрон был атакован 5-й сотней оренбургских казаков. Опрокинутый после яростной кавалерийской схватки, он расстроил ряды собственной пехоты и привел ее в замешательство. Разгром красных был полным и сокрушительным. Нам досталось около 200 пленных, два орудия, примерно десять пулеметов и целый бригадный госпиталь, правда без врачей и санитаров, которые благоразумно исчезли, бросив все на произвол судьбы.

Отступив около пятнадцати верст от места сражения, мы провели чуть ли не два дня, приводя в порядок и подсчитывая наши живые и вещественные трофеи. Резухин, казалось, был недоволен нашим успехом и, по словам полковника Островского, упрекал его за недостаточно умелое руководство боем, выражая сожаление, что рана помешала ему лично возглавить войска. Естественно, я лучше чем кто-либо знал, что его ранение - навывлет сквозь мякоть плеча - было легким и не могло при необходимости помешать ему остаться в строю и командовать войсками. Было совершенно ясно, что причина его недовольства заключалась в том выдающемся успехе, которого мы добились не только без помощи его стратегических талантов, но, напротив, скорее даже благодаря тому, что он не сумел их проявить. Его приказ произвести чистку среди пленных, результатом чего стал расстрел более чем сорока из них, вновь вызвал сильное, хотя и скрытое, недовольство лучших элементов нашего отряда. Затем в течение трех дней мы большими переходами двигались к нашему лагерю в Монголии возле моста через Селенгу. Красные нас не преследовали, если не считать двух или трех попыток их авиаторов сбросить бомбы на наши движущиеся колонны.

Я не могу обойти молчанием один эпизод тех дней, не существенный сам по себе, но имевший важные последствия. По дороге мы встретили курьера из Урги, который доставил Резухину пакет от ургинского коменданта Сипайло. Как мы узнали впоследствии, пакет содержал в себе приказ «ликвидировать» кавалериста 2-го полка Спицына, широко известного старожилы Монголии, купца из Урги; он был призван на службу Унгерном после взятия города. Основанием для приказа послужило то, что, по данным Сипайло, брат Спицына в 1918 г. был большевистским комиссаром в Хайларе. Спицына, интеллигентного и приятного человека, очень любили в сотне и в полку. Он показал себя храбрым солдатом и был легко ранен в бою под Энхорами, где управлял пулеметом. Резухин отдал приказ немедленно, прямо на марше, вызвать его из рядов, отвести в сопки и там пристрелить. Никто так и не понял действительную причину того, что к Спицыну подъехали двое всадников из комендантской команды, а затем они все вместе поскакали к опушке ближайшего леса. Однако один из командиров не сумел, очевидно, сдержаться и шепнул словечко находившимся возле казакам. Когда это известие распространилось, вызвав всеобщее возмущение, поднялся ропот, достигший самого командира полка Хоботова. Делегация офицеров во главе с Хоботовым и раненым полковником Костериным подскочила к Резухину, который ехал впереди отряда. Костерин от имени всей делегации обратился к генералу с просьбой отсрочить приговор. Резухин, хотя и был встревожен всеобщим недовольством до

такой степени, что даже утратил свой обычный грубый и высокомерный тон, тем не менее не посмел противиться приказу Сипайло. Да было уже и слишком поздно, так как прежде чем делегаты успели закончить переговоры с Резухиным, двое экзекуторов уже вернулись и доложили ему, что приказ исполнен.

15 июня, когда до нашей базы на Селенге оставался один дневной переход, мы наконец получили долгожданные известия от барона. Он кратко сообщал Резухину о своем поражении под Кяхтой 9 июня <На самом деле не 9, а 13 июня.>. Была потеряна вся артиллерия и большая часть пулеметов. Правда, красные захватили всего несколько пленных, так как унгерновцы рассеялись по окрестным лесам и теперь только еще возвращались в свои части. Барон отступил на монгольскую территорию;

противник его не преследовал, и немедленно после приведения бригады в надлежащий вид он намеревался идти к Селенге на соединение с Резухиным. Кажется, главной причиной поражения были те самые ламы-предсказатели. По их мнению, барону не следовало до определенного дня пускать в ход свою артиллерию и пулеметы. Он решил последовать их совету, но красные атаквали его раньше, чем настал этот день. В итоге пушки были взяты вместе с пристяжными лошадьми и верблюжьими упряжками, а пулеметы захвачены с двуколками, на которых они стояли.

29 июня во главе двух своих полков, 1-го и 4-го, Монгольского дивизиона, двух сотен китайцев и полуротой японских добровольцев барон подошел к мосту через Селенгу и принял командование над всеми силами. Прибывшие с ним части, так же, как его штаб, расположились лагерем на правом, восточном, берегу реки, среди холмов и болот, кишаших змеями. Почти ежедневно были случаи змеиных укусов, и хотя никто не умер, жертвы в течение довольно долгого времени страдали от воспаления и лихорадки, после чего развивался паралич поврежденной конечности. Любопытно было наблюдать, что этот яд оказывал гораздо более сильное действие на лошадей, многие из них умирали от змеиных укусов. Следуя советам своих лам-прорицателей, Унгерн строжайше запретил убивать змей. Но солдаты, несмотря на запрет, безжалостно уничтожали этих рептилий. Барон решительно отказывался переправить свои части на нашу сторону, на левый берег реки, где был лагерь бригады Резухина и где змей было совсем мало. Каждую ночь играли тревогу, и даже медицинский персонал принимал участие в учениях. По сигналу трубы все мы должны были поспешно седлать лошадей, бросаться в реку и плыть через нее. Во время этих ночных переправ многие монголы погибали, так как, пугаясь глубины, хватались за головы лошадей, топили их и тонули сами. Это продолжалось до тех пор, пока разлившаяся от летнего паводка Селенга не положила конец этим диким развлечениям сумасшедшего маньяка. Наконец налеты вражеских аэропланов, которые становились все более частыми и от которых мы несли большие потери, особенно лошадьми, вынудили барона сконцентрировать наши части в лесах на левом берегу. Сам он со своим штабом оставался, однако, на правом берегу; связь с ними поддерживалась на лодках после того, как однажды ночью вода поднялась на десять футов и разрушила мост, построенный с такими мучениями. В те дни барон свирепствовал без снисхождения. Он приказал сжечь заживо студента-медика Езерского <У других мемуаристов - Энгельгардт-Езерский. Очевидно, принадлежность к старинному дворянскому роду усугубляла в глазах Унгерна вину этого несчастного студента.>, присланного Сипайло из Урги, потому что Сипайло доложил, что по сведениям контрразведки прежде чем прибыть в Ургу Езерский занимал какую-то должность в советском Комиссариате здравоохранения в Иркутске. Демин, старый русский поселенец в Монголии, был затребован из Ван-Хурэ, чтобы наладить снабжение дивизии мясом. Убежденный, что его везут к Унгерну на расстрел, Демин по дороге сам бросился с коня в Селенгу и утонул прямо на глазах у своего конвоя. После того, как конвойные доложили о случившемся барону, они были безжалостно биты палками и провели несколько дней без еды.

Для ежедневного доклада я должен был в ветхой дырявой лодчонке переправляться через реку, которая была теперь в несколько верст шириной, и после маневрирования между бесчисленными островками высаживаться на возвышенности, где располагался барон со своей комендантской командой. Докладывая, я часто слышал вопли тех, кого по его приказу били палками; сосны вокруг были усеяны людьми, которые просиживали там иногда по двадцать четыре часа, а то и дольше. Это были офицеры и казаки, зачастую перед тем избитые. Многие из них не имели ни малейшего понятия о том, за что они наказаны. Резухин на другом берегу старался не отстать от своего хозяина в суровости применяемых наказаний. Настроение в полках было подавленным и озлобленным. Всюду слышался ропот, раздавались угрозы покончить с этим «каторжным режимом». Все те, в ком еще уцелело чувство собственного достоинства и способность к протесту, сходились возле палаток моего госпиталя для доверительных бесед.

15 июля пришли новости о взятии красными Урги. Многие наши офицеры и солдаты имели там дома, у многих остались там семьи, жены. На вопрос одного из офицеров о судьбе их близких Унгерн цинично ответил, что «настоящий воин не должен иметь никаких близких», потому что от тревоги за них убывает храбрость. Атаман Сухарев, забайкальский казак, с небольшим отрядом его земляков-забайкальцев был в это время послан в Монголию якобы с целью найти Казагранди и вручить ему приказ о передаче командования самому Сухареву. Вслед за тем последний должен был немедленно идти на соединение с главными силами барона. После отъезда Сухарева стало известно, что он получил приказ убить Казагранди и верных ему офицеров. Сухарев, однако, повел отряд Казагранди не к барону, а через Внутреннюю Монголию в Китай. На границе Мукденской провинции китайские власти приняли их за банду хунхузов, сам Сухарев был убит в бою с китайцами, и вместе с ним погибла большая часть отряда.

Конец Унгерна и всей его авантюры мог бы наступить гораздо раньше, если бы он не втянул дивизию в новые походы и сражения. В ночь на 17 июля он начал наступление по тому же маршруту, по которому месяцем ранее мы двигались под командой Резухина. Мы пересекли границу и после ряда успешных для нас боев вышли к восточному берегу Гусиного озера. 30 июля мы атаковали Гусиноозерский дацан. Его защищали два пехотных батальона и батарея из четырех орудий. Чтобы отвлечь артиллерийский огонь от тех наших сотен, которые уже начали окружать противника, Унгерн приказал обозу и госпиталю двигаться по открытой дороге, прямо на виду у врага. В результате сотни незамеченными подошли к дацану из-за холмов, в то время как в госпитале несколько человек было убито и ранено шрапнельным огнем. После часового рукопашного боя среди монгольских юрт и храмов дацан был нами взят. Нам досталось около 400 пленных и все орудия. Офицеры Красной армии самоубийство предпочли плену с неизбежными пытками и застрелились на глазах у победителей. Командир одного из батальонов застрелился, стоя уже по шею в воде. Немедленно после боя Унгерн распорядился построить пленных и, пройдя вдоль рядов, «по глазам и лицам» определил, кто из них является красными добровольцами и коммунистами, а кто достаточно «надежен» для того, чтобы вступить в наши ряды. Свыше сотни человек были отнесены им к первой категории; комендантской команде Бурдуковского было приказано тут же их уничтожить. Но, как позднее свидетельствовали их оставшиеся в живых товарищи, большинство убитых пленных были крестьяне, насильно мобилизованные красными в Томской и Иркутской губерниях.

Достигнув северной оконечности Гусиного озера, дивизия на день разбила лагерь. Унгерн еще не решил, что делать дальше. Его ламы советовали ему продолжать идти на север и атаковать Мысовую на Байкале, но со слов пленных и бурят стало известно, что красные вполне подготовились к тому, чтобы не только отразить такое наступление, но и захватить в плен всю дивизию, не оставив нам ни малейшего шанса вырваться. Высоты по обеим

сторонам ведущей к Мысовой широкой долины были укреплены и заняты красной конницей. Следом за нами, как мы вскоре это обнаружили, шли два советских полка с бронемашинами <...> <В рукописи недостает одной страницы, на которой должно быть описано отступление Азиатской дивизии от Селенгинска до монгольской границы.>. Красные беспрестанно атаковали нас, пытаясь нам помешать, но всякий раз мы отбрасывали их в сопки, расчищая себе путь.

Когда мы подошли к Эгин-Голу, то разделились: после переправы через реку Резухин с 1-м и 2-м полками остался прикрывать наш тыл. Остальные части дивизии, включая артиллерию, под командой барона двигались впереди на расстоянии двух переходов, держа направление на юго-запад параллельно Селенге. Во время этого отступления Унгерн лютовал, как никогда прежде. Бешеным галопом проносясь вдоль рядов отступающей дивизии, которая длинной вереницей тянулась сквозь леса, он беспощадно избивал каждого, кто попадался ему на глаза, не делая исключения для тех легкораненных, кто ехал верхом. Хоботов и Марков, командиры полков, ходили с перевязанными головами после того, как Унгерн избил их своим ташуром; то же самое произошло с начальником артиллерии полковником Дмитриевым. На одном из привалов был жестоко избит полковник Тарновский, бывший командир стрелкового полка в Южной армии адмирала Колчака. Резухин старался не отставать в этом от своего хозяина, особенно после того, как сам был избит Унгерном, заставшим его спящим возле лагерного костра. Как правило, Унгерн избивал лишь тех, кто пришел с ним из Даурии и кто, как он однажды заметил в разговоре со мной, были полулюдьми, способными жить и воевать только до тех пор, пока их бьют. Упомянутый выше полковник Тарновский, если память мне не изменяет, был единственным исключением. Как правило, если Унгерн находил виновным «колчаковца», то приказывал ему спешиться и в полной экипировке идти десятки верст, а по прибытии в лагерь залезть на дерево и оставаться там без сна и пищи; или же он мог быть разжалован в пастухи, покидал строй и должен был перегонять лошадей и скот. В дивизии нарастало глухое недовольство, ропот и ненависть к барону и его приближенным. Усилилось дезертирство, были даже случаи неповиновения. Однако преобладали внешний порядок и дисциплина, поддерживаемые всеобщей надеждой на то, что после полного провала своего наступления барону не остается ничего иного, кроме как повернуть на восток и попытаться пройти в Маньчжурию и далее в Приморье. Это было желание подавляющего большинства отряда, не исключая и пленных красноармейцев, среди которых практически не было случаев дезертирства. Напротив, те, кто бежали в Ургу или перебежали к противнику, практически все были старыми боевыми товарищами Унгерна по Даурии и Забайкалью.

За день до того, как Унгерн со 2-й бригадой отделился от Резухина, уже за полночь я у себя в палатке был разбужен кем-то, кого в темноте долго не мог узнать. Затем я понял, что это Иван Маштаков, оренбургский казачий офицер, которого незадолго перед тем Унгерн взял к себе в штаб. Взволнованным шепотом Маштаков рассказал мне, что он только что подслушал разговор между бароном и Резухиным, из которого понял, что барон намерен вести дивизию через пустыню Гоби в Тибет с тем, чтобы поступить на службу к Далай-ламе в Лхассе. На робкие возражения Резухина, что дивизия едва ли будет в состоянии пересечь пустыню и обречена погибнуть от недостатка продовольствия и воды, барон цинично заметил, что людские потери его не пугают, что это его решение окончательное; ни ему, ни Резухину нельзя появляться в Маньчжурии и Приморье из-за их прежней деятельности в тех местах. Маштаков добавил, что он уже виделся и переговорил с надежными офицерами, и они решили убить Унгерна и вручить командование Резухину при условии, что он поведет дивизию на восток. Если же Резухин будет вести себя, как Унгерн, то убить также и его, а командование доверить одному из старых полковников. Ввиду намерения Унгерна выступить утром и уйти вперед с большей частью дивизии, Маштаков с

офицерами бросили жребий, и Маштакову выпало убить Унгерна сегодня же ночью, когда тот уснет у себя в палатке после совещания с ламами, которые на лагерных стоянках занимали почти все его время. Причиной, почему Маштаков пришел ко мне, было желание предупредить меня и через меня большое число раненых в госпитале, чтобы среди них не началась паника при схватке с Бурдуковским и его комендантской командой, большая часть которой, если она окажет сопротивление, должна быть уничтожена. Там же и тогда же, в моей палатке, при свете умирающего лагерного костра Маштаков тщательно проверил свой «маузер», пожал мне руку и скользнул во тьму так же бесшумно, как вошел. Разумеется, спать я больше не мог и начал ходить вдоль палаток и подвод, на которых раненые проводили ночь, напряженно прислушиваясь и стараясь различить звук выстрелов сквозь шум и плеск быстрого Эгин-Гола, бегущего по своему каменистому ложу. Примерно треть мили отделяла меня от палатки барона.

Внезапно я заметил нескольких всадников с двумя или тремя навьюченными лошадьми, которые появились из-за одной из палаток, двигаясь по направлению к ивовым зарослям, покрывавшим песчаный берег реки. Я заинтересовался и, сделав несколько шагов, окликнул переднего всадника. Это был мой помощник Чугунов, за несколько дней перед тем жестоко избитый бароном, и с ним пятеро пожилых людей, мобилизованных в Урге в качестве санитаров. Они собирались дезертировать. О намерениях Чугунова я догадывался и раньше и находил их весьма логичными; его попытка меня не особенно удивила, я лишь предложил ему отложить бегство, так как в отряде скоро произойдут события, после которых легче будет покинуть его всем, кто этого желает. Хорошо было бы отложить побег еще и потому, что было несколько случаев, когда красные монголы, схватив наших дезертиров, убивали и обирали их без какой-либо попытки передать пленников русским советским властям. Чугунов посоветовался со своими спутниками и сказал, что они считают мой совет разумным и готовы остаться в дивизии еще на несколько дней (однако спустя всего лишь два дня эти люди дезертировали, ускользнув из лагеря в лес прямо среди бела дня; позднее я слышал, что они благополучно добрались до Урги).

Ни убийство барона, ни задуманный переворот в эту ночь не состоялись. Вернувшись к палатке Унгерна, Маштаков обнаружил, что тот все еще проводит совет со своими ламами и несколькими бурятскими старейшинами, и охрана получила строгий приказ никого к нему не допускать. Маштакову пришлось уйти, не исполнив своего плана, потому что уже рассвело, и лагерь начал просыпаться. На другое утро он получил приказ вернуться в свой полк.

Когда части, бывшие с Унгерном, и мой госпиталь тянулись по узкой дороге среди лесов, меня нагнал полковник Эвфаритский, начальник пулеметной команды, а с ним артиллерийский офицер, поручик Виноградов. Оба были моими близкими друзьями, но с Эвфаритским, помимо того, мы были еще и земляки и знали друг друга со школьных времен. Они подтвердили все рассказанное мне Маштаковым минувшей ночью, считая это результатом того, что в большинстве своем дивизия не желает ни оставаться долее в Монголии, ни, еще того меньше, идти на верную гибель в Гоби и в Тибет. Они сказали мне, что всеобщая ненависть к барону с его дисциплинарными методами и всеобщее стремление через зону Китайско-Восточной железной дороги идти в Приморье привели к заговору среди офицеров, в котором участвуют несколько подразделений. Они сказали, что наиболее боеспособные части оренбургских казаков, татар и бурят в любой момент готовы поддержать заговорщиков с оружием в руках; что пулеметчики и артиллеристы тоже участвуют в заговоре; что усталые измученные люди озлоблены и настроены крайне решительно. После того, как Унгерн со своими частями уйдет вперед, те офицеры, что оставались с Резухиным, решили потребовать, чтобы он вел бригаду через Селенгу, и если он откажется, применить к нему насилие, а при необходимости и убийство. После этого Хоботов, который всей душой с заговорщиками, должен был повести их под контролем других офицеров и попытаться

достигнуть Селенги. Части авангарда, ушедшие с Унгерном, будут извещены немедленно, как только совершится переворот, после чего в ближайшую ночь они должны будут покинуть Унгерна с его монгольским отрядом и комендантской командой, в расположении которых он в последнее время всегда ставил на ночь свою палатку, стараясь соединиться с 1-й бригадой и вместе двигаться к переправе через Селенгу. Если же барон попытается этому помешать или начнет нас преследовать, убить его самого и его ближайших подручных из комендантской команды.

В течение двух дней мы спокойно двигались вперед, не имея никаких известий о том, что произошло позади нас в бригаде Резухина. 16 августа мы остановились; мы прошли Джаргалантуйский дацан и находились теперь в широкой долине, с двух сторон прикрытой грядой лесистых холмов. Это было место примерно в двух сотнях верст к северо-западу от Ван-Хурэ и примерно в четырех сотнях - к северо-востоку от Улясутая, в верховьях Селенги и примерно в двенадцати или пятнадцати верстах от нее. Вечером я пошел навестить полковника Островского, которого незадолго перед тем барон взял в свой штаб. Его палатка стояла в нескольких шагах от палатки барона, входом обращенной в сторону разбитого неподалеку лагеря монгольского отряда под командой князя Биширли-тушегуна. Я нашел Островского измученным и подавленным. Оказывается, барон, взбешенный тем, что в предыдущую ночь из штаба исчезли его почетные гости, бурятские старейшины и монгольские ламы, которых он собирался держать у себя как заложников, приказал Островскому пешком проделать тридцативерстный переход, выругал его и по прибытии в лагерь заставил залезть на сосну, откуда Островский спустился лишь незадолго до моего прихода. Он сказал мне, что от Резухина нет никаких вестей, и барон этим сильно встревожен; он подозревал, что красные разведчики могли перехватить гонцов от Резухина, и пребывал в нерешительности, не зная, что предпринять. Весь день 17 августа Унгерн провел, советуясь со своими ламами-прорицателями. Он выслал группу разведчиков приблизительно в том направлении, где мог находиться Резухин, но те, натолкнувшись на красные разъезды верстах в восьми от нас, за дацаном, вернулись ни с чем и привезли одного раненого.

Этой ночью сначала по соседству с госпиталем, а затем в сопках, состоялась встреча заговорщиков, офицеров и присоединившихся к ним старых солдат-фронтовиков. Было решено на следующую ночь по сигналу тревоги седлать коней и двигаться обратно к Селенге. Специально сформированный отряд должен был прикрывать это отступление, и если Унгерн попытается преследовать нас, встретить его ружейным и пулеметным огнем. Участники совещания гарантировали надежность своих частей при столкновении с Унгерном или красными. Будущим командиром был избран полковник Эвфаритский, которому поручили проработать дальнейшие детали переворота. Я должен был поставить в известность начальника дивизионного обоза В. К. Рериха, старшего брата хорошо известного художника Н. К. Рериха и моего товарища по оружию с тех времен, когда мы оба служили в армии атамана Дутова. Я рассказал обо всем Рериху, повергнув его тем самым в состояние благоговейного ужаса.

Вечером 18 августа <У Рибо на три дня смещены даты. Унгерн был взят в плен 22 августа 1921 г. Следовательно, описанные ниже события произошли не 18, а 21 августа.> прибывший из бригады Резухина татарин-казак был задержан бурятскими часовыми и доставлен к Унгерну. Как я узнал несколько позже, полковник Костерин послал его к Эвфаритскому и ко мне с запиской, в которой сообщал, что Резухин убит этой ночью, что бригада выступила из лагеря и поспешно движется к броду на Селенге, где будет поджидать нас три дня. На тот случай, если первый гонец встретится с какими-либо трудностями, немного позднее по тому же пути был послан второй - оренбургский казачий офицер Калинин. Он должен был передать нам все на словах и более подробно. Когда татарин повстречался с нашими бурятами, он сумел уничтожить записку; но так как он плохо говорил по-русски, то не смог

изложить бурятам, говорившим по-русски еще хуже, ту версию, которую ему придумали на случай, если его схватят: что он заболел и был послан ко мне в госпиталь. Поставленный перед Унгерном, он потерял всякую сообразительность и хотя никого не выдал, сказал тем не менее, что у них ночью был бой, что сам он бежал сквозь горы и тайгу и был задержан нашими часовыми.

Очевидно, барон что-то заподозрил. Он велел арестовать татарина и наутро подвергнуть его пыткам, что было поручено Бурдуковскому. Командир 4-го полка Марков, принадлежавший к числу заговорщиков, присутствовал при этой сцене и немедленно известил обо всем Эвфаритского. Спустя пятнадцать минут все заговорщики вновь собрались у меня в госпитале. Но прежде чем началось обсуждение, что теперь делать, второй гонец, Калинин, вместе с его раненым братом, лечившимся в госпитале, вошли в палатку и коротко рассказали нам о том, что произошло в бригаде Резухина.

На следующий день после того, как мы с Унгерном ушли, Костерин, Хоботов и командир 1-го полка Парыгин явились к Резухину и, указывая на преобладающее в частях настроение, прямо посоветовали ему принять командование и вести бригаду на восток. Резухин отвечал безумными проклятиями и выгнал делегатов, угрожая им страшной расправой после соединения с бароном. Той же ночью, когда бригада, готовая выступить, уже сидела в седлах, Резухин со своей комендантской командой Безродного попытался остановить людей, отдав приказ арестовать и расстрелять командиров. В ответ из рядов загремели выстрелы, и Резухин, раненый в ногу, упал, затем вскочил и побежал в лагерь китайцев, которые еще не успели сесть на коней, требуя медицинской помощи и перевязки. Безродный и большинство его контрразведчиков разбежались и спрятались в лесу; позднее они попали в руки красных и были расстреляны. Раненого Резухина, лежавшего на земле, и служителя госпиталя, который его перевязывал, окружила толпа. Внезапно какой-то казак вышел вперед, склонился над Резухиным и со словами «хватит пить нашу кровь, пей теперь свою» в упор выстрелил из «маузера» и разнес ему голову. Толпа тотчас рассеялась и вскочила в седла, но прежде чем выступить, Костерин приказал вырыть могилу и закопать тело Резухина. Гонец посоветовал нам покончить с бароном немедленно или бросить его и идти к бродам на Селенге.

После того, как мы выслушали рассказ Калинина и быстро обменялись мнениями, был принят план Эвфаритского: попытаться застрелить барона, убив также Бурдуковского, ординарцев-экзекуторов и тех из комендантской команды, кто был наиболее предан Унгерну. Предполагалось обстрелять лагерь комендантской команды из пушек, что сделают наши артиллерийские офицеры. Если же полковник Дмитриев воспротивится заговорщикам, он будет подвергнут временному аресту. Приказав всем командирам частей быть готовыми к выступлению при первых выстрелах, направленных против барона, Эвфаритской с четырьмя офицерами и полудесятком людей из пулеметной команды отправился приводить свой план в исполнение. Было около полуночи. В чернильной темноте холодной ночи мы начали быстро седлать и запрягать лошадей. Люди работали без огней, настороженно прислушиваясь, чтобы не пропустить звука судьбоносных винтовочных выстрелов. Не менее часа прошло в ожидании. Я и лечившиеся у меня в госпитале раненые офицеры обсуждали, что мы будем делать, если наши планы провалятся, когда, наконец, до нас долетели приглушенные звуки револьверной стрельбы, а затем раздались четыре орудийных выстрела, чей огонь прерывистым светом озарил темную лесную долину. Это подпоручик Виноградов практически в упор, с расстояния в полверсты обстрелял лагерь комендантской команды Бурдуковского. Его люди в панике разбежались. Теперь поднялся весь лагерь, и в следующие пять минут части потянулись к дороге, направляясь назад, к дацану. Впереди шел 3-й Бурятский полк под командой войскового старшины Очирова, затем забайкальские и татарские сотни 4-го полка полковника Маркова, а за ними примерно шестьдесят подвод, составлявших мой госпиталь. Обоз, артиллерия, пулеметчики и пехота из бывших

красноармейцев находились в тылу. Большинство пребывало в полном неведении относительно того, что происходит. Никто из нас не знал, чем закончилась попытка застрелить Унгерна, и трудно было отыскать кого-либо из стрелявших в темноте и суматохе.

Наконец, из темноты появился один из офицеров пулеметной команды, ушедших вместе с Эвфаритским, и, взволнованный, подскакал ко мне. Он рассказал, что когда они подошли к палатке Унгерна и позвали барона, вместо него выглянули Островский и Львов. Оказалось, что еще накануне вечером барон поменялся палатками со своим штабом и теперь находился в соседней. Один из заговорщиков, в темноте приняв Островского за барона, выстрелил в него, но промахнулся и был остановлен другими, прежде чем успел выстрелить еще раз. На звук выстрела из соседней палатки выскочил Унгерн с двумя ламами и был встречен градом пуль. Барон упал на четвереньки и быстро пополз в кусты, окружавшие лагерь монгольского дивизиона. Заговорщики еще несколько раз выстрелили наугад по кустам, затем приказали штабу садиться в седла и немедленно следовать за бригадой. Вслед за этим они поскакали обратно, каждый в свою часть. Теперь к нам присоединились полковники Эвфаритский, Островский и Львов из штаба и еще кое-кто из заговорщиков. Ни один из них не мог с уверенностью сказать, что случилось с бароном и что он может предпринять, если остался жив. Части были приведены в порядок и поспешно продолжали путь. Меня нагнал есаул М <Есаул М. - Макеев. Профессиональный экзекутор, человек, близкий Сипайло, он и в этой ситуации добровольно, видимо, принял на себя обязанности палача. В противном случае его самого вполне могла бы ожидать участь Бурдуковского и других ординарцев барона (в число которых входил и Макеев).>. с группой всадников, кольцом окруживших Бурдуковского, унтер-офицера его команды Мельского и нескольких ординарцев барона. Арестованные, как я заметил, были разоружены и, казалось, пребывали в совершенном недоумении относительно того, что им предстоит. Я понял, что их уводят на смерть, но не сумел найти в себе ни малейшего сочувствия к этим насильникам женщин и душителям детей, которые своей жизнью должны были заплатить за то, что были палачами при главном садисте и маньяке, оставшемся позади. Бурдуковский узнал меня.

- Доктор, куда нас ведут? - крикнул он.

- Туда, куда ты отправил столь многих, - не удержался я от ответа.

Когда мы приблизились к дацану, части остановились на привал, построившись в форме каре в небольшой ложбине. Мы решили дождаться рассвета, так как немыслимо было дальше двигаться в темноте, которая становилась все гуще. Сотня людей и большое число пулеметов были выставлены в оцепление перед нашими тылами, чтобы предупредить возможное появление барона. Прошло не более получаса; я стоял возле госпитальных подвод, беседуя с группой офицеров, когда послышался стук копыт и сдавленный шепот: «Барон! Барон!», повторяемый всюду вокруг нас.

Это был Унгерн. Объехав с одного края заградительную цепь перед нашими тылами, он вновь неожиданно появился среди своих войск. Офицеры, окружавшие меня, поспешно бросились в сторону, на бегу выхватывая револьверы и щелкая затворами карабинов. Полковник Островский и раненый полковник Костромин (позднее он командовал русской бригадой у Чжан Цзолина и был убит в сражении под Шанхаем) тоже достали свои маузеры. Я вытащил мой старый кольт, решив скорее выпустить себе мозги, нежели подвергнуться пыткам, которые ожидали всех нас, если мы попадем в руки барону. Унгерн, плохо видя в темноте и не получая ответов на свои вопросы: «Кто это? Какая часть?», - подъехал, наконец, к колонне 3-го полка и, натолкнувшись на его командира Очирова, пронзительно взвизгнул:

- Очиров, куда ты идешь? Что ты задумал? Не дождавшись ответа, он закричал опять:

- Я приказываю тебе вернуть полк обратно в лагерь!

- Я и мои люди не пойдем назад. Мы хотим идти на восток и защищать наши собственные кочевья. Нам нечего делать в Тибете, - твердо и спокойно отвечал Очиров.

Затем Унгерн поскакал к 4-му полку и начал убеждать людей, стоявших молчаливой массой, остаться и продолжать войну. Перемежая угрозы страшными ругательствами, он говорил им, что от голода они будут глотать кости друг друга, что красные завтра же истребят их всех до одного. Ответом было все то же упрямое грозное молчание. От 4-го полка Унгерн поскакал к артиллеристам, грубо приказывая им возвращаться в оставленный лагерь, но ни один из них не двинулся с места. Издали барон крикнул мне:

- Доктор, поворачивайте госпиталь и раненых! И затем:

- Рерих, я приказываю вам повернуть обоз!

Было по-прежнему тихо. Наконец, он развернулся лицом к пулеметной команде, расположившейся у подножья холма. Его лошадь толкнула есаула М., который в тот же самый момент в упор выстрелил в барона. Белая кобыла Унгерна, подарок его старого друга атамана Семенова, одним прыжком взлетела на вершину холма и унесла Унгерна от огня пулеметов, который теперь преследовал его, обратно в долину, откуда он так неожиданно появился.

Нам не суждено было больше встретиться с генералом бароном фон Унгерн-Штернбергом. Сразу после его исчезновения наши части выступили на северо-восток, к переправе через Селенгу. Мы не сумели соединиться с 1-й бригадой; ее полки переправились вброд много выше по течению. По дороге в Маньчжурию они были жестоко потрепаны в боях с монголами, и только небольшой их части с трудом удалось достичь зоны Китайско-Восточной железной дороги, где они и рассеялись. К вечеру 19 августа <Здесь, как и ранее, смещение на три дня: не 19, а 22 августа.> выйдя на западный берег Селенги, мы тотчас начали переправляться на большой остров посреди реки. Несколько нагнавших нас эскадронов красной конницы попытались атаковать наши тылы и помешать переправе, но попались в западню в ведущем к реке узком ущелье и понесли тяжелые потери от огня нашей артиллерии и пулеметов, установленных на вершинах окружающих скал. Они поспешно отступили и больше не пытались нас атаковать. Здесь бригаду нагнали двое русских офицеров из Забайкалья, Ш. и С. Они были из монгольской части князя Биширли-тушегуна и рассказали нам о бароне. После тщетной попытки заставить нас вернуться он поскакал обратно и, измученный, с легкой раной в боку, лег отдохнуть в княжеской палатке. На другое утро монголы подкрались к нему, спящему, связали его и, оставив там же, ускакали на юг. Спустя несколько часов его нашли и захватили красные разведчики. Как известно, в ноябре того же года он был судим и расстрелян по приговору Военно-Революционного трибунала в Новониколаевске в Сибири. Офицеры, убежавшие от монголов при появлении Унгерна, целый день провели в сопках, наблюдая за тем, что происходит внизу, а ночью по горам вышли к Селенге и присоединились к нам.

В первую же ночь после этого на острове посреди реки прошел суд над особо ненавистными палачами из числа контрразведчиков и ординарцев барона. Одиннадцать человек были приговорены к смерти и расстреляны тотчас же.

Интересна судьба наших главных заговорщиков: напуганные ночным появлением барона среди дезертирующей бригады, полковник Эвфаритский, полковники Львов, Марков, подпоручик Сементковский <Сементковский имел все основания питать к барону личную ненависть. Во время сражения под Кяхтой этот офицер проявил колоссальную выдержку и путем нечеловеческих усилий сумел в потоке бегущих собрать и вывести из-под огня часть обоза и навьюченных патронами верблюдов, Но когда Сементковский явился к Унгерну с докладом, тот обвинил его в потере остальной части обоза и приказал выпороть.> и некоторые другие бежали, страшась гнева барона и думая, что наш замысел не удался. Из всех из них только Марков с одним из своих офицеров позже присоединился к нам; остальные пропали, будучи или убиты монголами, или казнены по приговору красных трибуналов.

После переправы через Селенгу наш отряд под командованием полковников Островского

и Костромина выступил в многодневный поход на юг, намереваясь обойти Ван-Хурэ с запада и в этом районе переправиться через Орхон. Мы обошли Ургу с юго-запада и спустились до границ Гоби, обманув бдительность красных, которые стерегли нас к северу и к востоку от Урги.

В Шаин-Шаби, в верховьях Онона, Очиров со своими бурятами покинул нас и двинулся на северо-запад <В своей книге «Бог Войны - Барон Уигерн» Макеев по простоте душевной рисует картину гораздо менее идиллическую. Он рассказывает, что когда буряты решили идти не в Маньчжурию, а в Забайкалье, казаки отобрали у них лошадей, оружие и даже теплую одежду.>. Мы также позволили всем, кто хотел, уйти в Ургу, которая находилась в руках у красных. Пройдя Ургу с юга, отряд повернул к северу, на Керулене был атакован красными, разгромил их и продолжал двигаться на северо-восток, к озеру Буир-Нор. Здесь мы опять встретили большой отряд красных монголов с русскими инструкторами. Враг вновь был разбит и рассеян. На озере Долон-Нор мы встретились с представителем китайского губернатора Хайлара, высланным к нам для переговоров о разоружении. 6 октября наш отряд, состоявший из восьмисот человек при пяти орудиях и шестнадцати пулеметах, наконец вступил в Хайлар и сдал оружие китайцам при условии, что все желающие будут по Китайско-Восточной железной дороге отправлены в Приморье, где у власти тогда находилось правительство братьев Меркуловых. Таких оказалось около шестисот человек, и через несколько дней они специальным эшелоном были доставлены во Владивосток, чтобы до конца сражаться на этом последнем клочке русской земли, который еще оставался свободным от власти красных.

Судя по всему, воспоминания предназначались автором к печати, но, видимо, опубликованы не были. Написаны предположительно в конце 20-х - начале 30-х гг. и тогда же переведены на английский язык для архива Гуверовского института. Местонахождение русского оригинала неизвестно. Публикуются в обратном переводе с английского (N. M. Ribo (Riabukhin). The Story of Baron Ungern-Sternberg Told by his Staff Physician. - Hoover Institution on War, Revolution and Peace, CSUZXX697-A).

V

Д. АЛЕШИН. ИЗ КНИГИ «АЗИАТСКАЯ ОДИССЕЯ

(Перевод с английского Г. Л. Юзефович.)

Незадолго до мятежа «рыцарей огня, грабежа и убийства» <Начало событий, описанных в публикуемом отрывке, относится к июлю 1921 г. Здесь речь идет о заговоре и мятеже в Азиатской дивизии.> стало известно, что наиболее доверенный личный советник барона Джамбалон бежал в Маньчжурию, прихватив огромные богатства, доверенные ему бароном.

Также разнеслись слухи, что полковник Казагранди покинул поле битвы и бросился в погоню за другой частью сокровищ барона, которую тот отправил в Улясутай под охраной наиболее верных своих казаков.

Если Джамбалона, воспользовавшегося для бегства автомобилями, поймать не представлялось возможным, то с полковником Казагранди дело обстояло иначе, ибо последний для задуманного ограбления большого и хорошо охраняемого каравана был вынужден взять с собой пятьсот человек войска. Барон отправил Сухарева арестовать Казагранди и доставить его в штаб-квартиру армии. Он поклялся порадовать своих людей такой казнью предателя, что сам дьявол в своей мрачной преисподней содрогнулся бы от ужаса <Известия о похищенных Джамбалоном «огромных богатствах» и о «сокровищах», за которыми будто бы погнался Казагранди, взяв с собой «пятьсот человек войска», - скорее

всего, слухи. Под началом последнего даже в лучшие времена было не более двух сотен бойцов. На самом деле гнев Унгерна был вызван тем, что Казагранди явно не хотел больше воевать и не спешил присоединить свой отряд к главным силам дивизии.>. Я отправился со своим командиром Сухаревым. Мне было приятно оказаться подальше от барона, так как жизнь в его армии была невыносима, и, кроме того, эта экспедиция давала мне возможность присоединиться к друзьям, Виктору и Марьяне, под руководством нашего любимого циника Михаила <Виктор, Марьяна и Михаил - беженцы из Сибири, товарищи Алешина в его монгольских скитаниях.>.

Тем временем маленькими группками и большими отрядами в страну стали проникать красные, и путешествовать открытыми долинами стало необычайно опасно. Как следствие, нам пришлось карабкаться по крутым уступам Саян. Форсированным маршем мы быстро приблизились к Улясутаю и рассчитывали настигнуть Казагранди уже к концу четвертого дня пути. И действительно, около полудня мы увидели его отряд, расположившийся лагерем в укромной долине. Их лошади паслись в стороне, а сами солдаты беспечно валялись на траве. Многие спали. Рядом с большой белой палаткой командира я заметил штандарт с образом Св. Николая, неподвижно висящий в тихом теплом воздухе. Над кухнями в небо поднимался голубоватый дымок. Дальше, у небольшого ручейка, солдаты стирали белье и одежду. Земля вокруг них была усеяна яркими желтыми, красными, синими и зелеными пятнами, которые, несомненно, являлись постиранным бельем, разложенным на траве для просушки. Повсюду были навалены горы седел и амуниции. Также виднелись длинные ряды винтовок, в безупречном порядке составленных в пирамиды по пять штук. Солнце позднего лета мягким покровом окутывало все вокруг; в целом картина производила впечатление полного мира и покоя.

- Теперь-то мы их и возьмем, - резко произнес Сухарев. Грубый голос командира безжалостно разрушил очарование чудесного полдня, и я почувствовал ужас при мысли, что сейчас мы ринемся вниз по склону, убивая наших же товарищей. Это казалось невероятным.

Мы осторожно спустились в лес. Неожиданно, как это иногда случается летом, пошел дождь. Казалось, что теплые капли воды падают на людей в долине предупреждением о грозящей опасности. Весь лагерь очнулся в мгновение ока, и прежде чем мы были готовы атаковать, по пологому западному склону уже взбирались всадники. К нашему неописуемому удивлению, не успели они достигнуть вершины, как раздалась пулеметная очередь, и несколько людей Казагранди упало на землю. С минуту поколебавшись, вся группа быстро повернула назад в долину. Там они перестроились для отражения нападения со стороны неизвестного врага. Мы видели, как вражеская кавалерия преодолевает гребень горы и быстро начинает окружать отряд Казагранди. Наши полевые бинокли объяснили нам смысл происходящего: это была атака коммунистов. Начавшийся бой был жестоким, так как обе стороны слишком хорошо знали, что между белыми и красными милосердие невозможно. Было гораздо лучше погибнуть в сражении, чем живым попасть в руки противника.

Сухарев стоял неподвижно, спокойно наблюдая за развитием событий внизу. Не обращая внимания на ропот своих солдат, он молча вынул шашку из ножен и знаком приказал следовать за ним. Нам показалось, что Сухарев решил предоставить Казагранди его судьбе. В глубоком молчании мы следовали за командиром.

Выйдя в долину, мы сменили рысь на галоп и двинулись в направлении западных холмов. Солдаты, хотя и сохраняя молчание, стали проявлять признаки беспокойства и негодования. Мы поднялись на холм прямо впереди, и вдруг перед нашими глазами открылась панорама боя. Отряд Казагранди быстро отступал. Они безуспешно пытались обороняться, в то время как красные полукругом наступали на них. Казалось, отряду Казагранди грозит неминуемая гибель. Невыразимая ненависть ослепила нас, и без приказа все мы выхватили шашки из ножен. В следующий миг нас оглушил возглас командира:

- Вперед! В атаку!

Мы ответили громовым «Ура!» и вихрем понеслись вниз по склону в направлении красных. Мы ударили по ним сзади и смяли их тыл внезапной атакой. Началась рукопашная, но красные были слишком потрясены тем, что верная победа была так неожиданно вырвана у них из рук, чтобы оказать нам достойное сопротивление. Тем временем Казагранди воспользовался замешательством противника для решительной атаки с фронта. Красные бросились врассыпную, и мы преследовали их, продолжая рубить на скаку, покуда они не скрылись в лесу. Трубач созвал нас обратно в долину, где командиры перестроили нас в боевом порядке. С заряженными винтовками в руках мы медленно двинулись из долины на запад. Авангард и аррьергард защитили бы нас от внезапной атаки. Мы ехали в молчании, внимательно следя за нашими дозорными, двигавшимися в холмах выше нас.

Мы позволили людям Казагранди, среди которых было много раненых, следовать впереди, сами защищая их с тыла. Невдалеке я увидел моего друга Виктора. Очевидно, он был ранен - его правая рука была замотана в окровавленные бинты. Марьяна вела лошадь мужа в поводу, и его винтовка лежала у нее поперек седла. Позднее я узнал, что когда Виктор получил свою рану, Марьяна доблестно его защищала.

Мы ехали медленно, поминутно ожидая нового нападения, так как наши патрули доносили, что красные следуют за нами. Несколько раз, будучи в удобной позиции, мы останавливались, скрывались за скалами, кустами и деревьями, подпускали противника на расстояние выстрела, а затем неожиданно открывали стрельбу. Они несли тяжелые потери и каждый раз быстро отступали, будучи не в состоянии до нас добраться.

Так мы двигались весь день и к вечеру въехали в длинную узкую долину, ведущую к Дархат-Хурэ. Вскоре мы приблизились к скальной гряде, пересекавшей ущелье и почти полностью загораживавшей выход из него. На этом месте мы решили разбить лагерь на ночь. За нашей спиной долина тянулась еще на четыре мили к северу, а затем резко сворачивала к югу - туда, где находился знаменитый монастырь.

Не успели мы наполнить наши котелки свежей говядиной, как караульные на высотах подняли тревогу; враги быстро приближались для новой атаки. Половина наших быстро побежала вверх по склону, залегла там цепью и открыла огонь. Другая часть заняла плацдарм в лесу для защиты отряда с тыла, остальные же вскочили на лошадей для контратаки. Огонь наших стрелков принудил противника остановиться и спешиться. Теперь они продолжали наступать пешком. Тем временем наши конные атаковали и смяли их левый фланг. Красные стали отступать в направлении леса, где их встретили выстрелы засевших там наших. В то же время мы бросились вниз по склону холма и атаковали их с фронта. Враг побежал, оставляя своих убитых и раненых на поле боя.

Наконец, мы получили возможность спокойно съесть свой ужин и немного поспать, правда, не расставаясь с винтовками.

В числе многих других я был назначен в ночной дозор. Мне и пяти моим людям было дано задание наблюдать за значительным участком болотистой низины. Стрелять было запрещено - из оружия нам были оставлены только ножи. При встрече с неприятелем его следовало уничтожить молниеносно и тихо - так, чтобы вокруг никто ничего не услышал.

Мы спустились и без каких бы то ни было происшествий достигли болота. Примерно через четверть часа я приказал своим остановиться - мне послышался звук ног, шлепающих по воде. Человек, производивший этот шум, должен был быть невероятным невеждой, так как в подобной ситуации никогда не следует отрывать ног от земли, а нужно медленно и по возможности не поднимая продвигать их вперед. Я знаком скомандовал моим ребятам лечь на болотистую землю. Мы напряженно прислушивались и вскоре слышали звук следующего шага. Затем мы увидели двух красных дозорных. Мы кинулись на них, сбили с ног, засунули их головы под воду и держали так, пока конвульсии не прекратились и они не затихли.

Теперь мы двигались вперед на четвереньках. Я велел своим людям идти к показавшемуся впереди камню. Там мы могли немного обсохнуть и отдохнуть. Когда мы почти достигли цели, камень вдруг пошевелился. Это оказался еще один красноармеец, сидевший там неподвижно.

Один из нас вынул нож и всадил ему в спину. Прежде, чем тот успел закричать, мы навалились на него и засунули под воду. Так мы двигались дальше, по дороге прикончив еще несколько невезучих красных, пока полностью не очистили наш сектор от врага.

Болото, наконец, кончилось, и мы смогли идти быстрее. Вскоре вдали показались огни неприятельского лагеря. Снова ползком мы двинулись в его направлении и внезапно обнаружили, что лагерь пуст, а огонь поддерживается всего несколькими солдатами с целью отвлечь наше внимание. Мы немедленно повернули назад и через час уже докладывали обо всем командованию. Люди были разбужены, лошади оседланы, и полк бесшумно оставил лагерь, двигаясь на юг. Если бы неприятель окружил и атаковал наш лагерь, то тоже нашел бы его опустевшим.

Так началась великая игра в прятки. Так как мы потеряли почти половину людей, нам приходилось проявлять необыкновенную осторожность и двигаться по местности зигзагами, все дальше и дальше уходя к юго-западу, к Улясутаю, который, как мы полагали, был еще свободен от красных. Противник тоже понес тяжелые потери, и мы были уверены, что без новых подкреплений в открытую атаковать он не осмелится. Более того, они все больше удалялись от своих опорных пунктов.

Тех же, кто все еще следовал за нами, мы надеялись измотать непрерывными маршами, а затем темной ночью атаковать и полностью уничтожить.

У обоих противников были одинаковые шансы перехитрить друг друга, и обе стороны ждали подкреплений. Мы рассчитывали на две казачьи сотни, отправленные бароном для охраны каравана, шедшего в Улясутай. Красные же в свою очередь надеялись на знаменитый стрелковый полк Щетинкина, прорывавшийся к месту событий. Однако через несколько дней мы обнаружили, что сильно ошиблись в своих расчетах.

Люди барона, оказавшись отрезанными частями Красной Армии от Хотхыла и Мурен-Хурэ, спрятали сокровища в какой-то потаенной пещере в горах и бежали на юг. После невероятных тягот пути они достигли и Маньчжурии, откуда китайцы позволили им беспрепятственно проследовать на русский Дальний Восток. Щетинкин же со своими скалолазами вскоре присоединился к силам противника.

Внезапно мы обнаружили, что враг перехитрил нас и превосходит численно. С этого момента жизнь наша превратилась в бесконечный кошмар. Бойцы из отряда Щетинкина расстреливали нас из-за скал, так что в долине мы постоянно находились в полной их власти. Наше число стремительно сокращалось. Однажды я потерял трех друзей за один день.

Первый был смертельно ранен в грудь при безнадежной попытке подготовиться для остальных плацдарм, дающий возможность скрыться среди скал.

У второго, подполковника Дмитриева, череп был прострелен так, что были повреждены оба зрительных нерва, и он потерял зрение. Он сидел на земле, прижимая руки к лицу, и кровь струилась у него между пальцев,

- Темнота... темнота... - в агонии повторял он. Я бросился ему на помощь. Заслышав мои шаги, он с невероятным трудом поднялся на ноги и резко сказал:

- Вернуться в строй, кто бы вы ни были!

Поняв, что это я, он попросил меня дать ему ручную гранату. Я выполнил его просьбу, и он пополз в сторону, откуда раздавались пулеметные очереди. Прежде, чем его убили, он успел бросить свою гранату и уничтожить вражеский пулемет вместе с обслугой.

Третий, бывший купец из Дархат-Хурэ, был убит выстрелом в лоб. Он умер мгновенно. Я перевернул его лицом вверх и увидел, что на губах его застыла счастливая улыбка, словно он

попал туда, куда всегда мечтал попасть.

Семь дней и семь ночей красные вели по нам прицельный огонь с гор. У нас не было времени ни на сон, ни на еду. Под конец мы дошли до того жалкого состояния, когда и люди, и кони спят на ходу. Были учреждены специальные патрули, которые должны были следить, чтобы никто не спал на ходу. Меня самого Марьяна однажды поймала спящим в седле и двигающимся в миле с лишком от основного отряда. Но постепенно наши потери начали сокращаться, из чего мы справедливо заключили, что противник находится в сходном с нашим состоянием. Мы нетерпеливо поджидали возможности для мести.

Лишь Богу известно, у какого монастыря мы разбили лагерь на седьмую ночь. Настоятель с несколькими монахами посетил наш лагерь и попросил нас покинуть это место, дабы древние храмы не пострадали от возможного обстрела. В свою очередь они пообещали всю ночь творить мистические обряды с целью помочь нам разгромить врагов в другой битве в ближайшем будущем. Так как первоначально мы рассчитывали использовать высокие стены монастыря как укрытие, за которым мы могли по крайней мере поесть и передохнуть, то сейчас были разочарованы. Но время для ссор было неподходящее.

Мы начали торговаться и вскоре пришли к соглашению. Мы оставляли монастырь, но монахи в ту же ночь должны были провести нас тайными тропами в холмы позади вражеского отряда. Мы оставили палатки в долине и немедленно отправились вслед за нашими проводниками. К рассвету мы занимали замечательную позицию в тылу у большевиков. Теперь мы видели, как они едут по горам, и вплотную следовали за ними.

Как только они заметили наш лагерь в долине, то сразу кинулись в атаку, ожидая захватить нас врасплох. Мы дождались, пока последний человек не спустился в долину, а затем внезапно открыли огонь. Теперь они были беззащитны, и мы просто прицельно расстреливали их. В конце концов они бросили седельные сумки и тяжелую амуницию и в панике побежали. Но путь к отступлению им был отрезан, и мы уничтожали их, как скот в загоне. Однако каким-то непостижимым образом они сумели найти путь к спасению и вскоре скрылись. Больше мы никогда не видели ни их самих, ни кого-нибудь из их отряда. Победа принесла нам множество винтовок и патронов, одежды и еды.

Мы разбили лагерь на самом гребне гор. На возвышениях были расставлены часовые, остальные же наслаждались обильной трапезой, после которой последовал многочасовой сон. Там-то нас, укрывшихся от мира, и нашли монголы. Они принесли подарки и благословение настоятеля, который просил передать, что с настоящего момента мы находимся под защитой могущественных духов здешних гор и долин и что нам больше нет нужды бояться наших врагов. Они сказали также, что мы можем смело спуститься с опасных высот и спокойно путешествовать низом - окрестности были свободны. Мы сердечно поблагодарили монахов и послали настоятелю хорошую русскую трубку, кожаный бумажник, дешевые часы и некоторые другие пустячки, которые точно должны были порадовать сердце номада.

Насколько я знаю, это было последнее сражение между красными и белыми. Оно поставило точку в Гражданской войне как для нас, так и для русской революции <Это, разумеется, не так.>. Правда, была еще одна попытка атаковать красных из русского Заполярья, произведенная под руководством генерала Пепеляева, но все ее участники погибли среди снега и льда прежде, чем смогли встретиться с красными в бою <А. Н. Пепеляев (1891 -) - один из наиболее талантливых белых генералов, сторонник идеи сибирской автономии; был близок к эсерам. После разгрома Колчака работал ломовым извозчиком в Харбине. Во многом разделял взгляды Н. Устрялова и других «сменовеховцев». Осенью 1922 г. с

отрядом в 750 человек высадился на охотском побережье и двинулся к Якутску. Пытался опереться на якутов, как Унгерн - на монголов. Прижатый к морю, брошенный всеми теми, кто спровоцировал его на эту безумную экспедицию, в марте 1923 г. в Аяне сдался в плен. Во

время судебного процесса обратился к русской эмиграции с призывом прекратить безнадежную борьбу против Советской власти, чем вызвал резко отрицательное и даже глумливое отношение к себе людей типа Вс. Н. Иванова, публициста и бывшего контрразведчика. Был помилован. Расстрелян спустя много лет.>.

На второй наш мирный день мы разбили лагерь на берегу маленькой горной речушки, и солдаты отправились купаться. Я был на дежурстве. С целью размещения часовых я въехал на возвышенность, откуда хорошо просматривались наши позиции. Стоя между дубов на вершине, я неожиданно заметил что-то золотое, поблескивавшее подле моей ноги. Присмотревшись, я понял, что это погон полковника кавалерии. Рядом лежал другой погон, лейтенантский <Лейтенантский - т. е. принадлежащий подпоручику или поручику. В своей книге, рассчитанной на англоязычного читателя, Алешин многие русские термины дает в переводе.>. Я подобрал оба и отправился показывать свои находки Сухареву.

Сухарев встревожился, мы вернулись на место и тщательно обследовали окрестности. Под кустом мы нашли два скелета, одетых в форму. Во внутреннем кармане у одного из них оказался старый бумажник, содержащий портрет красивой женщины и письмо, отосланное два года назад любящей женой дорогому мужу, полковнику Филиппову.

Они были братьями, кавалерийскими офицерами, и оба служили в нашем полку - один в чине полковника, другой - лейтенанта. Несколько месяцев назад они были посланы Казагранди к Кайгородову с особым поручением. Из этой поездки они так и не вернулись. Мы тогда думали, что, наверное, они предпочли остаться у Кайгородова, который был неизменно добр и справедлив к своим людям. Теперь мы открыли подлинную причину исчезновения братьев - они были убиты Казагранди <Вся история с найденными телами братьев Филипповых выглядит сомнительно, хотя оба они, действительно, погибли. Смерть одного из них, казненного в Ван-Хурэ по личному приказу Унгерна, описана у Оссендовского и Рибо; второй еще раньше был убит Безродным по дороге из Улясутая в Ван-Хурэ. Вместе с ним были убиты полковник Михайлов с женой, бывший акмолинский губернатор Рыбаков и еще несколько чиновных беженцев из России, позволявших себе открыто осуждать действия Унгерна. Возможно, впрочем, что Алешин в самом деле нашел останки одного из братьев и какого-то другого офицера, казненного одновременно с ним. Вся группа полковника Михайлова была уничтожена Безродным приблизительно в этой районе. Но в любом случае Казагранди не имел никакого отношения к смерти Филипповых. Зато найденные скелеты могли быть использованы Сухаревым как предлог для его устранения, чтобы покончить с двоевластием в отряде. Еще вероятнее, что Сухареву не требовалось для этого даже и предлога, и весь эпизод выдуман Алешиным с целью оправдать убийство Казагранди, которого он не любил.>. Сухарев хотел немедленно повесить Казагранди, но боялся, что это вызовет смуту. Вместо этого он решил арестовать полковника и доставить его к барону Унгерну, который сдержал бы свое обещание и наказал бы полковника за все прошлые злодеяния. Новости о казни братьев Филипповых со скоростью молнии распространились среди солдат, и Казагранди почел за лучшее собрать своих людей и покинуть лагерь под тем предлогом, что его не удовлетворяла занимаемая позиция. Мы же остались на месте под другим предлогом - якобы мы должны были защищать тыл основного отряда. Однако как только Казагранди скрылся из глаз, мы двинулись вслед за ним.

Казагранди совершил переход миль в тридцать и поздно ночью расположился лагерем в узком, со всех сторон закрытом, ущелье. Он не доверял Сухареву и готовился к сражению. Однако он никак не мог заподозрить, что Сухарев находится в двух километрах от него, разбив свой лагерь на господствующих над ущельем высотах. Мы были гораздо слабее и не могли атаковать открыто; несмотря на это, утром Казагранди обнаружил себя в полной нашей власти.

На рассвете мы спустились с холмов и сняли часовых. Наши люди встали возле козел с

вражескими винтовками, а также заняли позиции возле их пулеметов и артиллерии. Десять человек из отряда Сухарева бесшумно проникли в палатку Казагранди, забрали оружие, которое он всегда держал возле изголовья, а затем разбудили его самого. Невозможно описать изумление Казагранди, привыкшего к неограниченной власти над жизнью и смертью своих подчиненных. Ему не дали сказать ни слова - просто приказали сесть на лошадь и следовать за ними. Все вместе они поскакали прочь от лагеря.

Тем временем лагерь проснулся и с удивлением воззрился на плоды наших утренних трудов. Люди Казагранди были беззащитны, ведь мы держали под контролем все их оружие. Им был предоставлен выбор - либо присоединиться к отряду Сухарева, либо под арестом проследовать в Ургу на суд барона.

Хотя Сухарева ни в коей мере нельзя было назвать мягким в обращении, он был, вне всякого сомнения, справедлив. И, кроме того, всех так страшило слово «Урга» и перспектива встречи с безумным бароном, что бывшие солдаты Казагранди охотно присоединились к отряду Сухарева. Их оружие было им возвращено, и все спокойно приступили к завтраку.

Тем временем казаки и Казагранди скакали по долине и к вечеру достигли места, где были казнены братья Филипповы.

Полковника подвели к скелетам и предложили помолиться, ибо его тоже ожидала смерть. Казагранди был полностью сломлен и упал на колени, умоляя не рубить его шашками. Не говоря ни слова, казаки подняли его и привязали к дереву, на котором были повешены Филипповы. Затем они сорвали с полковника одежду, вынули свои знаменитые палки и стали неторопливо его избивать. Его тело покраснело, затем посинело, а затем из ран хлынула кровь. Казаки забили полковника до смерти. Поздно ночью они вернулись в лагерь и доложили, что полковник Казагранди был застрелен при попытке к бегству. Никто им, конечно, не поверил, но история была достаточно правдоподобна, чтобы ее можно было принять в качестве оправдания. На следующий день, однако, монголы рассказали нам правду. Они также сообщили о смерти генерала Резухина, бунте в армии и гибели барона. Они рассказывали, что полковники Казанцев и Кайгородов попали в окружение и были разбиты красными: это был конец Белого движения в Монголии. В сложившихся обстоятельствах нам не оставалось ничего другого, как спасти свои жизни <О гибели Унгерна монголы рассказать никак не могли, поскольку тот еще был жив, как и Казанцев с Кайгородовым. Да и вообще похоже, что к этому времени Сухарев благоразумно решил к барону не возвращаться, в дальнейших боевых действиях не участвовать и уходить в Маньчжурию.>

Сухарев предложил двинуться в Маньчжурию; Михаил же считал, что нам следует идти дальше на юг, пройти Тибет и присоединиться к англичанам в Индии. Расстояния были примерно равны - по две тысячи миль в каждую из сторон. Однако, так как Монголия была занята красными, не только пересекать ее, но даже оставаться в ее границах было смертельно опасно. Путь же в Индию был пока свободен от врагов. С другой стороны, чтобы добраться до Тибета нам необходимо было пересечь пустыню Такла-Макан и взобраться на Каракорум <Такла-Макан - пустыня; Каракорум - горный хребет в Центральной Азии.>. Но с точки зрения безопасности Индия представлялась куда надежнее.

Кроме того, Михаил сказал, что опасается ввязываться в политические авантюры, смысла которых не понимает, и следовать за людьми, к которым у него нет доверия. Будущее показало, как он был прав. Отряд Сухарева, за исключением нескольких человек, был уничтожен, а сам Сухарев покончил с собой, убив перед этим жену и четырехлетнего сына.

В тот вечер, когда мнения разделились, большинство приняло сторону Сухарева. Они энергично выступали против нашего отделения и при этом так горячились, что мы боялись быть арестованными в случае, если продолжим настаивать.

Однако Михаил, наш вожак, дал нам знать, что после наступления темноты все, не желающие идти в Маньчжурию, должны по одному, не привлекая к себе внимания, оставить

лагерь. Местом встречи было выбрано подножье скал в двух милях к югу от лагеря. Каждый должен был захватить с собой двух лошадей.

Я поужинал в палатке, после чего по своему обыкновению закурил трубку. Посидев со всеми для приличия, я поднялся и, сказав, что пойду поиграю в карты с друзьями, направился к месту, где были привязаны лошади.

Минут через пятнадцать я достиг условленного места.

- Кто идет? - услышал я приглушенный голос.

- Индия, - также негромко ответил я.

- Проходи, - сказал невидимый друг.

Наши казаки были расставлены так, что никто не мог заблудиться и проехать мимо места встречи. Сам Михаил приехал последним, пересчитал нас, дабы удостовериться, что все в сборе, и немедленно дал команду к выступлению. Сначала мы взобрались на высокий отрог Алтайских гор, а затем, достигнув его вершины, поскакали галопом по плавно понижающемуся плато. Было темно, хоть глаз выколи, и чудо, что в этой скачке никто не убится. Еще более удивительным было то, что в конце концов мы собрались в одном месте.

Мы остановились передохнуть, и Михаил вновь нас пересчитал. Все оказались на месте, за исключением одного парня по имени Амбуша. Он исчез вместе с коробкой, в которой мы хранили основные наши ценности. Позднее нам стало известно, что он присоединился к красным в Урге. В ту ночь мы сделали около тридцати пяти миль, а утром расположились лагерем среди скал, так что если бы Сухарев вздумал нас атаковать, мы смогли бы дать ему отпор. Однако он оказался достаточно умен, чтобы предоставить нас нашей судьбе. Возможно, он счел нас и так обреченными на смерть.

Так мы стали пропавшим батальоном в степях Азии.

Публикуется по: D. Alioshin. Asian Odissey. London, 1940, p. 268 - . Это беллетризованные воспоминания колчаковского офицера, бежавшего в Монголию и мобилизованного Унгерном. Доверять им следует с осторожностью, поскольку автор - человек не без воображения. Из участников монгольских событий он, пожалуй, единственный, кто обладал определенным литературным дарованием. При всем том Алешин - интеллигентный вариант героя одного из стихотворений харбинского поэта Арсения Несмелова:

Ловкий ты и хитрый ты,

Остроглазый черт.

Архалук твой вытертый

О коня истерт.

На плечах от споротых

Полосы погон.

Не осилил спора ты

Лишь на перегон.

И дичал все более,

И несли враги

До степей Монголии,

До слепой Урги...

VI

Фердинанд Оссендовский

ПОТОМОК КРЕСТОНОСЦЕВ И ПИРАТОВ

- Расскажите мне о себе и о своих странствиях, - потребовал он.

Я рассказал все, что, по моему мнению, могло быть ему интересно; казалось, моя история взволновала генерала.

- Теперь моя очередь. Я поведаю вам, кто я и где мои корни ... Мое имя окружают такой страх и ненависть, что трудно понять, где правда, а где ложь; где истина, а где миф! Когда-нибудь вы, вспоминая свое путешествие по Монголии, напишите и об этом вечере в юрте «кровавого генерала».

Он прикрыл глаза и, не переставая курить, лихорадочно заговорил, часто не заканчивая фразу, как будто ему мешали договорить.

- Я происхожу из древнего рода Унгерн фон Штернбергов, в нем смешались германская и венгерская - от гуннов Аттилы кровь. Мои воинственные предки сражались во всех крупных европейских битвах. Принимали участие в крестовых походах, один из Унгернов пал у стен Иерусалима под знаменем Ричарда Львиное Сердце. В трагически закончившемся походе детей погиб одиннадцатилетний Ральф Унгерн. Когда храбрейших воинов Германской империи призвали в XII веке на охрану от славян ее восточных границ, среди них был и мой предок - барон Халза Унгерн фон Штернберг. Там они основали Тевтонский орден, насаждая огнем и мечом христианство среди язычников - литовцев, эстонцев, латышей и славян. С тех самых пор среди членов Ордена всегда присутствовали представители моего рода. В битве при Грюнвальде, положившей конец существованию Ордена, пали смертью храбрых два барона Унгерн фон Штернберга. Наш род, в котором всегда преобладали военные, имел склонность к мистике и аскетизму.

В шестнадцатом-семнадцатом веках несколько поколений баронов фон Унгерн владели замками на земле Латвии и Эстонии. Легенды о них живут до сих пор. Генрих Унгерн фон Штернберг, по прозвищу «Топор», был странствующим рыцарем. Его имя и копье, наполнявшие страхом сердца противников, хорошо знали на турнирах Франции, Англии, Испании и Италии. Он пал при Кадисе от меча рыцаря, одним ударом рассекшего его шлем и череп. Барон Ральф Унгерн был рыцарем-разбойником, наводившим ужас на территории между Ригой и Ревелем. Барон Петер Унгерн жил в замке на острове Даго в Балтийском море, где пиратствовал, держа под контролем морскую торговлю своего времени. В начале восемнадцатого века жил хорошо известный в свое время барон Вильгельм Унгерн, которого за его занятия алхимией называли не иначе как «брат Сатаны».

Мой дед каперствовал в Индийском океане, взимая дань с английских торговых судов. За ним несколько лет охотились военные корабли, но никак не могли поймать. Наконец деда схватили и передали русскому консулу; тот его выслал в Россию, где деда судили и приговорили к ссылке в Прибайкалье. Я тоже морской офицер, но во время русско-японской войны мне пришлось на время оставить морскую службу, чтобы усмирить забайкальских казаков. Свою жизнь я провел в сражениях и за изучением буддизма. Дед приобщился к буддизму в Индии, мы с отцом тоже признали учение и исповедали его. В Прибайкалье я пытался учредить орден Военных буддистов, главная цель которого - беспощадная борьба со злом революции.

Он вдруг замолчал и начал поглощать чашку за чашкой крепчайший чай, напоминающий по цвету скорее кофе.

- Зло революции! ... Думал ли кто об этом, кроме французского философа Бергсона и просвещеннейшего тибетского таши-ламы?

Ссылаясь на научные теории, на сочинения известных ученых и писателей, цитируя

Библию и буддийские священные книги, возбужденно переходя с французского языка на немецкий, с русского на английский, внук пирата продолжал:

- В буддийской и древней христианской литературе встречаются суровые пророчества о времени, когда разразится битва между добрыми и злыми духами. Тогда в мир придет и завоюет его неведомое Зло; оно уничтожит культуру, разрушит мораль и истребит человечество. Орудием этого Зла станет революция.

Каждая революция сметает стоящих у власти созидателей, заменяя их грубыми и невежественными разрушителями. Те же поощряют разнузданные, низкие инстинкты толпы. Человек все больше отлучается от Божественного, духовного начала. Великая война показала, что человечество может проникнуться высокими идеалами и идти по этому пути, но тут в мир вошло Зло, о приходе которого задолго знали Христос, апостол Иоанн, Будда, первые христианские мученики, Данте, Леонардо да Винчи, Гете и Достоевский. Оно повернуло вспять колесо прогресса и преградило путь к Богу. Революция о заразная болезнь, и вступающая в переговоры с большевиками Европа обманывает не только себя, но и все человечество. Карма с рождения определяет нашу жизнь, ей равно чужды и гнев, и милосердие. Великий Дух безмятежно подводит итог: результатом может оказаться голод, разруха, гибель культуры, славы, чести, духовного начала, падение народов и государств. Я предвижу этот кошмар, мрак, безумные разрушения человеческой природы.

Полог юрты внезапно отогнулся, и на пороге вырос адъютант, почтительно отдавая честь.

- Почему вошли без доклада? - побагровел от ярости генерал.

- Ваше превосходительство, наш разъезд задержал большевистских лазутчиков и доставил их сюда.

Барон поднялся. Глаза его полыхали, лицо сводила судорога.

- Привести к юрте! - скомандовал он. Все куда-то вмиг сгнуло - вдохновенная речь, убедительные интонации - предо мной стоял суровый командир, жестко отдающий приказ. Барон надел фуражку, взял бамбуковую трость, с которой не расставался, и стремительно зашагал из юрты. Я последовал за ним. Перед юртой под охраной казаков стояли шесть красных солдат.

Барон подошел к ним и несколько минут внимательно всматривался в каждого. На его лице можно было прочесть напряженную работу мысли. Наконец он отвернулся, сел на ступени китайского дома и глубоко задумался. Затем снова встал, приблизился к лазутчикам и теперь уже решительно, касаясь плеча каждого задержанного, разделил их на две группы - «ты налево, ты - направо»; в одной оказалось четыре человека, в другой - два.

- Этих двух обыскать! Наверняка комиссары! - приказал барон, а у остальных спросил:

- Вы мобилизованные большевиками крестьяне?

- Так точно, ваше превосходительство! - выдохнули испуганные солдаты.

- Идите к коменданту и скажите, что я приказал зачислить вас в свои войска! У двух других оказались при себе бумаги комиссаров Политотдела. Нахмутив брови, генерал медленно отчеканивая слова, распорядился:

- Забить их палками до смерти!

Повернувшись, он удалился к себе в юрту. Беседа наша уже не клеилась, и я, откланявшись, ушел, оставив генерала наедине со своими думами.

После обеда в русский торговый дом, где я остановился, зашли несколько офицеров Унгерна. Мы оживленно болтали, когда за дверями послышался автомобильный гудок, заставивший офицеров мгновенно замолчать.

- Генерал проезжает, - заметил один изменившимся голосом.

Прерванная беседа возобновилась, но ненадолго. В комнату вбежал служащий торгового дома с криком:

- Барон!

Открыв дверь, генерал замер на пороге. Лампы еще не зажигали, и хотя в комнате было темно, барон всех узнал, тепло поздоровался, поцеловал у хозяйки руку и согласился выпить чашку чая. Затем заговорил:

- Я собираюсь похитить вашего гостя, - обратился он к хозяйке и, повернувшись в мою сторону, спросил: - Хотите совершить со мной автомобильную прогулку? Покажу вам город и окрестности.

Натягивая пальто, я привычно сунул в карман револьвер, барон заметил это и рассмеялся. - Да оставьте вы эту игрушку! Со мной вы в полной безопасности. Не забывайте пророчества хутухты из Нарабанчи: вам будет во всем сопутствовать удача.

- У вас хорошая память, - ответил я, рассмеявшись в ответ. - Пророчество помню. Но только что понимать под «удачей»? Может, смерть о как отдых после долгого трудного путешествия? Но должен признаться, что предпочитаю лучше скитаться и дальше - к смерти я не готов. Мы направились к воротам, где стоял большой «фиат» с включенными фарами. Водитель в офицерской форме недвижимым изваянием сидел у руля и, пока мы влезали в автомобиль и усаживались, держал руку у козырька.

- На телеграф! - приказал барон.

Автомобиль рванулся с места. В городе по-прежнему гудел и толпился народ, но на все это теперь был как бы наброшен покров тайны. Монгольские, бурятские и тибетские всадники на всем скаку врезались в толпу; ступающие в караване верблюды важно поднимали при встрече с нами свои головы; жалобно скрипели деревянные колеса монгольских телег, и все это заливала ослепительная дуга света от электрической станции, которую барон Унгерн приказал запустить вместе с телефонным узлом сразу же после взятия Урги. Он распорядился очистить от мусора и продезинфицировать город, который не знал метлы еще со времен Чингисхана. По его приказу наладили автобусное движение между отдельными районами города; навели мосты через Толю и Орхон; начали издавать газету; открыли ветеринарную лечебницу и больницу; возобновили работу школ. Барон оказывал всяческую поддержку торговле, безжалостно вешая русских и монгольских солдат, замешанных в грабеже китайских магазинов.

Однажды комендант города арестовал двух казаков и одного монгольского солдата, укравших из китайского магазина коньяк, и доставил мародеров к генералу. Тот приказал бросить связанных воришек в свой автомобиль и отвез их к китайцу. Вернув тому украденный коньяк, генерал велел монголу вздернуть одного их русских сообщников тут же, на высоких воротах. Когда казак закачался в петле, генерал scomандовал: «И напоследок этого!» Теперь на воротах болтались уже двое казаков; барон заставил повесить и монгола. Все свершилось молниеносно; придя в себя, владелец магазина в отчаянии бросился к генералу с мольбой:

- Господин барон! Господин барон! Прикажите убрать этих людей с моих ворот - у меня же не будет покупателей!

Проехав торговый район, мы направились в русский поселок, расположенный по другую сторону небольшой речушки. Па мосту стояли несколько русских солдат и четверо принарядившихся монголов. Солдаты, превратившись тут же в истуканов, отдавали честь, поедая глазами сурового командира. Женщины, засуетившись, хотели было убежать, но, замороженные дисциплинарным рвением своих ухажеров, тоже приложили руки к голове и застыли. Барон со смехом сказал мне:

- Можете убедиться, какова у меня дисциплина! Даже монголки отдают мне честь!

Скоро мы выехали на равнину, и автомобиль помчался как стрела; ветер свистел в ушах, пытаясь сорвать с нас одежду. Но сидевший с закрытыми глазами барон Унгерн только повторял: «Быстрее! Быстрее!» Мы долго молчали.

- Вчера я ударил своего адъютанта за то, что он, войдя без приглашения в юрту, прервал

мой рассказ, - сказал он.

- Вы можете продолжить его сейчас, - предложил я.

- А вам не будет скучно? - Моя история подходит к концу становясь, впрочем, здесь интереснее всего. Я говорил уже, что собирался основать орден Военных буддистов в России. Зачем? Чтобы охранять процессы эволюции, борясь с революцией, ибо я убежден: эволюция приведет нас к Богу, а революция - к скотству. Но я забыл, что живу в России! В России, где крестьяне в массе своей грубы, невежественны, дики и озлоблены - ненавидят всех и вся, сами не понимая почему. Они подозрительны и материалистичны, у них нет святых идеалов. Российские интеллигенты живут в мире иллюзий, они оторваны от жизни. Их сильная сторона - критика, но они только на нее и годятся, в них отсутствует созидательное начало. Они безвольны и способны только на болтовню. Так же, как и крестьяне, они ничего и никого не любят. Все их чувства, в том числе и любовь, надуманны; мысли и переживания проносятся бесследно, как пустые слова. И мои соратники, соответственно, очень скоро начали нарушать правила Ордена. Тогда я предложил сохранить обет безбрачия о вообще никаких отношений с женщинами, - отказ от жизненных благ, роскоши, все в соответствии с учениями желтой веры, но, потакая широкой русской натуре, разрешить потребление алкоголя и опиума. Теперь за пьянство в моей армии вешают и солдат, и офицеров, тогда же мы напивались до белой горячки. Идея с Орденом провалилась, но вокруг меня сгруппировалось триста отчаянно храбрых и одновременно беспощадных человек. Позже они показали чудеса героизма в войне с Германией и в единоборстве с большевиками, ныне уже почти никого не осталось в живых.

- Радиостанция, Ваше превосходительство, - доложил шофер.

- Заедем, - приказал генерал.

На вершине плоского холма стояла весьма мощная радиостанция; китайцы, отступая, частично разрушили ее, но инженеры барона Унгерна быстро восстановили. Генерал внимательно прочитал телеграммы и передал их мне. Депеши из Москвы, Читы, Владивостока и Пекина. На отдельном желтом листке располагались закодированные послания. Барон сунул их в карман со словами:

- Это от моих агентов - из Читы, Иркутска, Харбина и Владивостока. Все они евреи, мои друзья, умелые и отважные люди. Здесь у меня тоже служит один еврей Вулфович, он офицер - командует правым флангом. Свиреп, как сам сатана, но умен и храбр... Ну а теперь продолжим наш стремительный бег...

И мы вновь нырнули во мрак. Какая бешеная езда! Автомобиль то и дело подпрыгивал, минуя канавки и небольшие камни, а крупные валуны первоклассный шофер объезжал, искусно лавируя между ними. Когда мы вырвались в степь, я заметил в отдалении яркие вспышки огоньков; продержавшись секунду-другую, они гасли, чтобы через мгновение загореться вновь.

- Волчьи глаза, - улыбнувшись, объяснил мне мой спутник. - Досыта накормили их своими мертвецами и трупами врагов, - спокойно откомментировал он и продолжил исповедь. Во время войны русская армия постепенно разлагалась. Мы предвидели предательство Россией союзников и нарастающую угрозу революции. В целях противодействия было решено объединить все монгольские народы, не забывшие еще древние верования и обычаи, в одно Азиатское государство, состоящее из племенных автономий, под эгидой Китая - страны высокой и древней культуры. В этом государстве жили бы китайцы, монголы, тибетцы, афганцы, монгольские племена Туркестана, татары, буряты, киргизы и калмыки. Предполагалось, что это могучее - физически и духовно - государство должно преградить дорогу революции, ограждать от чужеродных посягательств свое духовное бытие, философию и политику. И если обезумевший, развращенный мир вновь посягнет на Божественное начало в человеке, захочет в очередной раз пролить кровь и

затормозить нравственное развитие. Азиатское государство решительно воспрепятствует этому и установит прочный, постоянный мир. Пропаганда этих идей даже во время войны пользовалась большой популярностью у туркмен, киргизов, бурят и монголов... Стоп! вдруг вскричал барон.

Автомобиль резко затормозил. Генерал вышел из машины, пригласив меня последовать его примеру. Мы шагали по степи, барон все время нагибался, что-то высматривая на земле.

- Ага, - пробормотал он наконец. - Уехал!... Я удивленно смотрел на него.

- Здесь стояла юрта богатого монгола, поставщика русского купца Носкова. Носков был презрительная бестия, об этом можно судить и по данному ему монголами прозвищу - сатана. Своих должников он избивал или при пособничестве китайских властей заключал в тюрьму. Он безжалостно ограбил этого монгола, и тот, потеряв свое богатство переехал на другое место, в тридцати милях от старого. Но Носков и там нашел его и, отобрав последний скот и немногих лошадей, оставил его с семьей умирать с голоду. Когда я занял Ургу, этот монгол пришел ко мне, а с ним главы еще тридцати семейств, разоренных Носковым. Они требовали его смерти... Я повесил «сатану»...

Автомобиль вновь рванулся вперед, сделав большой круг по степи, а барон Унгерн опять заговорил - резко и нервно, тоже вернувшись окружным путем к своим мыслям об обстоятельствах азиатской жизни.

- Подписав Брест-Литовский договор, Россия предала Францию, Англию и Америку, а себя ввергла в хаос. Тогда мы решили столкнуться с Германией Азию. Наши посланцы разъехались во все концы Монголии, Тибета, Туркестана и Китая. В это время большевики начали резать русских офицеров и нам пришлось, оставив на время наши пан-азиатские планы, вмешаться, объявив им войну. Однако мы надеемся еще вернуться к ним, разбудить Азию и с ее помощью вернуть народам покой и веру. Хочу надеяться, что, освобождая Монголию, я помогаю этой идее. - Он умолк и задумался, но вскоре вновь заговорил. Некоторые из моих соратников по движению не любят меня из-за так называемых зверств и жестокостей, - печально заметил он. Никак не могут уразуметь, что наш противник - не политическая партия, а банда уголовников, растлителей современной духовной культуры. Почему итальянцы не церемонятся с членами «Черной руки»? Почему американцы сажают на электрический стул анархистов, взрывающих бомбы? А я что - не могу освободить мир от негодяев, покусившихся на душу человека? Я, тевтонец, потомок крестоносцев и пиратов, караю убийц смертью!.. Назад! - скомандовал он шоферу.

Спустя полтора часа мы увидели огоньки Урги.

КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

I. ДОКУМЕНТЫ

1. Послужной список Р. Ф. Унгерн-Штернберга (1912). - РГВИА, ф. 5288, оп. 1, д. 62.
2. Послужной список Г. М. Семенова (1913). - РГВИА, ф. 409, оп. 2, д. 324 - .
3. Документы штаба Приамурского военного округа (1911 -). - РГВИА, ф. 400, оп. 11, д. 409.
4. Материалы Даурской конференции; донесения о панмонгольском движении (1919). - РГВИА, ф. 3954, оп. 1, д. 68; ГА РФ, ф. 200, оп. 1, дд. 7, 406, 421.
5. Материалы «Чрезвычайной следственной комиссии по расследованию действий полковника Семенова и подчиненных ему лиц»(1919). - ГА РФ, ф. 178, оп. 1, дд. 1, 2, 2-а, 10.
6. Протоколы допросов Р. Ф. Унгерн-Штернберга и других пленных; документы, захваченные в штабе Азиатской дивизии в Урге (1921). - РГВА, ф. 16, оп. 3, д. 222, ГА РФ, ф.

II. МЕМУАРЫ. ДНЕВНИКИ. ПУТЕВЫЕ ОЧЕРКИ. ПИСЬМА

7. Бурдуков А. В. В старой и новой Монголии. М., 1969.
8. Волков Б. Об Унгерне (Из записной книжки белогвардейца). - Hoover Institution on War, Revolution and Peace (Stanford, California, USA), CSUZ36008-A.
9. Врангель П. Н. Воспоминания. М., 1992.
10. Еловский И. Голодный поход Оренбургской армии. Пекин, 1921.
11. Заварзин В. Я. О том, кого уже нет. - «Литературное наследство Сибири», т. 1, Новосибирск, 1972.
12. Ignota. Роман Николай Унгерн-Штернберг. - «Русская мысль», Прага, 1922, № 1 - .
13. Козлов П. К. Монголия и Амдо и мертвый город Хара-Хото. Пг., 1923.
14. Макеев А. С. Бог Войны - Барон Унгерн. Шанхай, 1934.
15. Никитин В. П. Ритмы Евразии. - «Евразийская хроника», в. 9, Париж, 1927.
16. Носков К. Джян-джин барон Унгерн, или Черный для белых русских в Монголии 1921-й год. Харбин, 1929.
17. Оссендовский Ф. Люди, звери и боги. Рига, 1925.
18. Першин Д. Барон Унгерн, Урга и Алтан-Булак. Записки очевидца тревожных времен во Внешней (Халха) Монголии. - ГА РФ, ф. 5873, оп. 1, дд. 4 - .
19. Рерих Н. К. Сердце Азии. Нью-Йорк, 1929.
20. Розенфельд М. На автомобиле по Монголии. М., 1931.
21. Савинцев П. Дневник. 1920 г. - ГА РФ, ф. 5873, оп. 1, д. 4.
22. Сахаров К. В. Белая Сибирь. Мюнхен, 1923.
23. Сокольников Ю. В. Воспоминания. - ГА РФ, ф. 5873, дд. 5 - .
24. Солодовников Б. Сибирские авантюры и генерал Гайда. Прага, б. г.
25. Уорд Д. Союзная интервенция в Сибири. М. - Пг., 1923.
26. Цыбиков Г. Ц. Дневник поездки в Ургу в 1927 г. - В кн.: Г. Ц. Цыбиков. Избранные труды, т. 2. Новосибирск, 1991.
27. Alioshin D. Asian Odissey. London, 1940.
28. Volkov B. A Descendant of Chinghis-Khan, Asia, N.Y., 1931, N 11.
29. Geleta J. The New Mongolia. London - Toronto, 1936.
30. Greiner A. Meine Erinnerungen ьber Baron Ungern-Sternberg. - Исторический архив Эстонии в Тарту, ф. 1423, оп. 1, д. 192.
31. Letters Captured from Baron Ungern in Mongolia. - Hoover Institution on War, Revolution and Peace, CSUZHNS53-A.
32. Riabukhin (Ribo) N. M. The Story of Baron Ungern-Sternberg Told by his Staff Physician. - Hoover Instution on War, Revolution and Peace, CSUZHNS697-A.
33. Roerich Ju. N. Trails to Inmost Asia. New-Haven, 1931.
34. Ungern-Sternberg A., Ungern-Sternberg E. Bie Briefe. - Исторический архив Эстонии в Тарту, ф. 1423, оп. 1, д. 191 - .

III. ГАЗЕТЫ

35. «Вечерняя газета», Владивосток, 1921, 10 ноября.
36. «Власть труда», Иркутск, 1921, 19 и 31 августа.
37. «Военная мысль», Харбин, 1920, 27 сентября.
38. «Возрождение Азии», Тяньцзин, 1933, июль - август.

39. «Вперед», Харбин, 1929, 6 августа, 29 сентября.
40. «Голос России», Берлин, 1919, 16 ноября.
41. «Дальне-Восточный телеграф», Чита, 1921, 25 сентября.
42. «Забайкальская новь», Чита, 1918, 24 декабря; 1919, 7 января.
43. «Заря», Харбин, 1920, 15 и 30 сентября, 15 и 27 октября, 8 ноября.
44. «За свободу», Варшава, 1923, 10 июля.
45. «Казачье эхо», Чита, 1920, 9 апреля, 16 июля.
46. «Красное Прибайкалье», Верхнеудинск, 1921, 3 марта.
47. «Накануне», Берлин, 1922, 12 сентября.
48. «Наш путь», Харбин, 1933, 19 декабря; 1934, 14 января.
49. «Новая жизнь», Харбин, 1924, 14 декабря.
50. «Новое время», Харбин, 1928, 25 февраля.
51. «Новое русское слово», Нью-Йорк, 1935, 25 мая.
52. «Новости жизни», Харбин, 1923, 17 июля.
53. «Последние новости», Париж, 1921, 22 декабря; 1929, 12 августа; 1935, 21 марта.
54. «Правда», Москва, 1946, 26 августа.
55. «Прибайкальская жизнь», Верхнеудинск, 1919, 7 марта.
56. «Русская армия», Чита, 1920, 14 октября.
57. «Русский голос», Харбин, 1920, 21 и 26 сентября.
58. «Россия», Шанхай, 1924, 22 сентября, 27 октября.
59. «Свет», Харбин, 1920, 13 и 21 октября, 11 ноября.
60. «Свободный край», Иркутск, 1919, 4 апреля.
61. «Слово», Шанхай, 1921, 12 апреля; 1934, 16 октября.
62. «Советская Сибирь», Новониколаевск, 1921, 25 июля, 28 августа, 16 - сентября.
63. «Уфимец», Чита, 1920, 13 октября.
64. 's Rewie», Peking, 1919, 29 March.
65. Warszawy», 1977, 20 kw.

IV. ЛИТЕРАТУРА

66. Адгоков (Турунов) А. Потери Гражданской войны по Селенгинскому аймаку Бурят-Монгольской автономной области. Иркутск, 1923.
67. Борисов Б. Дальний Восток. Вена, 1921.
68. Бурдуков А. В. Человеческие жертвоприношения у монголов. - «Сибирские огни», Новосибирск, 1927, № 3.
69. Герасимова К. М. Традиционные верования тибетцев в культовой системе ламаизма. Новосибирск, 1989.